

Уильям Фолкнер

Особняк

Уильям Фолкнер

Особняк

Серия «Трилогия о Сноупсах», книга 3

HarryFan

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=130462

Особняк: Фолио; 1998

Оригинал: William Faulkner, "The Mansion"

Перевод:

Рита Яковлевна Райт-Ковалёва

Аннотация

Роман `Особняк` известного американского писателя Уильяма Фолкнера (1897 – 1962) – последняя часть саги о Йокнапатофе – вымышленном американском округе, который стал для писателя неиссякаемым источником тем, образов и сюжетов.

Содержание

1. МИНК	5
2. МИНК	56
3. В.К.РЭТЛИФ	73
4. МОНТГОМЕРИ УОРД СНОУПС	93
5. МИНК	128
6. В.К.РЭТЛИФ	157
7. В.К.РЭТЛИФ	219
8. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН	262
9. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН	302
10. ГЭВИН СТИВЕНС	346
11. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН	377
12. ФЛЕМ	382
13	432
14	475
15	517
16	536
17	586
18	616

СОДЕРЖАНИЕ

Уильям Фолкнер

Особняк

Эта книга – заключительная глава, итог работы, задуманной и начатой в 1925 году. Так как автору хочется верить и надеяться, что работа всей его жизни является частью живой литературы, и так как «жизнь» есть движение, а «движение» – это изменения и перемены, а единственная антитеза движению есть неподвижность, застой, смерть, то за тридцать четыре года, пока писалась эта хроника, в ней накопились всякие противоречия и несоответствия; этой заметкой автор просто хочет предупредить читателя, что он уже сам нашел гораздо больше несоответствий и противоречий, чем, надо надеяться, найдет читатель, – и что эти противоречия и несоответствия происходят оттого, что автор, как ему кажется, понял человеческую душу и все ее метания лучше, чем понимал тридцать четыре года тому назад; он уверен, что, прожив такое долгое время с героями своей хроники, он и этих героев стал понимать лучше, чем прежде.

У.Ф.

1. МИНК

Итак, присяжные сказали: «Виновен», – и судья сказал: «Пожизненно», – но он их не слышал. Он и не слушал. В сущности, он и не мог ничего слушать с самого первого дня, когда судья стукнул деревянным молоточком по высокому пюпитру и стучал до тех пор, пока он, Минк, не отвел глаза от дальней двери судебного зала, чтобы выяснить – чего же, в конце концов, хочет от него этот человек, а тот, судья, перегнулся через пюпитр и заорал: «Вы, Сноупс! Вы убили Джека Хьюстона или нет?» – а он, Минк, сказал: «Не трогайте меня! Видите – я занят!» – и снова повернул голову к дальней двери в конце зала и тоже заорал в упор – через, сквозь стену тусклых, мелких лиц, зажавших его со всех сторон: «Сноупс! Флем Сноупс! Кто-нибудь, позовите сюда Флема Сноупса! Я заплачу! Флем вам заплатит!»

Так что слушать ему было некогда. В сущности, и в тот первый раз, когда его повели в наручниках из камеры в зал суда, это была бессмысленная, возмутительная нелепость, глупое вмешательство, лишняя помеха, да и каждый раз это хождение в суд под конвоем только мешало правильно решить дело – его дело, да и дело этих проклятых судей, – надо было бы выждать, оставить его в покое: все эти долгие месяцы между арестом и судом у него была одна-единственная, самая насущная потребность – ждать, стиснув грязными

пальцами ржавые прутья тюремной решетки, выходявшей на улицу.

Сначала, в первые дни за решеткой, его просто брала досада на собственное нетерпение и – да, он это признавал – на собственную глупость. Ведь задолго до той минуты, когда пришла пора вскинуть ружье и выстрелить, он уже знал, что его двоюродный брат Флем (единственный член их семьи, который имел и возможность и основания – во всяком случае, от него одного можно было ждать этого – выволить его из неприятностей), что Флем уехал и ничего делать не станет. Он даже знал, почему Флема тут не будет, по крайней мере, год: Французова Балка – поселок маленький, тут все знали обо всем и про всех все понимали, зачем он уехал в Техас, даже если бы из-за этой уорнеровской девчонки не поднимали вечно шум и визг, с тех пор как она сама (а может, и кто другой) заметила, что у нее появился первый пушок, уж не говоря про ту прошлую весну и лето, когда этот оголтелый парень, мальчишка Маккэрронов, крутился около нее и дрался с другими – ни дать ни взять свора кобелей по весне.

Так что задолго до того, как Флем на ней женился, он, Минк, да и вся округа на десять миль от Французовой Балки уже знали, что старому Биллу Уорнеру нужно было выдать ее замуж за кого угодно, да поскорее, если он не хотел, чтоб у него весной на выгоне пасся приبلудный жеребенок. И когда на ней в конце концов женился Флем, он, Минк, ничуть не

удивился. Этому Флему всегда везло. Ну, ладно, не только везло: он был единственным человеком во всей Французовой Балке, который мог постоять за себя, потягаться со старым Биллом Уорнером; в сущности, он уже почти вытеснил Джоди, сына старого Билла, из лавки, а теперь, став зятем старика, норовил захватить ее целиком. Женившись, да еще вовремя, чтобы дать имя ее пащенку, Флем становился не только законным мужем этой проклятой девчонки, которая с пятнадцати лет одной своей походкой распалая всех мужчин моложе восьмидесяти, но ему за это еще и приплатили: он получил не только законное право лапать ее, когда ему вздумается, – а человеку стоило только вообразить, что ее кто-то лапает, как он себя не помнил, – но ему еще за это отдали в полное владение усадьбу Старого Француза.

Да, он знал, что Флем не придет, когда потребуется, потому что Флему с молодой женой надо пробить вдали от поселка до тех пор, пока про то существо, что у них родится, можно будет говорить, будто ему исполнился всего один месяц, и никто при этом не помрет со смеху. Но когда наконец подошла та последняя минута, тот последний миг и ему уже никак нельзя было не прицелиться и не спустить курок, он об этом забыл. Нет, неправда. Ничего он не забыл. Просто ждать стало невмоготу, Хьюстон сам не дал ему подождать, и это было последнее оскорбление, которое нанес ему, умирая, Джек Хьюстон: заставил его, Минка, убить себя в такое время, когда единственный человек, который мог спасти

Минка и спас бы непременно, волей или неволей, по извечным неизменным законам кровного родства, – этот человек находился за тысячу миль, и это оскорбление ничем нельзя было смыть, потому что, нанося его, Хьюстон сам уходил от всякого возмездия.

Нет, он не забыл, что его родича поблизости нет. Просто ждать дольше было невозможно. Просто ему пришлось положиться на *Них* – на *Них*, про которых сказано, что ни один волос не упадет с головы без *Их* воли. *Они* были для него вовсе не тем самым, как его ни назови, кого люди величают Старым Хозяином. Не верил он ни в какого Старого Хозяина. Насмотрелся он в своей жизни такого, что если бы и вправду существовал какой-то Хозяин, да еще, как говорят про него, всевидящий и всемогущий, так уж он наверняка вмешался бы. К тому же он, Минк, никогда верующим не был. В церковь он не ходил лет с пятнадцати и ходить не собирался: чего делать там, где какой-то малый, у которого бурчало в животе и зудело под ширинкой, – тут домашними средствами не обойтись, – называл себя проповедником божиим, чтобы под этим предлогом собрать побольше баб и соблазнять их услугой за услугу – они ему набьют пустое брюхо, а он им за это тоже услужит, как только муж уйдет в поле, а жена словчится убежать в кустики, где ее и будет ждать проповедник; и бабы шли в эту молельню, потому что нельзя было выгоднее обменять жареную курицу или картофельный пирог, а мужья приходили не затем, чтобы поме-

шать этим сделкам, потому что муж понимал, что никак помешать не может, кишка тонка, а затем, чтобы выведать, попадет ли его жена в очередь сегодня или он еще успеет проборонить последнюю сороковку, а уж потом, если придется, привяжет жену ремнем к спинке кровати, а сам спрячется за дверью и станет ждать, что будет; молодежь, та и вовсе не заходила в церковь, даже для виду, а прямо бежала парочками в ближние кусты.

Минк просто считал, что *Они* – *Он* – *Оно*, как бы их там ни назвать, должны быть воплощением основной естественной справедливости и равенства в человеческой жизни, а если это не так, значит, и противиться бесполезно. Не могут же *Они* – *Он* – *Оно*, зовите как угодно, вечно мотать и мытарить человека и не позволить ему в какой-то день, в какой-то миг самому дать сдачи, по справедливости, по праву. Пусть *Они* его мотают и мытарят, пусть *Они* даже просто сидят и смотрят, как все складывается против него, как удары сыплются ему на голову без передышки, будто по заказу; пусть *Они* просто сидят и смотрят, а может быть (ну что ж, почему бы и нет – человеку это нипочем, если он только настоящий человек и раз так полагается по справедливости), даже радуются; может быть, *Они* его испытывают, проверяют – настоящий он человек или нет, хватит у него силы выдерживать всякие мытарства и мотания, чтобы заслужить право дать сдачи, когда придет его черед. Но когда-нибудь настанет час, и он, в свою очередь, заработает это право по справедливости, за-

конно, точно так же, как *Они* заработали право испытывать его и даже радоваться его испытаниям; настанет час, когда *Им* тоже придется доказывать ему, что и *Они* – настоящие, как он доказал *Им*, что он – настоящий человек, тот час, когда он не только сможет на *Них* понадеяться, но заработает себе право надеяться на *Них* и знать, что теперь-то *Они* его не подведут; и *Они* не посмеют, никак не осмелятся подвести его, иначе *Они* так же сами себе опротивеют, как он в конце концов опротивел себе, оттого что терпел все, что приходилось терпеть от Джека Хьюстона.

Так что он еще в то утро отлично знал, что Флем сюда не явится. Но ему просто невольно стало ждать, просто подошел тот час, когда им с Джеком Хьюстоном больше нельзя было дышать одним воздухом. Значит, раз его двоюродного брата тут нет, ему оставалось только одно – право надеяться на *Них*, право, заработанное тем, что за всю свою жизнь он ни разу ничего с *Них* не спрашивал.

Все началось весной. Нет, раньше, прошлой осенью. Нет, даже еще раньше, задолго до того. Началось это в ту самую минуту, как родился Хьюстон, уже с задатками наглости, нетерпимости, упрямства. Нет, не в ту минуту, как они оба, Хьюстон и Минк Сноупс, стали дышать одним воздухом – воздухом Северного Миссисипи, потому что он, Минк, никогда ни с кем не спорил. Никогда он спорщиком не был. Просто всю жизнь его так мотало и мытарило, так ему не везло, что волей-неволей приходилось неотступно и упорно

защищать самые насущные свои права.

Но только с лета, перед той первой осенью, судьба Хьюстона неразрывно и окончательно связалась с судьбой Минка, и это было еще одним проявлением извечной обиды: никто, даже *Они*, и меньше всего *Они*, не соблаговолит предупредить Минка, к чему приведет эта первая встреча. Случилось это после того, как молодая жена Хьюстона пошла искать куриные гнезда на конюшню, где стоял жеребец, и жеребец этот убил ее, ну и, конечно, каждый порядочный человек решил бы, что ни один порядочный муж ни за что не заведет себе второго такого жеребца. Но Хьюстон был не такой. Хьюстон был не только достаточно богат, чтобы держать кровного жеребца, который мог убить его жену, он был еще настолько нагл и упрям, что, пристрелив жеребца, убившего жену, и пренебрегая всеми приличиями, тут же купил другого, точь-в-точь такого же, может, на тот случай, что придется опять жениться, а сам хоть и делал вид, что так убивается по жене, что даже сосед" боялись к нему постучаться, но все же раза два-три в неделю скакал по дороге на этом коне, будущем убийце, и рядом, словно борзая или жеребенок, бежал его огромный волкодав, и он подъезжал к лавке Уорнера и даже не спешивался; все трое останавливались на дороге: упрямый, наглый всадник, жеребец, косящий злым глазом, и пес, который скалил зубы и ощетикивал загривок, стоило только подойти, – и Хьюстон приказывал кому-нибудь из сидевших на открытой галерее зайти в лавку и принести ему

то, за чем он приехал, как будто тут сидели негры.

А в то утро он, Минк, шел в лавку (у него-то не было лошади, чтобы съездить за жестянкой табаку, или склянкой хинина, или куском мяса), и он только что поднялся на невысокий холмик, когда услышал топот копыт, частый и громкий, и он уступил бы Хьюстону дорогу, если б успел, но жеребец почти налетел на Минка, когда Хьюстон резко осадил его, а подлый пес чуть не прыгнул ему на грудь, рыча прямо в лицо, и Хьюстон, круто повернув вздыбленного жеребца, заплясавшего на месте, крикнул: «Какого черта стоишь, ты же слышал, что я еду? Прочь с дороги! Хочешь, чтобы он тебе мозги вышиб, видишь, с ним не справиться!»

Что же, может, это и называется убиваться по жене, будто не по твоей вине она погибла, будто не ты сам прикончил того жеребца. Хватило же у него наглости, или просто денег хватило, купить второго коня, точь-в-точь похожего на того, что ее убил. Но ему, Минку, до этого дела не было, надо было только дожидаться, пока раньше или позже этот сволочной жеребец не убьет самого Хьюстона, но тут случилось то, на что Минк и не рассчитывал, чего не предвидел и даже не предполагал.

Началось все с дойной коровы, единственной его коровы, потому что он был не такой богач, как Хьюстон, а просто человек независимый и ни у кого одолжений не просил, за все сам расплачивался. Она, эта самая корова, каким-то случаем прохолостела, а он оказался ни с чем – не только просидел

всю зиму без молока, но и впереди его ждал такой же год, да и теленка не было, а он заплатил пятьдесят центов за случку, потому что меньше чем за доллар можно было повести корову только к непородистому быку, чей хозяин-негр требовал плату вперед.

Вышло, что он кормил корову целую зиму и ждал теленка, а теленка не оказалось. Потом пришлось опять вести корову за три мили к тому негру, не затем, чтобы требовать обратно свои пятьдесят центов, а чтоб второй раз случить корову с быком, но негр отказался и потребовал вперед пятьдесят центов, и он, Минк, стоя во дворе, честил негра, пока тот не ушел в дом и не захлопнул дверь, а Минк уже в пустом дворе все честил и негра, и его семейство, притихшее в хижине, но потом выдохся и повел корову домой за три мили.

И ему пришлось держать нестельную, неплодную корову, пока она не выщипала все его тощее пастбище, а потом пришлось ее кормить тощими кормами в сарае весь конец лета и всю осень, так как фермеры договорились не выпускать скот, пока не уберут урожай. Значит, до самого ноября ему пришлось ее держать. То есть подошел ноябрь, прежде чем ее можно было пустить на зимний выпас. Да и то, чтобы приманивать корову к вечеру домой, приходилось отнимать понемножку корм у свиней, которых он откармливал на зиму, а потом она пропала на три или четыре дня и в конце концов нашлась на пастбище у Джека Хьюстона с его породистыми быками.

По правде говоря, он, со свернутой веревкой в руках, уже дошел до просеки, ведущей к дому Хьюстона, и вдруг, сам того не сознавая, даже не остановившись и не замедлив шаг, круто повернул и пошел домой, торопливо запихивая свернутую веревку за пазуху, чтобы ее никто не увидел, но он не пошел в некрашеную, нечиненую хижину, где жил, а стал искать, где бы посидеть подумать, и, присев на бревно при дороге, осознал наконец со всей отчетливостью то, что мелькнуло у него в мыслях.

Если он сейчас оставит там эту никчемную корову, ей не только будет где перезимовать, она еще перезимует во сто, в тысячу раз лучше, чем у него. Корова не только перезимует у Хьюстона (а Хьюстон не только так богат, что разводит и откармливает быков на мясо, он так богат, что держит негра, который одно знает – кормить и чистить этих быков, негра, для которого Хьюстон устроил жильё куда лучше того, где жил он, Минк, белый человек, с женой и Двумя дочками), но, кроме того, когда весной он потребует обратно корову, она наверняка будет стельная, да еще от породистого хьюстонского быка, и, значит, у них не только будет свежее молоко, но и теленок выйдет породистый, ценный, тогда как отпрыск того захудалого негритянского быка не стоил бы ровно ничего.

Разумеется, ему придется отвечать на всякие вопросы: Французова Балка – поселок маленький, слишком маленький, тут человек не может делать, что хочет, и уж никак на

может достать себе все, что захочется. И четырех дней не прошло. Началось с лавки Уорнера: каждый день он проходил мимо, заворачивая к себе, так что все его видели и в конце концов решили выяснить, в чем дело. Кто-то спросил – он не помнил кто, да это и неважно:

– Ну как, нашел свою корову?

– Какую корову? – переспросил он.

А тот сказал:

– Джек Хьюстон велел тебе забрать твою животину с его выгона, говорит, надоело ее кормить.

– Вот оно что, – сказал он. – А корова уже не моя. Я эту корову еще прошлым летом продал одному парню по фамилии Гаури, он из Каледония-Чепел.

– Ну и хорошо, – сказал тот, – потому что, будь я на твоём месте и пасись моя корова на выгоне у Джека Хьюстона, я бы взял веревку и сам бы постарался не заметить, как забрал ее, и, уж конечно, постарался бы, чтоб Джек Хьюстон не заметил. Я бы, пожалуй, даже подходить к нему не стал, побоялся бы и спасибо сказать.

Весь поселок слишком хорошо знал Джека Хьюстона: сидит дома, угрюмый и хмурый, всегда один, с того дня, как жеребец убил его жену четыре года назад. Будто до него никто не терял жену, хоть, может, по какой-то непонятной причине некоторые мужья и не хотят от своих жен избавиться. Сидит угрюмый, хмурый, один в большом доме, и при нем только двое слуг-негров, мужчина и женщина-стряпуха, да еще же-

ребец и пес, громадный волкодав, такой же упрямый, наглый и нелюдимый, как сам Хьюстон, а тот, нелюдим проклятый, даже не понимает, какой он счастливчик: до того богат, что может не только завести себе жену, чтоб ныла и придиралась и вытаскивала из кармана последний доллар, нет, он до того богат, что может обойтись и без жены, если захочет, до того богат, что может нанять себе женщину, чтоб готовила ему еду, – и жениться на ней не надо. Так богат, что может нанять негра, чтоб тот вместо него вставал на рассвете, в холоде, и выходил, в сырость и дождь, кормить не только его породистых быков – он срывал за них самый жирный куш только потому, что мог не торопиться их продавать, – но и этого проклятого жеребца, и даже эту чертову собаку, которая бежала рядом с конем, когда они носились по дорогам и заставляли человека, которому всю жизнь приходилось топтать на своих на двоих, прыгать с дороги в кусты, чтоб этот сволочной жеребец не разможил ему башку кованым копытом, не то придется ему лежать в канаве, и этот сволочной пес загрызет его прежде, чем Хьюстон успеет кликнуть его.

Ладно, раз Хьюстон так дерет нос, что ему даже нельзя сказать спасибо, он, Минк, не станет ему навязываться без приглашения. Дело не в том, что он никому не хочет быть обязан. Прошла неделя, потом прошел месяц, уже и рождество прошло, настала холодная, сырая, унылая зима. Каждый день к вечеру в кожанке, заштопанной проволокой и залатанной кусками автомобильной шины, – единственной своей

верхней одежде, натянутой на заплатанный старый бумажный комбинезон, — он шел по грязной дороге в унылом меркнувшем свете заката смотреть, как породистое стадо Хьюстона вместе с его жалкой животиной двигалось, ничуть не торопясь, домой в стойла, которые были куда теплее и лучше защищены от непогоды, чем та лачуга, где он жил, в стойла, где скотину кормил специально для этого нанятый негр: на нем и одежда куда теплее, чем у Минка и у его семейства, и он шептал проклятия себе под нос, в облако морозного дыхания, проклиная негра за то, что его черную кожу греет хорошая одежда, лучше, чем у него, у белого, проклиная сытный корм, который давали скотине, а не людям, хотя его собственная корова тоже ела со всеми вместе, и злее всего проклиная ничего не подозревавшего белого человека, чье богатство всему виной, а главное, проклиная то, что мешало ему отомстить, отплатить, — а он считал это естественной справедливостью и своим неотъемлемым правом, — отомстить сразу, одним махом, а тут приходилось ожидать, пока корма постепенно не превратятся в живой вес, да еще нельзя было предвидеть и предсказать, когда корова подпустит быка, а потом пойдут долгие девять месяцев до отела; он проклинал себя за то, что может добиться справедливости только таким долгим и бездеятельным ожиданием.

Вот от чего он мучился. От ожидания. И не только от страха, что отдалается исполнение надежд, не только от обиды, что простое справедливое дело отодвигается, откладывает-

ся, а от сознания, что даже в тот час, когда удар падет "а Хьюстона, это будет стоить ему, Минку, восемь долларов наличными: эти восемь долларов должны служить доказательством, что воображаемый покупатель коровы как будто заплатил их Минку, чтобы вранье насчет продажи коровы показалось правдоподобным; весной, когда Минк придет требовать свою корову, эти доллары придется отдать Хьюстону в залог того, что до этой минуты он сам верил, будто корова продана или, во всяком случае, оценена в восемь долларов, – и он придет к Хьюстону и расскажет, как покупатель пришел к нему, Минку, сегодня утром, заявил, что корова удрала от него еще в ту ночь, когда он ее купил и привел домой, и потребовал обратно свои восемь долларов, а когда он все это расскажет Хьюстону, тот не станет так задаваться и презирать его, а поселок не будет так любопытничать, и он, Минк, всем докажет, что истратил целых шестнадцать долларов, чтобы вернуть свою корову.

В этом и была главная обида: жаль восьми долларов. То, что за восемь долларов он не мог бы даже прокормить корову зимой, а не то что откормить ее до той прибавки веса, которую он видел своими глазами, это в расчет не принималось. Важно, что надо было отдать Хьюстону, который даже и не заметит, сколько корму съела корова, ненужные ему восемь долларов, а на них он, Минк, мог бы купить к рождеству галлон виски, да еще на доллар-другой чего-нибудь для жены и дочек, проевших ему голову из-за тряпок.

Но выхода не было. И вместе с тем он даже гордился, что это его возмущает. Не такой он мелочный, и жалкий, и ничтожный, чтобы покорно принимать все обиды только потому, что пока нельзя найти выход. Больше того: такая несправедливость еще сильнее разжигала его злобу, его возмущение. Значит, ему придется унижаться и даже пресмыкаться, когда он пойдет за коровой, придется врать впустую, только за честь отдать восемь долларов, необходимых ему самому, скопленных ценою жертв, притом отдать человеку, которому они вовсе не нужны, он и не заметит, если их получит, и даже не знает, что ему их собираются отдать.

И, наконец, пришла та минута, тот день в конце зимы, когда по местному обычаю владельцы загоняли скот, свободно гулявший с осени по омертвелым полям, чтобы землю можно было распахать и засеять; и в тот день, вернее, вечер, он дождался, пока его корове в последний раз зададут корм вместе со всем хьюстоновским стадом, и только тогда подошел к загону с перекинутой через руку истертой веревкой и с жалким комком истертых долларовых бумажек и горстью никелей и центов в кармане комбинезона; но ему не пришлось ни унижаться, ни пресмыкаться, потому что в загоне был только негр с вилами, а богатый хозяин сидел дома, в теплой кухне, со стаканом пунша, сваренного не из вонючего тошнотворного самогона, который он, Минк, мог бы купить на свои восемь долларов, если б их не надо было отдавать, а из доброго красного марочного виски, заказанного в Мем-

фисе. Не пришлось ни пресмыкаться, ни унижаться, только сдержанно, как полагалось белому человеку, сказать негру, обернувшись к нему в дверях хлева:

– Здорово. Оказывается, моя корова у вас? Надень-ка на нее веревку, я ее заберу, чтоб тут не мешала.

Но негр посмотрел на него и ушел через конюшню к дому, не подошел, не взял веревку, хотя он, Минк, этого и не ждал, а сначала пошел спросить белого человека, что надо делать. Именно этого он, Минк, и ожидал, опираясь потрескавшимися, красными от холода руками, вылезавшими из-под слишком коротких обтрепанных рукавов, на верхнюю жердину белой загородки. Да, сидел Хьюстон со стаканом пунша из доброго красного виски, без сапог, в одних носках, грел ноги перед ужином, а теперь ему придется с бранью спустить ноги и снова натянуть холодные, мокрые, грязные резиновые сапоги и выйти к загону. Так Хьюстон и сделал; в грохоте кухонной двери, в скрипе и чавканье резиновых сапог по двору слышалось недоумение и ярость. Он прошел через хлев, негр – за ним, шагах в десяти.

– Здорово, Джек, – сказал Минк, – жаль, что вас пришлось побеспокоить в такой холод, в сырость. Ваш негр и сам мог бы справиться. А я только сегодня узнал, что у вас моя корова перезимовала. Пусть ваш негр наденет на две веревку, я ее уведу, чтоб не мешалась тут.

– Я думал, ты продал корову Нэбу Гаури, – сказал Хьюстон.

– И продал, – сказал Минк. – А нынче утром Нэб подъехал на муле и говорит, что корова удрала от него в ту самую ночь, как он ее привел домой, с тех пор он ее и не видел и отобрал у меня восемь долларов, что дали мне за нее. – И он полез в карман, сжимая в кулаке комок истертых бумажек и мелочь. – Ну вот, раз цена этой корове восемь долларов, значит, я вам столько и должен за зимовку. Теперь, значит, ей цена все шестнадцать долларов, хоть ей это и невдомек. Вот. Берите ваши денежки, и пусть ваш негр накинет на нее эту веревку, а я...

– Эта корова осенью и восьми долларов не стоила, – сказал Хьюстон. – А теперь она стоит куда больше. И съела она моих кормов больше, чем на шестнадцать долларов. Уж не говорю, что мой молодой бык покрыл ее на прошлой неделе. Верно ведь, Генри, на прошлой неделе? – спросил он негра.

– Да, сэр, – сказал негр. – В прошлый вторник. У меня записано.

– Сказали бы вы мне раньше, не пришлось бы вашему быку стараться, да и вашему негру с его вилами тоже, – сказал Мни к. И обратился к негру: – Эй, бери веревку...

– погоди, – сказал Хьюстон и тоже полез в карман. – Ты сам назначил цену корове – восемь долларов. Ладно, я ее покусаяю.

– А вы сами только что сказали, что она подорожала, – сказал Минк. – Я и сам собирался доплатить вам. А за нее я и шестнадцати долларов не возьму, не то что восемь. Так

что берите ваши денежки. И если вашему негру трудно надеть на нее веревку, давайте я сам ее заберу. – И он уже стал перелезать через загородку.

– Погоди, – сказал Хьюстон. Он спросил негра: – Сколько она, по-твоему, сейчас стоит?

– Да, наверно, долларов тридцать, – сказал негр, – а то и все тридцать пять.

– Слыхал? – сказал Хьюстон.

– Нет, – сказал Минк, влезая на загородку, – я негров не слушаю. Я им приказываю. А если он не хочет обратять корову, велите ему не мешать мне.

– Не лезь через загородку, Сноупс, – сказал Хьюстон.

– Так, так, – сказал Минк, перекинув одну ногу через верхнюю перекладину и сжимая веревку красной, как мясо, рукой. – Еще скажете, что вы так и привыкли – покупать корову с револьвером в руках. А может, вы, когда выходите сеять хлопок или кукурузу, тоже с собой револьвер носите?

Это была картина: Минк с перекинутой через перекладину ногой, Хьюстон у загородки с револьвером, опущенным книзу, а негр стоит не двигаясь, ни на кого не смотрит, прищурился, только белки глаз чуть видны.

– Предупредили бы меня заранее, я бы, может, тоже револьвер прихватил.

– Хорошо, – сказал Хьюстон. Он бережно положил револьвер на столб загородки около себя. – Брось веревку. Перелезай через забор около столба, где стоишь. Я отойду вон

к тому столбу, а ты считай до трех – посмотрим, кто его захватит, и начнем торги.

– А лучше пускай негр считает, – сказал Минк. – Ему только и надо сказать «три!». У меня-то негра при себе нету. А, как видно, человеку без негра и без револьвера не обойтись, когда с вами рядишься насчет скотины.

Он перекинул ногу обратно и прыгнул на землю перед загородкой.

– Так что я, пожалуй, схожу в лавку, поговорю с дядей Билли и с констеблем. Видно, надо было мне с самого начала к ним пойти, а не топать сюда по такому холоду. Я бы попросил оставить тут веревку, не тащить же ее домой, да вы, пожалуй, потом спросите с меня долларов тридцать пять за хранение, – как видно, это ваша крайняя цена за все чужое, что попадает к вам на участок. – Уже уходя, он сказал: – Ну, пока! А если будете продавать скот по восемь долларов, смотрите, чтоб вам фальшивые денежки не всучили.

Он шагал довольно твердо, но в такой пронзительной злобе, что сначала ничего перед собой не видел, и в ушах стоял страшный звон, будто кто-то разрядил двустволку прямо у него над ухом. В сущности, он и свою ярость предчувствовал, и теперь в одиночестве, без людей, лучше всего можно было дать ей выветриться. Главное, ему было ясно, что он заранее предвидел все, как оно потом и вышло, и теперь надо было только собраться с мыслями. В душе он предчувствовал, что его злая судьбина непременно изобретет какую-ни-

будь каверзу, и то, что ему, очевидно, придется заплатить еще два с половиной доллара мировому судье Уорнеру за бумагу, которую констебль предъявит Хьюстону, отбирая у него корову, ничуть его не удивило: просто снова вмешались *Они*, снова *Они* испытывают, проверяют, сколько он может вынести и выдержать.

Так что, в сущности, его не удивило и то, что произошло потом. В сущности, он сам был виноват, он просто недооценил *Их*: ему казалось, что отнести восемь долларов Хьюстону, накинуть веревку на корову и увести ее домой – дело настолько простое, настолько мелкое, что *Они* нипочем вмешиваться не станут. Но тут он ошибся: избавиться от *Них* было не так-то просто. Уорнер наотрез отказался выдать бумагу, наоборот, два дня спустя семь человек, считая и негра, – он сам, Хьюстон, Уорнер, констебль и два опытных торговца скотом, – стояли у загородки хьюстоновского загона; и негр провел корову перед экспертами.

– Ну, как? – спросил наконец Уорнер.

– Я бы дал тридцать пять, – ответил первый торговец.

– А если ее покрыл породистый бык, я бы набавил до тридцати семи, даже до тридцати семи с половиной, – сказал второй.

– Может, дали бы и сорок? – спросил Уорнер.

– Нет, – сказал второй, – а вдруг она не стельная?

– Потому-то я бы тридцати семи с половиной не дал, – сказал первый.

– Ладно, – сказал Уорнер, высокий, тощий, узкобедный человек с густыми усами, точь-в-точь как у его покойного отца-кавалериста из форрестовского отряда. – Считайте тридцать семь с половиной. Значит, делим пополам. – Он посмотрел на Минка. – Плати Хьюстону восемнадцать долларов и семьдесят пять центов и можешь забирать свою корову. Да ведь у тебя, наверно, нету восемнадцати долларов и семидесяти пяти центов?

Он стоял спокойно, положив докрасна обветренные руки, торчащие из рукавов, на верхнюю жердину загородки, в глазах у него совсем потемнело, в ушах стоял звон, будто кто-то разрядил двустволку прямо у него над головой, но на его лице застыло неопределенное кроткое выражение, почти похожее на улыбку.

– Нету, – сказал он.

– Может быть, его родич, Флем, даст ему денег? – спросил второй скотопромышленник. Никто не стал ему отвечать, даже не напомнил, что Флем все еще в Техасе, куда он уехал с женой на медовый месяц в августе сразу после свадьбы.

– Что же, пускай отработает, – сказал Уорнер. Он обратился к Хьюстону: – Есть у вас для пего какая-нибудь работа?

– Я собирался ставить еще одну загородку, – сказал Хьюстон. – Посчитаю ему по пятьдесят центов за день. Пусть поработает тридцать семь дней и еще полдня с рассвета до обеда, пускай копает ямы для столбов и проволоку тянет. Толь-

ко как быть с коровой? Мне ее держать или же Квик (Квик был констебль) ее заберет?

– Хотите, чтоб Квик ее взял? – спросил Уорнер.

– Нет, – сказал Хьюстон. – Она тут так долго пробыла, что еще, чего доброго, заскучает. И потом, если она тут останется, Сноупс может ее каждый день видеть, а всегда веселей работать, когда знаешь, за что работаешь.

– Ну, ладно, ладно, – торопливо сказал Уорнер. – Значит, договорились. Хватит с меня болтовни.

Вот так ему и пришлось работать. Но он гордился, что никогда, ни за что он с этим не примирится. Даже если придется потерять корову, даже если корову вообще не брать и, так сказать, успокоиться. А это – то есть отказаться от коровы – было проще простого. Больше того: он мог бы получить восемнадцать долларов семьдесят пять центов, если бы пошел на это, и тогда с теми восемью долларами, от которых отказался Хьюстон, у него набралось бы почти двадцать семь долларов, а он и не помнил, когда держал в руках такую сумму, потому что даже после осенней продажи хлопка, за вычетом арендной платы Уорнеру и платы за товар, забранный в его лавке, у него еле-еле остались в наличности те восемь – десять долларов, на которые он напрасно надеялся выкупить корову у Хьюстона.

В сущности, сам Хьюстон предложил ему этот выход. Уже второй или третий день он копал ямы и ставил в них тяжелые столбы. Хьюстон подъехал на своем жеребце и оста-

новился, глядя на него. Но он не прервал работу и даже не поднял глаз.

– Эй! – сказал Хьюстон. – Посмотри на меня!

Он поднял голову, продолжая работать. Хьюстон уже протянул руку, и он, Минк, увидел в ней деньги, как насчитал Уорнер: восемнадцать долларов семьдесят пять центов.

– Вот они, бери. Бери и уходи домой, забудь про корову.

Но он уже опустил глаза, взвалил на плечо столб, который казался тяжелее и больше его самого, поставил в яму, засыпал и утрамбовал землю черенком лопаты и только слышал, как жеребец повернулся и поскакал прочь. Потом настал четвертый день, и снова он услышал, как подскакал и остановился жеребец, но даже не поднял глаз, когда Хьюстон его окликнул:

– Сноупс. – И опять: – Сноупс. – А потом он сказал: – Минк, – а он, Минк, не поднял глаз и даже не приостановился, а только сказал:

– Ну, слышу.

– Брось. Тебе надо свой участок пахать, сеять. Тебе на жизнь заработать надо. Ступай домой, засеи участок, потом можешь вернуться.

– Времени у меня нет на жизнь зарабатывать, – сказал он, не останавливаясь. – Надо корову вернуть домой.

А на следующее утро подъехал уже не Хьюстон на своем жеребце, а сам Уорнер в пролетке. Правда, он, Минк, не знал, что Уорнер вдруг испугался, как бы не нарушился мир

и покой поселка, который он держал железной рукой ростовщика при помощи закладных и векселей, спрятанных в сейфе у него в лавке. А когда он, Минк, поднял глаза, он увидел деньги в сжатом кулаке Уорнера, лежавшем на коленях.

– Я записал эти деньги на твой счет в лавке, – сказал Уорнер. – Сейчас проезжал твой участок. Ты ни одной борозды не вспахал. Собирай-ка инструмент, бери деньги, отдай их Джеку, возьми эту корову, будь она проклята, и ступай домой пахать.

Уорнер – дело другое, для него он остановился и даже оперся на лопату.

– А вы слышали, чтоб я жаловался на это самое ваше решение насчет коровы? – спросил он.

– Нет, – сказал Уорнер.

– Так не мешайте мне, занимайтесь своим делом, а я займусь своим, – сказал он.

И тут Уорнер соскочил с пролетки, – хоть он и был так стар, что должники, подлизываясь к нему, звали его «дядя Билл», но все еще ловок, – одним прыжком, с вожжами в руке и кнутом в другой.

– А, черт тебя подери! – крикнул он. – Собирай инструмент и катись домой. К вечеру я вернусь, и, если увижу, что ты не начинал пахоту, я вышвырну все твои манатки на дорогу и завтра же утром сдам кому-нибудь твою лачугу.

И он, Минк, посмотрел на него с тем же неопределенным кротким выражением лица, почти что с улыбкой.

– Это на вас похоже, наверно, вы так и сделаете! – сказал он.

– И сделаю, будь я проклят! – сказал Уорнер. – Катись! Ну! Сию минуту!

– Что ж, придется идти, – сказал он. – Значит, это будет второе решение судьи по нашему делу; ничего не попишешь, всякий порядочный человек закон исполняет.

И он пошел было прочь.

– Эй, погоди, – сказал Уорнер, – возьми деньги!

– Зачем? – сказал Минк и пошел дальше.

К концу дня он вспахал почти целый акр. Поворачивая плуг на новую борозду, он увидел, что по дороге едет пролетка. На этот раз в ней сидели двое – Уорнер и констебль Квик, и пролетка ехала шагом, потому что к задней оси была привязана корова. Но торопиться он не стал, довел и эту борозду до конца, потом выпряг мула, привязал его к забору и только тогда подошел к пролетке, в которой сидели двое, глядя на него.

– Я заплатил Хьюстону восемнадцать долларов, вот твоя корова, – сказал Уорнер. – И если я еще раз услышу, что ты или какая-нибудь твоя живность забралась на землю Джека Хьюстона, я тебя упрячу в тюрьму.

– А как же семьдесят пять центов? – сказал он. – Куда же эти шесть монет девались? На корову вышло судебное решение, не могу я ее взять, пока судебное решение не выполнено.

– Лон, – сказал Уорнер констеблю ровным, почти что мягким голосом, – отведи корову вон в тот загон, сними с нее к чертовой матери веревку и садись обратно в пролетку.

– Лон, – сказал Минк таким же мягким и таким же ровным голосом, – если ты поставишь эту корову в мой загон, я возьму ружье и пристрелю ее.

Больше он на них и не смотрел. Он вернулся к мулу, отвязал его от загородки, запряг и повел следующую борозду, идя спиной к дому и к дороге, так что только на повороте он на миг увидел медленно ползущую пролетку, за которой тащилась корова. Он упорно пахал дотемна, потом поужинал елким салом и лепешками с патокой, из подозрительно затхлой муки, причем все, что он ел, принадлежало Биллу Уорнеру, пока он, Минк, не соберет и не продаст будущей осенью еще не посеянный хлопок.

Через час, захватив керосиновый фонарь, чтобы видно было, где копать, он снова пошел строить загородку Хьюстону. Он ни разу не прилег, он даже не остановился, хотя проработал с рассвета весь день, и, когда снова занялась заря, оказалось, что он проработал без сна целые сутки: взошло солнце, и он вернулся на свое поле, к мулу и плугу, и только в полдень прервал пахоту на обед, потом снова вернулся в поле, снова пахал, или так ему казалось, пока, очнувшись, он не увидел, что лежит в последней борозде под задранными рукоятками ушедшего в землю плуга и неподвижный мул все еще стоит в упряжке, а солнце медленно заходит.

Потом снова ужин, похожий и на вчерашний ужин, и на сегодняшний завтрак, и снова, неся зажженный фонарь, он прошел через выгон Хьюстона туда, где осталась его лопата. Он даже не заметил, что Хьюстон сидит на гряде приготовленных столбов, пока Хьюстон не встал, держа ружье наперевес.

– Уходи! – сказал он. – И не смей приходить на мой участок после захода солнца. Хочешь доконать себя – доканывай, только не здесь. Уходи отсюда. Может, я не могу запретить тебе отработывать за эту самую корову днем, но запретить работать по ночам я имею право.

Но он и это мог выдержать. Потому что он знал, как это бывает. Он все узнал на собственной шкуре, сам себя научил, потому что другого выхода не было: он понял, что человек все может вынести, если он спокойно и просто откажется что-нибудь принять, признать, чему-то поддаться. Теперь он даже мог спать по ночам. И не потому, что у него было время выспаться, а потому, что ему стало спокойнее, не надо было торопиться, спешить. Он допахал арендованный участок, взрыхлил борозды, пока стояла хорошая погода, а в непогожие дни кончал строить загородку Хьюстону, ведя счет каждому отработанному дню, каждым отработанным пятидесяти центам на выкуп коровы. Но никакой спешки, никакой гонки, наконец пришла весна, и земля потеплела, готовая принять посев, и он увидел, что придется потерять много времени, не ходить на постройку загородки, по-

тому что надо заняться севом, он отнесся к этому спокойно, взял семена хлопка и пшеницы в лавке Уорнера и засеял свой участок быстрее, чем обычно, потому что надо было снова идти делать загородку и в собственном поте растворить еще полдоллара. Он и своим терпением гордился. только не сдаваться, потому что так он мог победить *Их*: конечно, *Они* могут в какую-то минуту пересилить его, но никто, ни один человек не способен ждать дольше, чем он умел ждать, зная, что только ожидание поможет, поспособствует, послужит ему.

И наконец наступил вечер того дня, когда он мог отбросить терпение вместе с лопатой, носилками и остатком проволоки. Хьюстон тоже, наверно, знал, что наступил последний день. Похоже, что Хьюстон весь день ждал, когда он подойдет по тропке к загону и в ту минуту, как солнце сядет за деревьями на западной опушке, заберет корову; похоже, что Хьюстон весь день с самого рассвета сидел у окна кухни, чтобы видеть, как он, Минк, придет на работу в этот последний день и принесет веревку, чтобы отвести корову домой. И, в сущности, весь этот последний день, копая последние ямы и вколачивая в них не колья, а последнюю обиду, которую *Они* нанесли ему, используя Уорнера как орудие, чтобы испытать его, посмотреть, сколько же он еще может выдержать, он представлял себе, как Хьюстон понапрасну шныряет вдоль дороги, обыскивая каждый куст, каждую канавку, чтобы найти, где же он спрятал веревку.

А он ее, веревку, даже не принес с собой, он работал упорно, пока солнце совсем не село и никто уже не мог бы сказать, что полный день не закончен, не отработан, и только тогда собрал лопату, и кирку, и носилки и отнес их к заго-ну, аккуратно сложив их в углу у загородки, где и негр, и Хьюстон, и кто угодно, кому придет охота поглядеть, обяза-тельно их увидят, а сам при этом даже ни разу не взглянул в сторону хьюстоновского дома, ни разу даже не взглянул на корову, про которую теперь никто не мог сказать, что она не его собственная, – а просто прошел по дороге две мили до своей лачуги.

Он поужинал спокойно, неторопливо, даже не прислуши-ваясь, ведут ли к нему корову и кто ее на этот раз ведет. Может, ее даже приведет сам Хьюстон. Впрочем, если поду-мать, Хьюстон похож на него. Хьюстона тоже запугать нелег-ко. Пусть сам Уорнер спохватится, пусть-ка он позаботит-ся, пришлет констебля и вернет ему корову теперь, когда, по решению судьбы, отработано все до последнего цента, и он, Минк, жует свои лепешки с салом и пьет кофе с тем же са-мым кротким выражением лица, похожим на улыбку, пред-ставляя себе, как Квик идет по дороге с веревкой, спотыка-ясь и бранясь, оттого что ему приходится таскаться по тем-ноте, хотя ему лучше бы сидеть дома, сняв сапоги, и ужи-нать, и Минк про себя уже повторял, придумывал, как он ему скажет: «Я отработал восемнадцать с половиной суток. А сутки считаются от зари до зари, значит, и нынешний день

кончится только завтра, на рассвете. Так что отведи-ка ты эту корову туда, куда вы с Биллом Уорнером ее поставили восемнадцать с половиной суток назад, а завтра утром я сам ее заберу. Да напомни этому негру, пусть покормит ее пораньше, чтоб мне не ждать».

Но он ничего не услышал. И только тогда он понял, что ждал корову, рассчитывал, что ее, так сказать, доставят ему на дом. Его вдруг прошибло, пронзило страхом, он в ужасе понял, как непрочно спокойствие, в котором он, как ему казалось, жил с Той ночи, два месяца назад, когда он столкнулся с Хьюстоном у загона и тот пригрозил ему револьвером, понял, до чего хрупко то, что ему казалось спокойствием, и как ему теперь надо быть постоянно начеку, так как, очевидно, любой пустяк может снова отшвырнуть его назад, к той минуте, когда Билл Уорнер сказал, что надо отрабатывать восемнадцать долларов семьдесят пять центов, из расчета пятьдесят центов за день, только для того, чтобы вернуть свою собственную корову. Теперь придется выйти на свой выгон и поглядеть, не поставил ли Квик корову потихоньку, а потом скрылся, удрал: теперь придется зажигать фонарь и выходить в темноту – искать то, чего он наверняка не найдет. Мало того, придется объяснять жене, куда он идет с фонарем. И, конечно, пришлось ей ответить грубым, непристойным, коротким словом, когда она спросила: «Ты куда идешь? Разве Джек Хьюстон тебя не предупредил?» – да еще прибавить, не от грубости, а оттого, что она к нему

лезла:

– Разве что ты выйдешь да вместо меня...

– У, бесстыдник! – крикнула она. – При девчонках такие слова!

– Ну да! – сказал он. – А то, может, их пошлешь? Может, они вдвоем за одного взрослого сойдут. Хотя жрут они так, что, наверно, и одна справится.

Он пошел к хлеву. Конечно, он так и знал, коровы там не было, и он обрадовался. Все это, – ведь он заранее знал, что если кто-нибудь из них привел корову, то все равно надо выйти и проверить, – все это пошло на пользу, предупредило его (хотя ничего худого еще не случилось), какую штуку *Они* норовят ему подстроить. Хотят швырнуть его, пнуть, сбить с ног и тем погубить окончательно: *Они* не могли побороть его ничем – ни деньгами, ни нуждой, не могли истощить его долготерпение. Только одним они могли бы побороть его: захватить врасплох, отшвырнуть назад, в то состояние свирепой, слепой ярости, когда он терял рассудок.

Но теперь все было в порядке. Он даже выгадал: завтра утром, когда он возьмет веревку и пойдет за коровой, не Квик, а сам Хьюстон его спросит: «Чего же ты не пришел вчера вечером? Твой последний, восемнадцати-с-половиной-долларовый день кончился вчера к вечеру». И он ответит самому Хьюстону: «День считается от зари до зари. Значит, этот восемнадцати-с-половиной-долларовый день кончился сегодня утром, если только этот ваш хворый негр уже

успел покормить мою корову».

Всю ночь он спал без просыпа. Потом позавтракал и на рассвете не торопясь пошел по дороге к Хьюстонову загону с мотком веревки на руке, остановился, облокотясь на верхнюю жердину, пока Хьюстон не подошел и не остановился футах в десяти от него.

– С тобой расчет не закончен, – сказал Хьюстон. – Тебе еще два дня отрабатывать.

– Так, так, – сказал он негромко и мирно, почти что ласково. – Конечно, человек, у которого есть загон, полный породистых быков и телок, не говоря уж о новой загородке, которую ему даром выстроили ни за что ни про что, он, конечно, может и ошибиться насчет какой-то мелочишки, каких-то долларов и центов, особенно когда их и всего-то восемнадцать семьдесят пять, не больше. А у меня только и есть что восьмидолларовая корова, я-то полагал, что ей восемь долларов красная цена. И не так я богат, чтоб не уметь сосчитать до восемнадцати с половиной.

– Да я не про эти восемнадцать, – сказал Хьюстон. – Я говорю...

– И семьдесят пять центов, – сказал Минк.

– ...про девятнадцатый. Ты должен еще доллар.

Он не двинулся с места, не переменялся в лице, он только сказал:

– Какой еще доллар?

– Штрафной, – сказал Хьюстон. – Закон говорит, что если

кто приютит бродячую скотину, а хозяин не придет за ней до вечера в тот же день, он должен заплатить один доллар штрафу за ее содержание.

Он стоял не шевелясь, даже рука не сжала свернутую веревку крепче.

– Так вот почему вы так поторопились в тот день и не дали Лону отвести ее к себе, – сказал он. – Лишний доллар захотели получить.

– Черт с ним, с лишним долларом, – сказал Хьюстон, – и к черту Лона. Пусть бы забирал. А держал я ее у себя, чтобы тебе не ходить лишнего до Лона. Не говоря уже о том, что я ее каждый день кормил, а Лон Квик, наверно, не стал бы. Вон там и кирка, и лопата, и носилки, в углу, куда ты их вчера поставил. Можешь когда угодно...

Но он уже повернулся, уже пошел спокойным ровным шагом со свернутой веревкой на руке по дорожке к шоссе, но не домой, а в противоположную сторону, к лавке Уорнера, за четыре мили отсюда. Он шел в это ясное, ласковое молодое летнее утро меж зеленеющих перелесков, где уже давно отцвел шиповник, терн и дикая слива, меж засеянных полей, где густо и крепко поднялись хлопок и кукуруза, но все же не так густо, как на его маленьком участке (видно, хозяева этих участков работали далеко не так спокойно и неторопливо, как, по его представлению, работал он); спокойно шагал он по свежей и спелой земле, до краев налитой жизнью, молнией мелькали птицы в гомоне и гаме, зайчата шныряли

под ногами, их тонкие тельца казались двухмерными, если не считать быстроту третьим измерением, – шагал к лавке Уорнера.

Трухлявая деревянная веранда над трухлявым деревянным крыльцом, наверно, сейчас пустовала. Мужчины в комбинезонах, – закончив дела, они обычно сидели весь день на корточках или стояли, прислонясь к стенке, на улице или в самой лавке, – должно быть, сегодня ушли в поле: копают канавы, чинят загородки или ведут первую прополку либо вручную, либо культиватором. Да и в лавке было пусто. Он подумал: «Был бы Флем здесь...» – зная, что Флема тут нет, ему, Минку, больше чем кому другому было известно, что свадебное путешествие продлится, пока им можно будет вернуться домой и объявить всем в поселке, что ребенок, которого они привезут с собой, родился уж никак не раньше, чем в мае месяце. Впрочем, не то, так другое: ведь отсутствие его родича, когда он так был нужен, тоже только проверка, издевка, глумление: снова *Они* испытывают его не затем, чтобы посмотреть, переживет ли он все это, – в этом *Они* не сомневались, – а просто ради удовольствия видеть, как он вынужден делать лишнее, бессмысленное, то, что никому не нужно.

Но и Уорнера тоже в лавке не было. Этого Минк не ждал. Он был уверен, что *Они* не упустят возможности до отказа набить лавку людьми, которым место в поле, на работе, – пускай все эти лентяи и бездельники слушают развесив уши, о чем он пришел поговорить с Биллом Уорнером. Но и Уор-

нера не было, в лавке оказался только Джоди Уорнер и Лэмп Сноупс – приказчик, которого Флем поставил за себя, когда прошлым летом взял расчет и женился.

– Ежели он поехал в город, он до ночи не вернется, – сказал Минк.

– А он не в городе, – сказал Джоди, – он поехал посмотреть мельницу на Панкин-Крик. Говорил, к обеду вернусь.

– Он до ночи не приедет, – сказал Минк.

– Как хочешь, – сказал Джоди. – Можешь идти домой, придешь завтра.

Выбора не было. Конечно, он мог бы прошагать пять миль до дому и потом пять миль обратно, не торопясь, до полудня, если бы ему хотелось пройтись. Либо мог постоять у лавки до полудня, но дождался бы старика Уорнера только в ужин, потому что Они ни за что не упустили бы случай заставить его, Минка, потерять весь рабочий день. А это значило, что придется полночи копать ямы для хьюстоновской загородки, потому что ему нужно было отработать два дня к послезавтра, к полудню, чтобы закончить то, что ему необходимо было сделать и для чего надо было еще съездить в город.

А не то он мог бы вернуться домой, поесть, а потом опять прийти сюда, – день-то все равно уже пропал. Но *Они*, конечно, и такой случай не упустят: стоит ему отойти, как пролетка вернется с Панкин-Крик и Билл Уорнер вылезет из нее. Поэтому он остался ждать в лавке до полудня, и, когда Джоди ушел домой поесть, Лэмп отрезал ломоть сыру и отсыпал

пригоршню галет.

– Может, поешь? – сказал Лэмп. – Билл и не заметит.

– Нет, – сказал Минк.

– Ладно, запишу за тобой, если тебя совесть заедает из-за одного Уорнера гроша.

– Я есть не хочу, – сказал Минк. Но одну вещь он мог сделать, одну штуку подготовить, благо это было недалеко. И он пошел туда, в одно заранее намеченное место, и сделал то, что надо, – ведь он заранее знал, что ему скажет Уорнер, – и потом вернулся в лавку, и действительно, к самому концу дня, так, что день этот уже окончательно пропал, подъехала пролетка, и Билл Уорнер вылез из нее и стал, как обычно, привязывать лошадь к столбу, когда к нему подошел Минк.

– Ну что? – сказал Уорнер. – Что там еще?

– Мне бы кое-что насчет закона разъяснить надо, – сказал он. – Насчет закона про оплату содержания.

– Что, что? – переспросил Уорнер.

– Вот именно, – сказал он спокойно и негромко, с невозмутимым, мирным лицом, почти с улыбкой. – Я-то думал, что уже к вечеру отработал те тридцать семь с половиной дней по полдоллара за день. А сегодня утром пошел забирать свою корову, и оказалось, что я еще не отделался, должен еще два дня штрафных работать, за содержание.

– Сто чертей! – сказал Уорнер. Он с проклятием надвинулся на низкорослого Минка. – Это тебе Хьюстон сказал?

– Вот именно, – сказал Минк.

– Сто чертей! – повторил Уорнер. Он вытащил из заднего кармана громадный потертый кожаный бумажник, перетянутый ремнем, как чемодан, и вынул оттуда долларовую бумажку. – Бери, – сказал он.

– Значит, и вправду в законе сказано, что я должен уплатить еще доллар, прежде чем мне отдадут мою корову?

– Да, – сказал Уорнер. – Раз Хьюстон требует. Бери доллар.

– А он мне не нужен, – сказал Минк, уже уходя. – Мы с Хьюстоном не деньгами рассчитываемся, мы с ним рассчитываемся ямами. Мне только надо было проверить закон. А раз так по закону, значит, мне, как видно, надо подчиниться, я против закона не пойду. Ежели законам не подчиняться, так зачем зря деньги тратить – сочинять их, записывать.

– погоди, – сказал Уорнер. – Не смей туда ходить. Не смен и близко подходить к Хьюстону. Ступай домой и жди. Я тебе доставлю корову, вот только найду Квика.

– Не нужно, – сказал Минк. – Может, у меня в запасе меньше ям, чем у Хьюстона долларов, но думаю, что еще на два дня у меня их хватит.

– Минк! – крикнул Уорнер. – Минк! Вернись!

Но Минк уже ушел. Правда, спешить ему было некуда, день все равно был загублен. Назавтра он пошел в новый загон Хьюстона и пробыл там до заката. На этот раз он спрятал инструменты под кустом, как делал всегда, собираясь вернуться утром, пошел домой, поужинал соленым салом,

мучной болтушкой и недопеченными лепешками. Дома были только одни часы – жестяной будильник, который он поставил на одиннадцать вечера, чтобы встать. Он оставил себе от ужина кофе в кофейнике и немного мяса на застывшей сковородке да пару лепешек, так что уже была почти полночь, когда яростный лай пса разбудил негра и тот вышел из хижины, а он, Минк, сказал:

– Это мистер Сноупс. Явился на работу. Сейчас только пробило полночь, так что отметить!

Ему надо было дать о себе знать, чтобы уйти в полдень. И *Они* вместе с Хьюстоном тоже следили за ним, потому что, когда солнце достигло зенита и он отнес инструменты в угол загородки, где уже была привязана его корова, но он снял чужую веревку и, привязав к рогам свою, уже не повел ее, а сам побежал за ней рысцой, хлеща ее концом веревки по бокам.

Ему надо было поскорее отвести ее домой и поставить в загон. Он и сегодня снова не успеет пообедать, потому что надо бежать пять миль напрямик к лавке Уорнера, чтобы в два часа поймать почтовую пролетку на Джефферсон, так как патронов с пулями в лавке Уорнера не держали. Жена с дочками тоже будет сидеть за обедом, а так, по крайней мере, не надо было ругаться, клясть их вполголоса, а может быть, и ударить, толкнуть жену, чтобы подобраться к очагу, вынуть вставной кирпич и вытащить из-под него табакерку с той единственной бумажкой в пять долларов, ко-

торуую они хранили на черный день, как лодочник, которому пришлось распродать, заложить или проиграть все свое имущество, не может расстаться с каким-нибудь буйком или спасательным кругом. Потому что у него было пять зарядов для старой крупнокалиберной двустволки, главным образом мелкая дробь, и лишь один заряд, каким стреляют дроф или гусей. Но они лежали бог знает сколько лет – он и не помнил сколько. А кроме того, даже если бы он мог гарантировать, что они сработают, Хьюстон заслуживал лучшего.

Он бережно спрятал бумажку в кармашек комбинезона, сел в почтовую пролетку, а к четырем часам дня за последним перевалом показался Джефферсон, и он из простой предосторожности простым инстинктивным опасливым жестом сунул руку в кармашек, ничем не подавая виду, и вдруг стал лихорадочно рыться в опустевшем кармане, куда – он отлично помнил – была тщательно засунута бумажка, потом, не двигаясь, сидел рядом с почтальоном, пока пролетка спускалась с горы. «Надо, – подумал он, – лучше уж сразу», – а вслух сказал спокойно:

– Ладно. Отдайте мои деньги.

– Что? – спросил почтальон.

– Деньги мои, пять долларов, они у меня были в этом кармане, когда я сел к вам у лавки Уорнера.

– Ах ты мелкая гадина! – сказал почтальон. Он остановил пролетку у обочины, закрутил вожжи вокруг кнутовища и подошел с той стороны, где сидел Минк. – Вылезай! – сказал

он.

«Теперь надо с ним драться, – подумал Минк, – а ножа при мне нету, если потянусь за палкой, он перехватит. Будь что будет». И он слез с пролетки, а почтальон подождал, пока он подымет свои тощие, жалкие руки. Потом – оглушающий удар, но Минк почувствовал скорее не его, а жесткую неподатливость земли; грохнувшись спиной, он лежал неподвижно, почти спокойно и смотрел, как почтальон влез в пролетку и уехал.

Тогда он встал. Он подумал: «А ведь можно было бы не ездить, и пять долларов были б целы». Но мысль эта мелькнула и пропала, и он пошел по дороге ровным шагом, словно зная, зачем идет. Да он и знал, он уже все вспомнил: два или три года назад не то Солон Квик, не то Вернон Талл – неважно кто – видел медведя, последнего медведя в этих краях, он ушел в лес через плотину у мельницы Уорнера, и на него устроили облаву, и кто-то поскакал верхом в Джефферсон за Айком Маккаслином и Уолтером Ювеллом – лучшими охотниками в округе, и они приехали с крупнокалиберными ружьями, с охотничьими собаками, поставили флажки и прочесали долину, где видели медведя, но тот уже ушел. Теперь он знал, что ему делать, – вернее, где попытаться, и, перейдя площадь, он вошел в скобяную лавку, где Маккаслин был совладельцем, и посмотрел Маккаслину в глаза, спокойно подумав: «С ним ничего не выйдет. Он по лесам ходил, а там либо есть олени, медведи, пантеры всякие, либо их нет, так

или эдак, никаких выдумок. Не поверит он, если ему соврать, хоть бы я и сумел». Но уже нельзя было не попробовать.

– А зачем вам два патрона с пулями? – спросил Маккаслин.

– Нынче утром один черномазый сказал, будто видел след медведя на болоте, у Блекуотерской плотины.

– Нет! – сказал Маккаслин. – Зачем вам эти два патрона?

– Как уберу хлопок, так расплачусь, – сказал Минк.

– Нет, – сказал Маккаслин. – Не продам. У вас там, во Французовой Балке, ничего такого нет, чтоб нужно было стрелять пулями.

Он был не слишком голоден, хотя и не ел ничего со вчерашнего дня: просто надо было как-то протянуть время до завтрашнего утра, пока не выяснится, отвезет его почтарь обратно до лавки Уорнера или нет. Он знал одну маленькую захудалую харчевню в дальнем проулке – ее держал известный всей Французовой Балке агент по продаже швейных машин Рэтлиф, и если найдется полдоллара или хотя бы сорок центов, то там можно съесть котлеты и на никель бананов, и еще двадцать пять центов останется.

А за эти деньги можно было получить койку в Коммерческой гостинице, некрашеном двухэтажном бараке тоже в дальнем проулке; через два года владельцем этой гостиницы станет его родич Флем, чего, впрочем, Минк еще не знал. В сущности, он даже ни разу не вспомнил своего родича с того вчерашнего утра, как вошел в лавку Уорнера, где Флем, до

того как уехал с женой в Техас, всегда стоял на самом видном месте, – но ведь ему только надо было переждать до восьми часов утра, а ежели каждый раз за ожидание он стал бы платить наличными, он давным-давно очутился бы в рабочем доме.

Уже наступил вечер, вокруг площади загорелись огни, свет из аптеки косо падал на мостовую, и на камнях тускло дрожали мутно-розовые и зеленоватые пятна от шаров в окне, наполненных зеленой и красной жидкостью, Минку был виден прилавок с газированной водой и молодежь – молодые люди и девушки в городском платье, которые пили сладкие разноцветные сиропы, и он видел, как все эти парочки, молодые люди с девицами, и старики, и дети шли куда-то в одну сторону. Потом он услышал музыку, играл рояль, очень громко. Он пошел за толпой и увидел на пустыре высокую дощатую загородку с освещенным окошечком кассы у входа. Называлось все это «Светоч», он видел его и раньше снаружи, иногда днем, когда приезжал по субботам в город, а три раза – вечером, освещенным, как сейчас. Но внутри он никогда не был, потому что те три раза, когда он попадал в Джефферсон к вечеру, он приезжал верхом на муле из поселка с компанией мужчин, своих ровесников, чтобы поспеть ранним поездом в мемфисский публичный дом, и те несколько жалких долларов, что были у него в кармане, он силой отрывал от своего скудного пропитания, как отрывал и те два дня от работы дома, да и кровь ему в то время распалаяло

желание куда более настойчивое и жадное, чем желание побывать в кино.

Конечно, сейчас он мог бы истратить несколько центов. Однако он стал в стороне, пока очередь медленно продвигалась мимо окошечка кассы и пока последний не прошел внутрь. Потом резкий ослепительный свет за загородкой замигал и замер в холодном мерцанье, и, подойдя к загородке, прильнув глазом к щели, он увидел в длинной вертикальной прорези кусок, часть зрительных мест – темный ряд неподвижных голов, над которыми жужжащий конус света раскалывался в пылком и призрачном движении тел, в пляске и мерцании несбыточных снов и надежд, искусительных и бессвязных, оттого что ему видна была только узкая вертикальная полоска экрана, и он смотрел, пока голос из билетного окошка рядом не проговорил:

– Заплатите пять центов и войдите. Там все видно.

– Нет, премного благодарен, – сказал он. И пошел дальше. Площадь теперь опустела, а когда кончился сеанс, молодежь, юноши и девушки, прежде чем уйти домой, снова станут пить и есть всякие сласти, которых он никогда не пробовал. Он надеялся, что, быть может, увидит хоть один автомобиль: их в Джефферсоне уже было целых два – красный гоночный, принадлежавший мэру, мистеру де Спейну, и белый «стимер», собственность президента банка – старого банка города Джефферсона (полковник Сарторис, тоже богач, президент другого банка – нового банка, – не только не

желал покупать автомобиль, но даже три года назад добился закона, который запрещал ездить по улицам Джефферсона в автомобилях, после того как самодельная машина, которую некто по фамилии Баффало сварганил у себя на заднем дворе, напугала чистокровных коней полковника так, что они понесли). Но автомобиля он не увидел. Когда он переходил площадь, она была по-прежнему пуста. Дальше был отель, «Холстон-хаус», коммивояжеры сидели на тротуаре в кожаных креслах: вечер был теплый, один из наемных экипажей уже стоял наготове, и негр-слуга грузил чемоданы и ящики с образцами товаров для тех, кто собирался уезжать на юг.

Значит, надо было идти поскорее, чтобы не опоздать к приходу поезда, хотя все четыре освещенных циферблата часов над городским судом показывали только десять минут девятого, а он знал по опыту, что новоорлеанский поезд прибывает из Мемфиса в Джефферсон всего без двух минут девять. Правда, он знал и то, что товарные поезда приходят в любое время, не говоря уж о другом пассажирском поезде, на котором он тоже ездил, проходившем на север в половине пятого. Так что он мог просидеть ночь, не двигаясь, и все же наверняка увидеть до рассвета два, а то и пять, и шесть поездов.

Он прошел с площади мимо темных домов, где старики, тоже не ходившие в кино, сидели в качалках, смутно видных в прохладной темноте дворов, потом через негритянский квартал, куда даже электричество провели, – живут мирно,

без забот, им не надо в одиночку биться и бороться, и не затем, чтобы добиться правды и справедливости, потому что все это давно потеряно, но чтобы защитить хоть самые основы, хоть свое право на них, а вместо этого они могут поболтать друг с дружкой, а потом пойти к себе домой, пусть всего лишь в негритянскую лачугу, и лечь спать, вместо того чтобы идти всю дорогу до вокзала, лишь бы на что-то посмотреть, пока проклятый почтарь не выедет завтра в восемь утра.

Потом – вокзал, красные и зеленые глазки семафоров, гостиничный омнибус, наемные экипажи, самоходная коляска Люшьюса Хоганбека, длинный, залитый электричеством перрон, полный мужчин и мальчишек, которые тоже пришли поглазеть на проходящие поезда: они тут стояли и в те три раза, когда он сам сошел с этого поезда, и на него тоже смотрели так, будто он приехал бог весть откуда, а не просто из мемфисского борделя.

Потом – поезд, четыре гудка у северного переезда, свет фар, грохот, колокол паровоза, машинист и кочегар, смутно видные наверху, над струей шипящего пара, тормоза, багажные и пассажирские вагоны, потом вагон-ресторан и вагоны, где люди спят, пока едут. Поезд останавливается. Негр, куда нахальнее, чем хьюстоновский слуга, выходит со складным стулом, за ним кондуктор, потом богатые люди весело садятся в вагоны, где уже спят другие богачи, за ними – негр со своим стульчиком и кондуктор, кондуктор высовывается, машет паровозу, паровоз отвечает кондуктору, отвечает пер-

выми короткими, низкими гудками отправления.

Потом двойной рубиновый огонь последнего вагона быстро сплывается в одно, мигнув напоследок у поворота, четыре гудка отзываются, замирая у южного переезда, и он думает о дальних местах, о Новом Орлеане, где он никогда не бывал, да и не побывает, о дальних местах за Новым Орлеаном, где-то там, в Техасе. И тут в первый раз он по-настоящему подумал о своем уехавшем родиче, о единственном из рода Сноупсов, который выдвинулся, вырвался и то ли родился с этим, то ли научился – сам себя вышколил, приобрел эту сноровку, это везенье, это умение тягаться с *Ними*, защищаться от *Них*, одолевать *Их*, на что у него, Минка, как видно, ни сноровки, ни везенья не хватило. «Надо было мне подождать, пока он вернется», – подумал он, проходя по уже опустевшей безлюдной платформе, и только тут заметил, что подумал не «надо подождать» Флема, а "надо было подождать", как будто ждать уже поздно.

В зале ожидания вокзала с жесткими деревянными скамьями и холодной железной заплыванной табаком печкой тоже было пусто. Он видел вокзальные объявления насчет того, что плевать воспрещается, но нигде не было сказано, чтобы запрещалось человеку без билета сидеть в зале. Ничего, выяснится, и он стоял, невзрачный человек, отощавший без еды, без сна вот уже скоро сутки, с виду беспомощный и беззащитный, как подросток, как мальчик, в линялом латаном комбинезоне и рубахе, в тяжелых изношенных, жестких, как

железо, башмаках на босу ногу, в пропотевшей, просаленной черной фетровой шляпе, заглядывая в пустую голую комнату, освещенную единственной голой лампочкой. За окошком кассы он слышал прерывистое щелканье телеграфа и два голоса – это ночной дежурный изредка переговаривался с кем-то, а потом голоса умолкли, и телеграфист в зеленом козырьке выглянул из окошечка.

– Вам чего? – спросил он.

– Ничего, премного благодарен, – ответил Минк. – Когда следующий поезд?

– В четыре двадцать две, – сказал телеграфист. – Вам на него?

– Да, вот именно, – ответил он.

– Еще шесть часов ждать. Ступайте домой, выспитесь, а потом придете.

– Я из поселка, с Францужовой Балки, – сказал он.

– Ага, – сказал телеграфист. Он скрылся в окошечке, и Минк снова сел. Стало тихо, и он даже разобрал, расслышал, как в темных деревьях за путями шуршат и стрекочут кузнечики, в неумолчном мирном шорохе, словно сами секунды и минуты мирно тикают в мирной тьме летней ночи, отщелкивая время, одна за другой. Вдруг весь вокзал затрясся, задрожал, наполнился громом, уже проходил товарный поезд, а он все еще никак не мог заставить себя проснуться, чтобы успеть выйти на перрон. Он все еще сидел на жесткой скамье, скорчившись от холода, когда алые огни последнего

вагона прочертились в окнах, потом – в распахнутой двери, уводя грохот за собой, четыре гудка у перекрестка отдались в ушах и замерли. На этот раз телеграфист оказался в зале рядом с ним, а верхний свет был уже потушен.

– Проспали, – сказал он.

– Верно, – отозвался Минк. – Почти что и не слышал его.

– Почему не ляжете на скамейку поудобнее?

– А это не запрещается?

– Нет, – сказал телеграфист. – Я вас разбужу, когда объявят восьмой.

– Премного благодарен, – сказал он и прилег. Телеграфист ушел к себе, где уже снова стрекотал аппарат. «Да, – мирно подумал Минк, – если бы Флем был дома, он все бы это прекратил в первый же день, еще до того, как оно началось. Зря, что ли, он работал на Уорнера, и к Хьюстону был вхож, и к Квику, и ко всем другим. Он бы и сейчас все уладил, если бы я мог выждать. Только тут не во мне дело, не я ждать не могу. Это Хьюстон не дает мне ждать». Но он тотчас понял, что это неверно, что, даже если бы он ждал сколько угодно, *Они* сами помешали бы Флему возвратиться вовремя. И эту чашу ему придется испить до дна, придется ему все вынести, пойти на этот последний, бесполезный и бессмысленный риск, на опасность только ради того, чтобы показать, сколько он может вынести, до тех пор, пока *Они* не вернут его родича, чтобы спасти его. На той же чаше лежала и жизнь Хьюстона, но о Хьюстоне он не думал. Он как-то перестал думать о нем

с той минуты, когда Уорнер сказал, что придется заплатить штраф.

– Ладно уж, – сказал он мирно и на этот раз вслух, – ежели *Им* так хочется, пожалуй, я и это выдержу.

В половине восьмого он стоял в узком дворике за почтой, где казенные пролетки ждали, когда почтари выйдут из боковой двери с мешками почтовых отправлений. Он уже узнал пролетку с Французовой Балки и спокойно встал рядом, не слишком близко, однако так, что почтарь непременно должен был его увидеть, и наконец малый, который вчера сбил его с ног, вышел, увидел его, узнал с одного взгляда, потом подошел и уложил мешок с почтой в пролетку, а Минк не пошевелинулся, просто стоял, ждал – возьмет он его или нет, и почтальон сед в пролетку и распутал вожжи с кнутовища и сказал:

– Ну ладно. Как-никак тебе надо вернуться на работу. Полежай, – и Минк подошел и сел в пролетку.

Был уже двенадцатый час, когда он слез у лавки Уорнера, сказал: «Премного благодарен», – и пошел домой пять миль. Он поспел к обеду и ел медленно и спокойно, пока его жена скулила и грызла его (хотя, очевидно, она не заметила вынутый кирпич), допытываясь, где да зачем он пропадал всю ночь, потом кончил есть, допил свой кофе и, непристойно, злобно выругавшись, выгнал всех троих – жену и обеих девочек – окучивать всходы, а сам улегся на земляной под в галерейке под сквознячком и проспал до вечера.

Потом наступило завтрашнее утро. Он взял из угла тяжелое, принадлежавшее еще его деду, двуствольное ружье десятого калибра, у которого курки стояли над казенной частью высоко, как уши кролика.

– Это еще что? – закричала жена. – Ты что затеял?

– Зайцев бить, – сказал он. – Меня от сала уже мутит, – и, захватив патроны с самой крупной дробью из своего жалкого запаса, – там были ружейные патроны и со вторым, и с пятым, и с восьмым номером, – он стал пробираться даже не боковыми тропками и дорожками, а канавами, пролесками и оврагами, где его никто не приметит, не увидит, до самого тайника, который он себе подготовил, пока ждал возвращения Уорнера два дня назад: там, где дорога от дома Хьюстона к лавке Уорнера шла по мосту через ручей, в зарослях у дороги лежало бревно, на которое можно было сесть; на кустах, где он проделал что-то вроде прорези, откуда можно было целиться, еще не засохли обломанные ветки, а деревянные доски моста в пятидесяти ярдах от него, загремев под копытами жеребца, должны были предупредить его, если он задремлет.

Возможно, что и целая неделя пройдет, прежде чем Хьюстон поедет в лавку. Но рано или поздно он поедет. А если ему, Минку, для того чтобы победить *Их*, надо выждать, так *Они* могли бы сдать уже три месяца назад и не тратить зря свои и чужие силы. Словом, не только в первый, но и на второй день он вернулся домой без добычи и ел ужин в упор-

ном, неизменном молчании, пока жена ныла и грызла его за то, что он ничего не принес, а потом, отодвинув пустую тарелку, холодной, ровной, злобной и монотонной руганью заставлял ее замолчать.

И, может быть, это случилось не на третий день. По правде сказать, он и не помнил, сколько дней прошло, когда он наконец услышал внезапный грохот копыт по мосту и потом увидел их: жеребец, играя, грыз удила и мундштук, которыми сдерживал его Хьюстон, а огромный поджарый пес бежал рядом. Он взвел оба курка, вдвинул ружье в просвет меж кустами и ждал: в тот миг, когда он целил в грудь Хьюстону, чуть поводя стволами, когда его палец уже лег на передний спуск и первый патрон, глухо щелкнув, дал осечку, он подумал: "Даже сейчас *Им* все мало", – а его палец уже лег на второй спуск, и он опять подумал, даже тут, когда вдруг грохнуло и загремело, подумал: "Если бы только было время, если б успеть между грохотом выстрела и попаданием сказать Хьюстону, если б Хьюстон мог услышать: «Не за то я в тебя стреляю, что отработал тридцать семь с половиной дней по полдоллара за день. Это пустое, это я давно забыл и простил. Видно, Уорнер иначе никак не мог, он и сам богач, а вам, богатым, надо стоять друг за дружку, иначе другим, бедным, вдруг втемяшится в башку взять да и отнять у вас все. Нет, не за то я в тебя стрелял. Убил я тебя за тот лишний доллар, за штрафной».

2. МИНК

Итак, присяжные сказали: «Виновен», – а судья сказал: «Пожизненно», – но он даже не слушал. Потому что с ним что-то произошло. Когда шериф вез его в город в тот первый день, он, зная, что его родич еще в Техасе, все же верил, что у любого придорожного столба Флем или его посланец догонит их, выйдет на дорогу и остановит их, что-то скажет или вынет деньги, словом, сделает так, что все развеется, исчезнет, как сон.

И все те долгие недели, когда он в тюрьме ждал суда, он стоял у оконца камеры, сжимая грязными руками прутья решетки и вытянув шею, прижимался к ним лицом, глядя на угол улицы перед тюрьмой, на угол площади, который придется срезать его родичу, когда тот пойдет к тюрьме, чтобы развеять наваждение, освободить его, увести отсюда: «Больше мне ничего и не надо, – думал он, – только бы выбраться отсюда, вернуться домой, хозяйничать на земле. Я многого и не прошу».

И по вечерам он все стоял у окна, и лица его не было видно, а исхудалые руки казались почти белыми, почти чистыми в темноте камеры, меж закопченными прутьями решетки, и он смотрел на свободных людей, на мужчин, на женщин, на молодежь, у всех у них были свои мирные дела, свои удовольствия, и шли они прохладным вечером к площади смот-

реть кино или есть мороженое в кондитерской, а может быть, просто спокойно погулять на свободе, потому что они-то были свободны, и он стал окликать их, сначала робко, потом все громче и громче, все настойчивее и настойчивее, и они останавливались, словно с перепугу, и смотрели на окошко, а потом пускались почти бегом, как будто хотели поскорее уйти туда, где он их не увидит; и в конце концов он стал предлагать им деньги, обещать им: «Эй, мистер! Миссис! Кто-нибудь! Кто передаст поручение в лавку Уорнера, Флему Сноупсу? Он заплатит! Он десять долларов даст! Двадцать!»

И когда наконец настал день и его в наручниках повели в зал, где надо было встать лицом к лицу с судьбой, он ни разу даже не взглянул на судей, на возвышение, которое легко могло стать его Голгофой, а вместо того не отрываясь, пристально смотрел на бледную, безымянную, безразличную толпу, ища в ней своего родича или хотя бы его посланца, смотрел до той минуты, когда самому судье пришлось перегнуться через высокий пюпитр и крикнуть: «Вы, Сноупс! Смотрите мне в глаза! Вы убили Джека Хьюстона или не вы?» И он ему ответил: «Не трогайте меня! Видите – я занят!»

Да и на следующий день, когда все эти судейские кричали, и препирались, и склочничали, он ничего не слышал, даже если бы мог их понять, потому что все время смотрел на ту дальнюю дверь, через которую должен был войти его родич или посланный им человек, а по дороге в камеру, куда его

вели в наручниках, его упорный взгляд, в котором сначала было только беспокойство и нетерпение, а теперь стала появляться озабоченность, какое-то изумление и вместе с тем полная трезвость, этот взгляд быстро перебежал по лицам, всматриваясь в каждого, кто попадался навстречу: а потом он снова стоял у окошка камеры, стиснув немытыми руками закопченную решетку, вжимаясь в прутья так, чтобы видеть как можно лучше улицу и площадь внизу, где должен был пройти его родич или посланный им человек.

И потому, когда на третий день, прикованный наручником к конвойному, он заметил, что прошел площадь, ни разу не взглянув в уставившиеся на него лица, и, войдя в зал суда, сел на скамью подсудимых, тоже ни разу не взглянув через море лиц на дальнюю дверь, он все же не посмел признаться самому себе, почему так случилось. Он так и просидел, маленький, щуплый, безобидный с виду, как любой заморыш-мальчишка, пока препирались и разглагольствовали судейские, до того самого вечера, когда присяжные сказали: «Виновен», – и судья сказал: «Пожизненно», – и его повели в наручниках в ту же камеру, и дверь захлопнулась, а он уселся на голую железную койку, притихший, молчаливый, сдержанный, и только взглянул на маленькое окошко, у которого он ежедневно простаивал по шестнадцать – восемнадцать часов в неугасимой надежде, в ожидании.

И только тут он сказал себе, подумал отчетливо и ясно: "Он не придет. Видно, он все время был в поселке. Видно,

это дело до самого Техаса дошло, он все знал про мою корову и только ждал, пока ему скажут, что меня упрятали в кутузку, а уж тогда вернулся, видно, хотел убедиться, что теперь *Они* со мной что угодно могут сделать, что *Они* меня одолели, вымотали. Может, он все время прятался там, в суде, увериться хотел, что ничего не упустил, что теперь-то он от меня избавился, совсем, навсегда".

И тут наконец он успокоился. Раньше он думал, что уже успокоился тогда, в тот час, когда решил, как ему надо поступить с Хьюстоном, и понял, что Хьюстон не даст ему дожидаться, пока приедет Флем. Но тогда он ошибался. Какое же тут спокойствие, когда все так неясно: например, неизвестно было, сообщат ли Флему, что он попал в беду, уж не говоря о том, вовремя ли сообщат. И даже если Флему сообщили бы вовремя, мало ли что могло помешать ему приехать – разлив реки или крушение на железной дороге.

Но теперь все это кончилось. Теперь ему не надо было беспокоиться, волноваться, оставалось только ждать, а он уже доказал себе, что ждать он умеет. Просто ждать: больше ему ничего не нужно, даже не надо было просить тюремщика вызвать адвоката – тот сам сказал, что зайдет к нему после ужина.

Он съел ужин, который ему принесли, – ту же свинину и непропеченные лепешки с патокой, которые он ел бы дома, впрочем, ужин был даже получше: свинина не такая жирная какую приходилось есть дома. Разве только дома ужин был

своей, и ел он его у себя, на свободе. Но он и это может выдержать, если *Они* больше с него ничего не потребуют. Потом он услышал шаги на лестнице, двери хлопнули, выпуская адвоката, и потом захлопнулись за ним; адвокат был молодой, горячий, только что из юридического института, сам судья его назначил, вернее, велел ему защищать Минка, но он, Минк, хоть ему и было не до того, все же сразу понял, что этому адвокату нет никакого дела ни до него, ни до его бед, — да он и не знал, к чему все это, так как все еще был уверен, что уладить дело проще простого: для этого судья или кто угодно должен только послать на Французову Балку и найти его родича.

Слишком он был молод, слишком горяч, этот адвокат, вот почему он так все испортил. Но теперь и это было неважно. Теперь главное узнать, что будет дальше. Он не стал терять времени.

— Ладно, — сказал он. — А долго ли мне там быть?

— Это Парчменская тюрьма, каторжная, — сказал адвокат. — Как же вы не понимаете?

— Ладно, — повторил он. — А долго ли мне там быть?

— Вас приговорили пожизненно, — сказал адвокат. — Разве вы не слышали, что он сказал? На всю жизнь. Пока не умрете.

— Ладно, — сказал он в третий раз с тем же спокойным, почти что сострадательным терпением: — А долго ли мне там быть?

И тут даже этот адвокат его понял.

– А-а... Ну, это зависит от вас и ваших друзей, если они у вас есть. Может, всю жизнь, как сказал судья Браммедж. Но лет через двадцать – двадцать пять вы по закону имеете право хлопотать об амнистии или проситься на поруки, если у вас есть влиятельные друзья и если там, в Парчмене, вы будете себя вести как надо.

– А если у кого друзей нет? – сказал он.

– У людей, которые прячутся в кустах и стреляют по человеку, даже не крикнув: «Защищайся», – даже не свистнув, у таких, конечно, друзей не бывает, – сказал адвокат. – Значит, чтобы оттуда выйти, вам остается только надеяться на самого себя.

– Ладно, – сказал он с тем же непоколебимым, с тем же бесконечным терпением. – Я потому и жду не дождусь, чтобы вы перестали болтать и мне все объяснили. Что мне надо делать, чтобы выйти оттуда через двадцать или двадцать пять лет?

– Главное – не пытаться бежать, не участвовать ни в каких заговорах, чтобы помочь бежать другим. Не вступать в драку с другими заключенными или со стражей. Исполнять все, что прикажут, от работы не отлынивать, не жаловаться, не возражать, делать все, пока не прикажут прекратить работу. Другими словами, вести себя как следует, и если бы вы так себя вели все время, с того самого дня, прошлой осенью, когда вы решили прокормить свою корову даром за счет ми-

стера Хьюстона, то вы бы и сейчас не сидели в этой камере и не спрашивали бы, как вам отсюда выбраться. А главное – не делайте попыток к бегству.

– Попыток? – переспросил он.

– Не пробуйте удрать. Не пытайтесь бежать.

– Не пытаться? – повторил он.

– Ведь все равно это невозможно, – сказал адвокат, с трудом сдерживая подступающую злость. – Все равно уйти нельзя. Не удастся. Никогда не удастся. Нельзя задумать побег, чтобы другие не узнали, а тогда они тоже будут пытаться бежать вместе с вами, и всех вас поймают. И если даже вам удастся от всех скрыть свои планы и вы убежите один, часовой подстрелит вас, когда вы будете перелезать через ограду. Так что, даже если вы не попадете в морг или в больницу, вас вернут в тюрьму и прибавят еще срок – еще двадцать пять лет. Теперь вы поняли?

– Значит, мне только одно и надо, чтобы выйти лет через двадцать – двадцать пять? Не пытаться бежать. Ни с кем не драться. Делать, что велют, слушаться, когда приказывают. А главное – не пытаться бежать. Вот все, что мне надо делать, чтобы выйти на свободу через двадцать – двадцать пять лет.

– Правильно, – сказал адвокат.

– Ладно, – сказал он. – Теперь ступайте спросите судью, так это или нет, а если он скажет, что так, пусть пришлет мне бумагу, где все будет написано.

– Значит, вы мне не верите? – сказал адвокат.

– Никому я не верю, – сказал он. – Некогда мне тратить двадцать, а то и двадцать пять лет, чтобы проверить, правильно вы сказали или же нет. У меня дело будет, когда я выйду. Так что мне надо знать. Мне бы получить бумагу от судьи.

– Значит, вы мне, как видно, никогда и не верили, – сказал адвокат. – Значит, вы, как видно, считаете, что я все ваше дело провалил? Может, вы считаете, что, если бы не я, вы бы тут не сидели? Так или не так?

И он, Минк, сказал с тем же непоколебимым, терпеливым спокойствием:

– Вы все сделали, что могли. Просто неподходящий вы человек для такого дела. Вы молодой, горячий, но мне не то нужно. Ловкач, деляга, чтоб умел дела делать. А вы не такой. Ступайте-ка лучше, возьмите для меня бумагу от судьи.

Но тут он, адвокат, даже попытался рассмеяться.

– И не подумаю! – сказал он. – Суд отпустил меня сегодня же, как только вынесли вам приговор. Я просто зашел попрощаться, узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь. Но, очевидно, люди, у которых нет друзей, и в помощи не нуждаются.

– Но я-то вас еще не отпустил! – сказал Минк и встал не торопясь, но тут адвокат вскочил, метнулся к запертой двери, уставившись на маленького человечка, который шел на него, щуплый, невзрачный, безобидный с виду, как ребенок, но смертельно опасный, как мелкая змея – вроде молодой

гадюки, кобры или медянки. И адвокат закричал, завопил, и уже по лестнице затопал тюремщик, дверь с грохотом распахнулась, и тюремщик встал на пороге с револьвером в руке.

– Что случилось? – крикнул он. – Что он вам хотел сделать?

– Ничего, – сказал адвокат. – Все в порядке. Я кончил. Выпустите меня.

Но он совсем не все кончил, ему только хотелось так думать. Он даже не стал ждать до утра. Уже через пятнадцать минут он был в гостинице, в номере, где остановился окружной судья, который председательствовал на суде и вынес приговор, и он, адвокат, все еще задыхался, не веря, что ему больше не угрожает опасность, все еще удивлялся, как это ему удалось спастись.

– Он сумасшедший, понимаете? – сказал он. – Он опасен! Нельзя просто сажать его в Парчменскую тюрьму, где через какие-нибудь двадцать – двадцать пять лет он будет иметь право выйти на поруки, если только кто-нибудь из его родственников, – а их у него до черта! – или кто-нибудь со связями, или просто какой-нибудь слюнтяй-благотворитель, вхожий к губернатору, не вызовет его до тех пор! Надо его отправить в Джексон, в сумасшедший дом, пожизненно, там он будет в безопасности, вернее, мы все будем в безопасности!

А еще через десять минут прокурор, который был обвинителем по этому делу, тоже сидел у судьи и говорил адво-

кату:

– Значит, вы хотите опротестовать приговор и снова назначить дело к слушанию? А почему вы раньше об этом не подумали?

– Да ведь вы же сами его видели! – сказал, вернее, крикнул адвокат. – Вы же сидели с ним в суде целых три дня!

– Правильно, – сказал прокурор. – Оттого-то я и спрашиваю, почему вы только сейчас спохватились.

– Значит, вы его с тех пор не видели, – сказал адвокат. – Пойдемте в камеру, посмотрите, каким я его застал полчаса назад.

Но судья был человек старый, идти вечером не захотел, и только на следующее утро тюремщик отпер камеру, выпустил всех троих, и навстречу им с койки встал маленький, хрупкий с виду, почти бесплотный человечек, в заплатанном, вылинявшем комбинезоне и такой же рубашке, в жестких, как железо, башмаках на босу ногу. Утром его побрили, и волосы у него были расчесаны на пробор и плотно прилизаны.

– Входите, джентльмены, – сказал он. – Стульев у меня нет, да вы, наверно, и не собираетесь тут долго рассиживаться. Значит, вы не только принесли мне бумагу, судья, вы еще и двух свидетелей привели, чтоб при них отдать.

– Погодите, – торопливо сказал судье адвокат, – дайте мне сказать. – Он подошел к Минку: – Вам никакой бумаги не нужно. Судья и все они будут вас судить еще раз.

Тут Минк застыл на месте. Он посмотрел на адвоката.

– А зачем? – сказал он. – Меня уже раз судили, а толку все равно никакого.

– Тот суд был неправильный, – сказал адвокат. – Об этом мы и пришли вам сообщить.

– Если тот неправильный, так чего же терять время, деньги тратить на второй? Велите этому малому принести мою шляпу, отворить двери, и я пойду себе домой хлопок собирать, ежели только там еще что-нибудь осталось.

– Нет, погодите, – сказал адвокат. – Тот суд был неправильный, потому что вас приговорили к каторжным работам пожизненно. А теперь вам не надо будет сидеть в тюрьме, где придется целыми днями работать в жару на чужом поле на чужого дядю. – И тут под немигающим взглядом выцветших сероватых глаз, которые уставились на него так, будто они не только не умели мигать, но с самого рождения им ни разу и не понадобилось мигнуть, адвокат вдруг помимо воли забормотал, не в силах остановиться: – Не в Парчмен вас отправят, а в Джексон, там у вас и комната будет отдельная, там и работать не надо, отдыхай весь день, там доктора... – И сразу оборвал себя, вернее, не сам оборвал свое бормотанье, оборвал его немигающий взгляд выцветших серых глаз.

– Доктора, – сказал Минк. – Джексон. – Он уставился на адвоката. – Да ведь туда сумасшедших сажают.

– А там вам было бы лучше... – начал прокурор. Но больше ничего сказать не успел. В университете он занимался спортом и до сих пор сохранил форму. И то он едва успел

схватить эту маленькую бешеную тварь, когда она кинулась на адвоката, и оба покатались по полу. И то понадобилась помощь тюремщика, чтобы вдвоем оттащить Минка, и они еле-еле удерживали его, как бешеную кошку, а он бормотал, задыхаясь от злости:

– Так я сумасшедший? Сумасшедший? Ах ты сукин сын, я тебе покажу, как меня обзывать сумасшедшим, я никому не спущу, будь он хоть самый главный, будь их хоть десяток...

– Правильно, мерзавец ты этакий! – задыхаясь, крикнул прокурор. – В Парчмен тебя, в Парчмен! Там для тебя найдутся доктора, там тебя вылечат!

И его отправили в Парчмен, приковав наручником к помощнику шерифа, и они пересаживались из вагона в вагон, ехали на пригородных поездах, и последний поезд наконец вышел из предгорья, знакомого ему с самого детства, к дельте реки, которую он никогда в жизни не видел, – на огромную плоскую болотистую низину, поросшую кипарисами и эвкалиптами, где в зарослях и чащобах водились медведи, олени, пантеры и кишмя кишели змеи, а человек до сих пор злобно и упорно корчевал деревья и на жирной кочковатой земле выращивал высокий тощий хлопок, подымавшийся выше головы всадника, и он, Минк, сидел, прильнув к оконному стеклу, как ребенок.

– Да тут одни болота, – сказал он. – Места, видать, вредные.

– Еще какие вредные, – сказал помощник шерифа. – А это

так и задумано. Тут каторжная тюрьма. По-моему, ничего вреднее нет, чем сидеть взаперти, за колючей проволокой, двадцать, а то и двадцать пять лет. А тебе от вредного места больше пользы будет, – по крайней мере, недолго протянешь.

Теперь он понял, что такое Парчмен, каторжная тюрьма, его судьба, рок, вся его жизнь, как сказал судья, тут ему быть пожизненно, до самой смерти. Но адвокат говорил не так, хоть ему и нельзя было верить: он сказал – только двадцать пять, а то и двадцать лет, а всякий адвокат, даже такой, которому верить нельзя, все же свое дело знает, не зря он в специальном заведении учился, там его натаскали, чтоб знал свое дело, – а что судья, ему только надо было голоса заполнить, победить на выборах. Ну, пусть судья не подписал бумагу, где было бы сказано про эти двадцать пять, а то и двадцать лет, это неважно, судья-то против него, он, конечно, соврет человеку, которого судит, а вот адвокат, твой собственный адвокат, тот тебе не соврет. Больше того, твой адвокат тебе врать не может, – есть, говорят, какое-то правило, ежели клиент своему адвокату не врет, то и он ему врать не станет.

Пусть даже это и неверно, не все ли равно, раз он никак не может всю жизнь сидеть в Парчмене, на это у него времени нет, ему непременно надо выйти оттуда. И, глядя на высокую ограду с колючей проволокой, на единственные ворота, где день и ночь стояли часовые с ружьями, на низкие мрачные каменные строения с зарешеченными окнами, он с

удивлением подумал, попытался вспомнить, как еще недавно он хотел освободиться только затем, чтобы вернуться домой и хозяйничать на участке, но вспомнил об этом только мимоходом, потому что теперь он знал – ему необходимо отсюда выйти.

Да, выйти было необходимо. Привычную одежду – линялый латаный комбинезон с рубашкой – ему сменили на комбинезон и фуфайку из грубой белой ткани, исчерченной поперек черными полосами, и, если верить судьбе, это был его рок, его судьба до самой смерти, ежели бы адвокат не сказал другое. Теперь он работал вместе с другими каторжанами на жирных черных хлопковых полях, и охрана, верхом, с ружьями через седло, караулила их, и он делал то единственное, что он умел, что делал всю свою жизнь, и уж до конца жизни ему не суждено было бы работать на своем участке, если бы судья оказался прав, и при этом думал: «Пусть так и будет. Так даже лучше. Ежели человек по своей охоте работает, он может и работать и не работать. А ежели человеку работать НУЖНО, так тут его ничем не остановишь».

И ночью, лежа на деревянной койке, без простыни, под грубым одеялом, подложив под голову одежду вместо подушки, он в мыслях твердил себе одно и то же, потому что ему надо было из ночи в ночь, двадцать – двадцать пять лет подряд переделывать всего себя, свой характер, всю свою сущность: «Надо делать то, что велят. Никому не перечить. Ни с кем не драться. Вот все, что мне надо делать двадцать

пять, а то и всего двадцать лет. А главное – не пытаться бежать».

Он даже не считал проходившие годы. Он просто предавал их забвению, затаптывал тяжелыми башмаками в землю на хлопковом поле, когда шел сначала за впряженным в плуг мулом, потом – за бороной, потом – с тяпкой и мотыгой и, наконец, с тяжелым мешком, куда он собирал, складывал хлопок. Ему и не надо было считать годы, теперь он был в руках Закона, и, пока он выполнял четыре условия, которые ему поставил Закон, этот Закон должен был выполнить одно-единственное условие – насчет тех двадцати пяти, а то и всего лишь двадцати лет.

Он не знал, сколько лет протекло, два года или три, когда пришло письмо, и, стоя в кабинете начальника тюрьмы, он вертел в руках конверт с маркой и карандашным адресом под пристальным взглядом начальника.

– Читать умеете? – спросил начальник.

– По-печатному могу, а по-писаному не разбираю.

– Может быть, мне распечатать? – спросил начальник.

– Ладно, – сказал он, и начальник распечатал письмо.

– От вашей жены. Спрашивает, когда ей можно приехать на свидание и хотите ли вы повидать дочек.

Он снова взял в руки письмо, листок, вырванный из школьной тетради, исписанный карандашом, тонкими, как паутинки, закорючками, понятными ему ничуть не больше, чем арабский или санскритский текст.

– Этти даже читать не может, не то что писать по-писаному, – сказал он. – Наверно, за нее миссис Талл писала.

– Так как же? – сказал начальник. – Что ей написать?

– Напишите, что нечего ей сюда тащиться, потому что я скоро вернусь домой.

– Вот как, – сказал начальник. – Значит, собираетесь скоро выйти отсюда, так? – Он посмотрел на тощее маленькое существо ростом с пятнадцатилетнего мальчишку; он был в его ведении уже три года и ничем не выделялся из общей массы заключенных. Нет, он не был загадкой, тайной, он просто был ничем – никаких штрафов, никаких замечаний или жалоб от тюремщиков, старост или начальства, никаких стычек с другими заключенными. А начальник по опыту знал, что убийцы, осужденные пожизненно, обычно делятся на две категории: либо это неисправимые, которым терять нечего, от них одни неприятности и хлопоты и страже, и другим заключенным, либо подхалимы, которые пресмыкаются перед всеми, от кого зависит облегчить им жизнь. Но этот не такой: каждое утро выходит на работу, весь день работает упорно и добросовестно, как будто выращивает хлопок себе на потребу. Более того, он лучше обрабатывает этот хлопок, за который не получит ни цента, чем люди его склада и характера обрабатывают собственные участки, – начальник это знал по опыту. – Каким же образом? – спросил начальник.

И Минк ему сказал то, что сейчас, через три года, он уже твердо заучил наизусть: стоило ему только открыть рот, и

слова выходили, как дыхание:

– Надо делать то, что велят. Не перечить, не драться, не пытаться бежать. Это главное – не пытаться бежать.

– И тогда через семнадцать лет или через двадцать два года вы попадете домой, – сказал начальник. – Три года вы уже отбыли.

– Вот как? – сказал он. – А я и не считал... Нет, – добавил он, – не сразу домой. Мне сначала надо одно дело обделать.

– Какое? – спросил начальник.

– Да одно личное дело. Закончу его, тогда вернусь домой. Вы ей так и напишите.

«Да, да, – подумал он. – Похоже, что я только затем и попал сюда, в Парчмен, в этакую даль, чтобы потом выйти, добраться напрямик до дому и убить Флема».

3. В.К.РЭТЛИФ

Чего Монтгомери Уорд никак не мог взять в толк ни в первый день, ни в следующие два-три дня, так это – почему Флему непременно надо было засадить его именно в Парчменскую тюрьму. Почему не в какое-нибудь другое, тоже безопасное, тоже уединенное место, скажем, в Атланту или в Ливенуорт, а то и в Алькатраз ¹, за две тысячи миль, куда старый судья Лонг отправил бы его первым же поездом из Джефферсона (сам он все еще разглядывал исподтишка эти французские открытки), почему это Флему непременно понадобилось заслать Монтгомери Уорда именно в Парчмен, Миссисипи?

Вообще-то с самого начала во всей этой суматохе Монтгомери Уорд ни на минуту не задумывался над тем, что с ним стряслось. Как только Юрист и Хэб вошли к нему, он в ту же секунду понял – наконец случилось то, чего он ждал с той самой минуты, как флем пронюхал или заподозрил, что можно извлечь прибыль из делишек, которые творились в этом переулочке. Одно только было непонятно: зачем Флему понадобились такие фокусы и сложности, чтоб отхватить у него эту самую торговлю голыми открытками. Похоже было на анекдот про того енота на дереве, который все добивался

¹ Атланта, Ливенуорт, Алькатраз – тюрьмы в США.

от парня с ружьем, угрожавшего ему снизу, как его зовут, а когда тот наконец ответил, енот и говорит: «Ох, нечистая сила! Так вот ты кто! Чего ж тебе время тратить, порох зря изводить, отойди-ка, я и так слезу!»

В общем, он, конечно, прошляпил. То, что Флем Сноупс отнял у него это дельце, было в порядке вещей. Он этого ждал: раньше или позже и его очередь должна была прийти, он рисковал ничуть не меньше, чем любой житель округа Йокнапатофа, чем всякий, кто занимался делом настолько выгодным, чтобы Флему захотелось его присвоить. Но допустить, чтоб эти открытки попали в руки самого прокурора штата и самого шерифа, именно к ним двоим из всех жителей округа, именно к тем двум людям, про которых даже Гровер Уинбуш, простая душа, не подумал бы, что они это дело так оставят, потому что юрист Стивенс до того старался поднять гражданскую совесть, до того пекся насчет нравственности, что из чистого чувства долга, никак не иначе, силком заставлял двенадцатилетних мальчишек бегать в пятимильной эстафете, тогда как им только и хотелось спокойно сидеть дома и поджигать отцовские сараи, а шериф – Хэб Хэмптон, силач, крепколобий баптист, ради чистого удовольствия, всегда мысленно подсчитывал, кто из его знакомых обязательно попадет в ад.

И вообще не известно, почему это Монтгомери Уорда надо было куда-то сажать, если его родичу – дядя ли он ему или двоюродный брат – приспичило отнять у него это дельце; ну,

подержали бы его недельку-другую, а то и месяц-другой где-нибудь подальше, чтобы люди подзабыли про эти самые голые открытки или хотя бы забыли, что кто-то, по фамилии Сноупс, был замешан в это дело: ведь Флем теперь стал банкиром, он не только сколачивал себе капитал ростовщицеством, он еще должен был сколотить себе приличную репутацию.

Нет, чему Монтомгери Уорду действительно надо было удивляться (и от чего он действительно приходил в радостное удивление) – это тому, как же он до сих пор сумел продержаться. Да вовсе и не нужен был ни закон, ни Флем Сноупс, чтобы закрыть его «студию», опустить (или, вернее, поднять) шторы и навсегда ликвидировать продажу французских открыток в городе Джефферсоне, штат Миссисипи. В сущности, виноват был Гровер Уинбуш, это он оплошал: кто-то подсмотрел, как он тихонько крадется из этого переулочка в два часа ночи. Нет, в сущности, Гровер Уинбуш погубил и подорвал это дело в Джефферсоне еще с того часа, как обнаружил в одном из джефферсонских переулков черный ход в учрежденьице, которое можно бы назвать бордельчиком всухую. Нет, пожалуй, дело погибло в Джефферсоне уже с того часа, как его, Гровера Кливленда Уинбуша, назначили ночным полисменом, потому что у Гровера только и хватало смекалки, чтобы служить ночным полисменом, да и то в городишке не больше Джефферсона, и чтобы спать там ложились не позже, чем в Джефферсоне, потому что из

всех трудов на свете, за которые полагалось жалование, один этот труд – стоять всю ночь, прислонясь к фонарному столбу, и глазеть на пустую площадь – только и был ему по плечу, и он мог бы заниматься такой работой до самой своей смерти (если, конечно, тот, кто устроил ему эту работенку, продержался бы до тех пор), и он никогда и ничем не повредил бы себе, или своей работе, или случайному прохожему, или всему вместе; но, разумеется, такого, как он, любой дурак застукал бы на второй или третий раз, когда он прокрадывался из переулочка.

Впрочем, это был просто неизбежный профессиональный риск, если заниматься таким делом в городишке, где ночью стоит на посту Гровер Уинбуш, и Монтгомери Уорд знал это не хуже всех, кто был знаком с Гровером. Поэтому, когда целый год дела шли гладко, без всякого постороннего вмешательства, Монтгомери решил, что если кто и видел, как Гровер раз в месяц, за последние полгода с лишком, крадетя по переулочку, так, наверно, это были деловые знакомые Гровера, те, кого он накрыл в игорном притоне во время облавы или поймал с бутылкой самогона в заднем кармане. И вообще, кто знает? Может, сам Флем вовремя обезвреживал этих свидетелей, защищая не столько свои будущие интересы и предстоящие капиталовложения, потому что он, может быть, в то время еще не решил отобрать это самое ателье (так оно и называлось, Монтгомери Уорд даже на стекле у себя написал: «АТЕЛЬЕ МОНТИ»), а просто потому, что он всегда

оберегал и защищал всякие коммерческие предприятия, дававшие хоть небольшую прибыль, и не только из чувства семейственности по отношению к другому Сноупсу, но из чистого принципа, хоть сам он уже был банкиром и, естественно, должен был до какой-то степени сочетать выгоду с респектабельностью, так как всякая платежеспособность идет на пользу обществу, ежели только тебя не поймают за Руку, а респектабельность ничуть не мешает процветанию выгодных предприятий, ежели только они процветают под сурдинку темным вечерком.

И когда прокурор округа и шериф округа в одно прекрасное утро явились к нему, Монтгомери Уорд, конечно, подумал, что это просто-напросто судьба, самая обыкновенная судьба, и удивился он только тому, как неосмотрительно, нет, даже опрометчиво Флем Сноупс понадеялся использовать эту судьбу. Понимаете, он замешал в это дело прокурора Стивенса и шерифа Хэмптона, подстроив так, что они случайно, краем глаза, увидели эти голые открытки. Вообще-то Монтгомери Уорд никогда не вылезал из дому раньше полудня, работенка у него шла, так сказать, в ночную смену. Так что, пока прокурор и шериф ему не рассказали, он и не знал, что какие-то два типа очистили шкафчик в аптеке-кондитерской дядюшки Билли Кристиана и что все люди, видевшие грабеж с улицы через окно, не могли найти и следа этого самого Гровера Уинбуша и сообщить ему, что грабят, а когда Гровер наконец вылез от Монтгомери Уорда, то и гра-

бители, и те, кто видел их, давным-давно убрались восвояси.

Я не говорю, что Монтгомери Уорд удивился, почему это прокурор Стивенс и шериф явились к нему первыми. Кому, как не им, приходиться, как только это его ателье лопнуло, неважно, по какой причине. Даже если бы в округе Йокнапатофа никто не слышал про Флема Сноупса, эти двое пришли бы первыми – этот наш говорун, наш правдолюб Юрист, обученный в Гарварде, а потом в Европе, во всяких зарубежных университетах, он-то всегда, не оправдываясь тем, что, мол, получает жалованье и несет службу, вмешивался во все, особенно в те дела, которые его не касались и никак ему не мешали, а с ним – этот старый раззява Хэмптон, которого можно было потащить смотреть что угодно, даже убийство, если только кто-нибудь вспоминал, что он – шериф, и говорил ему, куда идти. Чего Монтгомери Уорд никак не мог взять в толк, так это какого черта на Флема Сноупса нашло такое затмение, что он поверил, будто можно подстроить так, чтобы эти голые картинки сначала оказались в руках у Стивенса и Хэмптона, а уж потом он, Флем, их отберет, – как он мог даже думать об этом?

Потому-то вера Монтгомери, его надежда на Флема Сноупса заколебалась, была, так сказать, на минуту подорвана. И в эту страшную минуту он поверил, будто сам Флем Сноупс мог стать жертвой чистейшей случайности и попал в этот переплет нечаянно из-за Гровера Уинбуша, как мог попасть кто угодно. Но думал он так недолго. Конечно, тот прокля-

тый мальчишка, который видел двух грабителей в кондитерской дяди Билли, по чистой случайности пошел в кино на поздний сеанс именно в тот единственный вечер в неделю, когда Гровер Уинбуш еще разочек забежал в «Ателье» к Монтгомери Уорду. Но уж если сам Флем Сноупс был подвержен таким же гнусным незадачам и случайностям, как все мы, простые смертные, так тут хоть ложись и помирай.

Вот почему, даже когда Юрист и Хэб рассказали Монтгомери про грабителей и про мальчишку, с которого отец должен был бы спустить три шкуры за то, что он лег спать на два часа позже, Монтгомери все же ни на секунду не усомнился, что все это дело заварил Флем – сам Флем, у которого просто-напросто был такой же нюх на деньги, как у проповедника – на грешников и жареных кур; видно, Флем быстро и точно узнал, что где-то в переулочке по ночам за закрытой дверью кто-то как-то зарабатывает деньги, да к тому же таким манером, что люди издалека, из трех окрестных городов, пробираются по этому переулку и в два и в три часа ночи.

Так что Флему только и оставалось досконально выяснить, что же делается в этом переулке, почему так тайно и какая тут выгода, а потом натравить своих шпионов – хотя вовсе и не понадобился бы настоящий шпион, мало-мальски уважающий свою профессию, чтобы поймать Гровера Уинбуша, это сделал бы любой мальчишка за порцию мороженого, – чтобы те поразвели, кто ходит в переулок, пока, раньше или позже, пожалуй, скорее раньше, чем позже, им

не попадется кто-нибудь такой, кого Флем мог бы обработать. Скорее всего это могло случиться раньше, чем позже, потому что по всем четырем округам, где распространилась эта торговлишка, не было почти ни одного человека из клиентуры Монтгомери Уорда, чья подпись не стояла бы под каким-нибудь денежным обязательством на имя Флема, хоть на три-четыре доллара, под сорок – пятьдесят процентов, так что Флем почти каждому мог сказать: «Да, насчет этого вашего векселька. Я бы, конечно, не дал банку с вас взыскивать, но я-то ведь только вице-президент, и мне с Манфредом де Спейном никак не сладить».

А может быть, Флем накрыл Гровера сам, поймал его, так сказать, тепленьким на месте, а не поймать этого Гровера, когда он украдкой пробирался по переулку во второй или третий раз, было уже просто невозможно, наверно, он его накрыл задолго до того, как его подвели те два типа, которые ограбили кондитерскую дяди Билли Кристиана, взламывая шкафчик на виду у всего Джефферсона, потому что половина жителей в это время шла домой с последнего сеанса, а найти Гровера, чтобы заявить о грабеже, никто не смог. Словом, Флем, очевидно, накрыл кого-то такого, кого можно было поприжать, и выпытал у него, чем именно торгует Монтгомери Уорд за закрытыми дверьми. И теперь Флему оставалось только зацапать всю эту торговлишку, цапнуть ее у Монтгомери Уорда или его от нее отшить, так же, как он, Флем, зацапал все, что можно было зацапать в Джефферсо-

не, начав с того, что высадил меня с Гровером Уинбушем из кафе, которое мы считали своим еще в те времена, когда я сдуру думал, что с Флемом можно тягаться.

Но теперь, когда он стал банкиром, вице-президентом банка (уже не говоря о том, что он третьим появлялся в баптистской церкви каждое воскресное утро, сразу после негра, топившего печь, и самого проповедника) и вся его карьера в Джефферсоне заставляла его быть респектабельным, а это все равно, как если бы человеку в воскресном костюме пришлось продираться сквозь репы и колючки, – теперь Флему, естественно, никак нельзя было показывать, что он имеет к этому делу отношение, даже что он имеет отношение к фамилии Сноупс. Так что для Джефферсона «Ателье Монти» было закрыто, уничтожено, вычеркнуто из списка торговых предприятий навсегда, и все дело перевели в другой переулок, где о нем никогда раньше не слышали, и вел его кто-то, кто даже не знал, как пишется фамилия Сноупс. А может быть, если у Флема хватило смекалки, все дело перевели совсем в другой город, из тех, что обслуживал Монтгомери Уорд, туда, куда было не добраться Гроверу, по крайней мере, до будущего лета, когда он пойдет в свой очередной двухнедельный отпуск.

Короче говоря, Монтгомери Уорду пришлось ждать – да, в сущности, ему ничего другого и не оставалось, как только ждать, – пока Флем решит, что пришло время вытянуть его из этого «Ателье» или оттягать это ателье у него, словом, как

Флему покажется удобнее. Возможно, что перед этим Монтгомери разик-другой пожалел, что не такое у него дельце, чтоб можно было спешно все распродать, прежде чем Флем о нем пронюхает. Но товар у него был настолько неуловимый, что и существовал-то он лишь в минуту, когда его покупал и, так сказать, потреблял клиент, и Монти мог бы продать только свой, так сказать, основной капитал, а это противоречило бы всем законам экономики, у него тогда не осталось бы никакого, даже самого неуловимого, товара, нечем было бы торговать, дожидаясь, пока Флем начнет действовать, ну и, конечно, ломать себе голову насчет того, каким способом Флем его прищучит – то ли он нашел в его, Монтгомери Уорда, прошлом какую-то зацепку, загвоздку и собирается поддеть его с помощью этой зацепки, то ли он будет действовать грубо, без всякой выдумки и просто предложит ему деньги.

В общем, все это время он ждал Флема. Но кого он не ждал – так это юриста Стивенса и Хэба Хэмптона. Так что в какой-то, как говорится, молниеносный миг, когда Юрист и Хэб ворвались к нему рано утром, Монтгомери Уорд подумал, что всему причиной эта самая респектабельность, которую теперь обязан напускать на себя Флем, и положение у него теперь настолько щекотливое, настолько деликатное, что ему никак нельзя иначе – надо, чтобы все выглядело так, будто сам Закон очистил Джефферсон от сноупсовского «Ателье», и Флем, в сущности, использовал юриста Стивенса и Хэба Хэмптона только в качестве толкачей. Конечно,

если бы он поразмыслил, он бы догадался, что если уж эти голые картинки попали в руки к человеку, который так печется насчет воспитания гражданственности и укрепления моральных устоев юношества, как юрист Стивенс, и к такому плотоядному, твердолобому баптисту, как шериф Хэмптон, так уж Флему ни черта не достанется от этого дела, одни благие намерения. Впрочем, когда шериф, выпятив пузо, вопьется в тебя, как иголками, своими белесыми глазками, тут уж не до размышлений и догадок, тут мозгами не пораскинешь. Так что Монтгомери Уорду было не до размышлений и догадок, он даже спокойно подумать не мог, и не удивительно, ежели в этот самый молниеносный миг он обидел своего родича Флема страшным подозрением, будто Флем дал себя обставить Стивенсу и Хэмптону, а сам Флем только и собирался выпереть его, Монтгомери Уорда, из этого дела и по наивности полагает, что сможет выдрать эти голые картинки из рук Хэба Хэмптона, если тот их рассмотрит как следует, и что в действительности толкачом оказался сам Флем.

Впрочем, даже в самом безвыходном положении у Монтгомери Уорда настолько хватило здравого смысла и соображения, не говоря уже о фамильной гордости и преданности, чтобы не поверить, будто не то что двое, а хоть десять тысяч юристов стивенсов и шерифов хэмптонов могут обставить Флема Сноупса. В сущности, он мог скорее поверить не этому гнусному предположению, а тому, что Флему Сноупсу не повезло, как может не повезти любому смертному, – и не в

том не повезло, что он ошибся в характере Гровера Уинбуша и подумал, будто этот Гровер может безнаказанно шляться в переулочек три-четыре раза в неделю и никто ни разу за семь-восемь месяцев его не заметит, – нет, ему в том не везло, что эти два вора выбрали для ограбления кондитерской дядюшки Билли Кристиана именно тот вечер, когда маленький Раунсвелл удрал из дому по водосточной трубе на последний сеанс в кино, чего Монти, конечно, не предвидел.

И теперь Монтгомери Уорду только и оставалось, что сидеть в тюремной камере, куда его отвел Хэб, и следить с каким-то, можно сказать, профессиональным спокойствием и любопытством, как же Флему удастся заполучить те голые картинки у Хэба. Конечно, тут понадобится время, при всем его уважении к Флему, при всей фамильной гордости, он знал, что даже для Флема это не так просто, как взять, например, шляпу или зонтик. Но день кончился, а ничего такого, как он и ожидал, не случилось. Конечно, у него мелькала мыслишка – а вдруг и Флема застали врасплох и он пойдет к нему, к Монтгомери Уорду, надеясь, что тот ему хоть что-нибудь разъяснит, не зная, что Уорд сам ничего не знает. Но когда Флем не пришел и даже ничего не передал, Монтгомери стал еще гораздо больше уважать Флема и оправдывать его: все это неопровержимо доказывало, что Флему ничего от него не нужно, даже той, так сказать, моральной поддержки, какую тот только и мог ему дать.

Ждал он всю ночь, совместно со всеми, как говорят, объ-

единенными клопами Йокнапатофского округа до самого утра. Можете себе представить, как он удивился и заинтересовался – вот именно, он не испугался, не изумился, а его просто удивило и заинтересовало, – когда один его заботливый знакомец (это был Юфус Тэбз – тюремщик, он тоже был заинтересован в этом деле, не говоря уже о том, что он всю жизнь чему-нибудь удивлялся) зашел вечером в камеру и рассказал, как Хэб Хэмптон вернулся утром в «Ателье» – проверить на всякий случай, не проглядели ли они вчера со Стивенсом какое-нибудь вещественное доказательство, – и тут же обнаружил пять галлонов самогонного виски, стоявших на полке в бутылках, в которых раньше, Монтгомери Уорд готов был поклясться, никогда ничего, кроме проявителя, не было.

– Теперь тебя отправят не в Атланту, а в Парчмен, – сказал Юфус, – а это уж не такая даль. Не говорю уж о том, что тюрьма эта в штате Миссисипи, значит, и тюремщик там свой, коренной уроженец Миссисипи, пусть хоть он попользуется деньгами, что выдадут на твой прокорм, а то эти проклятые судьи то и дело отправляют наших коренных миссисипских жуликов куда-то вон из штата. А там чужаки, бог весть кто, на них зарабатывают.

Он не испугался, не изумился, просто его все это удивило и заинтересовало, даже главным образом заинтересовало, потому что Монтгомери Уорд отлично знал, что, когда он со следователем и шерифом в то утро уходил из «Ателье», на

полке в бутылках ничего, кроме проявителя, не было, знал, что и Хэбу Хэмптону, и юристу Стивенсу тоже известно, что там ничего другого нет, потому что, если человек распространяет картинки в Джефферсоне, в штате Миссисипи, то осложнять дело торговлей самогонным виски – значит нарываться на неприятности, все равно как если бы владелец игорного притона вздумал в том же помещении поставить станок для печатания фальшивых денег.

А главное, Монтгомери ни на минуту не усомнился, что это виски подкинул Флем, именно туда, где шериф должен был наткнуться на эти бутылки, и тут его восхищение Флемом, его уважение подскочило до высшей точки, потому что он знал, что теперь, когда Флем стал банкиром и о своей репутации ему надо заботиться не меньше, чем невинной девице, которая вдруг очутилась ночью одна, без гувернантки, среди пьяных коммивояжеров, ему, Флему, нипочем нельзя самому иметь дело с местными бутлегерами и, наверно, пришлось ездить за самогоном во Французову Балку, а то и на Девятый участок, к Нэбу Гаури, да еще платить двадцать или двадцать пять долларов своих кровных денежек. А может быть, на какую-то долю секунды, у Монтгомери мелькнула мыслишка, что раз Флем мог заплатить двадцать, а то и двадцать пять долларов, значит, в нем, где-то внутри, еще живы самые обыкновенные родственные чувства. Но, конечно, мыслишка эта только мелькнула на какую-то долю секунды, а то и меньше, потому что, даже если за Флемом води-

лись какие-нибудь слабости и недостатки, все равно он никогда не дойдет до того, чтобы выкинуть двадцать долларов ради кого-нибудь из Сноупсов.

Нет, раз Флем потратил двадцать пять или тридцать долларов, значит, все оказалось не так-то просто, как он ждал и рассчитывал. Но тот факт, что он, и дня не промешкав, сразу выложил деньги, показывал, что в окончательном результате Флем не сомневался. Естественно, что и Монтгомери Уорду тоже сомневаться не приходилось и даже гадать не стоило, что будет, а надо было просто ждать, потому что теперь за него весь город гадал, что будет, и не просто следил за тем, что делается, а ждал развязки. И выследил: все видели, как на следующий день Флем пересек площадь, свернул к тюрьме, вошел туда и через полчаса оттуда вышел. И наавтра Монтгомери тоже вышел оттуда – Флем внес за него залог. А еще через день в город приехал некто Кларенс Сноупс – сенатор Кларенс Эгглстоун Сноупс, – теперь он сидел в законодательном собрании штата, а раньше служил констеблем во Французовой Балке, пока во имя закона он рукояткой револьвера не избил человека, который оказался настолько злопамятным и мстительным, что возмутился – как это его смеет бить револьвером какой-то тип только потому, что носит бляху констебля и ростом выше него. Пришлось дядюшке Биллу Уорнеру как-то вызволять Кларенса, и он заручился поддержкой Флема, а того поддержал Манфред де Спейн, банкир, и они все трое заручились поддержкой еще всяких

людей, потому и удалось пристроить Кларенса в законодательное собрание в Джексоне, где он даже не знал, что ему делать, так что кто-то, кому и дядя Билл и Манфред доверяли, подсказывал ему, когда ставить подпись и когда подымать руку.

Но, как говорил юрист Стивенс, он еще раньше нашел свое истинное призвание в жизни: в один прекрасный день он поехал из Французовой Балки в город и увидел, что значные места разрослись далеко за Джефферсон, к северо-западу, захватив даже окраины Мемфиса, штат Теннесси, – там, где улицы Малберри, Гейозо и Понтоток ², – так что, когда он через три дня вернулся в поселок, у него все еще волосы стояли дыбом и глаза окончательно вылезли на лоб, как будто он все время повторял про себя: «Сто чертей! Сто чертей! Почему мне раньше не сказали? И давно это так?» Но он быстро наверстал упущенное. Можно сказать, он даже перекрыл упущенное, потому что теперь, каждый раз, как он ездил из Французовой Балки в Джексон и обратно, через Джефферсон, он заезжал и в Мемфис, так что он стал, как говорил юрист Стивенс, почетным потомственным венерическим посланником от улицы Гейозо на весь северный округ штата Миссисипи.

И когда через три дня Монтгомери Уорд вместе с Кларенсом сели на поезд номер шесть – он шел на север, – мы только и знали, что Кларенс едет через Мемфис в Джексон или на

² Улицы Малберри, Гейозо и Понтоток – район публичных домов в Мемфисе.

Французову Балку. Но нас главным образом интересовало, что прятал Монтгомери в своем «Ателье» такое, чего даже Хэб не нашел и за что Флему Сноупсу не жалко было выдать две тысячи залогом, а потом отправить этого Монтгомери в Мексику или куда он там собирался. Так что нам не только было любопытно и странно – любопытно-то оно было, но мы просто рты разинули от удивления и мозги у нас заработали, как машины, когда два дня спустя Кларенс и Монтгомери вылезли из поезда номер пять – он шел на юг – и Кларенс отвез Монтгомери Уорда к Флему, а сам уехал в Джексон или во Французову Балку, словом, туда, откуда ему в следующий раз сподручней будет заехать на улицу Гейозо, в Мемфис. А Флем поручил Монтгомери Уорда тюремщику Юфусу Тэбзу, и тот отвел его в тюремную камеру, а залог в две тысячи вернули, а может, только отдали на время, как вешают на вешалку парадную шляпу до следующей свадьбы или похорон, словом, пока не понадобится.

А тот – я говорю про Юфуса, – очевидно, поручил Монтгомери Уорда своей жене, миссис Тэбз. Мы даже слышали, что она повесила старую занавеску на окошко камеры, чтоб солнце не будило Монтгомери слишком рано. И каждый раз, как юрист Стивенс, или Хэб Хэмптон, или еще кто из представителей закона хотели переговорить с Монтгомери Уордом, его скорей всего находили в кухне у миссис Тэбз, где он, подвязавшись ее фартуком, лущил горох или чистил кукурузу. И мы – ну, скажем, и я – вроде как бы случайно про-

ходили мимо тюремной ограды, и, конечно, там оказывался Монтгомери – он и миссис Тэбз, на огороде, – Монтгомери рыхлил грядки, не очень-то ловко, но все-таки тыкал тяпкой, куда показывала миссис Тэбз.

– Может, она хочет выведать про те открытки, – сказал мне как-то Гомер Букрайт.

– Что-о? – говорю. – Миссис Тэбз?

– Ну конечно, ей любопытно, – говорит Гомер. – Не человек она, что ли, даром что женщина!

А три недели спустя Монтгомери Уорда судил судья Лонг, и судья Лонг засадил его на два года в каторжную тюрьму, в Парчмен, за незаконное владение одной бутылью для пропитания, содержащей один галлон самогонного виски, каковое вещественное доказательство было представлено суду.

Так что все ошиблись. И вовсе Флем не затем внес две тысячи залогом, чтобы вычистить Монтгомери Уорда из Соединенных Штатов Америки, и вовсе он не затем истратил двадцать пять или тридцать долларов на самогон «Белый мул», чтобы в Атланту, тюрьму штата Джорджия, не послали человека по фамилии Сноупс. А истратил он эти самые двадцать пять или тридцать долларов для того, чтобы суд послал Монтгомери Уорда именно в тюрьму Парчмен, тогда как иначе его без всяких затрат отправили бы в тюрьму в штат Джорджия. А это было уже не только удивительно, но и здорово любопытно, больше того – здорово интересно. И вот на следующее утро я случайно оказался на станционной

платформе, как раз к приходу поезда номер одиннадцать, шедшего на юг, и, разумеется, там стоял Монтгомери Уорд и Хантер Килгроу, помощник шерифа, и я сказал Хантеру:

– Может, тебе надо пройтись в умывалку, а то скоро поезд подойдет, ехать-то ведь долго. Я посторожу Монтгомери Уорда за тебя. И вообще, ежели человек не сбежал, когда за него внесли залог в две тысячи, так неужто он сейчас станет удирать, когда его только наручники и держат?

Тут Хантер отдал мне свой наручник и отошел в сторону, а я и говорю Монтгомери Уорду:

– Значит, все-таки отправляетесь в Парчмен? Это куда лучше. Мало того что вы не отнимаете у ростовщика законный и естественный приработок с коренной миссисипской пищи, которую коренной миссисипский тюремщик будет скармливать коренному миссисипскому заключенному, вам и скучно там не будет, ведь там у вас сидит коренной миссисипский дядюшка или двоюродный брат, с ним можно провести время, свободное от полевых работ или еще каких дел. Как же его звать? Да, да, Минк Сноупс, он ведь ваш дядюшка или двоюродный брат, у него еще были мелкие неприятности за то, что он убил Джека Хьюстона. Он все ждал, что Флем успеет вернуться из Техаса и вызволит его, только Флем был другим занят, и видно было, что Минк здорово расстроился. Кем же он вам приходится, дядюшкой или братом двоюродным?

– Чего? – говорит Монтгомери Уорд.

- Кем же? – говорю.
- Что кем же? – говорит Монтгомери Уорд.
- Дядя он вам или двоюродный? – говорю.
- Чего? – говорит Монтгомери Уорд.

4. МОНТГОМЕРИ УОРД СНОУПС

– Значит, этот сукин сын вас обдурил, – сказал я. – Вы думали, что его повесят, а его только засадили пожизненно.

Он ничего не ответил. Сидел молча на кухонной табуретке, которую сам принес из кухни Тэбзов. Для меня в камере стояла только койка – для меня и, конечно, для клопов. Сидел молча, а тень от решетки полосовала его белую рубаху и этот гнусный десятицентовый галстук бабочкой – говорили, что этот же галстук на нем был шестнадцать лет назад во Французовой Балке. А другие говорили – нет, это не тот самый галстук, который он взял в лавке Уорнера и надел в тот день, когда ушел с фермы и поступил приказчиком к Уорнеру, не тот, в котором он венчался с этой потаскушкой, Уорнеровой дочкой, а потом носил в Техасе, дожидаясь, пока она выродит своего ублюдка, и в этом же галстук приехал домой – в то время он еще носил маленькую суконную кепку, как у четырнадцатилетнего мальчишки. А потом – черную фетровую шляпу, ему сказали, что банкиры носят такие, но кепку он не выбросил: он ее продал негритенку за цент, вернее, заставил того отработать, а шляпу эту он в первый раз надел три года назад и, как говорят, с тех пор не снимал ее никогда, даже дома, ну, разве что в церкви, и она была как новая. Да, с виду она была совсем неношенная, даже не пропотела, хоть носил он ее денно и ночью три года, может, и

с женой ложился при шляпе, ей-то, наверное, это было не в диковину, наверно, она и не к тому привыкла, те, что с ней ложились, наверно, и перчаток не снимали, не говоря уж о шляпах, башмаках и куртках.

Сидел передо мной и жевал. Говорят, когда он поступил приказчиком к Уорнеру, он жевал табак. А потом дознался про деньги. Нет, он про них и раньше слышал, ему они даже перепадали изредка. Но тут он в первый раз дознался, что деньги могут прибывать с каждым днем и сразу их не съешь, хоть бы ты жрал двойные порции жареной свинины с белой подливкой. И понял он не только это: оказывается, деньги – штука прочная, крепче кости и тяжелее камня, и если зажать их в кулак, то уж больше, чем ты сам захочешь отдать, у тебя никакой силой не вырвешь, и тут он понял, что не может себе позволить каждую неделю сжевывать целых десять центов, да к тому же он открыл, что десятицентового пакетика жевательной резинки хватит недель на пять, если начинать новую пластинку только по воскресеньям. Потом он переехал в Джефферсон и тут увидел настоящие деньги. Понимаете – много зараз, и еще увидел, что нет предела, сколько денег можно заграбастать и не выпускать из рук, главное, лишь бы денег было побольше и лишь бы у тебя нашлось верное, надежное место, куда их высыпать из горсти, чтобы освободить руки и снова загребать. Тут-то он и сообразил, что даже один цент в неделю сжевывать нельзя. Когда у него ничего не было, он мог себе позволить жевать табак, когда у него денег

было мало, он мог себе позволить жевать резинку, но когда он сообразил, до чего можно разбогатеть, если только раньше не помрешь, он себе позволял жевать одну лишь пустоту, и сейчас он сидел на кухонной табуретке, тень решетки полосовала его поперек, и он жевал пустоту, не глядя на меня, вернее, вдруг перестал глядеть на меня.

– Пожизненно, – говорю, – то есть, как теперь считается, двадцать лет, если только за это время ничего не случится. Сколько же лет прошло? Кажется, это было в девятьсот восьмом, он еще тогда целыми днями торчал в окне тюрьмы, может, даже вот в этом самом, ждал, пока вы вернетесь из Техаса и вызволите его, ведь из всех Сноупсов только у вас хватало и денег и дружков, так он, по крайней мере, считал, и он каждого прохожего окликал, просил передать вам в лавку Уорнера, чтоб вы пришли и выручили его, а потом на суде весь последний день ждал вас, надеялся, а вы не пришли. С девятьсот восьмого, сейчас девятьсот двадцать третий – а всего ему сидеть двадцать лет, значит, скоро он выйдет. Черт меня дери, значит, вам и жить-то осталось всего пять лет, верно? Ну хорошо. Чего же вы от меня хотите?

Он мне сказал – чего.

– Ну хорошо, – сказал я. – А что я за это получу?

Он мне и это сказал. Я стоял, прислонясь к стене, и смеялся над ним. Потом я ему все выложил.

Он и не пошевелился. Он только перестал жевать и повторил:

– Десять тысяч долларов?

– Значит, это вам слишком дорого, – говорю, – значит, вы свою жизнь цените в пятьдесят долларов, да и то товарами и в рассрочку? – Он сидел, исполосованный тенью решетки, жевал пустоту и смотрел на меня, а может, просто в мою сторону. – Даже если дело выгорит, вы в лучшем случае добьетесь, что ему удвоят срок, добавят еще двадцать лет. Значит, в девятьсот сорок третьем году вам опять все начинать сначала, опять беспокоиться, что жить осталось всего пять лет. Лучше уж перестаньте вынюхивать и выпытывать, как бы подешевле сторговаться. Покупайте все первым сортом: вам это по карману. Выкладывайте десять косых наличными, и пусть его прикончат. Насколько мне известно, за такие денежки весь Чикаго будет рвать из рук эту работку. Впрочем, черт с ними, с десятью тысячами, и черт с ним, с Чикаго. И за одну тыщонку можете здесь же, в штате Миссисипи, в самом Парчмене, заставить десять верных парней тянуть жребий, кому первому прикончить его выстрелом в спину.

Но он все жует, никак не перестанет.

– Вот оно как, – говорю, – значит, бывает такое, чего даже Сноупс сделать не решится. Впрочем, что это я: не постеснялся же наш дядя Минк помириться с Джеком Хьюстоном при помощи ружья, когда сыр слишком круто забродил. Вернее, я хотел сказать, с каждым Сноупсом может разок и так случиться, что он тебе ничего не сделает – главное, пока он тебя не разорил и не сгубил, заранее узнать, чего он не ста-

нет делать. Ладно, пусть будет пять, – говорю, – торговаться я не буду. Черт с ним, мы же родственники, верно?

Тут он на миг перестал жевать и повторил:

– Пять тысяч долларов.

– Ну ладно, я же знаю, что у вас наличных при себе нету – говорю. – Да они вам сейчас и не нужны. Адвокат сказал, что времени у вас два года, успеете их набрать, закладывайте, продавайте, крадите, что там надо закладывать, продавать или красть.

Это до него дошло, – по крайней мере, я так подумал. До меня самого не все сразу доходит, и так бывает, и не так, чаще всего не так. И тут он вдруг сказал:

– Тебе не придется сидеть два года. Я тебя освобожу.

– Когда? – говорю. – Когда вы будете спокойны, что ли? Когда я ему испорчу остаток жизни, засажу еще на двадцать лет? Нет, не пойдет. Не выйду я оттуда. И даже те пять тысяч не возьму – это я вас дразнил. Мы вот как сделаем. Я туда отправлюсь, все устрою, засажу его на столько лет, на сколько удастся. Но сам я оттуда не выйду. Сначала отсижу там свои два годика, дам вам время, понятно? Потом уж выйду, вернусь домой. Все как полагается, сами знаете: начну новую жизнь, заглажу свое позорное прошлое. Конечно, работы у меня не будет, дела никакого, но, в конце концов, не зря же существует собственный двоюродный брат собственного моего папаши, который растет не по дням, а по часам, подымается все выше и в банке, и в церкви, и в обществен-

ном мнении, и в материальном положении, и черт его знает в чем еще, а родная кровь – не водица, хоть ваш кровный родственник и вернется из тюрьмы, где сидел за незаконную торговлю виски, уж не говорю о том, что в нем вдруг может заговорить самолюбие и он не захочет принимать подачки от своего вполне почтенного кровного родственника – банкира, и может, ему взбредет в голову опять открыть свое старое, малопочтенное, но до черта выгодное дельце. Потому что такого товару я могу достать сколько влезет, а уж охотники найдутся, им только скажи, куда приходить, и к тому же на этот раз, может быть, бутылки с проявителем не будут стоять где попало. А если и будут – хрен с ним. Два годика отсидеть – и я опять тут как тут, опять готов перевернуть эту самую новую страницу жизни...

Он сунул руку во внутренний карман и сказал: «М-да», – еще не тем манером, как он потом научился, но если бы уже научился, наверно, так бы и сказал. А он просто сказал: «М-да, я так и думал», – и вытащил конверт. Ну конечно, я сразу узнал его. Конверт был мой, в левом углу напечатано «Ателье Монти», Джефферсон, Миссисипи. Сбоку – погашенная марка, почтовая печать, как выгравированная, и адрес: М-ру Г.-К. Уинбушу, городское управление, так что я сразу понял, что там, внутри, прежде чем Флем вытащил ее, ту фотографию, которую Уинбуш выклянчил у меня за пять монет для своей, как говорится, личной коллекции, хоть я и отказывался, потому что связываться с ним было рискованно. Но, черт

его дери, все же он был блюстителем порядка, так, по крайней мере, считалось, в нашем переулке часа в два-три ночи. Да, забыл: письмо явно побывало на почте, хоть я его никогда не опускал в ящик, но пошло оно не дальше этой самой штемпелевальной машины в джефферсонском почтовом отделении. А так как у Г.-К.Уинбуша уже были неприятности из-за того, что он сидел у меня в задней комнате и не дал, как он говорил, вышибить себе мозги тем грабителям, которые обворовывали старого занюханного Билли Кристиана, то не понадобился Саймон Легри ³, чтобы выпытать у него про фотографию и отобрать ее, и, уж конечно, можно было запросто заставить его свидетельствовать как угодно и против кого угодно. Дело в том, что у него имелась супруга, и достаточно было только намекнуть Уинбушу, что ей покажут эту фотографию: она была из тех жен, которых никакая сила не могла бы разубедить, что дамочка на фото – в этот раз ее сфотографировали одну, и она ничего такого не делала, просто стояла в чем мать родила, – что эта дамочка не только закадычная подружка Уинбуша, но и что он сам едва успел отскочить, чтоб не попасть на фото без брюк. И не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, какой приговор вынесет в федеральном суде этот старый ханжа с лошадиной челюстью, когда увидит конверт с почтовым штемпелем.

– Да, видно, козыри у вас на руках, – говорю. – Пожалуй,

³ Саймон Легри – жестокий рабовладелец из романа Г.Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

я и объявлять игру не стану. Видно, только и остается спасовать. Значит, после того как я туда попаду и его прищучу, вы меня вызволите. А что потом?

– Билет куда угодно и сто долларов.

– Хоть бы пятьсот, – говорю. – Ладно, не стоит торговаться. Пусть будет двести пятьдесят.

А он и не стал торговаться.

– Сто долларов, – говорит.

– Только сначала мне надо хотя бы взять из общего котла свою долю, – говорю. – Если мне целый год сидеть взаперти на этой распроклятой казенной хлопководческой ферме...

Тут он торговаться не стал, нет, надо ему отдать справедливость.

– Я об этом подумал, – говорит. – Все устроено. Завтра тебя выпустят под залог. Кларенс тебя захватит по дороге в Мемфис. Два дня в твоём распоряжении. – Ей-богу, он и об этом подумал. – Деньги будут у Кларенса. Вполне достаточно.

По его достаточно или по-моему – неизвестно. Но в общем, теперь уже никто больше ни над кем не издевался. Я стоял и смотрел на него – сидит на кухонной табуретке, жуёт, ни на что не смотрит, и жуёт-то он пустоту, а те, кто его знал, говорили, что он ни разу в жизни глотка спиртного не выпил, а вот решился же накупить на тридцать или сорок долларов виски, засадить меня в Парчмен, чтобы я навредил Минку, и, как видно, готов был еще сотню истратить (а может, и две,

если он собирался и за Кларенса платить) мне в утешение за то, что просижу в Парчмене столько, сколько надо, чтобы как следует навредить Минку, не дать ему выйти через пять лет: и вдруг я понял, что меня в нем сбивало с толку с тех самых пор, как я стал настолько взрослым, чтоб в таких делах разбираться.

– Так вы, значит, импотент? – говорю. – Значит, вы никогда в жизни с женщиной и не спали? Вы и женились только тогда, когда нашлась такая, которую уже до вас испортили, такая, что вам и дотронуться до себя не позволит. А жить-то вам все равно охота, черт меня дери! Только зачем? – А он сидит, молчит. Сидит, жует пустоту. – Кстати, к чему вам тратиться и на Кларенса? Даже если он предпочитает негритянские бордели, где высшая цена – доллар, вам все равно придется выложить порядочно, если Кларенс возьмется за работу. Отдайте деньги и отпустите меня одного! – Но не успел я сказать, как тут же понял, что он ответит. Не мог он рисковать, отпустить меня хоть за милую от Джефферсона одного, без надзора, без уверенности, что я вернусь, даже когда у него в кармане лежал тот проштемпелеванный конверт с карточкой. Он-то знал, что этого достаточно, и все же не решался рискнуть. Не посмел. Да, не посмел, даже в его годы, убедиться, что самый простой способ заставить девять человек из десяти делать по-вашему – это доверять им.

Тэбз знал, что меня выпустят под залог, потому и хотел меня выставить в тот же вечер, чтоб прикарманить деньги

за мой ужин, надеялся, в суматохе никто не заметит, но я ему сказал: «Нет, благодарю. Вы, говоря, зря петушитесь. Я служил (или, во всяком случае, прислуживал) в американской армии. И если вам кажется, что тут у вас для такого, как я, место неподходящее, так посмотрели бы вы, где мне приходилось спать», – а Тэбз все стоит в дверях камеры, в одной руке у него ключи, а другой затылок чешет. «Но одно вы можете сделать. Пойдите-ка и принесите мне приличный ужин, мистер Сноупс за него заплатит, мои богатые родичи меня уже простили! И, кстати, захватите мемфисскую газетку». Он повернулся и пошел, а я ему ору вдогонку: «Эй, вернитесь! Заприте дверь. Не желаю, чтоб весь Джефферсон сюда набился, хватит и одного сукина сына в этой собачьей конуре!»

А на следующее утро явился Кларенс, Флем выдал ему деньги, и в тот же вечер, мы, вернее, я оказался в Мемфисе, в гостинице «Тиберри».

Кларенс знал один притон, где он был постоянным посетителем, там можно было остановиться всего лишь за доллар в день, хотя деньги чужие. А всякий, наверно, решил бы, что раз это деньги Флема, значит, любой из Сноупсов согласится спать даже на голой земле, лишь бы с Флема за этот ночлег содрали вдвое больше.

– Ну, что дальше? – спросил Кларенс. Вопрос, как говорится, был чисто риторический. Он-то знал, что дальше, вернее, считал, что знает. Он все заранее рассчитал. У Кларенса

была одна хорошая черта – он никогда никого не подводил. Не получалось: каждому, кто с ним сталкивался, заранее было известно, что он сукин сын, недаром он мне приходился единокровным братом.

А в прошлом году Вирджил (правильно: Вирджил Сноупс, вы угадали, младший сын дядюшки Уэсли – того самого регента хора, которого поймали после церковной службы в пустом складе с четырнадцатилетней девчонкой, его тогда вываляли в перьях и смоле и выкинули в Техас или еще куда-то, словом – вон из округа Йокнапатофа: Вирджил унаследовал его способности) вместе с Фонзо Уинбушем – он, кажется, племянник моего клиента – отправились в Мемфис поступать в парикмахерское училище. Кто-то, наверно, миссис Уинбуш, – она была не из Сноупсов, – очевидно, учила их снимать комнату, только когда по хозяйке видно, что она человек зрелый, верующая христианка, а главное – что в ней есть что-то материнское.

Наверно, они так и кружили вокруг вокзала со своими чемоданчиками, пока не прошли мимо дома Рэбы Риверс, как раз в то послеобеденное время, когда она выводила погулять двух своих злющих грязно-белых собачонок, которых она назвала мисс Рэба и мистер Бинфорд в честь Люшьюса Бинфорда – он был ее сутенером, а потом они оба постарели, зажили мирной жизнью, и все соседи – и полисмен, и мальчишка, что носил молоко и получал за газету, и шофер грузовика из прачечной – величали Люшьюса хозяином до

самой его смерти.

Вид у нее, конечно, был достаточно зрелый, особенно в халате, в котором она выходила после обеда, и по ее разговору тоже можно было догадаться, что хотя она, может быть, и недостаточно верующая, но про бога и душу знает, особенно если подойти поближе и послушать, как она разговаривает со своими собачонками, когда выпьет лишку; и вообще, по-моему, во всякой женщине весом около двухсот фунтов да еще в халате, кое-как заколотом английскими булавками, даже когда она вышибает пьяного, есть что-то материнское – особенно для двух восемнадцатилетних мальчишек из Джефферсона, штат Миссисипи.

Может, в ней и на самом деле было что-то материнское, и Вирджил с Фонзо в своей детской невинности увидели в ней то, чего мы, ее старинные, давнишние клиенты и приятели, никак не могли заметить. А может, они по этой своей простой, сельской йокнапатофской малолетней неискушенности беспрепятственно зашли туда, где даже ангел предварительно сдал бы на хранение свой бумажник. Словом, они зашли, спросили, есть ли свободная комната, и она им отвела одну из комнат. Наверно, они уже успели распаковать свои картонные чемоданишки, когда она сообразила, что они и не подозревают, куда попали.

А ведь ей надо было платить аренду, подкупать полицейских и поставщиков пива, оплачивать стирку и по субботам что-то подбрасывать Минни, служанке, уже не говоря о том,

что надо было подновлять свои громадные желтые бриллианты, чтоб они не так напоминали осколки пивных бутылок, а тут эти невинные йокнапатофские младенцы, и вокруг то девчонки бегают в умывалку в одних ночных рубашках, в халатиках или вообще так, то клиенты шныряют без конца, то Минни носится с полотенцами, с кружками джина по лестнице, то девки орут и дерутся, волосы друг у дружки выдирают из-за гостей, из-за своих котов, из-за денег, то сама мадам Рэба ругает какого-нибудь пьяного на чем свет стоит, старается его выставить, пока не нагрянула полиция. Но не прошло и недели, как она навела в доме порядок, и там бывало тихо, как в пансионе для благородных девиц, до той минуты, когда Вирджил и Фонзо закрывались у себя в комнате и, как она надеялась, крепко засыпали.

Конечно, долго так продолжаться не могло. Во-первых, они ходили в это парикмахерское училище и там слушали парикмахерские разговорчики целыми днями, а, как известно, даже за те тридцать минут, что тебя стригут, и то можно услышать достаточно всякой жеребятины. А потом они возвращались в этот дом, а там мелькает чья-то нога, или в дверях показывается хвостик рубашки или голая женская спина, так что у них, конечно, через некоторое время что-то в мыслях зашевелилось, хотя они по-прежнему считали, что все барышни – племянницы или воспитанницы мадам Рэбы и, может быть, тоже приехали в город учиться в парикмахерском училище, только, конечно, в дамском. Уж я не упо-

минаю о том чистейшем нюхе, который Вирджил и Фонзо (я вам говорил, что Фонзо – племянник Гровера Уинбуша?) унаследовали из чистейших первоисточников.

Словом, на втором месяце все переменялось. А так как мемфисский район красных фонарей не столь уж велик, то с течением времени они оба встретились с Кларенсом в том же заведении, в тот же час, потому что Вирджил и Фонзо все еще учились и не зарабатывали, и им приходилось бывать где подешевле. А тут у Вирджила открылся совершенно исключительный мужской талант, и в своем юношеском энтузиазме и невинности он проявлял его не только ради удовольствия, а еще платил деньги, пока Кларенс не открыл в нем этот талант и не стал его эксплуатировать.

Он, Кларенс, обычно шатался по бильярдным и по холлам тех гостиниц, где останавливался, пока не находил простачка, который отказывался верить его похвальбам насчет – как бы это сказать? – мощи его подшефного, и тогда Кларенс держал с ним пари: в первый раз жертва даже давала ему фору. Конечно, случалось, что Вирджил и подводил...

– И платил половину пари, – сказал я как-то.

– За что? – удивился Кларенс. – За то, что мальчик так старается? Да и подводит он меня куда как редко, день ото дня совершенствуется. Какую карьеру этот мальчишка может сделать, лишь бы хватило двухдолларовых девиц!

Словом, он и мне предложил вечером заняться этим делом.

– Нет, – говорю, – большое спасибо, ты иди, а я навещу посемейному одну старую приятельницу, а потом лягу спать. Дай мне двадцать пять, нет, пожалуй, тридцать долларов из тех денег, что Флем мне выдал – из сотни. С меня и тридцати хватит, – говорю.

– Какого черта? – говорит. – Половина твоя – и все. Не желаю, чтобы в Джефферсоне ты наврал про меня Флему бог знает что. Бери!

Я взял деньги.

– Завтра встретимся на вокзале перед отходом поезда.

– Что? – говорит.

– Я завтра еду домой. А ты можешь и не ехать.

– Но я же дал слово Флему, что пробуду тут с тобой и привезу тебя обратно.

– Плюнь! – говорю. – Деньги-то уже у тебя, пятьдесят долларов!

– В том-то и штука! – говорит. – Презираю того подлеца, который деньги берет, а потом наплюет на свое честное слово!

Среда – день спокойный, если только в городе нет никаких съездов, может быть, еще и потому, что многие из девиц (и из клиентов тоже) родом из маленьких городишек в штатах Теннесси, Миссисипи и Арканзас и росли в баптистских и методистских семьях, и потому во всех притонах, заведений и домах ввели – как это? – аналогичное расписание, как для молитвенных собраний, и среди недели выкраивали спокой-

ный денек.

– На звонок мне открыла Минни. На ней была шляпа вроде футбольного шлема, такая, что всю голову закрывала.

– Добрый вечер, Минни, – говорю. – Гулять собралась?

– Нет, сэр, – говорит. – А вы уезжали? Что-то вас давно не видно.

– Много дела, – говорю.

И Рэба тоже спросила, где я был. В доме стояла тишина, в столовой – только Рэба, какая-то новенькая и один гость, пиво пьет. На Рэбе все ее огромные желтые бриллианты, но при этом она в халате, а не в вечернем платье, в каком она ходила по субботам. Халат был новый, но все равно держался на английских булавках. Я и ей ответил то же самое.

– Много дела, – говорю.

– Мне бы так, – говорит, – а то у меня стало как в воскресной школе. Знакомьтесь – капитан Страттербек.

Капитан был высокий, грузноватый, с лицом, как у ломовика, знаете, из тех, что стараются держать себя нагло, но не уверены, какое впечатление это произведет: глаза у него были светлые, взгляд злой, только смотреть обоими глазами сразу в одну точку он никак не мог. Лет ему было под пятьдесят.

– Капитан Страттербек участвовал в двух войнах, – объяснила Рэба. – В той, испанской, двадцать пять лет назад, и в этой последней⁴. Он как раз нам про нее рассказывал. А

⁴ Имеются в виду испано-американская война 1898 г. и первая мировая война

это Тельма. Поступила к нам на прошлой неделе.

– Привет, – сказал Страттербек. – Вы тоже из наших ребят?

– Более или менее, – говорю.

– Какой части?

– Лафайетовской эскадрильи ⁵.

– Лафа... Это кому же лафа? А-а, эскадрилья – летчик, значит. Сам я в авиации не служил. Был кавалеристом на Кубе, в девяносто восьмом, а в шестнадцатом находился на границе, но призвали, понимаете, не попал в регулярную армию: был вроде как гражданский помощник Черного Джека ⁶, я всю округу вот как знаю. А когда Джека решили послать во Францию, там командовать, он мне говорит – если попаду туда, чтобы непременно отыскал его, он мне найдет работу. И когда я услышал, что Рик, то есть Эдди Рикенбекер, ас, – объяснил он Рэбе и новенькой, – он был шофером у генерала, так когда я услышал, что Рик ушел от генерала в авиацию, я решил – вот наконец мне повезло, но хоть я и попал за море, но у генерала уже был другой шофер, сержант, забыл, как его звали. А я оказался без должности. Но кое-что я повидал из кузова машины, так сказать, видел и Аргонну, и Шомон,

1914-1918 гг.

⁵ Лафайетовская эскадрилья – эскадрилья, сформированная из добровольцев города Лафайет (США) и участвовавшая в Европе в боевых действиях во время первой мировой войны.

⁶ Черный Джек – прозвище американского генерала Джона Першинга, участника первой мировой войны.

и Ваймиридж, и эту, как ее, Шато-Теорию ⁷, да вы, наверно, тоже побывали в самом пекле. Где вы были расквартированы?

– В АМХе ⁸, – говорю.

– Что? – говорит. И встает, совсем медленно. Высокий такой, довольно грузный, а сам все никак не может смотреть обоими глазами разом в одну точку. Видно, хочет меня напугать. Но тут Рэба тоже встала. А он говорит: – Вы что, смеетесь надо мной?

– Почему? – спрашиваю. – Разве так не бывает?

– Ладно, ладно, – говорит Рэба. – Можете вы пойти наверх с Тельмой или нет? Если нет, а у вас по большей части так и бывает, вы ей скажите.

– Не знаю, пойду или нет, – говорит. – А сейчас я думаю, что...

– Сюда люди не думать ходят, – говорит Рэба, – сюда идут для другого. Пойдете вы с ней или нет?

– Ладно, ладно, – говорит. – Пойдем, – это он Тельме. – Мы еще с вами увидимся, – это мне.

– После следующей войны, – говорю. Он с Тельмой вышел. – Зачем вы его пускаете? – спрашиваю.

– А он получает пенсию за ту испанскую войну, – говорит Рэба, – сегодня ему прислали. Сама видела, он еще распи-

⁷ Искаж. Шато-Тьерри, город во Франции, район ожесточенных боев во время первой мировой войны.

⁸ АМХ – Ассоциация молодых христиан.

сался на обороте, чтоб я могла за него получить деньги.

– Сколько? – спрашиваю.

– Да я не посмотрела, что там на другой стороне. Проверила, чтоб он расписался, где указано. Денежное извещение от казначейства, от правительства США. Какие же могут быть сомнения, раз это почтовое извещение от правительства США?

– Почтовое извещение может быть и на один цент, – говорю, – если можешь оплатить почтовые расходы. – Она смотрела на меня. – Он просто расписался на клочке синей бумаги и сунул его обратно в карман. Наверно, и ручку у вас одолжил. Правильно?

– Ну, будет вам, – говорит. – Что же теперь делать? Пойти наверх и сказать: «Эй, любезный, убирайся отсюда!»

Минни принесла еще бутылку пива. Для меня.

– А я пива не заказывал, – говорю. – Может, надо было вам сразу сказать? Сегодня я денег тратить не собираюсь.

– Я угощаю, – говорит. – А зачем вы пришли? Ссору с кем-нибудь затеять, что ли?

– Только не с ним, – говорю. – Он даже фамилию себе взял из книжки. Не помню, из какой, но получше той, откуда он начитался про войну.

– Ну, будет, будет, – говорит. – А какого черта вы ему сказали, где вы живете? Кстати, зачем вы там остановились?

– Где это? – спрашиваю.

– В АМХе. Ходят тут ко мне всякие малолетние субчики,

которым и взаправду место в АМХе, не знаю, там они останавливаются или нет. Но уж хвастать этим никто не хвастает.

– Нет, я живу в «Тиберри», – говорю. – Это я во время войны пристроился в АМХе.

– В АМХе? Во время войны? Да они не воюют. Вы и надомной вздумали потешаться, что ли?

– Знаю, что не воюют. Потому-то я к ним и записался. Гэвин Стивенс, юрист из Джефферсона, может подтвердить. Вы его спросите в следующий раз, если только он к вам придет.

Вошла Минни с подносом, на нем – два стакана джина. Она ничего не сказала, только остановилась в дверях, где Рэба ее могла видеть. Шляпы она так и не сняла.

– Ладно, неси, – говорит Рэба. – Но больше ни капли. Он даже за пиво не расплатился. Но мисс Тельма – новый человек у нас в Мемфисе, надо, чтоб она почувствовала себя как дома. – Минни ушла. – Значит, сегодня вы карман не вывернете, – говорит Рэба.

– Я ведь пришел просить вас об одолжении, – говорю. А она и не слушает.

– Вы и раньше немного тратили. Да, конечно, на пиво вы не скупились, угощали всех. Но баловаться не баловались. Во всяком случае, не с моими девчонками. – Она смотрела на меня. – Мне это тоже ни к чему. Дело прошлое. Мы бы с вами сладились. – Она все смотрела на меня. – Слыхала я про то дельце, что вы там открыли у себя. Многим, у кого

здесь заведения, это не понравилось. Считают, что вы под-
рываете коммерцию, что это не... не... как же это называется?
Доктора и адвокаты вечно бросаются этим словом.

– Неэтично, – говорю. – Это значит – всухую.

– Всухую? – говорит.

– Вот именно, – говорю. – Мою, так сказать, отрасль ва-
шей профессии можно назвать безводной или бесплодной
отраслью. Так сказать, форпостом в пустыне.

– Ага, понимаю, я вас поняла. Это точно. Я им так и го-
ворила: смотреть эти карточки, конечно, можно, временно
там, в глуши, где для человека нет никакой подходящей от-
душины, во рано или поздно кто-нибудь так распалится, что
захочет побежать к ближнему колодцу за ведром настоящей
воды. Так, может, он к моему колодцу и прибежит. – Она все
смотрела на меня. – Распродавайте все и переезжайте сюда.

– Это предложение, что ли? – говорю.

– Погодите. Переезжайте сюда, будете хозяином в доме.
Пиво и всякая выпивка все равно за мой счет, а много ли вам
еще надо – сигареты, одежда, ну и чтоб можно было звякнуть
мелочишкой в кармане, а это мне по средствам, да и за де-
вочками мне не придется следить, вам можно доверять, как я
доверяла мистеру Бинфорду, потому что ему я всегда могла
доверять, всегда. – Она все смотрела на меня. Что-то у нее
в глазах или в лице было такое, чего я никогда не видел, да,
по правде говоря, и не ожидал. – А мне надо... Мужчине по
силам то, что женщине трудно. Сами знаете, подкупать кого

следует, с пьяным справляться, проверять этих сукиных детей, торговцев виски и пивом, чтобы не вздували пены и не утаивали бутылок, надо кружить над ними день и ночь, как ястребу какому, лопни мои глаза. – Сидит, смотрит на меня, держит стакан пива, рука жирная, да еще этот бриллиант с кирпичину: – Мне нужно... Мне... Разве мне баловство нужно? Это давным-давно прошло, я и думать забыла... Тут не то... Три года, как он умер, а мне до сих пор не верится. – Не к месту все это было: это обрюзгшее, морщинистое лицо, это тело, истасканное от тяжелой, черной физической работы – работы проститутки, которой она кормилась, а теперь, как старый боксер или футболист, вернее, как старая лошадь, она и лицом и телом стала ни на что не похожа, ни на мужчину, ни на женщину, хоть на ней и румяна, слишком густые, дешевые, и огромные бриллианты, вроде настоящих, только, конечно, не того цвета, а тут еще эти глаза, и что-то в них прячется, мелькает что-то, чему там совсем не место, чего, как говорится, и собаке не пожелаешь... Минни прошла мимо двери в прихожую. Поднос был пустой. – Четырнадцать лет мы жили, как два голубка. – Она все смотрела на меня. Да, и собаке не пожелаешь... – Как два голубка! – заорала она, подняла стакан с пивом, со стуком поставила его на стол и крикнула: – Минни! – Минни остановилась в дверях. – Принеси джину.

– Нельзя, мисс Рэба, и не думайте! – сказала Минни. – Вспомните, как вы в прошлый раз затосковали по мистеру

Бинфорду, так от нас полиция до четырех утра не выходила. Пейте-ка пиво, а про джин забудьте!

– Ладно, – сказала Рэба. Она даже отхлебнула пива. Потом поставила стакан. – Вы говорили о каком-то одолжении. Денег вы просить не станете, я не о том, что это было бы нахальство, просто у вас соображения хватает. Интересно, насчет чего же?

– Как раз насчет денег, – говорю. Я достал те пятьдесят долларов, отслюнил десятку и сунул ей. – Я уезжаю годика на два. Это вам, чтоб не забывали меня. – Она денег не взяла. Она даже на них не взглянула, не то что Минни, а все смотрела на меня. – Может быть, Минни поможет, – говорю. – Хочу подарить сорок долларов самому несчастному сукину сыну, какого найду. Не знаете ли вы или Минни, кто тут сейчас самый несчастный сукин сын?

Теперь они обе смотрели на меня. Минни тоже смотрела из-под своей шляпы.

– В каком смысле несчастный? – спросила Рэба.

– Ну, попал в беду или сидит в тюрьме ни за что ни про что.

– У Минни муж, конечно, и сукин сын, и в тюрьме сидит, – говорит Рэба, – но я бы не сказала, что он несчастный. Как по-твоему, Минни?

– Не-е, – говорит Минни.

– Но, по крайней мере, он пока что хоть с бабами не треплется, – говорит Рэба, – так что можешь на время успоко-

иться.

– Не знаете вы Людеса, – говорит Минни. – Нет такого места на свете, хоть на каторге, хоть где, чтобы Людес не облапошил какую-нибудь дуру.

– А за что его взяли? – спрашиваю.

– Бросил работу еще прошлой зимой, околачивался тут все время, жрал в моей кухне, таскал у Минни деньги, чуть она заснет, а потом она его застучала – он ее деньгами платил другой женщине, а когда она попробовала его усостыжить, он как схватит у нее из рук утюг, как двинет, чуть ей ухо не оторвал. Оттого-то она и ходит в шляпе, даже дома. Так что я бы сказала – уж если кто заслужил ваши сорок долларов, так это Минни.

Но тут наверху в холле завизжала женщина. Минни и Рэба побежали туда. Я взял деньги и пошел за ними. Визжала и ругалась новенькая, Тельма, она выскочила на площадку в чем-то вроде халатика, хоть он ничего не прикрывал. Капитан Страттербек уже спускался по лестнице, в шляпе, в одной руке держал пиджак, а другой старался привести себя в порядок. Минни остановилась под лестницей. Она и не пыталась перекричать Тельму, тем более заставить ее замолчать; просто у Минни голос был громче, а может, и практики больше.

– Ясно, у него сроду денег не было, куда ему! Как стал сюда ходить – больше двух долларов ни разу не видели. И чего ты пустила его, не понимаю, сначала надо было деньги

зажать в кулак. Клянусь богом, он и брюк не снял! А уж если гость брюк не снимает, лучше его и близко не подпускай! Значит, норовит сбежать, и не верь, чего он тебе натреплет.

– Помолчи, – говорит Рэба Минни. – Хватит!

Минни отступила, даже Тельма замолчала, то ли она меня увидела, то ли просто так, но она даже этот свой халатик запахнула. Страттербек сошел с лестницы, он все еще пытался привести в порядок свою одежду, наверно, сейчас он меньше всего старался обоими глазами глядеть в одну точку. Впрочем, не знаю, судя по словам Минни, когда он спускался вниз, ему уже и пугаться и удивляться было поздно, как, скажем, какому-нибудь канатоходцу на канате. Главное идти надо осмотрительно, осторожно, но пугаться особенно нечего, а уж удивляться и вовсе не стоит. Наконец он дошел до самого низу. Но это было не все. До выходной двери оставалось еще восемь – десять шагов.

Но Рэба была настоящая леди. Она только протянула руку и ждала, а он наконец бросил возиться с пуговицами, вынул из какого-то кармана почтовый перевод и отдал ей. Настоящая леди. Она его и пальцем не тронула. Даже не обругала. Просто подошла к входной двери, взялась за ручку, повернула ее и говорит:

– Застегнитесь. Не допущу, чтоб человек выходил из моего дома чуть ли не в одиннадцать часов ночи бог знает в каком виде. – Потом закрыла за ним двери и заперла на ключ. А потом развернула почтовый перевод. Минни была права. Пе-

ревод оказался на два доллара, послан из Лонока, штат Арканзас. Отправитель подписался К.-Милла Страттербек. – Дочка или сестра? – сказала Рэба. – Как по-вашему?

Минни тоже рассматривала повестку.

– Нет, это жена, – говорит. – Сестра, или мамаша, или бабушка – те послали бы пятерку. Любовница – все пятьдесят долларов, если б только они у нее были и если на нее настроение нашло. Дочка послала бы центов пятьдесят. Нет, никто, кроме жены, ему два доллара не пошлет.

Она принесла в столовую еще две бутылки пива.

– Ну ладно, – сказала Рэба. – Вы просили об одолжении. Какое вам нужно одолжение?

Я опять достал деньги и опять пододвинул к ней десятку, а сорок придержал.

– Это вам с Минни, чтоб помнили меня, пока я не вернусь через два года. А остальные пошлите, пожалуйста, моему дяде, в миссисипскую каторжную тюрьму, в Парчмен.

– А вы через два года вернетесь?

– Да, – говорю. – Можете меня ждать. Через два года. Правда, человек, на которого я подрядился работать, сказал, что я вернусь через год, но я ему не верю.

– Ладно. Так что же мне делать с этими сорока долларами?

– Пошлите их моему дяде, Минку Сноупсу, в Парчмен.

– А за что он сидит?

– Убил человека, Джека Хьюстона, давно, в тысяча девятьсот восьмом году.

– А Хьюстона стоило убивать?

– Не знаю. Но, судя по тому, что я слышал, он сам напросился, чтоб его прикончили.

– Вот несчастный сукин сын! А надолго вашего дядю запрятали?

– Пожизненно, – говорю.

– Ну ладно, – говорит, – я и в этом знаю толк. Когда он выйдет?

– Примерно в тысяча девятьсот сорок восьмом году, если выживет и ничего с ним не стряется.

– Ладно, – говорит. – А как мне послать деньги?

Я дал ей адрес, все объяснил.

– Можете написать – от товарища по заключению.

– Зачем это? – говорит. – Я в тюрьме никогда не сидела и не собираюсь.

– Тогда напишите от друга.

– Ладно, – сказала она.

Она взяла деньги, сложила их.

– Эх, несчастный он сукин сын.

– Да вы о ком?

– О них обоих, – говорит, – да и о вас. Все мы такие. Несчастные мы сукины дети.

Я никак не ожидал, что увижу Кларенса еще до утра. Но он был в номере, на комод лежала куча мятых долларов, будто тут играли в кости, а сам Кларенс в одних брюках сто-

ял, смотрел на них и зевал, почесывая шерсть на груди. На этот раз им, вернее, Кларенсу попался оптовый покупатель, азартный малый, и после того, как Вирджил успешно справился с двумя девицами, он побился об заклад, что с третьей, без передышки, ему не справиться, причем он повысил ставку, и Кларенс покрыл ее той полсотней, которую ему дал Флем. Потому что тут он и вправду шел на риск: он рассказал, что даже сам предложил Вирджилю сдаться, обещал ему это в вину не ставить, но этот молокосос и глазом не моргнул:

– Чего там, давай ее сюда!

– А теперь меня совесть мучит, – сказал Кларенс и опять зевнул. – Деньги-то Флемовы. Совесть мне подсказывает не говорить ему ни черта, пусть думает, что его деньги истрачены, и все. Да как-то нехорошо, столько заграбастать, человек все-таки не свинья!

Приехали мы домой.

– Зачем тебе сразу возвращаться в тюрьму? – говорит мне Флем. – Еще три недели можешь побыть дома.

– Считайте, что мне привыкать надо, – говорю. – Считайте, что я хочу свою совесть утихомирить.

Так что я опять отгородился стальной решеткой, опять я был защищен от свободного мира – был защищен, был пока что в безопасности от свободного мира Сноупсов, где Флем пытался променять жену на место президента банка, а Кларенс даже получал жалованье, как сенатор штата, курсируя между Джексоном и Гейозо-стрит и зарабатывая на талан-

тах Вирджила, как только ему попался еще один гуляка из Арканзаса, который не желал верить своим глазам, а Байрон сидел в Мексике или, может, еще где-то, тратя остатки банковских денег, – защищенный от мира, где существовал наш с Кларенсом папаша, А.О., а общий наш дядюшка Уэсли одной рукой дирижировал церковным хором, а другой лез под юбку четырнадцатилетним девчонкам; я уж не считаю ни Уоллстрит-Панику, ни Адмирала Дьюи, ни их отца Эка, потому что они не нашего семейства, они наш позор.

О дяде-убийце, о Минке, и говорить нечего, я его увидел шесть-семь недель спустя (пришлось немного выждать, чтоб не спугнуть его, сами понимаете).

– Флем? – говорит. – Вот уж не думал, что Флем хочет меня вызволить. Мне казалось, что ему-то именно и нужно, чтобы я тут сидел как можно дольше.

– Наверно, у него характер исправился, – говорю. Он стоял передо мной в полосатой арестантской одежде, моргал глазами – такой жалкий, тощенький человечек, ростом с четырнадцатилетнего мальчишку. Даже странно было, каким чудом в таком маленьком тщедушном существе скопилось столько злобы и как он мог удержать в руках тяжелую двустволку да еще кого-то из нее прикончить.

– Очень ему благодарен, – говорит он. – Но только, ежели я завтра отсюда выйду, может оказаться, что я-то ничуть не исправился. Я ведь здесь давным-давно. А за все это время мне только и дел было, что работать в поле и думать. Может,

он зря рискует? Хочется все сделать по-честному.

– Он это знает, – говорю. – Он и не ждет, чтобы вы тут исправились, он понимает, что этого не будет. Он ждет, что вы исправитесь, как только выйдете отсюда. Он понимает, что как только на вас повеет вольным ветерком, как только солнышко вас пригреет, так вы сразу станете другим человеком.

– А что, если я не... – Он не прибавил: «Не сразу исправлюсь», – сам себя остановил.

– Он и тут готов рискнуть, – говорю. – Иначе ему нельзя. Понимаете, теперь нельзя. Тогда он не мог ничего сделать, чтоб вас не посадили. Но он знает, что вы считаете, будто он и не пытался. И теперь он хочет помочь вам отсюда выйти, во-первых, чтоб доказать, что не по его вине вы тут сидели, а во-вторых, чтобы не думать и не вспоминать, что вы считаете его виноватым. Понятно?

Он стоял неподвижно, только моргал глазами, и руки у него висели без дела, пальцы согнутые, будто по рукоятке плуга, и шея напряжена, словно на нее все еще лямка надета.

– Мне и всего-то пять лет осталось, тогда я сам по себе освобожусь. Тогда никто ничего от меня ждать не станет, никому я не буду обязан за помощь.

– Правильно, – говорю, – всего каких-нибудь пять лет. А что такое пять лет для человека, который вот уже пятнадцать лет, как привык, чтоб над ним стоял охранник с винтовкой, когда он пашет землю не под свой хлопок, другой охранник стоял над ним с винтовкой, когда он жрет свою баланду, охо-

та ему или неохота, а третий запирает его на ночь, пусть спит или не спит, это уж как ему вздумается. Еще каких-нибудь пять лет – а там выйдете на волю, и будет вас солнце греть, ветер обдувать, и никаких охранников, тень от винтовки вам свет не будет застить, потому что там свобода.

– Свобода, – сказал он совсем тихо, просто одно слово – «свобода».

И все. А дальше было проще простого. Конечно, надзиратель, которому я заранее накапал, ругал меня на чем свет стоит, но я этого ждал: мы живем в свободной стране, каждый заключенный имеет право на попытку к бегству, а каждый надзиратель и часовой имеет право выстрелить ему в спину, если он не остановится по первому окрику. Но ни один такой-растакой стукач не имеет права предупреждать надзирателя заранее.

Мне своими глазами пришлось все видеть. За это тоже было плачено: за это я, так сказать, и получил расписку, что мне разрешают дышать в мире, где водятся Сноупсы. Мне хотелось отвернуться или хотя бы закрыть глаза. Но ничего другого не оставалось, даже нельзя было зажать этот последний, жалкий, нестоящий грош, и пришлось смотреть на эту мелкую тварь, похожую на девчонку в материнном ситцевом платье и шляпке, – он считал, что это придумал Флем (вот что оказалось труднее всего – он все еще хотел верить, что человеку, идущему навстречу своей судьбе, даже если эта судьба – гибель, надо бы сохранять собственное достоинство и

хотя бы остаться в брюках: мне пришлось немало постараться, пока я его не убедил, что Флем не мог ничего достать, кроме женского платья и шляпы). Он шел шагом, я ему внушил: нельзя бежать, надо идти, и он шел такой жалкий, растерянный, неприкаянный, один в пустом тюремном дворе, похожий на бумажную куклу, которую вот-вот сдует в мельничный водоворот, шел, даже поняв, что назад уже повернуть нельзя, шел даже тогда, когда понял, что его продали и что ему давно надо было понять, что его продают, но он никого не виноватил, хоть его и продал тот, кому он ничего не сделал, ведь и он тоже поставил свою подпись – читать он не умел, но расписаться мог на расписке, что мне еще немножко дадут подышать, – и он тоже был одним из Сноупсов.

А потом он побежал, раньше, чем нужно. Он побежал прямо на них, я их еще не видел, побежал прежде, чем они выскочили из засады. И я гордился не только тем, что мы с ним родственники, но тем, что все мы были из одной породы несчастных сукиных детей, как говорила Рэба. Потому что они еле-еле справились с ним впятером, хоть колотили его рукоятками револьверов, пока наконец не удалось его свалить ударом дубинки по голове.

Начальник послал за мной.

– Ничего не говори, – сказал он. – Лучше бы я и того не знал, что я подозреваю. По правде говоря, будь моя воля, я бы запер тебя с ним в одной камере и оставил наедине, только на тебя я надел бы наручники. Но у меня свои обязан-

ности, и я тебя просто запроу в одиночку на неделю-другую, чтобы тебя не тронули. Но не от него.

– А вы не расстраивайтесь и не храбритесь, – говорю. – Вам ведь тоже пришлось расписаться.

– Что? – говорит. – Не понимаю!..

– Я сказал – не беспокойтесь. Он против меня ничего не имеет. Не верите – пошлите за ним.

И он вошел. Синяки и ушибы от рукояток уже начали заживать. Ну, а дубинка следов не оставляет.

– Здравствуйте, – говорит. – А потом мне: – Теперь ты, наверно, увидишь Флема раньше, чем я.

– Да, – говорю.

– Скажи, не надо было ему посылать это платье. Хотя это пустяк. Если бы я свое досидел, я, может, исправился бы. А уж теперь вряд ли. Так что теперь я уж просто подожду.

Видно, Флему надо было послушаться меня насчет тех десяти косых. И сейчас было не поздно. Я мог бы ему даже письмо написать: «Вам ничуть не трудно раздобыть десять тысяч. Вы только подпустите Манфреда де Спейна к вашей жене. Нет, это глупо: пытаться подсунуть Юлу Уорнер Манфреду де Спейну – это все равно, что стараться продать человеку лошадь, на которой он уже лет десять-двенадцать ездит. Но у вас есть эта девчонка, эта Линда. Правда, ей, кажется, всего лет одиннадцать – двенадцать, но это мелочь, нацепите ей темные очки и туфли на каблучках и подсуньте ему побыстрее. Может, де Спейн ничего не заметит».

Но письмо я писать не собирался. Да меня и не это беспокоило. Мучило меня то, что я знал: никакого письма я писать не стану, знал, что я от них откажусь – я говорю про коммиссионные с тех десяти тысяч за то, что я свел бы его с «синдикатом Чи». Не помню, когда это было, наверно, я был еще совсем молодым, когда понял, что происхожу, можно сказать, из семейства, из клана, из рода, а может быть, из расы чистокровных сукиных сынов. И я себе сказал: «Ладно, если дело так обстоит, мы им покажем. Лучшего адвоката называют „адвокат из адвокатов“, лучшего актера – „актер из актеров“, а лучшего спортсмена – „футболист из футболистов“. Отлично, так мы и сделаем. Каждый Сноупс поставит себе свою собственную личную цель, чтобы весь мир признал его самым рассукиным сыном из всех сукиных сынов».

Но никогда мы ничего не делаем. Нас на это не хватает. Самое большее, чего мы можем добиться, это просто быть обыкновенным Сноупсом, обыкновенным сукиным сыном. Все мы такие, все до одного – и Флем, и старый Эб, я даже толком не знаю, кем он мне приходится, и дядя Уэс, и наш с Кларенсом папаша. А.О., а потом, по нисходящей линии: Кларенс и я, плоды, так сказать, одновременного двоеженства, и Вирджил, и Уордамен, и Бильбо, и Байрон, и Минк. Я уж не говорю об Эке, и Уоллстрите, и Адмирале Дьюи, потому что они не наши. Я всегда подозревал, что мамаша Эка занималась сверхурочной ночной работенкой за девять месяцев до его рождения. Вот и вышло, что единственная насто-

ящая сука из нашей семьи оказалась вовсе не сукой, а святой и мученицей, а единственный чистокровный, неподдельный, истинный, непревзойденный сукин сын в нашей семье даже не был настоящим Сноупсом.

5. МИНК

Когда племянник вышел, начальник тюрьмы сказал:

– Сядьте. – Он сел. – О вас в газете написано, – сказал начальник. Газета лежала перед ним на столе.

НЕУДАЧНЫЙ ПОБЕГ. БЕГЛЕЦ В ЖЕНСКОМ ПЛАТЬЕ

Парчмен, Миссисипи, 8 сент., 1923 года. М.-С. («Минк») Сноупс, осужденный пожизненно за убийство в Йокнапатофском округе...

– А как ваше второе имя? Тут инициалы М.-С., – спросил начальник. Голос его звучал очень мягко. – Мы считали, что вас зовут просто Минк. Так вы нам говорили, верно?

– Верно, – сказал он. – Минк Сноупс.

– А второй инициал "С", он что означает? Тут написано: «М.-С.Сноупс».

– О-о, – сказал он. – Это просто так. Просто М.-С.Сноупс, как, например, Б.С. железная дорога ⁹. Ко мне в лазарет приходили эти молодые ребята из газеты. Все спрашивали, как меня зовут, я говорю – Минк Сноупс, а они говорят – Минк

⁹ Большая Северная железная дорога.

не имя, это какая-то собачья кличка. Как, говорят, ваше настоящее имя? Я им и сказал – М.-С.Сноупс.

– Вот оно что, – сказал начальник. – Значит, другого имени, кроме Минк, у вас нет?

– Да, Минк Сноупс – и все.

– А как вас называла мать?

– Не знаю. Она померла. Меня все звали Минк, с самого рождения. – Он встал. – Я пойду. Меня там, наверно, дожидаются.

– Погодите, – сказал начальник. – Неужели вы не знали, что ничего из этого не выйдет? Неужели не понимали, что вам не уйти?

– Да, мне и раньше говорили, – сказал он. – Предупреждали. – Он стоял, не двигаясь, затихнув, такой маленький и тщедушный, немного опустив голову, словно задумавшись, и лицо спокойное, будто он даже улыбался. – Зря он меня облапошил, вот я и попался в этой одеже, в шляпке в этой, – сказал он, – я бы с ним такой штуки не сыграл.

– Вы о ком? – спросил начальник. – Про этого... он ваш племянник, что ли?

– Про Монтгомери Уорда? – сказал он. – Он моего дяди внук. Нет. Я не о нем. – Он помолчал. Потом опять начал: – Лучше уж я пойду...

– Через пять лет вы бы вышли, – сказал начальник. – Вы понимаете, что теперь вам могут добавить еще двадцать.

– Меня и об этом предупреждали, – сказал он.

– Ну хорошо, – сказал начальник. – Можете идти.

Но тут он сам остановился, помолчал.

– Наверно, вы так и не узнали, кто мне послал те сорок долларов?

– Откуда же мне знать? – сказал начальник. – Я и тогда вам объяснял. Написано – от друга. Из Мемфиса.

– Это Флем, – сказал он.

– Кто? – переспросил начальник. – Тот родич, про которого вы говорили, что он вам не хотел помочь, когда вы человека убили? Вы еще сказали, что он мог бы вас спасти, если б захотел, так, что ли? Зачем же он теперь, через пятнадцать лет, стал бы посылать вам сорок долларов?

– Это Флем, – сказал он. – Он может, он богатый. А потом у вас никогда не бывало ссор из-за денег. В то время он только-только зацепился у Билла Уорнера, может, он решил, что все-таки тут убийство, не стоит зря ввязываться, даже если замешан твой кровный родственник. Только лучше б он не присылал одежду, шляпку эту. Не стоило ему так поступать.

Уже убрали хлопок, уже каждый хлопководческий район в Миссисипи готовил самых своих лучших, самых быстрых своих сборщиков, чтобы в состязании с лучшими сборщиками Арканзаса и Миссури они вышли победителями по всей долине Миссисипи. Но тут их искать не станут. Тут вообще никаких победителей нет, сюда попадают только неудачники: те, кто неудачно убил, украл или смошенничал. Он

вспомнил, как он сначала проклинал свою неудачу, невезение – разве иначе его поймали бы, – но теперь-то он понял: нет никакого везения или невезения, просто одни рождаются победителями, а другие неудачниками, и, если бы он родился победителем, Хьюстон не только не мог бы, он и не посмел бы издеваться над ним из-за какой-то коровы и не довел бы его до убийства: некоторые люди с самого рождения неудачники, они всегда попадают, некоторых людей с самого рождения все обманывают – и он, Минк, тоже был одним из таких людей.

Урожай выдался богатый, он и не запомнил такого, словно все шло на пользу хлопку, все поспевало ко времени: ветер и солнце помогли подняться посевам, на долгой злой летней жаре хлопок вытянулся и вызрел. Как будто еще весной земля сказала – что ж, давайте хоть раз будем заодно, не стоит ссориться, – то болото, та почва, та земля, что каждому арендатору, каждому издольщику была заклятым врагом, смертельным недругом, жестокая, неумолимая земля, что износила его молодость, его орудия, а потом и его тело. И не только его собственное тело, но и то, нежное и таинственное, которого он с таким изумлением и бережностью, с таким недоверчивым восторгом коснулся в первую брачную ночь, и оно теперь изнашивалось, стало таким жестким и жилистым, что часто – а ему казалось, почти всегда – он сам, измотанный и усталый, забывал, что рядом женщина. И это случилось не только с ними обоими, но станется и с их детьми, он видел,

как растут две его девочки, и знал, что ждет впереди эту нежную и хрупкую юность. Чего же удивляться, если человек смотрел на этот враждебный, непримиримый клочок скверной земли, к которому он был прикован до конца жизни, и говорил ей: «Твоя взяла, ты меня измотаешь до конца, потому что ты сильнее, а я – только мясо да кости. Бросить тебя нельзя, жить не на что, и ты это знаешь. И я сам, и то, что было моей молодостью и моей страстью, пока ты не иссушила мою молодость, а я не забыл свою страсть, все это будет повторяться из года в год, в детях нашей страсти, и ты их тоже будешь изнурять, толкать к могиле, и ты знаешь это, и так будет год за годом, год за годом, и ты это тоже знаешь. И не я один – все такие, как я: безземельные арендаторы, издольщики, те, что зарыли свою молодость, все надежды в тридцать, в сорок, в пятьдесят акров болота, где никто, кроме нашего брата, не стал бы работать, потому что у нашего брата нет ничего на свете, кроме тебя. Одно мы можем – выжечь тебя. Поздним февралем или в начале марта мы можем поджечь все, что на тебе есть, пока лицо твое не станет опаленным и черным, и тут ты с нами ни черта не сделаешь. Ты можешь износить наше тело и притупить наши мечты, можешь скрутить нам кишки кукурузной мукой, салом и патокой – на другое ты нам не дашь заработать, – но каждую весну мы можем выжечь тебя дотла, и ты это тоже знаешь».

А теперь все было по-другому. Земля была не его, то есть даже доли арендатора или издольщика он с нее не получал.

Теперь все, что с нее получали (или не получали) в урожай или в недород, в дожди или в засуху, десять центов за фунт хлопка или доллар за кипу – все это ни на йоту не меняло его теперешнюю жизнь. И теперь прошли годы, и тот год, когда он вышел бы на свободу, если бы не дал племяннику подговорить себя на эту глупость, – а всякий, даже тот дурак мальчишка, адвокат, которого ему навязали тогда на суде, хотя он, Минк, куда лучше сумел бы вести дело, – даже этот пустомеля и то предвидел, и то ему все объяснил и даже предсказал, какие будут последствия, – всякий понимал, что не только ничего не выйдет, но и заведомо выйти не может, – теперь все это уже было позади, и вдруг он понял одну вещь. Такие люди, как он, даже временно никогда не владели землей, хотя бы они брали ее в аренду у хозяина с первого января на целый год. Земля владела ими, и не только от посева до жатвы, но и навеки; не собственник земли, не помещик гнал их в ноябре с одного негодного участка на большую дорогу – искать в отчаянии другой такой же никуда не годный участок в двух милях или в десяти милях, за два штата или за десять штатов, чтобы успеть в марте засеять участок, их гнала сама пашня, сама земля гоняла их, обреченных на нужду, на нищету, в новое рабство, с участка на участок, как семья и клан гонят какого-нибудь дальнего родича, безнадежно разорившегося неудачника.

А теперь все это отошло. Он больше не принадлежал земле, даже на таких бесчеловечных условиях. Он принадлежал

правительству, штату Миссисипи. Он мог из года в год подымать пыль в междурядьях хлопкового поля, и, если на поле ничего не вызревало, ему было все равно. Больше не надо было ходить в хозяйскую лавчонку и препираться с хозяином из-за каждого грамма дешевого скверного мяса, муки, патоки, из-за стаканчика нюхательного табаку – единственной роскоши, на которую они с женой тратились. Больше не надо было препираться с хозяином из-за каждого жалкого мешка удобрений, а потом собирать жалкий урожай, пострадавший оттого, что этого удобрения не хватило, и опять препираться с хозяином из-за своей жалкой нищенской доли в этом урожае. Теперь от него требовалось только одно: работать не останавливаясь: даже часовому с винтовкой, охранявшему его, было неважно и безразлично, так же как и ему, вырастет что-нибудь там, где они работали, или нет, лишь бы работали без остановки. Сначала Минк стыдился, ему было и стыдно и страшно, что все узнают, насколько ему все безразлично, но однажды он понял (он сам не мог бы объяснить, каким образом), что и всем остальным тоже все равно, что с течением времени Парчмен всех доводит до этого состояния, и он думал и, удивляясь, недоумевал: «Да, брат, человек ко всему может привыкнуть, даже к Парчменской тюрьме, лишь бы время прошло».

Но в Парчмене человек иначе воспринимал только то, что увидел после ареста. Парчмен не влиял на то, что человек принес сюда с собой. Просто вспоминать стало легче, потому

что Парчмен учил человека ждать. Он вспоминал тот день, когда судья сказал; «Пожизненно», а он все еще верил, что Флем явится и спасет его, а потом наконец понял, что Флем не придет, что он и не собирался прийти, вспоминал, как он тогда же сказал, почти что крикнул вслух: «Вы отпустите меня хоть ненадолго, мне бы только попасть на Французову Балку или где он там будет, минут на десять, а потом я вернусь сюда, и можете меня повесить, ежели вам это нужно». И как даже тогда, три, пять или восемь лет назад, когда Флем подослал этого племянника – как его звали? – да, Монтгомери Уорд, и тот подговорил его на побег в женском платье и шляпе, а ему за это добавили еще двадцать лет, точь-в-точь как с самого начала предсказал этот дурак мальчишка, этот адвокат, – как даже тогда, отбиваясь от пяти надзирателей, он все еще кричал то же самое: «Только отпустите меня в Джефферсон на десять минут, потом я сам вернусь, потом можете меня повесить!»

Теперь он об этом уже не думал, потому что научился ждать. И он понял, что в ожидании он ко всему прислушивается, многое слышит; и, слушая, прислушиваясь, он даже лучше знал о том, что делается, чем если бы сам был в Джефферсоне, потому что тут ему надо было только следить за всем, а беспокоиться не надо. Значит, жена уехала к своим родным и, как говорили, умерла там, а дочери тоже уехали, выросли; может, на Французовой Балке, кто-нибудь знает, куда они девались. А Флем стал богачом, президентом бан-

ка, живет в доме – сам его перестроил, и дом, как рассказывали, был громадный, больше мемфисского вокзала, и с ним жила дочка, ублюдок от покойной дочери старого Билла Уорнера, дочка эта, когда выросла, уехала из дому, вышла замуж, а потом она с мужем была на войне, где-то в Испании, и там не то бомбой, не то снарядом убило ее мужа, а ее совсем оглушило. Теперь она вернулась, вдовая, живет с Флемом вдвоем в огромном этом доме и, говорят, даже грома не слышит, но в Джефферсоне народ ее не очень жалеет, потому что она связалась с какой-то негритянской воскресной школой, а еще говорили, что она связалась с какими-то «коммонистами», муж ее тоже был из них, будто они в той войне и дрались на стороне этих самых «коммонистов».

Флем, наверно, постарел. Оба они постарели. Когда он выйдет, в тысяча девятьсот сорок восьмом году, они с Флемом оба будут совсем стариками. А может, Флем и не доживет, и ему незачем будет выходить в тысяча девятьсот сорок восьмом году, а может, он и сам не доживет, не выйдет в тысяча девятьсот сорок восьмом году, и он вспоминал, как вначале одна эта мысль приводила его в бешенство: вдруг Флем умрет своей смертью, а может, найдется другой человек, удачливей его, такой, что не обречен судьбой на неудачу, такой, которого не поймают, и тогда ему казалось, что этого не вынести: ведь он не справедливости требовал, справедливость только для счастливых, только для победителей, но может же человек хотя бы надеяться на удачу, имеет же каж-

дый право на удачу. Но и это все уже отошло, расплылось, распылилось в монотонном ожидании, в тысяча девятьсот сорок восьмом году оба они с Флемом уже будут стариками, и он даже бормотал вслух: «Жаль, что нельзя нам, старикам, просто выйти вместе, посидеть спокойно на солнышке или в холодке, дожидаться, пока смерть нас обоих заберет, и ни о чем не думать, ни о каком-то там зле или обиде, ни о счетах, даже не помнить, что было зло, была обида, и беда, и расплата». Двое стариков, они не только никому уже не нужны, но скоро и совсем будут ни к чему, разве можно стереть, зачеркнуть, уничтожить те сорок лет, которые ему, Минку, тоже теперь ни к чему, а скоро он о них и совсем жалеть не станет. «Нет, как видно, теперь уж мы ничего поделать не можем, – думал он. – Теперь уж мы оба ничего вспять не повернем».

И снова осталось только пять лет – и он выйдет на свободу. Но на этот раз он твердо помнил урок, который ему преподавал дурак адвокатишка тридцать пять лет назад. Их было одиннадцать. Они работали, и ели, и спали вместе – одна кандальная команда, они жили в отдельном бараке из досок, парусины и проволоки, – стояло лето: скованные одной цепью, они шли в столовую есть, потом – в поле работать, потом, опять-таки скованные цепью, спать в свой барак. И когда был задуман побег, все десять должны были втянуть его в заговор, чтоб он их случайно не выдал. Они не хотели его втягивать: двое так и не согласились на это. Потому

что с той неудавшейся попытки бежать не то восемнадцать, не то двадцать лет назад всем было известно, что он по собственному почину стал горячим проповедником доктрины воздержания от побегов.

И когда они наконец сказали ему просто потому, что он должен был знать их тайну, чтобы по неведению ее не выдать, хотел он или не хотел участвовать в побеге, то в ту самую минуту, как он сказал, крикнул: «Нет! Стойте, погодите! Погодите! Не понимаете вы, что ли, если хоть один из нас попробует бежать, они всех обвинят, схватят, тогда уж никому не выйти, даже если отсидишь свои сорок лет», – он тут же понял, что наговорил лишнего. И когда он себе сказал: «Теперь мне надо освободиться от этой команды, уйти от них», – он не думал: «Если я окажусь с ними в темноте, один, без часовых, мне никогда больше свету не видеть, – а просто подумал: Надо вовремя поспеть к начальнику, пока они не удрали, может, уже сегодня ночью они всех нас погубят».

Но все равно ему пришлось ждать наступления той самой темноты, которой он так боялся, ждать, когда потушат свет, и притворяться спящим, ждать, чтобы убийцы на него напали, потому что только во время переполоха, который подымет-ся при нападении на него, он мог надеяться привлечь внимание часового, предупредить его, заставить его поверить. А это значило, что он должен был хитростью перекрыть хитрость: он застыл на своей койке, пока они не начали притвор-

но храпеть, чтобы заглушить его подозрения, прислушивался напряженно, неподвижно, затаив дыхание, чтобы вовремя, сквозь храп, разобрать тот звук, который предвещал удар ножа (или палки, или еще чего-нибудь) и успеть скатиться, слететь с койки, еще одним судорожным движением перекачаться под койку, пока они – он не мог разобрать, сколько их, потому что громкий притворный храп стал еще громче, – пока они не набросились на пустоту, где еще какую-то долю секунды назад лежал он сам.

– Держи его! – задохнулся, зашипел кто-то. – У кого нож?

И другой голос:

– У меня. Да где ж он, сволочь? – А он, Минк, даже не остановился: еще одно судорожное движение, и он выкатился из-под койки и на четвереньках, меж топчущими ногами, прорвался, отполз как можно дальше от койки. Весь барак сдавленно шумел.

– Свет давай! – бормотал кто-то. – Хоть на минуту свет!

Вдруг он очутился в пустоте, на свободе, и смог вскочить. И тут он завизжал, заорал без слов – только крик, резкий человеческий голос, и сразу кто-то зашептал, задыхаясь:

– Вот он. Держи...

Но он уже отбежал, отпрыгнул, отскакивая от одного невидимого тела к другому, как бильярдный шар, крича, вопя неумолчно, даже когда понял, что сквозь парусиновые стены видно, как весь воздух пронизан не только прожекторами, но и воем сирены, а сам он окружен озверелыми

молчаливыми людьми, они, словно рыбы, то выскакивали, то пропадали в беглом низком свете, который проникал через проволочную сетку над невысокой дощатой перегородкой, он даже увидел, как над ним сверкнул нож, и он нырнул, бросился в гущу, в водоворот ног, пытаясь пролезть под койку, под любую койку, чтоб уйти от ножа. Но было поздно, они уже увидели его. Он исчез под ними. Но и для них было поздно: казалось, что буравящие лучи прожекторов, даже самый вой сирены – все нацелено, направлено, сосредоточено на шатком, непрочном загончике, набитом орущими людьми. Ворвалась стража. Стражники били их по головам пистолетами, прикладами винтовок, оттаскивая их от него, пока он не оказался на виду у всех, избитый, окровавленный, но все еще в сознании. Он даже ухитрился в последнем судорожном усилии так вывернуться, что нож, который должен был пригвоздить его к полу, воткнулся в доски у самого его горла.

– Чуть не пришили, – сказал он стражнику. – Но, выходит, наша взяла.

Взяла, да не совсем. Он опять попал в больницу и только потом узнал, как на следующую же ночь двое – Стилвелл, шулер, который зарезал проститутку в Виксбурге (нож принадлежал ему), и второй, – они оба и настаивали, чтобы его, Минка, не посвящали в заговор, а просто заранее прикончили, – все равно пытались бежать, хотя убежал только Стилвелл, а второму выстрелом часового снесло полчерепа.

И опять он очутился в кабинете начальника. На этот раз перевязок было мало, а швов и совсем не накладывали: били его недолго, и никакого оружия, кроме кулаков и ног, у них не было, нож Стилвелла в счет не шел.

– Ведь нож был у Стилвелла, верно? – сказал начальник.

Он сам не мог бы объяснить, почему он это скрыл.

– Не знаю, у кого был нож, – сказал он. – Очень уж все быстро кончилось.

– Стилвелл, кажется, тоже так считает, – сказал начальник. Он взял со стола разрезанный конверт и вынул сложенный вдвое листок дешевой линованной бумаги. – Получил сегодня утром. Впрочем, ведь вы не умеете читать по-писанному, правда?

– Нет, – сказал он.

Начальник развернул листок.

– Отправлено вчера, из Тексарканы. Тут написано: «Он еще ответит за Джейка Баррона (так звали второго заключенного, убитого часовым), с него еще когда-нибудь спросится, так что вы его постерегите. И времени терять не стоит, кое-кто из наших еще за решеткой». – Начальник сунул письмо в конверт, положил в ящик и запер на ключ. – Вот видите. Тут вам ходить на свободе опасно, тут любой из них может вас прикончить. Вам осталось сидеть всего пять лет, и хотя вы не всех помогли задержать, но, вероятно, по моей просьбе губернатор дал бы вам амнистию хоть завтра. Но я не могу этого сделать, потому что Стилвелл вас все равно убьет.

– Значит, если б капитан Джеббо (надзиратель, который стрелял), если б он убил Стилвелла, я бы завтра мог уйти домой? – спросил он. – А вы не могли бы узнать по письму, где он сейчас есть, и послать туда капитана Джеббо?

– Вы хотите, чтобы тот самый человек, который не дал Стилвеллу убить вас, теперь убил Стилвелла?

– Ну, другого кого пошлите. Несправедливо выходит: он ушел, а мне тут еще пять лет сидеть. – И вдруг добавил: – Ну да уж ладно. В конце концов, может, и среди нас тут затесался один победитель.

– Победитель? – переспросил начальник. – Как вы сказали?

Но он ничего не ответил. И впервые за все время он стал считать дни и месяцы. Никогда раньше он этого не делал, ни в те первые двадцать лет, что ему дали тогда, в Джефферсоне, ни в те двадцать, что ему добавили после того, как он послушался Монтгомери Уорда и надел этот старушечий балахон и шляпу. Ведь никто, кроме него, виноват не был, и когда при этом невольно вспоминал о Флеме, он словно нехотя гордился им, изумляясь, что они с ним одной крови. Он думал, а то и говорил вслух, без всякой зависти: «Да, уж этот Флем Сноупс, его не одолеешь. Во всем штате Миссисипи, даже во всех Соединенных Штатах Америки, вместе взятых, не найти человека, чтоб одолел Флема Сноупса».

Но тогда было дело другое. Он сам пытался бежать, хотя и неудачно, и безропотно принял добавочные двадцать лет

заклучения, пятнадцать из них он отсидел, не только не делая попыток к побегу, но даже рисковал жизнью, чтобы сорвать планы десятка других заключенных: в награду за это его могли бы освободить на другой же день, если бы один из надзирателей, меткий стрелок с винтовкой в руках, все-таки не прозевал одного из этих десяти заговорщиков. Выходило, что пять последних лет он должен сидеть не из-за себя. Он был готов добросовестно отсидеть свои сорок лет, и не его вина, что они превратились в тридцать пять и что остальные пять он сидел по милости злобной, даже ехидной благодетельницы-судьбы.

С этого рождества (впервые) кто-то стал отмечать за него медленно проходивший срок заключения. Пришла поздравительная открытка с мексиканским штемпелем, адресованная начальнику, для передачи ему. Начальник прочел открытку вслух, оба знали, от кого она: «Четыре года осталось. Не так много, как тебе кажется». На Валентинов день открытка была самодельная: на грубой, линованной бумаге красным карандашом, какие употребляют плотники и дровосеки, было грубо нарисовано сердце и стреляющий в него револьвер.

– Видите? – сказал начальник. – Даже если б ваши пять лет уже кончились...

– Мне не пять осталось, – сказал он. – Четыре года, шесть месяцев и девятнадцать дней. Так вы считаете, что и тогда меня нельзя выпустить?

– Чтоб вас прикончили прежде, чем доберетесь домой, да?

– Пошлите людей, пусть его поймают.

– Куда послать? – сказал начальник. – А если бы вы сами оказались на воле и не хотели возвращаться и знали бы, что я хочу вас вернуть, где бы я вас ловил, куда бы посылал людей?

– Да, – сказал он. – Значит, нет никаких человеческих возможностей, ничего не сделаешь.

– Нет, есть, – сказал начальник. – Надо выждать, ведь он непременно что-нибудь натворит, и полиция схватит его – не тут, так в другом месте.

– Выждать, – повторил он. – А вдруг человеку времени нет выжидать?

– Да ведь у вас есть еще четыре года, шесть месяцев и девятнадцать дней, так что можно не беспокоиться.

– Да, – сказал он, – у него еще есть время чего-нибудь натворить.

И снова рождество, снова открытка с мексиканским штемпелем: «Три года осталось. Далеко не так много, как тебе кажется».

Он стоял перед начальником, чуть опустив голову, щедушный, маленький, неистребимый, в полосатой арестантской одежде, со спокойным лицом.

– Опять из Мексики, как видно, – сказал он. – Может быть, *Он* там его убьет.

– Что? – переспросил начальник. – Что вы сказали?

Он не ответил. Он стоял спокойный, сосредоточенный, невозмутимый. Потом заговорил:

– Пока у меня не началась эта коровья склока с Джеком Хьюстоном и раньше, когда я еще мальцом был, я каждое воскресенье ходил в церковь, а по средам – на молитвенные собрания, с той женщиной, что меня вырастила.

– А кто они были, эти люди? – спросил начальник. – Вы говорили, мать у вас умерла?

– Он-то был просто сукин сын. А она мне и вовсе не родня, просто его жена... Каждое воскресенье, пока я...

– А его фамилия тоже была Сноупс? – спросил начальник.

– Он был мой отец... пока я не подрос и не откололся от бога, бывает так, что думаешь – я уже вырос, мне ни от кого ничего не надо. А потом вы сказали, что раз я помешал девяти парням из десяти убежать, так мне можно пять лет скостить, а вышло так, что вы меня вовсе выпускать не собираетесь, и тут я *Его* опять признал.

– Как признали? – спросил начальник. – Кого признали?

– Бога признал.

– Вы хотите сказать, что вернулись в лоно церкви с той ночи, два года назад? Да ведь это неправда. Вы ни разу даже в церкви не были, с тех пор как попали сюда, с тысяча девятьсот восьмого года.

И это было верно. Впрочем, ни прежнего начальника, ни его преемника это ничуть не удивляло. Они скорее могли предположить, что он примкнет к одной из тех небольших

бунтарских, непримиримых, ни с кем и ни с чем не согласных сект, – секты эти существовали наряду с официальными тюремными церковными организациями почти во всех провинциальных тюрьмах на Юге, – к какой-нибудь небольшой фанатической секте или группе (в этой тюрьме она называлась «Свидетели Иеговы»), которой руководили самозванные вожаки, попавшие в тюрьму по удивительно однообразной схеме: все они были осуждены за преступления, характерные для средней прослойки, для людей уважаемых и связанных с семейной жизнью или, во всяком случае, с женщинами: было и двоеженство, и присвоение денег секты ради женщины, ради своей или чужой жены, и только в редких случаях, да и то самые отпетые, попадали из-за профессиональных проституток.

– А мне церковь не нужна, – сказал он, – я все больше наедине, втихомолку.

– Втихомолку? – переспросил начальник.

– Ну да, – сказал он с каким-то даже раздражением. – Богу писем писать не нужно. Он-то давно вас насквозь видит, ему и беспокоиться не стоит читать, что вы там напишете. Ведь человек и на свободе начинает кое-что соображать, с годами, конечно. А тут начинаешь соображать куда быстрее. Раз есть такой высший Судья, у которого силы хватит тебе помочь, он тебе и помогает, а твое дело только верить и принимать помощь, дурак ты будешь, ежели не примешь.

– Значит, *Он* избавит вас от Стилвелла? – сказал началь-

ник.

– А то как же! Чем я перед ним провинился?

– Не убий! – сказал начальник.

– А что же *Он* Хьюстону это не сказал? Разве я стал бы ездить в Джефферсон, спать на вокзальной скамейке, лишь бы достать патроны, если б Хьюстон меня не заставил?

– Ну и чертовщина! – сказал начальник. – Ну и чертовщина, будь я проклят! Тебя отсюда через три года выпустят, но, будь моя воля, я бы тебя сейчас же выставил, сегодня же, пока тебе в голову или чем ты там еще думаешь не взбрело и на меня косо посмотреть. Не хочу сидеть и всю жизнь представлять себе, что про меня так думают, как ты думаешь про тех, кто тебе мешает, чтобы мне желали того, чего ты им желаешь... Ну, ступай. Работать надо.

Но когда настал октябрь – месяц, насколько он знал, не праздничный, без подозрительных открыток – и начальник за ним послал, он даже не удивился. Начальник сперва только молча посмотрел на него – не то что растерянно, но как будто даже уважительно, потом сказал:

– Да, чертовщина. – Перед ним лежала телеграмма. – От начальника полиции из Сан-Диего, Калифорния. Там в мексиканском квартале стояла церковь. Она давно была заброшена, кажется, новую выстроили. Словом, служб там не было, а что в ней делалось, даже полиция толком не знала. А на прошлой неделе церковь обрушилась. Причин никто не знает, рухнула вдруг, и все. Там нашли человека, вернее, то,

что от него осталось. Вот что пишут в телеграмме: «Отпечаткам пальцев ФБР установило ваш заключенный номер 08213 Шафорд Стилвелл». – Начальник вложил телеграмму в конверт, сунул конверт в ящик. – Расскажите, в какую это церковь вы ходили, до того как Хьюстон заставил вас убить его.

Но он ничего не ответил. Он только глубоко вздохнул.

– Теперь-то меня выпустят, – сказал он, – теперь я свободен.

– Не сию минуту, – сказал начальник. – Пройдет месяц-другой. Надо написать прошение, послать губернатору. Потом он запросит рекомендацию. А потом подпишет помилование.

– Прощение? – сказал он.

– Вы сюда попали по закону, – сказал начальник. – Вас и выпустить должны по закону.

– Прощение? – повторил он.

– Надо, чтобы ваши родные поручили юристу составить прошение о помиловании на имя губернатора. Жена... впрочем, она умерла. Ну, одна из дочерей.

– Наверно, они теперь уже замужем, уехали.

– Так, – сказал начальник. Потом сказал: – Черт побери, да вы уже фактически свободны, ведь у вас в собрании штата есть родич – кем он вам приходится, этот Эгглстоун Сноупс, которого два года назад провалили на выборах в конгресс?

Он стоял не двигаясь, слегка наклонив голову.

– Что ж, как видно, я тут останусь.

Как он мог сказать чужому человеку: «Кларенс, внук моего старшего брата, занимается политикой, ему голоса соби- рать надо. А когда я отсюда выйду, у меня избирательного права не будет. Чем же мне купить подпись Кларенса Сноупса на прошении?» Значит, оставался только сын Эка, Уоллстрит, а тот никогда никого не слушался.

– Видно, я тут у вас и эти три года отбуду, – сказал он.

– Напишите сами своему шерифу, – сказал начальник. – Я могу за вас написать.

– Хэб Хэмптон, тот, что меня засадил, он уже помер.

– Но какой-нибудь шериф там у вас есть? Что это с вами? Может, вы за эти сорок лет стали бояться солнца, воздуха?

– Тридцать восемь будет нынешним летом, – сказал он.

– Хорошо, тридцать восемь. Сколько вам лет?

– Родился я в восемьдесят третьем, – сказал он.

– Значит, вы тут сидите с двадцати пяти лет?

– Не знаю, не считал.

– Ну, ладно, – сказал начальник. – Ступайте! Когда захотите, я напишу письмо вашему шерифу.

– Пожалуй, я досижу, – сказал он. Но он ошибся. Через пять месяцев прошение уже лежало на столе у начальника.

– Кто это Линда Сноупс Коль? – спросил начальник.

Он долго стоял, не двигаясь:

– Ее папаша богатый банкир в Джефферсоне. У его деда и у моего все дети погодки.

– Она, как член вашей семьи, подписала прошение губер-

натору о вашем освобождении.

– Это как же понимать, шериф за ней послал, что ли, он заставил ее подписать?

– Как он мог? Ведь вы не дали мне написать шерифу.

– Верно, – сказал он. Он смотрел на бумагу, прочесть ее он не мог. Она лежала перед ним вверх ногами, впрочем, это тоже было все равно. – Вы мне покажите, где тут подписались те, что не хотят меня выпускать.

– Что? – спросил начальник.

– Те, кто не хотят, чтоб я вышел.

– А-а, вы про семью Хьюстонов. Нет, тут на прошении стоят только подписи прокурора, который вас засудил, вашего шерифа Хэба Хэмптона-младшего и еще В.К.Рэтлифа. Он не из Хьюстонов?

– Нет, – сказал он. Потом опять медленно, глубоко вздохнул. – Значит, я свободен?

– Мало того, – сказал начальник. – Вам не просто везет, вам вдвойне везет.

Но объяснил он ему, в чем дело, только назавтра, после того как ему выдали пару башмаков, рубашку, рабочий комбинезон, фуфайку и даже шляпу, все новехонькое, и еще бумажку в десять долларов и те три доллара восемьдесят пять центов, что оставались от сорока долларов, которые Флем послал ему восемнадцать лет назад, и тогда начальник сказал:

– Тут приехал помощник шерифа, привез заключенного

из Гринвилля. Сегодня он едет обратно. За доллар он вас доведет прямо до Арканзасского моста, ведь вам как будто туда?

– Премного благодарен, – сказал Минк. – Я сначала поеду в Мемфис. У меня там дело есть.

Наверно, все тринадцать долларов и восемьдесят пять центов уйдут на покупку пистолета, даже в какой-нибудь мемфисской ссудной лавчонке. Он собирался пробраться в Мемфис на товарном поезде под вагонами или на буферах – так он ездил раза два, когда был мальчишкой и подростком. Но, едва выйдя за ворота, он понял, что боится. Слишком долго он сидел взаперти, забыл, как это делается; его мускулы, наверно, потеряли ловкость и упругость, он разучился действовать просто, быстро, не раздумывая, идти на риск. Потом он подумал – не попробовать ли осторожно забраться в пустой вагон, но понял, что и это он сделать не посмеет, что за тридцать восемь лет он, возможно, даже позабыл все неписанные правила братства мелких бродяжек, и вдруг спохватился, – да, слишком поздно.

Он стоял на обочине шоссейной дороги, которая тридцать восемь лет назад, когда он на нее ступил, даже не была вымощена камнем, и на грязи отпечатывались подковы мулов и железные ободья колес: теперь и с виду и на ощупь она стала гладкой, как пол, он это видел, а мог и потрогать, если вблизи не было мчащихся машин и грузовиков. В прежние времена любая повозка остановилась бы, чуть завидев под-

нятую руку. Но тут мчались не повозки, и он не знал, каким новым правилам они подчиняются. Конечно, если б он знал, как это теперь делается, он так бы и поступил, а не стоял тут, такой безобидный, тщедушный, ростом не больше ребенка, в новом комбинезоне и фуфайке, еще хранивших складки от лежания на полке, в новых башмаках и шляпе, как вдруг грузовик, проезжавший мимо, затормозил, остановился около него, и шофер спросил:

– Тебе далеко, папаша?

– В Мемфис, – сказал он.

– Я еду до Кларсдейла. Оттуда тебя другой подкинёт. Не все ли равно – отсюда ли, оттуда.

Стояла осень, конец сентября, и он понял, что забыл еще одну вещь за тридцать восемь лет тюрьмы – времена года. Они и в тюрьме приходили и уходили, но в эти тридцать восемь лет единственное его право на них было терпеть из-за них мучения; от жары и солнцепека летом, хотел он работать в самое пекло или нет, от дождей и ледяной слякоти зимой, хотелось ему выходить или нет. Но теперь времена года снова принадлежали ему: через неделю наступит октябрь, тут, в плоской приречной долине, особенно глядеть не на что, он и тридцать восемь лет назад смотрел на нее из окна вагона с неодобрением: одни голые стебли хлопка да свечи кипарисов. Но там, дома, в горах, вся земля будет золотой и алой от орешника, дубов и кленов, а сжатые поля затеплеют от шалфея и пятен пунцового чертополоха – за тридцать восемь лет

он и это забыл.

И вдруг откуда-то из глубины памяти возникло дерево, одинокое дерево. Мать умерла, он не помнил ее, не помнил, сколько ему было лет, когда отец снова женился. Так что эта женщина не была ему родней, и она вечно об этом напоминала: воспитывает она его не из родственных чувств, не по обязанности и не потому, что он слабый и беспомощный и как-никак человек, а только потому, что она христианка. Но было в ней и что-то другое. Он сразу это почувствовал – в этой изможденной, измученной, неряшливой женщине, которую он всегда помнил либо с синяком под глазом, либо с грязной тряпкой, прижатой к тому месту, куда ее только что ударил муж. Но он всегда мог на нее надеяться, не на то, что она что-нибудь для него сделает, тут она была бессильна, но на ее постоянство, на то, что она всегда тут, всегда помнит о нем, прикрывает каким-то щитом, правда, никак его не защищавшим, а, наоборот, словно притягивавшим к нему и боль и горе. И все же она всегда была тут, слезливая, умученная, но постоянная.

Она все еще лежала в постели, утро уже прошло, и ей давным-давно пора было приняться за бесконечную возню, наполнявшую ее дни. Она никогда не болела, значит, муж избил ее на этот раз еще сильнее, чем обычно, и она лежала в кровати и говорила про еду, про требуху, про затхлую муку и патоку, – он считал, что все люди только это и едят, разве что поймают или подстрелят какую-нибудь дичь; как видно,

удар на этот раз пришелся ей прямо по животу.

– Не могу я это есть, – ныла она, – мне бы чего-нибудь повкуснее, мяса беличьего кусочек.

Он понял: вот почему вспомнилось дерево. Тогда ему пришлось украсть ружье, – отец избил бы его до полусмерти, если бы узнал, – потом тащить тяжелую, больше него самого двустволку, до леса, к тому дереву, к ореху, прятаться за ним, скорчившись, и в сонном великолепии октябрьского дня ждать, пока не появится маленький зверек. И тут он стал дрожать (у него был один-единственный патрон) – и это он тоже вспомнил: невероятное усилие, с которым он старался поднять тяжелую двустволку, задыхаясь, бормоча в приклад: «Господи, дай, господи, дай!» – в толчок отдачи, в запах черного пороха – и вот уже можно было бросить двустволку и подбежать и поднять еще теплое пушистое тельце, а руки у него так дрожали и тряслись, что он еле-еле удержал его. И у нее руки тоже тряслись, когда она гладила тушку.

– Сейчас мы ее обдерем, поджарим, – говорила она, – сейчас мы ее вместе скушаем!

Тот огромный орех, конечно, давно погиб, его раскололи на дрова, на ободья или на доски много лет назад, может, и места того нет, где он стоял, – все выкорчевали, – может, так они думали, те, что срубили, уничтожили дерево. Но он-то видел его иначе: непорухенным в памяти и нерушимым, нетронутым и неприкасаемым в золоте и пышности октября. «Да, вот так оно и есть, – думал он, – не к месту какому тянет

человека, может, этого места уже и нет, и не надо. А тянет человека тоска к тому, про что он вспоминает».

Вдруг он вытянул шею, выглянул в окошко:

– Как похоже на... – И сразу замолчал. Нет, он теперь на свободе, пусть хоть весь свет узнает, где он провел тридцать восемь лет. – ...на Парчмен, – договорил он.

– Ага, – сказал шофер, – тут лагерь.

– Что? – спросил он.

– Лагерь военнопленных, которые с войны.

– С какой войны?

– Да где же ты был последние пять лет, папаша? – сказал шофер. – Проспал?

– Я далеко был, – сказал он. – Помню, была какая-то война с испанцами, – я тогда был мальчишкой, потом с немцами. А с кем они сейчас дрались?

– Со всеми. – Шофер крепко выругался. – С немцами, с японцами, даже с Конгрессом дрались. А потом струсили. Дали бы они нам побить русских, и все было бы в порядке. А они только фрицев и япошек побили, а потом решили всех задушить до смерти деньгами.

Он подумал: «Да, деньги». Потом сказал:

– Если бы у тебя было двадцать пять долларов, а ты нашел бы еще тридцать восемь, сколько же это выходит?

– Чего? – спросил шофер. – Да я бы и не остановил машину, чтобы подобрать тридцать восемь долларов. На черта ты меня спрашиваешь? Может, у тебя есть эти шестьдесят три

доллара, а ты не знаешь, куда их девать?

«Шестьдесят три, – подумал он. – Вот, значит, сколько мне лет. Он подумал спокойно, мирно: Какая уж справедливость, я об этом никогда не просил, только чтоб было по-честному, и все».

Вот и все: пусть ничто ему не помогает, только бы ничто не шло против него. Вот все, чего он хотел, и теперь так оно и выходило.

6. В.К.РЭТЛИФ

– Значит, ты и к поезду не выйдешь встречать ее? – говорит Чик. Юрист даже головы не поднял, сидит за письменным столом и всем своим существом (во всяком случае, всем своим носом) погружен в бумаги, будто в комнате, кроме него, ни души нет. – Это же не просто новая девочка приезжает в наш город, – говорит Чик, – это же раненый ветеран войны женского пола. Впрочем, нет, какая же она новая девочка, – говорит, – слово не то. Вообще слово «новая» тут никак не подходит. Во-первых, она в Джефферсоне человек не новый, потому что она тут родилась и выросла. Да и если она даже и была когда-то «новенькой» в Джефферсоне или еще где, так это давно прошло, потому что если ты когда-то где-то и была новенькой, так с тебя вся новизна слетит, когда побываешь в Испании с поэтом из Гринич-Вилледжа и будешь там бить Гитлера. Особенно если из-за этого поэта вас обоих изувечит снарядом. Особенно если ты – женщина. Так что, вернее сказать, это не просто знакомая девушка, которая когда-то тут росла, приезжает в Джефферсон, но первая девушка, знакомая или незнакомая, которая возвращается в Джефферсон с войны, раненая. Солдаты, мужчины, те приезжали, это да. Но ведь для нас это первая девушка, первая женщина-солдат, уж не говоря о том, что она действительно пострадала от врага. Разумеется, я не говорю про всякие на-

силлия по той простой причине, что сейчас разговор идет не о насилиях. – Но его дядя даже не шелохнулся. – А я-то думал, что ты весь город соберешь на вокзал – встречать ее. Просто из симпатии, из сочувствия, я уже не говорю – из сострадания: девушка отправилась бог знает куда, в самую Испанию, из-за этого у нее и мужа убили, и у самой от снаряда обе барабанные перепонки лопнули. М-да, миссис Коул, – говорит.

Юрист и тут не поднял головы.

– Коль, – сказал он.

– А я так и говорю, – сказал Чик. – Миссис Коул.

На этот раз Юрист повторил по буквам.

– К-о-ль, – говорит. Но и до того, как он произнес по буквам, фамилия прозвучала у него совсем по-другому, иначе чем у Чика. – И был он скульптор, а не поэт. И убило его не снарядом, а в самолете.

– Ну, тут ничего удивительного нет, раз он был всего только скульптор, – говорит Чик. – Естественно, скульптор не так ловко может уклоняться от пулеметных очередей, как поэт. Скульптор привык стоять на одном месте. А может быть, это случилось не в субботу, и у него шапки на голове не было.

– Он летел в самолете, – сказал Юрист. – Самолет подбили. Он упал и сгорел.

– Что? – сказал Чик. – Неужели гринич-вилледжский скульптор по фамилии Коль и в самом деле не побоялся летать на самолете там, где его мог подстрелить противник? – Он смотрел на своего дядю сверху, прямо ему на макушку. –

Значит, не Коул, – сказал он, – а Коль. Странно, что он не переименовал фамилию. Разве их нация обычно не меняет фамилии?

И тут Юрист закрыл свою папку, ничуть не торопясь, положил ее на стол, отодвинул кресло, откинулся на спинку и заложил руки за голову. Волосы у него начали седеть, когда он вернулся еще с той войны, из Франции, в 1919 году. А теперь он стал совсем седой, и сидел он спокойно, откинувшись в кресле, волосы, как белая грива, золотой ключ – значок Гарвардского университета – на цепочке от часов, в кармане рубашки торчит простая тростниковая трубка черенком кверху, будто зубочистка или карандаш, а он сидит себе и смотрит на Чика, чуть ли не с полминуты.

– В Гарварде тебя этому не учили, – говорит. – А я-то думал, что после двух лет в Кембридже ты, может, про это и не вспомнишь, даже когда вернешься в Миссисипи.

– Ладно, – сказал Чик. – Виноват. – Но Юрист сидел спокойно в кресле и смотрел на него. – О, черт! – говорит Чик. – Я же сказал: виноват!

– Нет, ты вовсе не чувствуешь себя виноватым, – сказал Юрист. – Просто тебе стыдно.

– А разве это не одно и то же? – спрашивает Чик.

– Нет, – говорит Юрист. – Когда тебе просто стыдно, значит, у тебя еще нет отвращения к таким вещам. Тебе только противно, что тебя поймали.

– Ну, ладно, ты меня поймал, – сказал Чик. – И мне ста-

ло стыдно. Чего тебе еще от меня нужно? – На это Юрист даже не ответил. – Может, я тут ничего поделывать не могу, – говорит Чик, – даже после двух лет в Гарварде. Может, я до Гарварда слишком долго жил среди тех, кого мы в Миссисипи зовем белыми людьми. Неужели тебе может быть за меня стыдно оттого, что я вовремя чего-то не понял?

– Да мне за тебя вообще не стыдно, – сказал Юрист.

– Ну, хорошо, – говорит Чик, – значит, ты из-за меня огорчаешься.

– Нет, я из-за тебя и не огорчаюсь, – говорит Юрист.

– Какого же черта мы затеяли весь этот разговор? – говорит Чик.

Так что человеку, который десять – двенадцать лет назад не жил в Джефферсоне или вообще в Йокнапатофском округе, могло показаться, что тут заинтересованное лицо – Чик. И он так здорово заинтересован, что не только заранее готов приревновать своего дядю, но и уже ревнует его, хотя предмет ревности или, так сказать, яблоко раздора еще не прикатило домой, а он его десять лет даже и не видел. Выходит, что он ревнует не просто к девушке, которую не видел десять лет, но ревнует оттого, что ему было всего лет двенадцать – тринадцать, а она уже была совсем взрослая, девятнадцатилетняя, когда он ее в последний раз видел, а такая разница в годах – непреодолимая преграда: даже если обоим прибавить года по три, по четыре, и то преграда останется, конечно, ежели из них старше она, а не он. Вы,

наверно, подумаете, что мальчишка двенадцати – тринадцати лет еще не может ревновать по-мужски, что нет в нем того горячего, которым ревность разжигается и столько времени горит, да еще из-за девятнадцатилетней девушки, впрочем, так бывает из-за любой женщины, от восьми до восьмидесяти лет, только вот никому не известно, когда же это человек еще настолько молод, что может не тратить горячее, не давать пожару в себе разгореться. Разве есть такой возраст, когда человек слишком молод, чтобы дать опутать, удушить свое сердце той единственной прядью волос Лилит¹⁰, как говорится в стихах. Или слишком стар, это все равно. Да, кроме того, теперь, когда она вернется, она хоть и будет по-прежнему старше его на шесть-семь лет, но теперь она будет на шесть-семь лет старше двадцатидвух-двадцатитрехлетнего парня, а не двенадцати – тринадцатилетнего мальчишки, а это уже и вовсе не помеха. Теперь он уже не будет стоять в стороне перед этой петлей, этой прядью волос, как невинная, малолетняя жертва, теперь он уже сам будет на это дело напрашиваться, сам будет лезть в петлю, драться за право попасть в петлю. И драться не только за право и за честь быть удушенным, но и за право попасть в петлю первее всех.

Казалось, что этого-то он сейчас и добивается: нарочно дразнит и сердит своего дядю, ищет, какой бы дубинкой, палкой или жердиной его стукнуть, задирается, будто ему не

¹⁰ Лилит в библейской литературе – демон ночи, изображался как соблазнительная женщина с длинными волосами.

то что двенадцать – тринадцать лет, а куда меньше, бьет чем ни попадя, например, тычет ему в глаза, что муж Линды – еврей, хотя если бы он дал себе труд подумать, то, будь ему даже двенадцать лет, он и тогда мог бы сообразить, что такого соперника этим не прошибешь, за такую соломинку и хвататься не стоит.

Может, оно его и выдало – то, что он все время тыкал Юристу в глаза этой соломинкой: ты, мол, сам виноват – отправил Линду в Нью-Йорк, на чужбину, где за ней и присмотреть было некому, вот она взяла и вышла замуж за еврея, – может, это и выдавало Чика с головой. Ведь он ее даже еще не видел, он еще ничего не знал. То есть не знал, что уже в двенадцать лет в нем скопилось достаточно ревности, чтоб хватило не то что до двадцати двух, а и до восьмидесяти двух. Но ему еще надо было снова увидеть ее, чтобы понять: он имеет такое же право лезть в петлю ради этой самой приезжей женщины, как любой другой мужчина, и никто, будь он хоть семи пядей во лбу, помешать этому не сможет и спасти его не спасет. И когда он о ней думал сейчас, он только мог вспомнить то, что когда-то видел двенадцати-тринадцатилетним мальчишкой: не девочку, а взрослую девушку, такую же с виду взрослую, как его собственная мать, а значит, принадлежащую к той чуждой человеческой расе, к которой принадлежит весь мир, кроме двенадцатилетних мальчишек. И если б его дядя сам, первый, не обратил бы на нее внимание и, взяв Чика за шиворот, так сказать, не ткнул в

нее носом, заставив его после уроков носить к ней записки, в которых назначал ей свидания в кафе-мороженом, Чик вообще и не заметил бы ее.

Так что, вспоминая ее теперь, Чик невольно вспоминал то, что ему думалось в двенадцать – тринадцать лет: «Черт, да она почти такая же взрослая, как мама». Но сейчас ему надо было снова увидеть ее и понять то, что уже понимаешь в двадцать два – двадцать три года: «Черт, ну пусть она на год-другой старше меня, все-таки из нас двоих мужчина – я!»

Так что и я, и любой посторонний человек, наверно, подумал бы: вот как оно забрало его еще тогда, двенадцати-тринадцатилетним мальчишкой, подумал бы, что, может быть, только мальчик двенадцати – тринадцати лет способен на такое чистое, незапятнанное, можно сказать, девственное чувство ревности к тридцатитрехлетнему мужчине из-за девятнадцатилетней девушки – да, впрочем, и из-за женщины любого возраста от восьми до восьмидесяти, – так же, как только мальчик двенадцати – тринадцати лет по-настоящему переживает тоску, и страсть, и надежду, и отчаяние от любви, и всякий посторонний человек на моем месте, наверно, думал бы так до той самой минуты, пока Чик вдруг за здорово живешь не выдал себя с головой, тыча своему дяде в глаза тем, что муж Линды не только поэт, но и еврей. И тут даже посторонний человек понял бы, что Чик хотел этим уколоть вовсе не Линду, он хотел уколоть дядю, и не его, не дядю он ревновал к Линде Сноупс, а Линду ревновал к своему дяде.

И тогда даже посторонний человек мысленно сказал бы Чикку: «Может, сначала ты и не мог перетянуть меня на свою сторону, но теперь-то я наверняка за тебя».

Конечно, надо бы этому постороннему человеку сначала поговорить со мной. Потому что я-то все помню: у меня на глазах еще тогда, давно, Юрист впервые, как говорится, вмешался в жизнь Линды. Я не о том времени говорю, когда Юрист подумал, что ее жизнь связана с его жизнью, и даже не о том, как он ее впервые заметил. Ей уже было лет тринадцать – четырнадцать, и Юрист знал ее с самого рождения или, по крайней мере, лет с двух-трех, или когда их там начинают вывозить на улицу в детской колясочке или выносить на руках, словом, когда впервые замечаешь, что оно не только похоже на человеческое существо, оно даже немножко похоже на некоторых хорошо знакомых тебе людей. А в таком тесном городишке, как Джефферсон, не только все друг дружку знают, но и все волей-неволей видят друг дружку по меньшей мере раз в день, так что, кроме тех лет, когда Юрист был на войне, он видел ее не реже, чем раз в неделю. Уж не говоря, что еще до того, как он ее рассмотрел как следует, он уже знал, что она – дочка Юлы Уорнер, а все жители Джефферсона и всего Йокнапатофского округа, знавшие Юлу Уорнер, невольно смотрели на ребенка Юлы с каким-то изумлением, как на маленькое чудо, потому что никто, во всяком случае, ни один мужчина, хоть раз видевший Юлу, никак не мог поверить, что все это безмерное женское

естество, сосредоточенное в одном обыкновенном, нормальном теле, могло быть оплодотворено таким, по сравнению с ней, ничтожным и жалким существом, как один обыкновенный мужчина, и что, наверное, понадобились усилия целого поколения богатырей, чтобы осеменить это, как говорится, прекрасное, – нет, вернее, великолепное и мощное лоно.

Я не о том, что Юрист добровольно посвятил какие-то пустые свободные годы своей жизни Линде, ее карьере, как ему казалось. Я о том, что в ту минуту, когда Юла Уорнер кинула на Юриста тот самый первый взгляд, – или позволила ему кинуть взгляд на нее, называйте как хотите, – она этим связала всю его жизнь с жизнью своего первого ребенка, конечно, если этот ребенок родится девочкой. Ведь бывает, что наконец встретишь женщину, которая всю жизнь должна была принадлежать тебе, да только теперь уже поздно. И этой женщине в минуту встречи лет шестнадцать, а тебе девятнадцать (и Юристу действительно было девятнадцать в тот день, когда он впервые увидел Юлу, только Юла-то не подходила под эти условия, потому что она была на год старше Юриста), и ты смотришь на эту женщину в первый, единственный раз и тут же ей говоришь: «Ты красивая. Я люблю тебя. Давай никогда не будем расставаться», – и она говорит: «Конечно», – одно слово, но оно значит: «Конечно, красивая. Конечно, любишь. Конечно, не будем». Только уж поздно. Она замужем за другим. Хотя на самом-то деле ничуть не поздно. Никогда не бывает и не будет поздно, если только – и возраст тут ро-

ли не играет – ты на всю жизнь остаешься девятнадцатилетним мальчишкой, который сказал эти слова тон единственной шестнадцатилетней девчонке в ту единственную минуту из всех минут жизни, когда ты был самим собой. Разве может быть поздно для такого девятнадцатилетнего мальчика, разве может кто-нибудь ту шестнадцатилетнюю девочку лишить невинности, будь у нее хоть сто мужей, если она и есть та, единственная, которая сразу сказала тебе: «Конечно». И даже если она носит видимое доказательство этого в животе, даже если она, у всех на виду, носит это доказательство на руках или оно цепляется за ее юбку, все равно этому девятнадцатилетнему мальчику ничего не стоит считать ее чистой и невинной, потому что ту, единственную, шестнадцатилетнюю, естественно, мог сделать матерью только он сам, хоть бы тут кто угодно бахвалился, "утверждая, что он – виновник.

Только Юрист тогда ничего этого не понимал. Главным образом потому, что был ужасно занят. Я говорю про тот день, когда Юла в первый раз вышла на городскую площадь, где ее мог видеть не только Юрист, но и весь Джефферсон. Это было тогда, когда Флем уже общипал дотла и дядю Билла Уорнера, и всю Французову Балку и должен был искать новое пастбище, а чем Джефферсон хуже других городов, потому что, как говорится, все спицы в конце концов ведут к ступице. А может быть, Флему нельзя было обойти Джефферсон, потому что Флем в это время как раз оттягал у меня

мою половину ресторанички, что мы содержали с Гровером Уинбушем, и, так как невозможно было найти способ притащить Гровера во Французову Балку, Флему пришлось хотя бы на время обосноваться в Джефферсоне и уж там оттягать у Гровера вторую половину ресторана.

Во всяком случае, тут-то Юрист наконец и увидел Юлу. Вот тут-то он и ввязался в эту борьбу, не то что с голыми руками – весь он был голый, словно без кожи, оттого он и должен был проиграть в такой схватке, – с одной стороны – он, Юрист, городской житель, холостяк, которому понадобилось получить звание магистра искусств в Гарвардском университете и диплом доктора философии в Гейдельберге, чтобы справиться с обыкновенными, нормальными жителями Йокнапатофского округа, а им только дай хоть изредка нарушить законы, что им мешают, раздражают их, да еще поживиться деньгами из государственной мошны, а с Другой стороны – она, Юла Уорнер, ей-то никакого образования не понадобилось, хватало и того, что ей было отпущено господом богом: в том, что она дышала, стояла на месте, а иногда и прохаживалась взад-вперед, уже крылась беда и опасность для любого настоящего мужчины, стоило ему приблизиться к ней. А Юристу победить в этой схватке значило уподобиться тому пауку, у которого к концу медового месяца его любимая обгладывает последнюю ножку. Вероятно, об этом Юрист все-таки знал, как-никак ему уже исполнилось девятнадцать, и он год проучился в Гарварде. Впрочем, даже

без всякого Гарварда юноша в девятнадцать лет хотя бы инстинктивно разбирается в женщинах, как ребенок или животное инстинктивно знают, что огонь жжется, – им для этого вовсе не обязательно совать в огонь руку или ногу. Даже девятнадцатилетний мальчишка, если он говорит: «Ты красивая. Я тебя люблю», – даже он должен сообразить, кто ему отвечает: «Конечно», – шестнадцатилетняя девочка или тигрица.

Словом, так или иначе, Юрист очертя голову ринулся в этот бой, и ему не только надо было желать и надеяться проиграть, для него ничего не могло быть лучше, чем проиграть, потому что проиграть значило только выскочить с немножко ободранной шкурой – и все. А он бросился в этот бой с голыми руками, без всякого оружия, у него только и была одна эта способность – всю жизнь оставаться девятнадцатилетним мальчишкой и выстоять против молодого Маккэррона, который не только наставил ему рога еще до того, как Юрист увидел Юлу, но и продолжал ставить ему рога под разными именами и обличьями даже тогда, когда Юрист наконец сдался. И, может быть, у Флема не было никаких особых оснований переехать именно в Джефферсон, может быть, для него что одна спица, что другая – безразлично, ему бы только дойти до ступицы. А может, Флем и сам не знал, на каком основании он попал в Джефферсон. А может, женатым людям и не надо придумывать никаких оснований, потому что жена у них уже есть. А может быть, это женщинам не надо

никаких оснований на том основании, что они ни о каких основаниях и не знают и действуют без всяких оснований, просто как им хочется, а с этим ни один человек ничего поделать не может, поэтому только дурак станет вмешиваться в их дела, женщина не станет, а мужчина всерьез принимает именно то, чего ему не понять, он и боится чего-нибудь по той простой причине, что ему это непонятно.

В общем, не из-за Гровера Уинбуша и не из-за той, второй, моей половины ресторана, которая, так сказать, болталась в воздухе, миссис Флем Сноупс появилась в Джефферсоне и прошла по улице в тот самый день, когда она попала на глаза Юристу. Сама Юла тут была ни при чем. Все вышло из-за молодого Маккэррона. Я тут тоже кое-чему был свидетелем, а об остальном мне рассказали. Потому что в ту весну весь народ на пять миль вокруг уорнеровской лавки только об этом и судачил. Неоспоримым, как говорится, центром внимания всей Французовой Балки были события начиная с марта до заключительной развязки, или до своего рода турнира, который состоялся за мостом через ручей, неподалеку от дома Уорнера, летом, в июльскую ночь, – то есть начиная с того дня, как молодой Маккэррон неожиданно появился во Французовой Балке, так сказать, словно с неба свалился, прыгнул, будто рысь в овечий загон, на всех этих Букрайтов, и Бинфордов, и Квиков, и Таллов, которые вот уже год как привязывали своих лошадей и верховых мулов к загородке Билла Уорнера. Будто дикий олень из лесу,

он, так сказать, перескочил ограду и уже топтал всю нашу доморощенную морковку, и тыкву, и баклажаны, а эти наши огородные растения до сих пор воображали или, во всяком случае, надеялись, что они представляют собой угрозу и опасность для девственной цитадели Юлы, а тут их сразу втоптали в грязь, так что они даже моргнуть не успели, а не то что прикрыть головы. Очевидно – да они и хвастали этим среди своих земляков, – они тоже считали себя молодцами и героями, пока он не явился в тот день неизвестно откуда, ну в точности дикий олень из лесу, словно он учуял Юлу за сто миль, давным-давно, прямо по воздуху, по ветру, и прилетел, словно стрела, туда, где она ждала, может, и не его, но непременно дикого, непременно сильного оленя, такой дикости, такой силы, чтобы оказался ей под пару, завоевал бы ее.

Да, брат. Как говорится, король-олень, дикий олень, прямо оттуда, с гор, шерсть дыбом, глаза сверкают. Конечно, все эти наши Букрайты, и Квики, и Таллы тоже считались бойкими козликами в нашем, так сказать, заповеднике, в нашей загородке, во Французовой Балке, пока все эти загородки и доски с надписью «Вход воспрещен» не сбил этот приبلудный чужак, незванный налетчик. Конечно, наши тоже умели и брыкаться и драться, тоже никаких запретов не знали, но они тут же мирились между собой – кто старое помянет и так далее, по-товарищески, по-ребячьи, и не только меж собой, они всем скопом, заодно, так же дружно могли и защи-

щаться и драться, ежели надо было проучить какого-нибудь пришлого: зачем пришел за четыре, за пять, за шесть миль, сидел бы лучше дома, чего ему тут делать, – а какой-нибудь чужак, бывало, увидит случайно где-то Юлу, а может, и просто услышит про нее от кого-то, кто видел, как она прошлась своей походочкой хоть десять – пятнадцать шагов. Услышит и явится в воскресенье вечерком, привяжет и свою упряжку и мула у загородки Уорнеров, а потом с невинным видом пройдет по дороге, к рощице, туда, где мостик через ручей, и уже эта девственная мечта по фамилии Уорнер у него из головы не выходит, но тут наша местная объединенная корпорация налетала на него из зарослей, выколачивала из него вредные мечты, поливала для охлаждения водицей из ручья, сажала на мула или в повозку, вожжи или поводья закручивала вокруг кнутовища или седельной луки и отправляла незваного гостя по месту жительства, – была бы у него башка на плечах, он и не полез бы к нам, даже в нашу сторону не повернул бы.

Но этот, новый, был зверем совсем другой породы. Все они, включая и тех, случайных пришельцев, были просто бычками обыкновенной, повсюду распространенной местной породы, а Маккэррон ни на кого другого даже и не смахивал, и ходил он непривязанный не потому, что боялся привязи, а потому, что так ему было угодно. Так что против него не только никто из наших не вышел бы в одиночку, но и вся их объединенная, сплоченная шайка, которая ни разу

не побоялась засесть в заросли и проучить любого чужака, обнюхивавшего уорнеровский забор, вся она долго не могла набраться храбрости и выйти против него, а потом оказалось, что уже поздно. Нет, конечно, возможность у них была. Сколько раз она им представлялась, такая возможность. Откровенно говоря, он сам столько раз предоставлял им эту возможность, что к концу мая они даже ходить по дороге после наступления темноты не стали, даже около самых своих домов они иначе как по трое и не показывались. Потому что он был бычок совсем другой породы, прискакал с гор, точно с неба свалился, и стал, как выразился бы наш Юрист, присваивать себе то, что вот уже год или два было, так сказать, гинекологическим центром притяжения целого округа на севере Миссисипи. Нет, он не умыкнул Юлу, не прискакал на коне, не подхватил ее на всем скаку, не бросил поперек седла и не умчался прочь, он просто проник сюда и всех их ограбил, не то чтобы он их держал под рукой, можно сказать, вроде хора из древней трагедии, или вроде приправы – вот как ставишь на стол пять-шесть солонok, пока ешь арбуз, – но потом оказалось, что уже поздно, поскольку им, да и всему поселку, по всей вероятности, стало известно, что Юла уже забеременела.

Только мне кажется, что все было не совсем так. Хотелось бы, чтобы все это было иначе. Хотелось бы, чтобы все случилось как-то сразу. Впрочем, и это неверно. Хотелось бы, чтобы эти пять пугливых местных жеребцов сами были вино-

ваты, что случилось именно то, чему они, набравшись храбрости, так отчаянно пытались помешать. Все они остановились, так сказать, у врат еще нетронутого бастиона девственности, все семеро: Юла, и Маккэррон, и наши пятеро – все эти Таллы, и Букрайты, и Тэрпины, и Бинфорды, и Квики. Потому что самое худшее, как сказали бы эти Таллы и Квики, еще не случилось. Я не говорю – самое худшее в отношении непорочности Юлы или запятнанной чести дома дяди Билла Уорнера, а я про зряшную затрату времени, – два года у загородки Билла Уорнера стояли повозки и мулы, а пятеро ребят околачивались там до полуночи, вместо того чтобы уехать домой и хоть малость дать передохнуть и себе и упряжке, перед тем как выходить на заре пахать поле, а вместо отдыха они вечно жили в каких-то бесконечных заговорах: четверо по очереди сговаривались против пятого, про которого они думали, что он их в эту минуту обскакал. Я уже не говорю о том, что всем пятерым приходилось объединяться по первому же кличу против какого-нибудь приبلудного чужака, который вдруг без всякого предупреждения появлялся у загородки, только и помышляя о том, что скрывается за этой загородкой.

Так что я предпочитаю думать, что тогда ничего еще не произошло. Не знаю, чего ждали Юла и Маккэррон. Вернее, чего ждал Маккэррон. Юла, та никогда ничего не ждала. Похоже, она и не знала, что значит это слово, как земля, почва, чернозем, – иначе говоря, все то, в чем зерно дает ро-

сток в нужное время, – не знает, что значит ждать, да и не нужно земле это знать. Ведь знать, что такое ожидание, – это бояться ослабеть или в себе усомниться, тогда только и поймешь, что значит нетерпенье или спешка, а Юле они были не нужны, как не нужны они чернозему. Ей только и надо было просто существовать, как существует земля в поле до той поры, пока не придет нужное время, нужный ветер, нужный дождь, нужное солнце, то есть до той поры, пока тот самый единственный огромный дикий олень не перескочит загородку, не проникнет в загон, с гор ли он явится, из лесу ли или с ясного неба, только вдруг окажется тут, остановится и стоит среди баранов, подняв голову, гордый такой. Да, как видно, сам Маккэррон оттягивал то, что можно назвать неизбежным концом. Может быть, именно для того и оттягивал, чтобы постоять с гордым видом среди баранов. Может, в этом-то и была причина: может, ему сначала было просто забавно поиграть с этими букрайтовскими и квиковскими барашками, подразнить их, посмотреть, долго ли они выдержат и когда же хоть на минуту забудут, что они всего лишь бараны, или, по крайней мере, вспомнят, что хоть они и бараны, но их-то пятеро, когда же они наконец рискнут с ним потягаться, как будто его появление и вправду только одна из тех обычных, мелких, неизбежных в таком деле случайных помех, с которыми Юла уже давно приучила их справляться.

Так что, может быть, вы поймете, чего они дожидались.

Все они были верующие. Я хочу сказать, они ходили в церковь почти каждое воскресенье, а по средам – на вечерние молитвенные собрания, если только ничего другого не подвернется. Церковь была не хуже всякого другого места, чтобы закончить одну неделю и начать другую, тем более что в воскресенье утром пойти было некуда, разве что сыграть в картишки за колодцем, пока в церкви пели, молились или слушали проповедь, да и кто знает, удастся ли в пятницу вечером подстеречь какую-нибудь девочку и уговорить ее пойти в кустики, пока папа с мамой не хватились. А может быть, никто ни о чем не слыхал – ведь не Самсон и Далила первые выдумали эту притчу насчет стрижки волос ¹¹. Так что это их ожидание в конце концов являлось, так сказать, последним отчаянным инстинктивным узаконенным предками приемом, к которому прибегает каждый молодой мужчина (и старый тоже), когда ему приходится столкнуться с соперником из-за своей девушки. Теперь вы, надеюсь, понимаете, чего они все дожидались. Конечно, они предпочли бы сохранить нетронутой эту девственную уорнеровскую цитадель, пока один из них как-нибудь сумеет словчить, отколоться от остальных и разграбить ее дотла. Но сейчас, когда этот незванный налетчик явился и все сорвал, они, по крайней мере, могли предать все на поток и разграбление, чтобы

¹¹ Согласно библейской легенде, Далила погубила Самсона, выведав секрет его силы, которая заключена была в его волосах. Отрезав волосы Самсона, она выдала его, уже бессильного, врагам.

не только отомстить ему, но и навеки отбить у него охоту шнырять около Французовой Балки.

Конечно, они не стали его вероломно подкарауливать в такую минуту, когда он уже выдохся, утомился от своей победы и наслаждения, не такие они были подлецы. Но так как они все равно не могли помешать его победе, надо было хотя бы застать его врасплох, когда он всеми своими помыслами еще, так сказать, где-то витал, либо в ошалении от событий недавнего прошлого, то есть того, что было накануне вечером, либо в надежде на ближайшее будущее, то есть на то, что произойдет через несколько минут, как только он найдет подходящее место у загородки, чтобы привязать лошадь с пролеткой. Тут-то они, засада, его и подкараулили. Конечно, они были неправы – ведь еще ничего не случилось. Вы понимаете, мне хочется думать, что цитадель невинности в тот миг еще не была взята. Нет, я не то хочу сказать, просто не надо мне ничего, кроме обыкновенной житейской правды: верить, что все случилось тогда же, там же, в тот же вечер, что даже этот молодой Маккэррон, который рядом с теми пятью парнями был похож на дикого оленя, окруженного баранами, что даже он, сам по себе, ничего не сделал бы и что они, все шестеро, повинны в том, что эта цитадель пала и что это лоно понесло с той ночи: июльская ночь, пролетка спускается с горы, и они, вся пятерка, слышат стук копыт по мостику через ручей, и они, пятеро, наконец набираются храбрости, чтоб разыграть этот последний отчаянный гам-

бит, и выскакивают из своей обычной засады, откуда они до сих пор били и гнали всяких местных и пришлых козлов за просто, походя, так что и рук вытирать не надо было.

Естественно, они не привели с собой никаких свидетелей, а минуты через две-три и последнего очевидца не осталось – он уже валялся, бесчувственный, в канаве. Так что, пожалуй, мои предположения справедливы, как и всякие другие, а может, еще справедливей – ведь я лицо заинтересованное, мне, как говорится надо доказать свою теорему. На самом деле, может, им и трех минут не понадобилось: один выско-чил первым, схватил коня под уздцы, а те четверо бросились на Маккэррона, вытащили его из пролетки, если он только еще сидел в пролетке, а не улепетывал меж кустов вверх по ручью, сразу предпочтя безопасность славе, и плевать, кто там на него смотрит, – так и раньше бывало с другими незваными гостями, если они успевали удрать вовремя.

Но на следующий день люди видели по уликам – по затоптанной траве, – что Маккэррон и не думал бежать, хотя и не по тем причинам, о которых упоминалось. Правда, улики никак не давали возможности установить, каким образом Маккэррону переломило руку колесной спицей, но стало известно, что другой, неповрежденной рукой Маккэррон перехватил эту спицу, защищаясь на дороге, в то время как Юла стояла в пролетке и обеими руками держала кнут со свинчаткой в кнутовище и этой рукоятью, словно топором или тяпкой, колотила по головам – какая подвернется.

Длилось это не больше трех минут. Больше и не понадобилось: все шло так просто и естественно, обычное и простое явление природы, столь же простое, обычное и преходящее, как прилив или дождь, – налетит и сразу все смое: топот ног, тяжелое дыхание, ничего не видать, только тени клубком сплетаются рядом с лошадыю (а она и с места не двинулась, привыкла стоять: летом она часами простаивала на лесопилке Билла Уорнера, стояла и тогда, когда Билл выселял Эба Сноупса из дома, за который аренда не была плачена два года, – а во Французовой Балке это казалось стихийным бедствием, вроде циклона, – и еще говорили, что Билл мог подъехать к вокзалу и вылезти из пролетки, даже не привязывая лошадь, когда проходил поезд, и только на следующее лето эту лошадь стали привязывать к той самой загородке, которую дикие кони, – их Флем привез во Французову Балку, снесли начисто, вырвавшись на волю и разбежавшись по всему поселку) и пролеткой, и только иногда мелькают дубовые спицы и слышатся глухие, как стук по арбузу, удары кнута со свинчаткой по головам местных храбрецов.

А потом пустая пролетка и лошадь остались стоять, как стоит дерево, скала или амбар, на которые ливень или наводнение обрушились яростно, но мимолетно, и уже отхлынули, да сохранилось еще одно вещественное доказательство – Террон Квик: целую неделю у него на затылке виден был отпечаток от свинчатки кнута, и не впервые его фамилия, Квик [Быстрый (англ.)], звучала, как говорится, несколько юмори-

стически, особенно когда он лежал в камышах, как колода. И вот тогда-то, по-моему, оно и случилось. Конечно, я не настаиваю, не утверждаю, что случилось именно так. Но я просто считаю, что иначе оно и быть не могло, кроме как именно таким образом, потому что это больше всего похоже на правду – так и должно было случиться.

Так что тут никакого перерыва не было. Я говорю про движение, про столкновение, все шло одним потоком, непрерывно, с той минуты, как эта пятерка выскочила из-за кустов и схватила лошадь под уздцы: ругань, топот, тяжелое дыхание и потом треск кустов под ногами, и вот уже топот затихает вдалеке, – как видно, те четверо решили, что Терон Квик лежит мертвый; а потом – мирная тишина, и темная дорога, и лошадь спокойно стоит в упряжке, а Терон мирно валяется в камышах. И вот тогда-то, по-моему, оно и случилось: без передышки, даже без остановки, и тогда не только сдалась и пала цитадель невинности, но и лоно приняло семя, понесло плод, и этот ребенок, эта девочка, Линда, была зачата тут же, при дороге, и Юле, наверно, самой еще пришлось поддерживать сломанную руку Маккэррона, а лошадь стояла над ними, как охотничий трофей, – бывают такие огромные звериные головы, их еще прибивают на стене в гостиной, или в библиотеке, или, – кажется, это сейчас так называют, – в кабинете хозяина дома. А может, это и вправду был трофей.

Так что Билл Уорнер и оглянуться не успел, как оказалось, что у него беременная незамужняя дочка. А раз у него,

значит, у всей Французовой Балки, потому что, когда в те дни говорили «Французова Балка», то косились на дядюшку Билла Уорнера, это было одно и то же. И если Юла Уорнер была явлением природы, как циклон или прилив, то и дядюшку Билла тоже можно было причислить к таким вечным явлениям, хотя ему еще не стукнуло и сорока, он столько раз опротестовывал векселя и описывал имущество, выселял жильцов и выгонял арендаторов, что ему повиновалась вся Французова Балка, иначе жителям ее пришлось бы просто остаться на пустом месте, в двадцати двух милях к юго-востоку от Джефферсона.

Естественно, молодой Маккэррон тут же на месте должен был бы встать на защиту фамильной чести Уорнеров. После первого потрясения все решили, что, наверно, он так и намерен сделать. Он был единственным сыном состоятельной мамыши, вдовы, откуда-то из Теннесси, и судьба случайно закинула его туда, где он вдруг увидел Юлу Уорнер, так же как через год судьба юриста Стивенса и Манфреда де Спейна сыграла с ними ту же шутку. И так как он был единственным сыном состоятельной мамыши и воспитывался в одном из этих самых шикарных колледжей для детей джентльменов, то, само собой, все ожидали, что он пулей вылетит от нас туда, где ему положат в лубок сломанную руку, и, уж конечно, не будет дожидаться, пока дядя Билл Уорнер снимет со стенки свое охотничье ружье.

Но тут-то все и ошибались. Ведь от стихийного бедствия

не убегают – оно тебя просто вышвыривает центробежной силой, а если у тебя есть хоть капля здравого смысла, так ты и сам пытаешься избежать его. Но когда оно налетит, тут уж некогда менять планы. Конечно, Маккэррон, наверно, согласился бы претерпеть именно это стихийное бедствие, хоть оно ему грозило бы потерей другой руки и обеих ног – а на это, должно быть, нацелились все остальные – Квики, и Таллы, и Букрайты. Уже не говоря о том, что он учился в аристократическом колледже, где даже за короткое время ему привили высокие академические понятия о чести и рыцарстве хотя бы с помощью простых примеров. Но как бы то ни было, не он первый пренебрег семейной честью Уорнеров, уже слегка засиженной мухами. Сама Юла ею пренебрегла. Так что понимайте как хотите. А в общем, может быть, и сам молодой Маккэррон понял все вовремя. Может, эта центробежная сила только один раз слегка задела его, и он лопнул по швам от одного только прикосновения. Выходило, что она, Юла, это чудо природы, может быть, и не рассчитывала встретить другое такое же естественное чудо природы, но она рассчитывала, надеялась, что встретит хоть кого-нибудь настолько сильного, чтобы ответил ударом на удар, не теряя при первом же столкновении руку или ногу. Потому что в следующий раз ему могут и голову оторвать, то есть совсем прикончить, и тогда вся ее сила в власть, все бесстрашие и неустрашимость, умение брать и отдавать, а потом нести последствия того, что она есть чудо природы женского пола,

все будет израсходовано зря, пропадет ни за грош.

Нет, я не говорю про любовь. Естественное чудо природы никакого понятия о любви не имеет, так же как о тревоге, о неизвестности, о слабости, а надо уметь чувствовать все это, чтобы понять, что значит ожидание. И когда она сказала себе – а она наверняка так себе сказала: «Еще один такой случай на мосту, и ему конец», – то думала она вовсе не о благополучии молодого Маккэррона.

Словом, так или иначе, на следующее утро его в поселке уже не было. Я предполагаю, что в ту ночь Юла сама ткнула остатки кнутовища в гнездо и погнала лошадь вверх в гору. Во всяком случае, они разбудили Билла, и Билл выскочил в одной ночной рубаше, без охотничьего ружья – должно было пройти примерно дней двадцать восемь, не меньше, прежде чем он понял, что нужно было снять со стенки ружье, – а тогда он только достал свой чемоданчик с ветеринарными инструментами и перевязал парню руку, чтоб он мог доехать домой или еще куда-нибудь, где бы им занялся не доморощенный коновал. Но малый приехал в Джефферсон через месяц, примерно в то время, когда Юла поняла, что, если она сама как можно быстрее не изменит свое положение, оно ей всю жизнь изменит. А он даже заплатил почтарю лишку, чтобы тот отнес Юле личное, специально для нее написанное письмо. Но из этого ничего не вышло, и он наконец совсем уехал. Ну и, разумеется, если кто ждал, что через шестьдесят пять или семьдесят дней после этого, так сказать, внеочеред-

ного турнира на мосту у ручья из уорнеровской резиденции раздастся дикий рев, так он ошибался: просто о свадьбе было коротко объявлено чуть ли не перед самым венцом, а Герман Букрайт и Терон Квик тоже на всякий случай уехали из Французовой Балки, хотя я уверен, что они вовсе не хвастали, а только жалели, что не они всему причиной, – и Юлу обвенчали с Флемом, а через неделю – она понадобилась Биллу для того, чтобы, как он думал, облапошить Флема, заставив его взять заброшенную усадьбу Старого Француза в счет приданого Юлы, – Юла и Флем уехали в Техас, то есть настолько далеко, чтобы по их возвращении домой это самое новорожденное сноупсовское чадо выглядело вполне законным, то есть, вернее, правдоподобным. Не говоря о том, что никому не будет известно, сколько времени до рождения это чадо провело в Техасе, так что никто не будет ни о чем знать и никто не удивится, что у дитяти и три месяца уже режутся зубки. А если через год, когда они вернуться во Французову Балку, какой-нибудь пронырливый хитрец заметит, что младенец немножко великоват для трехмесячного, он тут же подумает – а может быть, они и провели в Техасе лишние три месяца.

Прошло ровно четырнадцать месяцев с той первой встречи, когда молодой Маккэррон, так сказать, лопнул по швам. Но она ничего не ждала. Такое чудо природы, как Юла, не ждет. Она просто существовала, дышала, сидела с этим ребеночком в качалке на веранде уорнеровского дома, пока Флем

наменял шестьдесят долларов серебром и закопал их в розарии старой усадьбы, именно там, где мне с Генри Армстидом и Одэмом Букрайтом суждено было их найти. Она и в тот день просто существовала и дышала, сидя с ребенком в фургоне, когда они переезжали в Джефферсон, где Флем мог запустить когти в Гровера Уинбуша и оттягать у него вторую половину рестораника, принадлежавшего нам с ним. И она по-прежнему существовала и дышала, только меньше сидела на месте, потому что волне незачем знать, куда и зачем она бежит, туда ли, куда надо, или нет, она с Флемом и ребенком жила в палатке за рестораном и порой проходила по джефферсонской площади, где ее наконец и увидел Манфред де Спейн, этот новый Маккэррон, только он-то уж никак не лопнул по швам, на нем и вмятины не оказалось после столкновения с ней. Правда, он не мог похвастать какими-то особыми преимуществами, вроде того, что он – единственный сын состоятельной вдовы, которая живет в роскошных отелях во Флориде, пока он временно пребывает в этих самых изысканных закрытых колледжах, нет, ему приходилось довольствоваться тем, что его отец – кавалерийский офицер южной армии, а сам он окончил военную академию в Уэст-Пойнте и пошел, как сказал бы его отец, в армию к янки: отправился на Кубу в чине лейтенанта и вернулся оттуда с огромным шрамом через всю щеку (его противники на выборах распустили слух, что шрам вовсе не от испанского штыка, что будто бы его ударил топором какой-то сержант в Мис-

сури, во время карточной игры). Впрочем, так оно было или нет, но это ему ничуть не помешало пройти на выборах в мэры города Джефферсона, как не помешало, когда подошло время, стать президентом банка вместо полковника Сарториса, и уж подавно никак не помешало ему и Юле, когда подошло их время.

Я уж не говорю о юристе Стивенсе. Нельзя сказать, что ему не повезло, когда он очутился на пути этой волны, потому что волны никакого отношения к несчастью и счастью не имеют. Это была его судьба. Его просто случайно захлестнуло, придавило, как муравья, который взобрался на ту же дорожку, какая понадобилась, приглянулась слону. Не то чтобы он родился слишком рано или слишком поздно или не там, где следовало. Нет, он родился именно когда надо, но не в той оболочке. Это была его судьба, его удел, что он родился не в особой, плотной маккэрроновской оболочке, что Старый Хозяин сотворил его таким тонкокожим, таким – как бы это сказать? – тонкожилым, насквозь пронизанным безудержными, безнадежными стремлениями.

И вот он опрометью, очертя голову бросился в эту схватку, причем лучшее, на что он мог надеяться, это проиграть ее как можно скорее, потому что малейшее подобие, хоть самая ничтожная тень победы убила бы его, как удар молнии, а в это время Флем Сноупс тихо пасся на новых джефферсоновских пастбищах, объедая их дочиста, и жил он с женой и малолетней дочкой в палатке около кафе, сам жарил биф-

штексы, с тех пор как Гровер Уинбуш вдруг обнаружил, что даже половина ресторанчика уже не принадлежит ему, а потом Раунсвеллы, которые до сих пор считали, что им принадлежит то, что миссис Раунсвелл называла «Коммерческий отель», а вся округа звала «раунсвелловские мебелирашки», – вдруг тоже обнаружили, что они ошибались и что семья Флема Сноупса жила там уже месяц с лишним до того, как Флем вытеснил оттуда Раунсвеллов, а в палатку за рестораном переселил еще одного Сноупса из Французовой Балки, и теперь бифштексы жарил тот Сноупс, потому что сам Флем стал смотрителем электростанции, а к этому времени Манфред де Спейн не только увидел Юлу, но и стал уже мэром города Джефферсона.

И все же Юрист не оставлял свои попытки, даже когда видел каждый день, как его смертельный соперник и торжествующий победитель ездит взад и вперед через площадь в красном с медными украшениями автомобиле, каких никто до сих пор не видал на всем севере штата Миссисипи, уж не говоря о Йокнапатофском округе, эта же машина как-то однажды завернула в переулок за домом, где «Дамский котильонный клуб» давал ежегодный рождественский бал, и тут, в переулке, Юрист попытался избить Манфреда де Спейна голыми кулаками, и зять вытащил его из канавы и держал до тех пор, покамест Манфред не скрылся из виду, а потом повел его домой, в ванную, смыл с него кровь и сказал: «Какого черта ты полез? Неужто ты не понимаешь, что ты не умеешь

драться?» А Юрист, нагнувшись над умывальником и пытаюсь остановить кровь из носу, ответил: «Конечно, понимаю. Но каким способом, по-твоему, можно лучше научиться?»

Он все еще пробовал как-то вмешаться, начиная с той давнишней истории с покражей "медных деталей на электростанции и кончая этой последней отчаянной попыткой что-то сделать. Тогда, на электростанции, скопилась целая груда старых кранов и клапанов, медных труб, стертых подшипников и всякого такого хлама, а потом все это вдруг куда-то исчезло, Флем уже второй год царил на этой электростанции, но никаких прямых улик против воров не было, даже когда исчезли медные предохранительные клапаны с обоих котлов и кто-то ввинтил вместо них стальные втулки, все же дело кончилось тем, что городским ревизорам пришлось пойти к смотрителю станции и как можно деликатнее сообщить ему, что медные части пропали, на что Флем, перестав жевать, коротко сказал: «Сколько?» – и заплатил им, а на следующий год они снова проверили книги и нашли, что в прошлом году ошиблись, и опять пошли к нему и намекнули, что произошла ошибка, и Флем опять перестал жевать и коротко спросил: «Сколько?» – и заплатил им и эту сумму. А он (я говорю о Юристе) опять поднял все это старое дело, хотя Флем давным-давно ушел с места смотрителя станции и даже купил два новых предохранительных клапана за собственный счет как личный подарок гражданину своему городу, все эти дела со всякими доказательствами он, Юрист, поднял только для

того, чтобы опорочить Манфреда, лишить его звания мера города, однако судья Дьюкинфилд отказался слушать это дело и назначил вместо себя судью Стивенса, отца Юриста. Но никто не знал, как прошло слушание дела, потому что судья Стивенс очистил зал суда от публики и дело слушалось, что называется, при закрытых дверях: присутствовали только Манфред, Юрист и сам судья. Кончилось тем, что очень скоро, почти что сразу, Манфред вышел из зала и отправился к себе, в кабинет мэра города, а по рассказам, слухам или легендам, называйте как хотите, Юрист все стоял перед своим отцом, опустив голову, и повторял: «Что же мне теперь делать, отец? Скажи, отец, что же мне теперь делать?»

Но на следующее утро, когда я его провожал на поезд, он был вполне бодр, мало ему было, что он окончил Гарвардский университет и юридический колледж в Оксфорде, он опять уезжал учиться в какой-то немецкий город. Да, да, бодрый, свежий, лучше не надо. «Значит, так, – говорит, – прежде чем прощаться, мне от вас нужно вот что: я вам должен передать этот факел под вашу личную ответственность. Теперь вам в одиночку придется защищать форт. Теперь вам одному придется нести крест». – «Какой форт? – спрашиваю. – Какой такой крест?» – «Джефферсон, – говорит, – Сноупсов. Как по-вашему, справитесь вы с ними в эти два года?»

Вот что он тогда думал: наконец-то он бесповоротно, навеки разочаровался в Елене Прекрасной, и теперь у него бы-

ла одна забота – чтоб Менелай-Сноупсы чего-нибудь не на-
творили в Йокнапатофско-Аргосском округе ¹², пока он бу-
дет отсутствовать. И хорошо, что он так думал, так ему хоть
на время стало легче. А потом, когда он вернется, он еще
успеет понять, что отказаться от Елены не так просто, хотя
бы оттого, что всю жизнь, – и не только всю ее жизнь, но и
всю его жизнь, – она от него не отстанет. Не захочет, и все.

Впрочем, до его возвращения прошло не два года. Про-
шло почти пять лет. Стояла весна 1914 года, а летом нача-
лась война, и, может быть, этого – войны – он и ждал. Он не
то что надеялся на войну или ждал, что она начнется специ-
ально для него, нет, он, как и многие у нас в стране, вовсе и
не верил, что война близка. Но он искал чего-то, чего угод-
но, а чем война была хуже любого другого способа забыть,
потому что хоть он умом и понимал, что теперь между ним и
Юлой Сноупс лежит целый океан, но нутром чувствовал, что
двух лет куда как мало, чтобы и он, и Елена Прекрасная по-
верили, что все прошло. И хоть он не ожидал, что его спасет
война, но где-то в глубине души он верил, что провидение
что-нибудь придумает, потому что, как он говорил, бог все-
таки джентльмен и не станет дважды ошарашивать одного и
того же человека, преподносить ему один и тот же презент,
во всяком случае, не в той же оригинальной упаковке.

¹² Ироническая трансформация ситуации гомеровской «Илиады». Царь Спар-
ты Менелай был мужем похищенной Елены. Спарта постоянно воевала с горо-
дом Аргосом.

В общем, он на войну попал. Но удивительно было, по крайней мере, для меня, почему он не стал драться на стороне немцев. Удивительно не только потому, что он уже жил в Германии, среди немцев, в их окружении, но потому, что он мне часто говорил: хотя люди, которые попали на нашу сторону океана и основали Америку, были продуктом английской культуры, но в наше время германская культура ближе всего связана с современными мужественными отпрысками северной ветви старой арийской расы. И это потому, говорил он, что связь эта мистическая, и она не в том, что видишь, а в том, о чем слышишь, будто современный ариец, по крайней мере, в Америке, никогда не верит в то, что он видит, но готов поверить всему, что он услышит, хоть и не сможет доказать, и будто бы современная германская культура с самой революции 1848 года никогда не интересовалась и даже вроде как презирала всю внешнюю сторону человеческой жизни, все то, что воспринимается зрением и осязанием, например, скульптуру, или живопись, или гражданские законы, созданные для блага людей, и, наоборот, она, германская культура, занималась тем, что человек берет на слух, – например, музыкой и философией да еще всякой путаницей, происходящей у человека в мозгах. И потому, говорил он, немецкий язык такой некрасивый, нет в нем музыкальности, как в испанском или итальянском, и той, как он говорил, манерной изысканности, как во французском, а немецкий язык жесткий, некрасивый, какой-то харкающий (есть еще такая пого-

ворка, по-итальянски говорят с мужчинами, по-французски – с женщинами, а по-немецки – с лошадьми), и этот язык не мешает, он тебя не отвлекает от того, что ты слушаешь нервами, нутром, – от мистической философии, от замечательной музыки, – Юрист говорил, что у них самая лучшая музыка, – от математической точности и непреложности Моцарта через богоподобную страсть Бетховена и Баха до помеси скандала в публичном доме и уличного карнавала, который грохочет в музыке Вагнера, – и все это прямо доходит до сердца современного северного арийца, ничуть не затрагивая его ум.

Но только в германскую армию он не пошел. Не знаю, чего он там наврал немцам, чтобы его выпустили из Германии туда, где он мог присоединиться к их противнику и сражаться против них, и не знаю, что он там наврал англичанам и французам, убеждая их допустить студента германского университета туда, где он мог подслушать, какой сюрприз сейчас готовят немцам. Но он все это проделал. Однако пошел он не в английскую армию, он пошел к французам, к тем самым, что, по его же словам, все время манерно разговаривают с дамами. Я так и не понял, почему, даже через четыре года, когда я его спросил: «Как же так, после всего, что вы говорили насчет этого самого сродства с немецкой культурой, или, вернее, вы были у нее под носом, как же вы после этого все же ввали и хитрили, лишь бы вам попасть не к немцам, а к французам?» А он мне только ответил: «Я ошибался».

И еще через год, когда я ему сказал: «А как же ихняя замечательная, великолепная музыка, как же эта ихняя замечательная мистическая философия?» – он мне только ответил: «Все это по-прежнему замечательно и великолепно. Только слово „мистический“ не подходит. И музыка и философия рождаются из тьмы, из мрака. Не из тени, нет, из темноты, из непроглядности, из мрака. А человеку нужен свет. Человек должен жить на ярком, постоянном, беспощадном свете, так, чтобы каждая тень была определенной, отчетливой, самобытной и неповторимой: тень его собственной, личной чистоты или подлости. Все зло человечества родилось в темноте, во мраке, там, где человека не преследует по пятам тень его собственных преступлений».

В общем, прошло еще года два или три, и он вернулся домой окончательно, и Юла, которой ничего не нужно было ради него делать – только дышать, существовать на свете, – уже всю его жизнь, если только она понадобится, связала с будущим своей одиннадцати-двенадцатилетней девочки, и я ему сказал:

– Елену озарял свет.

А он ответил:

– Елена сама – свет. Вот почему мы до сих пор, через пять тысячелетий, видим ее неизменной, ничуть не померкшей.

А я говорю:

– А как же те, другие, помните, вы рассказывали? Все эти Семирамиды, и Юдифи, и Лилиты, и Франчески, и Изольды?

И он говорит:

– Они не то что Елена. Нет в них того света, той лучезарности, того постоянства. А все потому, что они не умели молчать. И все они медленно тонут во мраке и гуле голосов, рассказывающих об их трагедиях, их страстях. Иное дело – Елена. Знаете ли вы, что не сохранилось ни единого ее слова, даже упоминания о том, что она говорила, кроме слова «да», которое она, возможно, сказала Парису?

Словом, вот как обстояло дело. Девочке исполнилось тринадцать, и четырнадцать, и пятнадцать лет, она старалась хорошо кончить школу, аккуратно посещала занятия, упорно учила уроки, чтобы перейти в следующий класс, и, наверно, почти не обращала на него внимания, а может быть, даже и не узнала бы при встрече, если бы вдруг не заметила, что, неизвестно почему, он пытается как-то вовлечь ее в свою жизнь или хоть немного войти в ее жизнь, считайте как хотите. А ведь он был холостяк, вдвое старше ее, и у всех на виду, потому что был прокурором округа, уж не говоря о том, что Джефферсон – город маленький, и стоит вам пойти постричься, как об этом к ужину будут знать все ваши избиратели. Так что они только и могли после школы посидеть вдвоем с четверть часа за столиком у окна в кондитерской дяди Билли Кристиана, пока она ела сливочное мороженое или банановый пломбир, а перед ним, в нетронутым стакане кока-колы, таял лед. Вот и все, это было единственное, что они могли себе позволить, не только ради ее доброго имени,

но и ради сохранения голосов тех избирателей, которые через два года могли решить, что угощать мороженым четырнадцатилетних девочек не совсем подходящее занятие для прокурора округа.

Два раза в неделю он с ней встречался будто бы совершенно случайно, но в общем было ясно, какая это случайность: Юрист стоял у окна своего кабинета напротив школы, пока не начинали расходиться первые школьники, приготовишки и первоклассники, а потом, благодаря тому же случайному совпадению, он выходил и случайно оказывался на улице именно тогда, когда можно было окликнуть ее – сначала среди семиклассниц, потом – восьмиклассниц, потом – девятиклассниц, а она сначала немножко удивлялась и недоумевала – не пугалась, нет, а только удивлялась, что ему от нее нужно. Но это было недолго, потом прошло, и вскоре Юрист даже стал отпивать немножко кока-колы из стакана, пока лед не растаял и еще не противно было пить. А как-то я ему сказал: «Завидую я вам», – и он посмотрел на меня, а я говорю: «Счастливы вы!» – а он говорит: «В чем же это?» – а я отвечаю: «Да вы двадцать четыре часа в сутки заняты по горло. Это не всем удастся. Почти что никому. А вот вам удалось. И делаете вы не только то, что должны делать, но и то, что вам хочется делать больше всего на свете. Мало того, тут у вас возникает столько занятных технических осложнений, будто вы их сами придумали, а не просто они на вас навалились. Ради ее доброго имени вы должны все делать в

открытую, на глазах у тех самых людей, которые готовы погубить ее доброе имя навеки, если б только им представился случай, а вот если бы вы встречались тайно, они даже не подозревали бы, что вы друг с другом знакомы. Да, дела у вас немало, верно?»

Вы понимаете, ведь теперь-то он наконец избавился от навязанного, освободился от этого падшего ангела. Юла сама выдала ему это притирание, эту лечебную мазь для искусанного пальца: как говорил поэт, каждому мужчине хоть раз в жизни приходится в отчаянии грызть себе пальцы, а теперь эта девочка, тринадцати, потом четырнадцати, потом пятнадцати лет, сидела напротив него в кондитерской Кристиана два раза в неделю, за исключением тех случайных двух-трех недель, когда миссис Флем Сноупс с дочерью уезжали на отдых туда, где в то же время случайно отдыхал и Манфред де Спейн, – теперь он уже был не мэр де Спейн, а банкир де Спейн, так как полковник Сарторис освободил место президента банка, основанного им, отцом де Спейна и Биллом Уорнером, потому что внук полковника однажды утром по дороге в город опрокинул его автомобиль в канаву, и президентом банка стал Манфред де Спейн, причем он перешел из кабинета мэра города в кабинет президента банка в тот самый момент, когда, по случайности или по совпадению, Флем Сноупс сменил место смотрителя электростанции на место вице-президента банка и одновременно сменил и ту суконную кепку, в которой он приехал в Джефферсон (сме-

нил, но не выбросил: говорили, что он ее загнал какому-то негру за десять центов. Может, это и недорого, кто ж его знает, вдруг его финансовый гений вместе с потом пропитал эту кепку), сменил на широкополую черную фетровую шляпу, какие носят плантаторы, более подходящую для его нового положения и звания.

О да, Юрист теперь совсем избавился от наваждения, изредка он даже сидел один у окна кондитерской Кристиана за стаканом кока-колы, где таял лед, и дожидался, пока они обе приедут домой, чтобы быть на месте, когда окончатся все эти случайные летние совпадения, и снова начнутся занятия в школе, и целый год, дважды в неделю, можно будет сидеть тут – если только эта девочка в шестнадцать – семнадцать лет не встретит своего Хоука Маккэррона или Манфреда де Спейна и Юристу не придется сказать, как тому герою из книжки: «То, что вы видите, не слезы, вам только так кажется».

Шестнадцать лет, семнадцать лет, скоро будет восемнадцать, а Юрист все еще кормит ее с ложечки сливочным мороженым и банановыми пломбирами, и уже все джефферсонцы решили, что знают, к чему клонит Юрист, признается он в этом или не признается. И, конечно, Юла уже лет пять-шесть знала, чего ему надо. Все равно как бывает с собакой: бегают такой пес, ничего в нем особенного нет, но пес хороший, умный, что называется, всем псам пес, и определенного хозяина у него нет, но он больше всего любит окола-

чиваться возле тебя, и даже через пять-шесть лет ты иногда подумываешь, что другого такого пса не найти и что, хотя и пять-шесть лет назад и еще через пять-шесть лет тебе лично этот пес вовсе и не был и не будет нужен, все-таки жалко его просто выгнать, нельзя, чтобы все, что в нем есть хорошего, даже если это только верность и преданность, так, зазря досталось кому-нибудь другому. Или, скажем, есть у тебя дочка, подросток, и чем старше она становится, тем больше она мешает тебе и всяким твоим личным делам; и тут-то может пригодиться не только эта верность, эта преданность, пригодиться может и сам пес, недаром же он показал, что способен оставаться верным и преданным, даже когда потерял всякую надежду поживиться хоть какой ни на есть косточкой.

Так думали все джефферсонцы. Все, кроме меня. Быть может, даже если она прогнала Маккэррона, зная, что беременна от него, то и такое чудо природы женского пола, как она, все-таки прежде всего – женщина, хочет она того или не хочет. А я уверен, что в этом женщины почти не отличаются от мужчин: если для мужчины возможно запросто, без мучений почувствовать себя отцом первого ребенка той женщины, которую он любил и потерял, но все еще не может выбросить из головы, если ему безразлично, чей это ребенок, так и женщина, народившая хоть дюжину детей от других мужчин, запросто может навязать отцовство тому человеку, который потерял ее и ничего от нее не требует, лишь бы она принимала его преданность и верность.

А так как и Линда родилась женщиной, то, наверно, к тринадцати – четырнадцати годам, а может, и раньше, когда прошло первое удивление, – а это было примерно после второй-третьей порции мороженого, – она тоже решила, что знает, к чему он клонит. И, конечно, тоже ошиблась. Не такой он был человек, Юрист. Просто воспитать ее, а потом на ней жениться – это ему было не нужно. Для этого – то есть для простой, естественной, нормальной жизни, состоящей из постоянных супружеских стычек вплоть до развода, – она была ему не нужна, с этим справилась бы любая девица, которую он мог выбрать из толпы школьниц или других посетительниц кондитерской Кристиана. Из-за этого не стоило тратить столько сил. Ему необходимо было стать для нее единственным мужчиной, который не только считал, что у нее есть душа и что эту душу еще можно спасти от того, что он окрестил «сноупсизмом», – от этой упорной и злой силы, грозившей ей хотя бы потому, что она в течение двенадцати – тринадцати лет считала себя кровно с ней связанной, тогда как никакого кровного родства и в помине не было, – но он еще считал, что только он один может спасти, уберечь то, что в ней таится, – ну что-то вроде того переливчатого радужного шара, какие тюлени в цирке удерживают на кончике носа; он хоть и бьющийся, но все-таки не бьется, он качается на волосок от всей гадости и грязи Сноупсов и не падает, если тюлениха сама не споткнется, не упадет или не засмотрится на что-то.

Так что добивался он только одного: усладить ее куда-нибудь из Джефферсона, а лучше и безопаснее было бы даже и вовсе из штата Миссисипи, сначала месяцев на десять в какой-нибудь колледж, а там, может, кто найдется и на ней женится, и она уедет навсегда – вот какой он был чистокровный, незапятнанный оптимист из оптимистов, а ведь все знали, что Флем Сноупс стал вице-президентом де-спейновского банка по той же самой причине, по какой он сначала был назначен смотрителем электростанции: с одной стороны – те, кто хотел улыбаться Юле Уорнер, должны были хотя бы привыкнуть к имени Флема Сноупса, а с другой стороны – де Спейн был вынужден потянуть за собой Флема Сноупса, чтобы заполучить голос старика Билла Уорнера и стать президентом банка. И была одна причина, почему Билл Уорнер не воспользовался этим случаем и не отомстил Флему за то, что тот его обжулил на усадьбе Старого Француза, которую Билл ни в грош не ставил, пока Флем не сплавил эту землю мне, Одэму Букрайту и Генри Армстиду, – с меня взял половину ресторана, которым мы владели вместе с Гровером Уинбушем, с Одэма Букрайта – наличные деньги, а с Генри – закладную на ферму в двести долларов, не считая тех пяти-шести долларов, что жена Генри спрятала от него, зарыв их около отхожего места; не отомстил он Флему по той же причине, по какой Юла не бросала Флема и не выходила замуж за Манфреда де Спейна: пока она считалась женой Флема, она сохраняла видимость семьи и тем самым давала имя своей де-

вочке, иначе та была бы лишена всего. Ну а когда эта девочка сама выйдет замуж или, по крайней мере, устроится где-нибудь подальше от Джефферсона, ей больше не понадобится ни имя Флема, ни его дом, и, следовательно, Флем ничем Юлу удержать не сможет, Флема выставят за дверь, и придется ему только в щелку подглядывать, – все это он, Флем, отлично понимал.

Однако Юрист ничего этого не знал. Он до последней минуты верил, что Флем позволит ему устроить Линду подальше от Джефферсона, там, где она сможет выйти замуж за какого-нибудь случайно подвернувшегося юнца, хотя тогда Юла бросит Флема – и Флему будет крышка. Он – я говорю про Юриста – давал Линде с четырнадцати лет читать всякие книжки, а потом ее вроде как бы экзаменовал, пока таял лед в стакане кока-колы. А потом ей исполнилось семнадцать, будущей весной она должна была окончить школу, и он уже выписывал проспекты самых что ни на есть лучших женских институтов, где-нибудь поближе к Гарвардскому университету.

И тут начинаются события, о которых никто, кроме самого Юриста, не знал, а он об этом никогда не рассказывал. Так что приходится, как он сам любил выражаться, делать выводы из явных улик: дело было не только в том, что купленные для нее умные книжки и проспекты всяких учебных заведений начали покрываться пылью в его служебном кабинете, а в том, что встречи за порцией мороженого тоже отошли в

прошлое. Потому что она вдруг стала ходить в школу и возвращаться из школы боковыми переулками, и только через неделю Юрист наконец понял, что она его избегает. А ведь уже через два месяца она кончала школу, и нельзя было терять ни минуты. И вот в то утро Юрист сам пошел переговорить с ее мамой и, конечно, никому ничего не рассказал, так что нам приходится самим делать выводы даже без всяких улик. Но недаром я вырос во Французовой Балке, в той же самой среде, в том самом окружении, откуда Флем Сноупс сам себя вытащил, так сказать, за уши, без посторонней помощи, если не считать помощи Хоука Маккэррона. Так что мне только и оставалось вообразить себя на месте Флема Сноупса, вообразить, что я держу в руках старика Уорнера только благодаря его дочке и что ежели я выпущу из рук внучку старика Уорнера, – а я и то еле-еле держу ее, – так и дочка от меня уйдет. А тут вдруг какой-то непрошенный, совершенно посторонний человек, будь он проклят, придумал целый план, чтобы отправить эту внучку туда, откуда мне, если только у нее хватит соображения, ее никак не достать. А так как дочка Уорнера мирилась со мной целых восемнадцать лет исключительно ради этой самой внучки, то ответ тут был простой – надо было только сказать жене: «Если вы разрешите своей дочери уехать учиться, я так раздую все эти ваши шашни с Манфредом де Спейном, что у вашей дочки не то что семьи и дома не останется, откуда ей можно уехать учиться, а и на каникулы приезжать будет некуда».

А так как Юла первые восемнадцать лет своей жизни дышала, так сказать, тем же воздухом Французовой Балки, что и я, то мне было совсем нетрудно вообразить себя на месте Юлы Уорнер и догадаться, что она сказала Юристу: «Нет, ехать учиться ей нельзя, но вы можете жениться на ней! Все и уладится!» Поняли меня? Ведь такой верный, такой преданный друг, который оставался верным и неизменным так долго, даже не выпрашивая косточку, не только слишком большая ценность, чтоб им швыряться, но его следует наградить по заслугам, потому что дать тебе полностью осознать, почувствовать, что ты – Елена Прекрасная, не могут и тысячи Парисов, и Маккэрронов, и де Спейнов – для этого требуется что-то большее. Я говорю не только о неисчерпаемой способности любить, я говорю о власти: не только о том, что в ее власти притягивать, очаровывать и сжигать, а о том, что она властна, она способна дарить и награждать, и не то что она властна захватывать так много, что ей не справиться, – потому что слова «Елена» и «не справиться» никак, ни на одном языке не вяжутся, – а просто ей дано притягивать к себе настолько больше, чем ей надо, что она даже может позволить себе расщедриться, отдать лишнее: но на то ты и Елена, чтобы никогда не отдавать целиком, что принадлежит тебе, ты только можешь поделиться чьей-то любовью, можешь вознаградить чьи-то страдания. Но ты и жестока, ты и в жестокости щедра, оттого что ты – Елена, тебе все дозволено, надо быть Еленой, чтобы стать такой жестокой, такой щедрой и

в жестокости, и все же самой остаться невредимой, незапятнанной, и, может быть, тут тебе впервые доведется назвать его по имени, сказать: «Женитесь на ней, Гэвин».

И увидеть в его глазах не просто испуг, не просто изумление, как он увидел в глазах Линды в ту первую встречу, но ужас, страх, не потому, что сразу надо было ответить «нет», и даже не из-за самой просьбы, так как он считал, что это давно было спрошено и давно решено. А потому, что именно его об этом попросила именно она. Должно быть, он и так уж ни на что не надеялся с той минуты, когда понял, что и Манфред де Спейн тоже ее приметил, и с тех пор научился не ворошить в душе надежду, потому что только он один знал — для него надежды никогда и не было. Но тут, когда она сказала ему эти слова громко, прямо в лицо, ему показалось, что она громко, при всех, сказала ему, что у него никогда и не могло быть надежды, даже если бы Манфред де Спейн и вовсе с ней не встретился. И если бы он мог выпалить «нет» тут же, сразу, может, вышло бы так, будто она и не говорила то, что сказала, и он все еще не был бы окончательно изничтожен.

В общем, никто, ни один посторонний человек их разговора не слышал, так что вполне вероятно, что он до самого января еще верил, будто ничего сказано не было, как верят в чудо: во что не поверил, того и не видал. Да, чудо, чистейшее чудо, что человеку так мало нужно, чтобы все выдержать. Но то, что случилось в январе, было и впрямь похоже на чудо:

еще весной Линда окончила среднюю школу и осенью поступила в институт, откуда каждый вечер приходила домой, а в субботу и в воскресенье весь день была дома, на глазах у Флема. И вдруг, сразу после рождества, мы услышали, что она ушла из института и поступает в Оксфорд, в университет. Да, сэр, именно туда, и жить будет в пятидесяти милях от Флема, да еще в таком месте, где вокруг нее денно и нощно будут увиваться пять или шесть сотен холостых юнцов моложе двадцати пяти лет, и каждый из них, у кого найдется два доллара на брачное свидетельство, свободно может на ней жениться. Да, это было настоящее чудо, особенно когда я встретил Юлу на улице и спросил:

– Как же вам это удалось?

А она говорит:

– Что удалось?

И я говорю:

– Уговорить Флема, чтоб отпустил ее в университет.

А она отвечает:

– Это не я. Он сам придумал. Разрешил ей, даже не спросив меня. Я ничего не знала.

Но не зря мы выросли во Французовой Балке, уж не говорю – провели последние восемнадцать лет в Джефферсоне: все понимали, что Флем Сноупс чудесами не занимается, что он им предпочитает наличные денежки или, по крайней мере, бумажку с подписью или даже с крестом. И вот, когда все это кончилось, и Юла умерла, и де Спейн навсегда

уехал из Джефферсона, а Флем стал президентом банка и даже поселился в восстановленном родовом особняке де Спейнов, а Линда уехала со своим нью-йоркским мужем драться в Испанию и когда Юрист наконец рассказал мне все, что он сам знал, – а это не так уж много, – то все мои предположения подтвердились. Потому что должны же были дети Елены Прекрасной унаследовать какую-то частицу ее щедрости, даже если они унаследовали только миллионную часть материнских богатств, чтобы одарять ими людей. Уж не говоря о наследии молодого Маккэррона: хоть он и оказался недостаточно крепок и еле выдержал первую стычку у моста через ручей, все-таки у него хватило и смелости и напора пойти на это испытание. Так что, очевидно, Флем заранее знал, что ему не придется с ней торговаться, предлагать мену. Он знал, что надо сделать именно так, как он и сделал: заставить ее врасплох, после того как она уже сдалась и в течение трех месяцев привыкала к тому, что все кончено, и тут ей сказать: «Давай договоримся. Если ты откажешься ехать учиться в восточные штаты, то, пожалуй, можешь поступить в Оксфордский университет». Вы меня поняли? Предложить ей то, чего она никак от него не ожидала: в течение всех четырнадцати – пятнадцати лет, что она его знала, ей и не снилось, что он способен на такой поступок.

А потом наступил тот апрельский день. С нового года она уже училась в университете, в Оксфорде. Я как раз ехал в Рокифорд, отвозил новую швейную машину миссис Ледбет-

тер, когда Флем остановил меня на площади и предложил мне целых шестьдесят центов, чтобы я завез его на минутку в лавку Уорнера. Видно, ему было к спеху, раз он предлагал шестьдесят центов, тогда как почтальон его довез бы даром, видно, и дело было тайное, потому что он не хотел пользоваться общественным транспортом: ни пролеткой почтальона, который отвез бы его даром и туда и обратно, хоть пришлось бы потратить на это целый день, ни наемным автомобилем, который довез бы его до уорнеровских ворот меньше чем за час.

Да, видно, дело было и спешное и тайное, иначе старый Билл Уорнер не влетел бы, как буря, в городской дом к зятю и дочери на следующее утро, еще до света, и не бушевал бы так, что перебудил всех соседей, пока кто-то (очевидно, Юла) его не остановил. И нам опять приходится сопоставлять некоторые известные факты: во-первых – эта самая усадьба Старого Француза, которую Билл отдал Флему, считая, что она ничего не стоит, пока Флем не продал эту усадьбу мне, Одэму Букрайту и Генри Армстиду (не считая, конечно, тех настоящих серебряных долларов, которые Флему пришлось закопать в кустах, чтобы мы – или другие Рэтлифы, Букрайты и Армстиды, кто подвернется, – их там нашли). Во-вторых – место президента банка: мы знали, что Флем закинул на него глаз с тех самых пор, как Манфред де Спейн принял банк от полковника Сарториса. И, наконец, эта девочка, Линда, которая уже унаследовала от своей ма-

тери ее щедрость и вдруг получила такой щедрый подарок, какого она не только никогда в жизни не ожидала, но, наверно, и понятия не имела, как он ей был нужен, пока он не свалился на нее, словно с неба.

Оказалось, что в тот день Флем отвез во Французову Балку завещание Линды. Может быть, когда Линда наконец пришла в себя и поняла, что ей разрешено ехать учиться, после того как она давно перестала на это надеяться, хотя ей позволили уехать не дальше чем в Оксфорд, – может быть, когда она опомнилась и поняла, кто ей это позволил, она не захотела оставаться перед ним в долгу. Впрочем, я и в это не очень-то верю. Тут дело было даже не в той капле щедрости и доброты, которую дитя Елены унаследовало от нее, – не так уж много, потому что даже дитя Елены несло в себе и другую, более обыкновенную, наследственность: известно, что и у Елены дети сами по себе не рождаются. А Линде хотелось не только отдавать. Ей хотелось стать нужной кому-то, чтоб ее не только любили и желали, а чтоб она кому-то была необходима, и, может быть, тут, впервые в жизни, она почувствовала, что она владеет чем-то не просто нужным, но и необходимым другому человеку.

Вот она и составила завещание, и, разумеется, Юла рассказала об этом Юристу. Вероятно, сам Флем намекнул об этом Линде, ничего сложного тут не было. Правда, я и в это не верю. Ему не нужно было об этом говорить: он достаточно знал Линду, чтобы рассчитывать на нее так же, как она

достаточно знала его, чтобы понять его расчеты. Линда сама это придумала, когда поняла, что, пока он жив и здоров и зовется Флемом Сноупсом, он никогда, ни под каким видом не отпустит ее из Джефферсона. И она в отчаянии, в полной беспомощности спрашивала себя: «Но почему же? Почему?» – пока сама не ответила на вопрос – хотя ответ, может, и не выдерживал критики, но ведь тогда ей всего было шестнадцать, а потом семнадцать лет, и вот между шестнадцатью и семнадцатью годами она вдруг поняла: единственное, что он любит, это деньги. Наверно, она кое-что знала и про Манфреда де Спейна. Джефферсон не так уж велик, да и в другом городе было бы то же самое. Уж не говоря о тех двух-трех неделях летом, у моря, или в горах, или еще где, когда вдруг ни с того ни с сего появлялся – кто бы выдумали? – давнишний их сосед по Джефферсону, который «случайно» проводил свой летний отпуск в то же самое время, в том же самом месте. Что же ей оставалось думать? «Он только благодаря мне и маме надеется получить дедушкины деньги и потому считает, что если я от нею уйду, так он нас обоих выпустит из рук, мама тоже от него уйдет и выйдет замуж за де Спейна, а тогда дедушкины деньги пропадут для него навеки».

И вдруг этот самый человек, который за шестнадцать или семнадцать лет жизни приучил ее к мысли, что он ничего, кроме денег, не любит и готов сделать все на свете, чтобы получить лишний доллар, вдруг он сам, без всякого давле-

ния со стороны, ничего не требуя взамен, говорит: «Можешь ехать учиться, если хочешь; только хотя бы первое время учись поближе к дому, скажем, в Оксфорде». Этим он как бы говорил: «Я был неправ. Я больше не буду вмешиваться в твою жизнь, хоть я и уверен, что тем самым отнимаю у себя всякую надежду получить деньги твоего деда!»

Что же она могла сделать, кроме того, что она сделала, как бы говоря ему: «Если вы только сейчас поняли, что моя жизнь важнее, чем дедушкины деньги, так я давно могла бы вам это сказать; если б вы два года назад сказали мне, что просто боитесь, я бы тогда же вас успокоила». И она пошла (Юрист сам мне об этом рассказал) к адвокату в Оксфорде, как только она там поступила в университет, и составила дарственную, по которой все, что ей могло достаться от деда или матери, она передавала своему отцу, Флему Сноупсу. Конечно, и этот поступок не выдерживал критики, но ведь ей только-только исполнилось восемнадцать, и это было все, что она могла отдать, считая, что кому-то это необходимо, кто-то этого жаждет, а кроме того, в этом деле несомненным было только одно: то, что эта дарственная вгонит в пот старого Билла Уорнера, когда Флем ему ее покажет.

Словом, в десять часов утра я остановил машину не около лавки, где Билл сидел в это время, но у ворот его дома и подождал, пока Флем выйдет, дойдет до дома, встретится там, как я полагал, с миссис Уорнер, повернет обратно, выйдет из ворот и снова сядет в мой «пикап»; и, наверно,

только часа в два ночи за их ранним семейным завтраком миссис Уорнер вспомнила или наконец все же решилась, – словом, выдала старому Биллу ту бумагу, которую он оставил ихний зять. И уже на рассвете Билл переполошил всю улицу, где жили Сноупсы: так он орал в доме Флема, пока Юла его не утихомирила. А в тот час, когда наши изнеженные джефферсонцы обычно садились завтракать, Манфред де Спейн тоже явился в дом. И его приход все решил. Флем уже раз обжулил Билла Уорнера на усадьбе Старого Француза, потом второй раз обернул дело так, что заставил Билла сделать Манфреда де Спейна президентом, а себя вице-президентом банка, а теперь Флем в третий раз так обернул дело, что внучка Уорнера каким-то образом отказалась в его пользу от той половины наличного капитала Уорнеров, к которому Флем до сих пор никак не мог подобраться. А теперь Флем хотел только, чтобы Манфред де Спейн подал в отставку и чтоб он сам стал президентом банка, и, конечно, предпочел бы сделать все это втихомолку, осмотрительно, негласно, чтобы Билл Уорнер, так сказать, по-семейному предложил Манфреду уйти из банка в обмен на эту Линдину бумагу; на это должен был бы пойти и пошел бы всякий – только не Манфред де Спейн. В нем-то оказалась вся загвоздка: как видно, Юла могла справиться со всеми, но не с ним. Может, он и вправду заработал этот шрам через все лицо тем, что выволок наш флаг на какую-то высоту там, на Кубе, и захватил не то форт, не то пушку, а может, ему разрубили физио-

номию топором в карточной игре, как намекали еще тогда, в предвыборную кампанию. Во всяком случае, шрам у него был на лице, а не на спине, и хотя не исключено, что кто-нибудь мог стукнуть его по черепу свинчаткой и очистить его карманы, пока он лежал без сознания, но добраться до его кармана, угрожая ему револьвером или еще чем-нибудь, не мог бы никакой Сноупс, да и вообще никто на свете.

И среди всех них – Юла, которая могла справиться с кем угодно, кроме Манфреда, могла даже утихомирить старого Билла, но заставить Манфреда замолчать она не смогла. А ведь она почти что девятнадцать лет своей жизни отдала на то, чтобы создать семью, дом, где Линда росла и жила бы так, чтоб ей никогда не пришлось говорить: «У других детей есть то, чего у меня нет», и Юле тут же, сразу надо было решить: «Что я предпочла бы, будучи восемнадцатилетней девочкой: чтобы все узнали, что моя мать покончила с собой, или чтобы все осудили ее как шлюху?» И на завтра весь Джефферсон уже знал, что накануне вечером Юла приехала в центр и зашла в косметический кабинет – раньше она этого никогда не делала, ей это было не нужно – и там вымыла и завила волосы и отполировала ногти, а потом уехала домой и, наверно, поужинала или, во всяком случае, посидела за ужином, потому что было уже около одиннадцати вечера, когда она взяла револьвер и спустила курок.

А на следующее утро Юрист и его сестра поехали в Оксфорд за Линдой и привезли ее домой, по несчастной слу-

чайности все это произошло за неделю до дня ее рождения, когда ей исполнилось девятнадцать лет. Флем, получив дарственную, решил, что надо ее показать (и как можно скорее) Биллу Уорнеру, как лицу заинтересованному, и, конечно, Билл не должен был именно в этот день, через два часа после того, как он увидел эту бумагу, подымать такой крик и шум. Мог бы и подождать недели две, а то и месяц, никто его не торопил, – Флем, наверно, подождал бы, сколько надо.

Обо всем остальном позаботился Юрист: он устроил похороны, он послал во Французову Балку за миссис Уорнер и за тем старичком, методистским священником, который крестил Юлу, чтобы он проводил ее в могилу. Естественно, нельзя было требовать от овдовевшего супруга, чтоб он хоть на время забыл горе и занялся будничными делами. Не говоря уж о том, что ему надо было готовиться принять дела в банке, выждав для приличия какое-то время, потому что Манфред де Спейн сам сложил свои вещички и уехал из Джефферсона сразу после похорон. А потом, опять выждав ради приличия, но уже подольше, так как банк – это не то что дом, там ждать было нельзя, ведь банк имеет дело с личностью, с настоящими денежками, Флем стал готовиться к переезду в особняк де Спейна, так как де Спейн явно не собирался вернуться в Джефферсон из своего, можно сказать, последнего путешествия, предпринятого из-за Уорнеров, и не имело никакого смысла, чтобы пустовал хороший, крепкий, красиво расположенный дом. А он, этот особняк,

безусловно, тоже входил в ту торговую сделку, которую заключили между собой Флем и Билл Уорнер, меняя банковские акции Уорнера на это самое финансовое рондо, или «Сон в летнюю ночь», которое состряпала Линда с оксфордским адвокатом, за подписью Линды. Уж не говоря о том, что старый Билл назначил Юриста опекуном Линды и ее капитала, так что теперь эти деньги были защищены от Флема, пока он не придумает что-нибудь, чему на этот раз поверит даже Юрист. А Билл потому назначил Юриста, что никак нельзя было его обойти, да и больше назначить было некого: Юрист не только оказался в центре всех этих денежных и похоронных происшествий, но и влип в них по уши, и все же, как те водяные жуки, что неистово мечутся и скользят по поверхности загнившего пруда, он сам остался сухим и чистым.

Теперь Юрист был занят надгробием, которое решил поставить Флем. А надгробие это заказали в Италии, значит, надо было ждать, и Юрист изо всех сил старался их поторопить, чтобы Линда могла поскорее уехать, так как Флем решил, что для соблюдения дочерних приличий Линде надо дожидаться, пока над могилой матери не водрузят это самое надгробие. Впрочем, что я говорю – не надгробие, а целый памятник: Юрист обыскал и обшарил не только Французову Балку и Джефферсон, но и весь Йокнапатофский округ, он охотился за каждой фотографией Юлы, раздобыл все, что мог, и отослал в Италию, чтобы там из мрамора высекли лицо Юлы. И тут я понял, что нет человека храбрее, чем та-

кой вот скромник и тихоня, если он вдруг решит, что его моральные устои и принципы требуют, чтоб он пошел на такие поступки, на какие он никогда в жизни не решился бы лично для себя, ради собственного интереса, никогда у него не хватило бы нахальства являться не только в те дома, где знали Юлу, но и в те, где имелся хоть детский фотоаппарат, и листать там все семейные альбомы, перебирать самые интимные фотографии, и все это, конечно, вежливо, благородно, но с видом человека, которому никак не скажешь «нельзя» и даже «пожалуйста, не трогайте!».

Теперь-то он мог заняться чем угодно. Потому что теперь он был доволен и счастлив, понимаете? Теперь его ничто не тревожило. Юла ушла, успокоилась наконец, и он тоже мог успокоиться: теперь ему больше никогда не придется, как выразился поэт, «грызть пальцы в горести», вечно ожидая, кто же еще появится под именами Маккэррона или де Спейна. А тут и Линда не только была навсегда спасена от Флема, но и он, Юрист, как опекун полностью распоряжался деньгами, которые она получила от матери и деда, так что теперь она могла уехать, куда ей хочется, конечно, после того как он настойчивостью и упорством добьется, чтобы эти самые заморские мастера все-таки высекли из мрамора лицо Юлы еще до второго пришествия или Страшного суда; для того он и собрал все ее фотографии, отправил их в Италию, а потом ждал, пока ему оттуда пришлют рисунок или фотографию с начатой работы, чтобы он проверил, правильно или непра-

вильно они делают, и он вызывал меня к себе в служебный кабинет посоветоваться, и у него на столе, под специальной лампой, лежал самый последний итальянский рисунок или фотография, и он говорил:

– Вот тут, около уха (или подбородка, или рта), вот тут, видите, о чем я говорю?

А я отвечал:

– По-моему, все правильно, по-моему, очень красиво.

– Нет. Вот тут неверно. Дайте-ка мне карандаш.

А иногда карандаш уже был у него в руке, но рисовать он все равно не умел, то и дело стирал и начинал снова. И хотя время все шло и шло, приходилось отсылать фотографию обратно; Флем и Линда уже поселились в особняке де Спейна, и Флем купил себе автомобиль, – хотя сам он править не умел, зато его дочка хорошо правила, правда, ездила она с ним не так часто. Наконец все было готово. Стоял октябрь, и Юрист передал мне, что открытие памятника на кладбище состоится сегодня к вечеру. А я уже заранее сообщил об этом его племяннику, Чикку, потому что Юрист сам себя довел до такого умиротворенного и спокойного состояния, что мы оба могли ему срочно понадобиться. Так что Чик в этот день не пошел в школу, и мы все втроем отправились на кладбище в машине Юриста. Там уже были Линда с Флемом, в машине Флема с негром-шофером, который должен был отвезти ее в Мемфис и посадить на нью-йоркский поезд; ее чемоданы уже стояли в машине. Флем сидел, откинувшись на спинку

сиденья, в своей черной шляпе, которая и сейчас, через пять лет, казалась на нем какой-то чужой, сидел и жевал пустоту, а рядом с ним – Линда, в темном дорожном платье и шляпке, чуть наклонив голову и сжав на коленях руки в беленьких перчатках. И вот его открыли, этот белый памятник, и на нем – это лицо, и хоть было оно вырезано из мертвого камня, все же это было то самое лицо, которое заставляло каждого юношу никогда, до самой старости не терять надежду и веру в то, что, может быть, перед смертью он наконец удостоится ради этого лица испытать все несчастья, все горести, а может быть, и пойти на погибель. А наверху – надпись, ее выбрал сам Флем:

ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНА – ВЕНЕЦ СУПРУГУ

ДЕТИ РАСТУТ, БЛАГОСЛОВЛЯЯ ЕЕ

И вот наконец Флем высунулся из окна, сплюнул и сказал:
– Все. Можно ехать.

Да, брат, теперь-то Юрист был свободен. Теперь ему не из-за чего было тревожиться: мы с ним и с Чиком поехали прямо к нему в служебный кабинет, и он все время говорил, что игру в футбол можно было бы сделать более современной, в соответствии со всеобщим прогрессом, и для этого достаточно было бы выдать по мячу каждому игроку, так, чтобы все наравне участвовали в игре, или, еще лучше, пусть

мяч будет один, но все границы поля надо изничтожить, так что самый хитрый игрок сможет спрятать мяч у себя под рубахой и удрать в кусты, покружить по городу, а потом переулочками выйти к воротам и забить гол, пока его никто не хватился; а потом, у себя в кабинете, он сел за стол, вынул одну из своих трубок и потратил на нее три спички, и тут Чик взял трубку у него из рук, набил ее табаком из жестянки, стоявшей на столе, и подал Юристу, а тот сказал: «Очень благодарен», – и уронил набитую трубку в мусорную корзину, скрестил руки и все говорил, говорил, пока я не сказал Чикку: «Присмотри за ним, я сейчас вернусь», – и вышел в переулок, времени у меня было мало, так что раздобыл я только пинту какой-то гадости, но все-таки на худой конец это было что-то вроде алкоголя. Я достал из шкафчика сахар, стакан и ложку, сделал пунш и поставил перед ним на стол, а он только сказал:

– Очень благодарен, – но даже не притронулся к стакану, все сидел, сложив перед собой руки, беспрестанно моргал, будто ему в глаза попал песок, и говорил, говорил: – Все мы, цивилизованные народы, ведем начало своей цивилизации с открытия принципа перегонки спирта. И хотя весь остальной мир, во всяком случае, та его часть, которая называется США, считает, что мы, жители Миссисипи, стоим на низшей ступени культуры, однако кто может отрицать, что, даже если то, что я сейчас выпью, будет действительно такая дрянь, как я ожидаю, все же мы также стремимся к звездам. Почему

она это сделала, В.К.? Все в ней – все ее существо, то, как она двигалась, дышала, жила, – все это было только дано ей в долг; она не имела права все это губить, она себе не принадлежала, не имела права губить себя, уничтожать. Она была достоянием слишком многих, она была нашим достоянием. Почему же, В.К., почему?

– Может, ей все наскучило, – говорю я, и он повторяет:

– Наскучило. Да, наскучило. – И тут он заплакал. – Да, она любила, она умела любить, дарить любовь и брать ее. Но дважды она пыталась и дважды терпела неудачу, она не могла найти не только человека достаточно сильного, чтобы заслужить ее любовь, но даже достаточно смелого, чтобы ее принять. Да, – говорит он, а сам сидит прямо, и слезы текут по лицу, но в душе у него мир, и нет теперь ничего на всем свете, что его мучило бы или тревожило. – Да, конечно, ей все наскучило.

7. В.К.РЭТЛИФ

Значит, теперь он был свободен. Он не только освободился от своей сирены, он освободился и от опеки, которую, как он узнал, она ему завещала. Потому что я говорю:

– Что это за Гринич-Вилледж?

А он говорит:

– Есть такое место без географических границ, – правда, для нее оно будет в Нью-Йорке, куда молодежь всех возрастов, вплоть до девяноста лет, отправляется в поисках мечты.

Но тут я ему говорю:

– А ей вовсе и не надо было уезжать из Миссисипи, чтоб найти такое место. – И тут же говорю ему то, что, наверно. Юла сама должна была, непременно должна была ему сказать, и, наверно, сказала: – Почему вы на ней не женились?

– Потому что ей всего девятнадцать лет, – говорит он.

– А вам уже целых тридцать пять, так? – говорю. – Во всех газетах только и пишут про девочек, которые еще в куклы играют, а замуж выходят за шестидесяти- и семидесятилетних стариков, конечно, если у тех есть лишние денежки.

– Нет, я хочу сказать, что у нее очень много времени впереди, и я ей еще могу понадобиться, мало ли что случается в жизни. А сколько в газетах пишут про людей, которые поженились, зная, что они когда-нибудь могут полюбить кого-то другого?

– А-а, – говорю, – значит, теперь вам только и остается сидеть там, где слышен звонок междугородного телефона или где вас легко найдет разносчик телеграмм. Потому что едва ли вы будете ждать, чтоб она вернулась в Миссисипи. А может, будете?

– Конечно, нет, – говорит он. – Зачем ей возвращаться?

– Что ж, значит, слава богу? – спрашиваю. Он не ответил. – А в общем, кто его знает, – говорю, – может, она уже и нашла свою мечту за эти... сколько дней? Два? Три? Может, он ее уж поджидал там, когда она приехала. Ведь это вполне возможно там, в Гринич-Вилледже, правда?

И тут он сказал, как я.

– Да, – говорит, – и слава богу.

Значит, теперь он был свободен. И действительно, если хорошенько присмотреться, так ему больше ничего не оставалось, как жить в мире, в тишине и спокойствии. Потому что не только он, но и весь Джефферсон в конце концов освободился от Сноупсов; впервые почти за двадцать лет в Джефферсоне и во всем Йокнапатофском округе настало что-то вроде штиля по части Сноупсов. Потому что наконец даже Флем как будто был удовлетворен, наконец-то он сел в то самое кресло, где сидели все президенты Торгово-земледельческого банка с тех самых пор, как первый президент, полковник Сарторис, основал этот банк двадцать с чем-то лет назад, а кроме того, он жил в том самом доме, где родился второй президент банка, так что теперь, когда он запирал в

сейф банковские деньги и шел домой, ему ничего другого и не оставалось, как жить в спокойствии и одиночестве, в тишине и довольстве, потому что он, во-первых, избавился от дочери, которая годами непрерывно держала его в напряжении – а вдруг она удерет туда, где ему за ней не уследить, и первый попавшийся юнец на ней женится, а он, Флем, потеряет ее долю уорнеровских денег? – а во-вторых, избавился от жены, которую вместе с Манфредом де Спейном в любую минуту могли разоблачить, а это ему дорого стоило бы: тогда он потерял бы и остальные уорнеровские капиталы, да и контрольный пакет акций в правлении банка.

Фактически Флем теперь был единственным Сноупсом, оставшимся в Джефферсоне. Старик Эб всегда жил не ближе чем за две мили, в горах, откуда едва можно было видеть водонапорную башню, – там он поселился еще в 1910 году и оттуда не вылезал. А четыре года назад Флем сплавил отсюда А.О. и навсегда выпихнул его во Французову Балку. А до того Флем препроводил Монтгомери Уорда в Парчмен, где уже находился Минк (впрочем, Минк по-настоящему никогда не жил в Джефферсоне, он только провел там несколько месяцев в тюрьме, ожидая, пока его навечно сошлют на каторгу). А в прошлом месяце отправили и тех четверых полуиндейцев-полусноупсов, которых Байрон Сноупс (бывший банковский клерк полковника Сарториса, тот, что подал в отставку простым и удобным способом: прикарманил столько денег, сколько удалось захватить, и удрал с ними через границу

США) прислал Флему наложенным платежом из Мексики, и к ним долго никто и никак не мог подойти близко, чтоб изловчиться и навесить на них ярлычки со штампом «доставка оплачена», прежде чем тот из них, у кого был в данный момент складной нож, не вспорет ему брюхо. Что же касается сыновей Эка – Уоллстрит-Паники и Адмирала-Дьюи, так они прежде всего были не настоящие Сноупсы, потому что Уоллстрит явно мечтал только об одном – вести оптовое бакалейное дело возмутительным, отнюдь не сноупсовским способом, а именно – продавать каждому в точности то, что ему нужно, и в точности за ту сумму, какую тот собирался заплатить.

Да, он почти что был удовлетворен. Я говорю о Флеме и о его новом жилище. Дом был обыкновенный, два этажа, галерея, где майор де Спейн, отец Манфреда, любил сидеть, когда не рыбачил, не охотился и не занимался судебными делами, да и второму президенту Торгово-земледельческого банка тоже хорошо жилось в этом особняке, главным образом потому, что он в нем родился. Но третий президент был не такой, как все. Он и до президентского кресла, и до этого дома дошел куда более длинной дорогой. И, наверно, он понимал, что ему очень издалека пришлось добираться туда, где он сейчас оказался, да и в пути трудностей было немало. Потому что полковник Сарторис родился в богатстве и почете и Манфред де Спейн родился в почете, хотя богатство он уже добыл сам. Но ему, Флему Сноупсу, пришлось само-

му добывать и то и другое, тащить, выдирать и выцарапывать, так сказать, из твердой, упорной, неуступчивой скалы, и к тому же не просто голыми руками, а одной рукой, тогда как другой голой рукой надо было обороняться, защищаться, пока он выдирал и выцарапывал то, что ему нужно. Так что Флему было мало просто жить в том доме, где люди, клавшие деньги в банк, привыкли видеть Манфреда де Спейна, в доме, куда тот, заперев их деньги, возвращался каждый вечер из банка и откуда выходил по утрам, когда надо было отпирать эти деньги. Нет, теперь этот дом, куда будет по вечерам входить Флем и откуда он будет выходить по утрам в банк, должен был стать видимым символом крушения той аристократии и знати, которая не только была слишком горда, чтобы злоупотреблять чужими деньгами, но даже в этом не нуждалась.

Так что в Джефферсоне все-таки появился новый Сноупс. Нет, его не совсем переселили из Французовой Балки, его только ввезли для временного употребления. Это был Уот Сноупс, плотник, полное его имя звучало так: «Фирма Уоткинс Сноупс», а слова «Фирма Уоткинс» когда-то были написаны с обеих сторон на стенке фургона аптекаря Мика, развозившего патентованные лекарства, так что, очевидно, был среди Сноупсов и такой, что умел читать по-печатному, хоть, может, и не мог читать по-писаному.

И вот в следующие девять-десять месяцев каждый, кто проходил, нечаянно или нарочно, по этой улице, видел, как

Уот, со своей артелью из родственников и свойственников сносил галерею майора де Спейна, пристраивал задний фасад к дому и устанавливал колонны от земли до самой крыши второго этажа, и хотя дом даже после окончательной покраски все-таки не мог потягаться с Маунт-Верноном ¹³, но, к счастью, Маунт-Вернон находился в тысяче миль от нас, так что у завистников и недоброжелателей не было никакой возможности сравнить эти два особняка.

Словом, когда Флем запирал банк и возвращался вечером домой, он мог войти и закрыть за собой двери такого дома, чтобы люди, чьи деньги он хранил, хоть немного завидовали, но при этом даже они, эти завистники, им гордились, одобряли его, и все вкладчики ложились спать спокойно, зная, что их деньги в полной целостности, в полной сохранности, в полной безопасности. А Флем тоже теперь был обеспечен, как говорится, целиком и полностью. У него даже служили негры – повариха и привратник, он же шофер, так как при Флеме уже не было единственной дочки, умевшей водить машину, хотя выезжал он не чаще, чем два раза в месяц, чтобы только не разрядился аккумулятор, не то придется ставить новый, как ему объяснил представитель фирмы.

Однако изменился, преобразился только особняк, но не сам Флем. Особняк, куда он входил около четырех часов дня и откуда выходил наутро, в восемь, мог казаться солид-

¹³ Маунт-Вернон – имение, где жил Джордж Вашингтон (1732-1799), первый президент США.

ным, аристократическим, родовым символом Александра Гамильтона, Аарона Барра, Астора, Моргана, Гарримана или Хилла, – словом, всех золотых защитников крепких, надежных капиталовложений, но человек, которого видели в дверях этого дома владельцы охраняемых им денег, остался таким же самым, привычным, каким они знали его двадцать лет: на нем был тот же пристегивающийся галстук бабочкой, с каким он приехал из Французовой Балки на тележке, запряженной мулами, и только шляпа другая, новая, но даже ту старую суконную кепку, – приказчику Уорнеров она вполне подходила, но разве можно в такой кепке выходить вице-президенту банка? – даже ту старую кепку он не выбросил и, уж конечно, не подарил, а продал, пусть всего за десять центов, ведь и десять центов тоже деньги, а теперь все владельцы денег, препорученных ему как вице-президенту банка, смотрели на шляпу и знали, что, какая бы ей ни была цена, ему она обошлась на десять центов меньше. И дело было не в том, что Флем сопротивлялся всяким переменам в себе самом: он не желал меняться из точного расчета, потому что доверяешь не обязательно тому человеку, который никогда не обманул доверия: доверяешь тому, о ком по опыту знаешь, что он отлично понимает, когда выгодно обманывать, а когда невыгодно.

И дом видели тоже только снаружи, до порога, а переступив порог, Флем за собой закрывал двери до восьми часов следующего утра. Никогда он никого к себе не приглашал, и

до сих пор никто не придумал предлога зайти туда, так что видели это жильё внутри только повариха да привратник; он же, привратник, мне все и рассказал: в парадных комнатах обстановка сохранилась, как при де Спейне, только прибавились все те кондитерские изделия, которые по совету владельца мебельного магазина накупила Юла в Мемфисе, потому что так полагалось обставлять квартиру вице-президенту банка, но Флем никогда в эти комнаты не заходил, он только обедал в столовой, а потом если не спал, то уходил в небольшую комнату в задней половине дома и там просиживал весь вечер, точно в таком же вращающемся кресле, какое у него стояло в банке: упершись ногами в каминную доску, ничего не делая, сидел, надвинув шляпу на глаза, и жевал тот же самый кусочек пустоты, который начал жевать с тех пор, как бросил табак; по приезде в Джефферсон он перешел на жевательную резинку, а потом и резинку бросил (видно, понял, что люди считают вице-президента банка настолько богатым, что он может вообще ничего не жевать). Привратник рассказал, что Уот Сноупс нашел в журнале картинку, как переделать камин под старинный, со всякими колонками, и лепкой, и резьбой, и как сначала Флем просто сидел, задрав ноги и уперев их в белую каминную доску, и с каждым днем царапина от гвоздей в подметках становилась все глубже. Но однажды, почти через год после того, как дом был отделан, Уот Сноупс пришел пообедать, а когда Уот ушел, привратнику зачем-то понадобилось войти в ту комнату, и

он все увидел: это был не то что вызов, не то что просто напоминание, откуда Флем родом, но, как говорится по-умному, самоутверждение, а может, и предупреждение себе самому: к старинной ручной резьбе каминной доски была прибита небольшая деревянная, даже некрашенная, планка, как раз на такой высоте, чтоб Флему удобно было упираться в нее ноги.

Было время, когда первый президент банка, полковник Сарторис, проезжал четыре мили от дома своих предков до банка в экипаже, на паре подобранных в масть лошадей, которыми правил негр в полотняной ливрее и старом цилиндре полковника, было и такое время, когда второй президент ездил в огненно-красной гоночной машине, пока не купил черный «паккард», которым правил негр в белой куртке и шоферской фуражке. У этого, у третьего президента, тоже была черная машина, хотя и не «паккард», и тоже был негр, который умел править, хотя у него никогда не водилось ни белой куртки, ни шоферской фуражки, и этот президент никогда, но крайней мере, до сих пор, не ездил в банк и домой на машине. Те два прежних президента по вечерам после закрытия банка и по воскресеньям разъезжали по всей округе, первый в экипаже, второй в черном «паккарде», и осматривали фермы хлопководов, на которые их банк держал закладные, а новый президент всем этим пока не занимался. И не потому, что все еще не верил, что закладные в его руках. Нет, в этом он никогда не сомневался. Ему ничуть не боязно было в это верить, в нем ни робости, ни сомнений и в поми-

не не было. Просто он еще присматривался, еще учился. И не то чтоб он сразу превзошел две науки, думая, что изучает только одну – как стать уважаемым, – нет, вторую науку он превзошел еще во Французской Балке, он с этим сюда и приехал. А научился он там смирению, именно такому смирению, которое одно только чего-нибудь да стоит: смиренно признаться себе, что ты многого еще не понимаешь, не знаешь, но ежели у тебя хватит терпения смиренно и долго ко всему присматриваться, особенно если при этом еще оглядываться на свой путь, так ты все узнаешь. И теперь по вечерам и по воскресеньям он сидел в доме, куда никого не приглашали, а значит, никто и не мог видеть, как он сидел в этом вращающемся кресле, в единственной обжитой комнате, не снимая шляпы и жуя все ту же пустоту, а ноги его упирались в эту узкую деревянную некрашеную планку – в это вопиющее несоответствие на старинном, ручной резьбы камине, в планку, похожую на изречения в рамочках, какие прибивают на стенку в той комнате, где часто сидят, думают, работают, – скажем, «ПОМНИ О СМЕРТИ», или «ЖИВИ С УЛЫБКОЙ», или же «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ», – чтобы не только ты сам, но и все твои посетители видели, что ты хоть понаслышке знаком с фактом существования каких-то неопределенных сил, которым, может быть, ты отчасти обязан всем тем, чего достиг.

Но все это – и планка, и все прочее – появилось позже. А теперь Юрист получил свободу. И наконец – разумеется,

не через три дня после отъезда Линды в Нью-Йорк, но и не через триста дней – он, как говорится, получил уже полную свободу. Он стоял у окошка на почте, с распечатанным письмом в руках, когда я вошел, и случайно в эту минуту, кроме нас, там никого не было.

– Его зовут Бартон Коль, – говорит он.

– Это как? – говорю. – Кого это так зовут?

– Мечту, вот кого, – говорит.

– Коул? – спрашиваю.

– Нет, – говорит, – вы произносите «Коул», а его фамилия – Коль.

– Вот как, – говорю, – Коль. Не очень-то американское имя.

– А Владимир Кириллыч, по-вашему, очень американское имя?

К счастью, на почте было пусто. Чистая случайность, он тут ни при чем.

– О, черт! – говорю. – Сто пятьдесят лет подряд, с тех пор как ваши проклятые янки из Конгресса выселили нас в горы Вирджинии, один Рэтлиф из каждого поколения тратит полжизни, чтобы скрыть свое имя, а в конце концов кто-нибудь обязательно ляпнет при всех. Наверно, Юла меня выдала?

– Ладно, – говорит, – помогу вам скрыть ваш семейный позор. А он – да, он еврей. И скульптор, наверно, отличный.

– Из-за этого? – говорю.

– Возможно, но не только из-за этого. Из-за нее.

– То есть оттого, что Линда выйдет за него замуж, он станет хорошим скульптором?

– Нет. Он, наверно, и сейчас лучше всех других скульпторов, раз она его выбрала.

– Значит, она вышла замуж, – говорю.

– Что? – говорит он. – Нет. Она только что с ним познакомилась, я же вам объяснил.

– Значит, вы еще не... – Я чуть было не сказал «не свободны», но спохватился: – ...не уверены. То есть, значит, она еще окончательно не решила.

– А что я вам говорю, черт побери? Забыли, что я вам сказал прошлой осенью? Что она полюбит раз в жизни и уже навеки.

– Только вы сказали «обречена полюбить».

– Будет вам, – сказал он.

– Обречена на верность и горе, вы так сказали. Полюбить сразу, и сразу его потерять, и потом всю жизнь быть ему верной, и горевать о нем. Но, пока что она ведь еще его не потеряла. Она, собственно говоря, его еще и не заполучила. Правильно я говорю или нет?

– Я вам сказал – хватит! – говорит он.

Произошло это примерно в первые полгода. А через год та самая деревянная планка для ног появилась на старинной, маунтвернонской каминной доске ручной работы – такая грубая, некрашенная планка, будто ее взяли прямо из поленницы, – и прибита она деревенским плотником, можно ска-

зять, к самой неприступной горной вершине, вроде как бы к Маттерхорну ¹⁴ респектабельности, – так альпинист пыхтит, собирает все силы для последнего броска, – смерть или победа! – лезет туда, старается взобраться на эту неприступную вершину, венец всех устремлений, а потом уродует ее, вырубает свое имя – имя победителя. Но он-то был не такой. Он и тут снова проявил свое смирение, но не явно, иначе на него страшно обиделись бы те, кто уважал всякие альпинистские попытки лезть в гору при помощи Торгово-земледельческого банка, нет, он прибил эту планку у себя, в уединении, как строят тайную часовню или алтарь: не для того, чтобы цепляться за нее в отчаянной и упрямой попытке влезть в гору, а для того, чтобы класть на нее ноги, когда отдыхаешь от подъема.

В тот день я проходил мимо прокурорского кабинета, как вдруг Юрист вылетел из-за угла; как всегда, из всех карманов у него торчали бумаги, и обе руки, как всегда, тоже были полны бумаг. Я его постоянно видел только в двух состояниях: либо он сидел более или менее спокойно, либо летел так, будто ему за шиворот насыпали раскаленных углей.

– Бегите домой, хватайте чемодан, – говорит. – Сегодня вечером выезжаем из Мемфиса в Нью-Йорк.

Тут мы поднялись к нему в кабинет, и он сразу перешел в то, другое состояние. Он бросил все бумаги россыпью на стол, взял с подноса свою тростниковую трубку и сел, а когда

¹⁴ Маттерхорн – горная вершина в Альпах.

стал шарить по карманам, ища спички, или табак или еще что, то обнаружил и там кучу бумаг и тоже бросил их на стол, откинулся в кресле, как будто он вое уже перевидал и пережил и в следующие ото лет ровно ничего случиться не может.

– На новоселье, – говорит.

– Вы хотите сказать – "а свадьбу? Так оно, кажется, зовется, когда священник получает свои два доллара?"

Он ничего не сказал, сидит и раскуривает трубку с таким видом, словно ювелир приплавляет еще один комочек платины к крышке часов.

– Значит, они не женятся, – говорю. – Значит, они просто, так сказать, соединяются. Слыхал я и об этом, потому-то и зовут эти гринич-вилледжские опыты мечтами: там можно проснуться рядом и не вскакивать с кровати, чтоб добежать до ближайшей регистратуры.

Он и не пошевелился. Только весь ощетинился, сразу, вмиг, даже не двинувшись с места. Сидит, весь ощетинился, как еж, а сам не пошевеливается и только говорит холодно и спокойно, потому что даже у ежа, когда он как следует ощетинится всеми колючками, голос может быть холодным, спокойным, сдержанным.

– Хорошо, хоть это и незаконно, я согласен применить к их отношениям термин «брак». Вы возражаете или протестуете? Может быть, вы найдете более подходящее определение? Ведь времени-то осталось мало, – впрочем, что ж я говорю «мало», – времени вообще не осталось. У нынешней

молодежи времени и вовсе не осталось, потому что только глупцы моложе двадцати пяти лет могут еще верить и даже надеяться, что еще хватит времени у нас, у всех, кто еще жив сегодня...

– Но разве много времени нужно, чтобы сказать при священнике «да», а потом заплатить ему, сколько полагается?

– Но я же вам только что объяснил: и на это времени не осталось, если ты прожил всего двадцать пять – тридцать лет.

– Ага, значит, вот ему уже сколько, – говорю. – Сначала вы говорили просто двадцать пять.

Но его уже вообще нельзя было остановить.

– Всего одно десятилетие прошло, с тех пор как их отцы, и дяди, и братья покончили с той войной, которая должна была навсегда освободить государственный организм от паразитов – тех наследственных собственников, тех вершителей судеб рода человеческого, которые только что убили восемь миллионов живых существ и разрушили полосу в сорок миль шириной в Западной Европе. И вот через какие-нибудь десять – двенадцать лет те же самые бессовестные дельцы, даже не потрудившись сменить имя и лицо и только прикрываясь новыми должностями и лозунгами, позаимствованными из демократического лексикона и демократической мифологии, снова, без передышки, объединяются для того, чтобы погубить единственную, заранее обреченную отчаянную надежду...

«Сейчас он станет перечислять тех, кто разбил сердце

президента Вильсона и погубил Лигу наций»¹⁵, – подумал я, но он уже понесся дальше – вот уж действительно без передышки.

– Тот, кто уже сидит в Италии, и тот, другой, куда более опасный, в Германии, – потому что у Муссолини в распоряжении всего лишь итальянцы, а у того, другого, – немцы. И тот, кто в Испании, ему только и надо, чтобы его не трогали мы, все те, кто считает, что, если хорошенько зажмурить глаза, все само собой пройдет. Уж не говоря...

– Уж не говоря о том, кто в России, – сказал я.

– ...о тех, что сидят у нас тут, дома: всякие организации с пышными названиями, которые во имя божье объединяются против нечистых в моральном и политическом отношении, против всех, у кого не тот цвет кожи, не та религия, не та раса: Ку-клукс-клан, «Серебряные рубашки»¹⁶, не говоря уж о туземных, местных радетелях, вроде сенатора Лонга¹⁷ в Луизиане или нашего дорогого Бильбо в Миссисипи, я уж молчу про нашего собственного дражайшего сенатора Кларенса Эгглстоуна Сноупса, тут у нас, в Йокнапатофском округе.

– Уж не говоря о том, кто в России! – говорю.

– Что-о-о? – говорит он.

¹⁵ Имеются в виду американские изоляционисты, противники президента Вудро Вильсона (1913-1921) и вступления США в Лигу наций.

¹⁶ «Серебряные рубашки» – военизированная, фашистского толка организация в США.

¹⁷ Лонг, Бильбо – американские политические деятели 30-х годов, выступавшие с демагогическими, расистскими лозунгами.

– Ага, понимаю. Значит, он не только скульптор. Он еще и коммунист.

– Что? – говорит он.

– Ваш Бартон Коль, – говорю. – Они не обвенчались прежде всего по той причине, что Бартон Коль коммунист. Он не может верить в церковь и в брак. Ему не позволят.

– Нет, он-то хотел, чтобы они обвенчались, – говорит Юрист. – Это Линда не захотела. – И тут уж я сказал: «Что?» – а он все сидел, сердитый, колючий, как еж. – Не верите? – спрашивает он.

– Нет, верю, – говорю. – Верю.

– А зачем ей венчаться? Что хорошего она видела в законном браке, который наблюдала в течение девятнадцати лет, зачем же ей теперь хотеть того же?

– Ну, ладно, – говорю, – допустим. Впрочем, в это я все-таки не очень верю. В то, что вы раньше сказали, я верю – насчет того, что времени осталось мало. И что, когда ты молодой, можно во многое верить. Когда ты молодой, и в то же время смелый, можно ненавидеть всякую нетерпимость и верить, что есть надежда, а если ты по-настоящему смелый, так можно и действовать. – Он все еще смотрел на меня. – Я бы сам хотел быть таким, – говорю.

– Значит, надо не просто выйти замуж, а выйти за кого угодно, лишь бы законным браком. Лишь бы не сожительство. Даже вы так думаете!

– Я не о том говорю! Я хотел бы быть таким, как они. Быть

непримиримым, верить, надеяться и действовать как надо. Любой ценой. Даже если для этого надо, чтобы опять стало меньше двадцати пяти, как ей. Даже если надо стать скульптором из Гринич-Вилледжа, как он.

– Значит, вы отказываетесь верить, что ей просто хочется ласки, хочется быть счастливой, как она это называет?

– Верю, – говорю я. – Всем хочется быть счастливыми. – В общем, на этот раз я с ним не поехал, даже когда он стал меня уговаривать.

– Глупости. Едем. А потом остановимся в Саратоге и поглядим на этот овраг, или гору, или откуда там ваш предок, иммигрант, этот самый Владимир Кириллыч Рэтлиф, перешел сюда на вашу родину.

– А он тогда вовсе и не назывался Рэтлиф, – говорю. – Мы и не знаем, как была его фамилия. Наверно, Нелли Рэтлиф, на которой он женился, не то что написать – и выговорить не могла, как его звали. Он и сам, наверно, не мог. Да и фамилия у них тогда была не Рэтлиф, а Рэтклифф. Нет, – говорю, – я не поеду, хватит и вас одного. Можете найти свидетеля подешевле, зачем приглашать меня – мне же не только надо оплатить проезд в оба конца, меня еще три раза в день кормить надо.

– Свидетеля чему? – говорит он.

– В такой важный момент ее жизни, когда она собирается официально или, во всяком случае, формально объединиться или, так сказать, скооперироваться с каким-то джентльме-

ном, то есть с другом противоположного пола, как говорится по-умному, вы, наверно, едете, чтобы объяснить – кому она родня или, во всяком случае, кому она не родня, так ведь? – А потом я говорю: – Впрочем, она, наверно, все знает.

А он говорит:

– Как же иначе? Разве она могла девятнадцать лет прожить в одном доме с Флемом и все еще верить, что он ее отец, даже если это документально доказано?

– А вы ей ничего не сказали, – говорю. А потом я ему говорю: – Нет, дело обстоит гораздо хуже. Может, вдруг этот вопрос начнет ее тревожить, может, она к вам придет и попросит: «Скажите мне всю правду, ведь он мне не отец», – и тут она может всегда понадеяться на вас, знать, что вы ей ответите: «Ты ошибаешься, он тебе отец». – Теперь он уже не смотрел мне в глаза. – А что вы сделаете, если она задаст этот вопрос шиворот-навыворот: «Скажите, кто мой отец?» – Нет, он не смотрел мне в глаза. – Верно, – сказал я. – Этого она ни за что не спросит. Полагаю, что она не зря виделась с Гэвином Стивенсом изо дня в день и отлично понимает, что есть ложь, с которой даже он не станет бороться. – Он уже совсем не смотрел на меня. – Так что, видно, вы эту ее веру в вас ничем не нарушите, – говорю.

Приехал он через десять дней. И я подумал, что если б этот самый скульптор мог бы застать ее врасплох и выманить из кровати к алтарю или хотя бы в регистратуру, пока она не опомнилась и не сообразила, куда ее завели, может быть, то-

гда он – я про Юриста – был бы наконец свободен. А потом я понял, что даже думать об этом смешно. И как только я считил с себя эту паутину дурацких надежд, я обнаружил, что уже много лет понимаю то же, что поняла Юла, как только увидела его: никогда он свободным не будет, потому что вся жизнь его в этом, и, если он это потеряет, у него ничего не останется. Я говорю про его преимущественное право, про его стремление вечно брать на себя полную ответственность за кого-то, кто никогда не устанет взваливать на него эту ответственность, а ему в награду даже косточки не бросит. И я вспомнил, как он мне тогда сказал, что она обречена на верность и постоянство – обречена полюбить раз в жизни и потерять его, а потом всю жизнь горевать, и я сказал, что быть дочерью Елены Прекрасной все равно, что быть, например, отставным папой римским или бывшим японским императором: ничего это ей в будущем не даст.

И теперь я понял, что он был почти прав, только слово «обречена» он не там поставил: не она была обречена, – с ней, должно быть, ничего не случится, – обречен был тот, кому она отдавала свою верность, свою единственную любовь, и тот, кто взял на себя всю ответственность и не только не хотел, но и не ждал взамен никакой косточки, – вот кто был обречен. И можно сказать, что из них двоих больше всего повезло бы тому, на кого обвалился бы потолок, когда он ложился спать или вставал с постели.

Но, конечно, он бы мне задал жару, если бы я попробо-

вал хоть заикнуться насчет этого, так что здравый смысл мне подсказал, что лучше промолчать. И в конце концов я действительно удержался и ничего ему не сказал: во-первых, я старался поменьше его видеть, а во-вторых, боролся с искушением, как черт, вернее, как Иаков с ангелом ¹⁸, – а разве есть для живого человека большее искушение, чем сознательно упустить возможность потом заявить: «Ага, что я вам говорил?» А время шло и шло. Деревянную планку для ног уже прибили к камину, никто, кроме негра-привратника, ее не видел, – и все же в Джефферсоне об этом ходила легенда, после того как привратник рассказал мне, а я, да и он, наверно, рассказали случайно кому-то из друзей: так росла легенда о Сноупсе, так воздвигался еще один памятник Флему, наряду со всеми другими памятниками, которые возводились еще с той истории на электростанции, – мы так и не узнали, вытащены ли из водяного бака все пропавшие медные части, которые во время царствования Флема на этой станции прятали туда два запуганных до смерти негра-кочегара.

И вот настал тридцать шестой год, и времени оставалось все меньше и меньше. Муссолини в Италии, Гитлер в Германии и, конечно, как говорил Юрист, тот, третий, в Испании. И однажды Юрист мне говорит:

– Складывайте-ка чемодан. Завтра утром вылетаем из Мемфиса. Нет, нет, вы не бойтесь заразы, теперь вам можно

¹⁸ Имеется в виду библейский эпизод (Книга Бытия, гл.32).

с ними познакомиться. Едут в Испанию, сражаться в республиканской армии, и, наверно, он так долго ее грыз и терзал, что она наконец сказала: «Фу, пусть будет по-твоему».

– Так, значит, он вовсе не из этих либеральных, свободомыслящих передовых художников, – говорю, – значит, он – обыкновенный серый парень, который считает, что если с девушкой стоит спать, так стоит и заботиться о ней всю жизнь, чтобы у нее были и крыша над головой, и еда, а может, и немножко карманных денег.

– Ну, ладно, ладно, – говорит. – Ладно!

– Только поедем мы с вами поездом, – говорю. – Я вовсе не боюсь лететь самолетом, но просто когда мы будем проезжать через Вирджинию, я смогу увидеть то место, где этот самый иммигрант, наш первый Владимир Кириллыч, проби-вал себе дорогу в Соединенные Штаты.

Я дождался его на углу со своим чемоданчиком, когда он подъехал, открыл дверцу машины и посмотрел на меня, а потом, как говорят в кино, надвинулся на меня крупным планом в сказал:

– О, черт!

– Собственный, – говорю, – сам купил.

– Вы – и в галстук, – говорит. – Да вы их никогда не носили, у вас, наверно, никогда в жизни галстук не было.

– Вы же мне сами сказали, – говорю. – Ведь там свадьба.

– Снимайте, – говорит.

– Не сниму, – говорю.

– Я с вами не поеду. Не хочу, чтобы меня с вами видели.

– А я не сниму, – говорю. – Это я даже не ради свадьбы.

Понимаете, в первый раз на меня будут смотреть те края, откуда появился первый В.К.Рэтлиф. Может, я им хочу понравиться. Может, я не хочу, чтоб они меня стыдились.

Словом, сели мы на поезд в Мемфисе, а на следующий день проезжали Вирджинию – Бристоль, потом Роанок, Линчберг, потом повернули на северо-восток вдоль синих гор, и где-то впереди, мы точно не знали где, было то место, где первый Владимир Кириллыч наконец нашел прибежище, правда, мы даже не знали, какая у него была фамилия, а может, у него и фамилии не было, пока Нелли Рэтлиф – тогда писалось «Рэтклифф» – его не нашла, да мы вообще много чего не знали: как он затесался в ряды немецких наемников, в армию генерала Бергойна, которого побили при Саратоге ¹⁹, но только Конгресс отказался выполнить условия, на которых они сдались, и разогнал всю эту шайку-лейку, и они шесть лет подряд шатались по Вирджинии без денег, без еды, а многие, как тот первый Владимир Кириллыч, и без языка. Но ему ни то, ни другое, ни даже третье не понадобилось, чтобы попасть не только в тот поселок, куда нужно, но и именно на тот сеновал, где его нашла Нелли Рэтклифф, когда искала куриное гнездо или еще что. И никакие слова

¹⁹ Бергойн Джон (1722-1792) – английский генерал, во время Войны за независимость командовавший английской армией в битве при Саратоге 7 октября 1777 г.

ему не понадобились, чтобы съесть то, что она ему тайком носила, – может, он и про работу на ферме первый раз услышал, когда она его наконец привела к своим домашним, и, уж конечно, немного слов ему было нужно, чтобы события развернулись дальше – в тот день, когда ее папаша, или мамаша, или браться, кто бы там ни был, может, просто соседка, увидели, что у нее растет живот, – тогда они поженились и у того В.К. наконец законно появилась настоящая законная фамилия – Рэтклифф, а его потомок переселился в Теннесси, а потомок того – в Миссисипи, только к тому времени они уже писались «Рэтлиф», и старшему сыну в каждом поколении до сих пор дают имя «Владимир Кириллыч», и до сих пор он полжизни тратит на то, чтобы этого ни одна душа не узнала.

На следующее утро мы прибыли в Нью-Йорк. Приехали рано, еще семи не было. Что-то очень уж рано.

– Наверно, они еще и завтракать не кончили, – говорю.

– Кой черт! – говорит Юрист. – Они еще и спать не ложились. Это вам не Йокнапатофа, а Нью-Йорк. – Тут мы поехали в гостиницу, где Юрист заранее заказал нам номер. Только это был не номер, а три номера: гостиная и две спальни. – Можем тут и позавтракать, – говорит он.

– Позавтракать? – говорю.

– Нам подадут сюда.

– Это вам Нью-Йорк, – говорю. – Завтракать в спальне, или в кухне, или на задней галерейке я могу и дома, в Йокнапатофском округе.

Так что мы спустились вниз, в ресторан. Тут я говорю:

– Когда же здесь завтракают? В сумерки, что ли? А может, когда встанут, тогда и едят?

– Нет, – говорит. – А нам надо сперва сделать одно дело. Впрочем, – нет, – говорит, – два дела. – Он опять смотрел на это самое, хотя, надо отдать ему справедливость, он ни слова не сказал с той минуты, как я сел к нему в машину в Джефферсоне. И я вспомнил, как он мне когда-то рассказывал, что в Нью-Йорке климат не похож ни на какой другой климат в мире, но что бывает погода, словно специально придуманная для Нью-Йорка. И в тот день была именно такая погода: утро стояло сонное, голубое, теплое, как бывает ранней осенью, когда кажется, что небо само опускается на землю мягким таким, голубым туманом, а высокие здания летят в него и вдруг останавливаются, и все их грани растворяются, будто солнце не просто на них светит, а словно бы звенит, вот как провода поют. А потом вижу – вот оно: магазин, в нем громадная витрина и во всей этой витрине – единственный галстук.

– Погодите, – говорю.

– Нет, – говорит, – можно было терпеть, пока его видели только проводники в вагоне, но в таком виде идти на свадьбу нельзя.

– Нет, погодите! – говорю. Потому что я про эти нью-йоркские магазины на укромных улочках тоже кое-что слышал. – Если целую витрину можно занять одним галстуком,

так, наверно, за него сдерут доллара три, а то и все четыре.

– Ничего не поделаешь, – говорит он. – На то здесь и Нью-Йорк. Пойдем!

И внутри тоже ничего, только золоченые стулья, две дамы в черных платьях и господин – одет он был, как сенатор, или, на худой конец, как священник, и назвал Юриста запросто, по имени. А потом – кабинет, на столе – ваза с цветами, а за столом – невысокая полная смуглая женщина, и платье на ней, каких никто не носит, волосы с проседью и замечательные карие глаза, просто красота, хоть и чуть-чуть навывкате: она расцеловала Юриста, а он ей говорит:

– Мира Аллановна, вот это Владимир Кириллыч, – а она на меня посмотрела и что-то сказала, я сразу как-то догадался, что по-русски, а Юрист ей говорит: – Вы только взгляните. Только посмотрите, если сможете выдержать, – а я говорю:

– Честное слово, не такой уж он плохой. Конечно, лучше было бы желтый с красным, а не розовый с зеленым. Но все-таки... – а она тут говорит:

– Значит, вы любите красное с желтым?

– Да, мэм, – говорю. А потом говорю: – В сущности... –

И остановился, а она говорит:

– Да, да, рассказывайте, – а я говорю:

– Нет, ничего. Я только подумал, что если бы можно было помечтать, представить себе галстук, а потом найти его и надеть, я бы представил себе такой весь красный, а на нем бу-

кет, нет, лучше один подсолнух посредине, – а она говорит:
– Подсолнух? – А Юрист объясняет:
– Гелиант. – А потом говорит: – Нет, не так. Турнесоль.
Подсолнечник.

И тут она говорит:

– Погодите, – и сразу уходит, и тут уж я сам заговорил.

– Погодите. Даже пятидолларовые галстуки не окупят все эти золоченые стулья, – говорю.

– Поздно! – говорит Юрист. – Снимайте! – Но только тот, что она принесла, вовсе и не был красным, и подсолнуха на нем не оказалось. А был он весь в каком-то пушке. Нет, это неверно: когда его рассмотришь поближе, он становится похож на персик, понимаете, чем дальше смотришь и стараешься не мигать, тем больше кажется, что сейчас он превратится в настоящий персик. Но, конечно, не превращается. Просто на нем пушок такой, золотистый, как спина у загорелой девушки. – Да, – говорит Юрист. – А теперь пошлите купить ему белую рубашку. Он и белых рубашек никогда не носил.

– Никогда? – говорит она. – Всегда синие, да? Вот такие, светло-синие? Как ваши глаза, да?

– Правильно, – говорю.

– А как это получается? – говорит. – Они у вас выгорают? Или это от стирки?

– Ну да, – говорю, – просто стираю их, и все.

– Как стираете? Вы сами стираете?

– Он и шьет их сам, – говорит Юрист.

– Ну да, – говорю. – Я продаю швейные машины. Я и не помню, как научился шить.

– Понимаю, – говорит она. – Ну вот, этот вам на сегодня. А завтра будет другой. Красный. С подсолнечником.

Потом мы вышли на улицу. А я все порываюсь сказать: «Погодите».

– Теперь приходится покупать оба-два, – говорю. – Нет, я серьезно. Понимаете, я вас очень прошу, поверьте, что я вас совершенно серьезно спрашиваю. Как по-вашему, сколько может стоить, например, тот, что выставлен на витрине?

А Юрист идет себе, не останавливаясь, вокруг толпа, бегут во все стороны, а он так небрежно, через плечо, говорит:

– Право, не знаю. У нее есть галстуки и в полтора доллара. А этот, наверно, долларов семьдесят пять...

Меня словно этак легонько по затылку треснули, я только опомнился, когда очутился в стороне от толпы, у какой-то стенки, стою, прислонился, сам весь дрожу, а Юрист меня поддерживает.

– Ну как, прошло? – говорит.

– Ничего не прошло, – говорю. – Семьдесят пять долларов за галстук? Ни за что! Не могу я!

– Вам сорок лет, – говорит. – Вы должны были бы покупать не меньше одного галстука в год, с тех пор как вы влюбились. Когда это было? В одиннадцать лет? В двенадцать? В тринадцать? А может, вы влюбились в восемь или в девять,

когда пошли в школу – если только у вас была учительница, а не учитель. Но давайте считать – с двадцати лет. Значит, двадцать лет, по доллару за галстук каждый год. Выходит двадцать долларов. Так как вы не женаты и никогда не женились и у вас нет близких родственников, некому доводить вас до могилы своими заботами в надежде что-нибудь унаследовать, значит, вы можете еще прожить лет сорок пять. Это уже шестьдесят пять долларов. Значит, вы можете получить галстук от Аллановны всего за десять долларов. Нет человека на свете, который получил бы галстук от Аллановны за десять долларов.

– Ни за что! – говорю. – Ни за что!

– Ладно, – говорит, – я вам его дарю!

– Не могу я принять"! – говорю.

– Отлично! Хотите вернуться и сказать ей, что вам галстук не нужен?

– Разве вы не понимаете, что я ничего не могу ей сказать?

– Ну, ладно, – говорит, – пойдете, мы и так уже опаздываем.

Мы пришли в какой-то отель и сразу поднялись в бар.

– Пока мы не дошли, – говорю, – может быть, вы мне объясните, с кем это мы должны встретиться?

– Нет, – говорит, – на то и Нью-Йорк. Я тоже хочу доставить себе удовольствие. – И через минуту, когда я понял, что Юрист раньше никогда этого человека в глаза не видел, я сообразил, зачем он так настаивал, чтоб я с ним поехал.

Впрочем, я тут же подумал, что в этом случае Юристу не надобно было никакой помощи, ведь роднит же как-то людей обида, с которой человек двадцать пять лет подряд просыпается, как, наверно, просыпался он: с обыкновенной, простой, естественной тоской при мысли, что ему вообще надо просыпаться. И я говорю:

– Провалиться мне на месте! Здорово, Хоук! – Потому что это оказался он: в висках проседь, и вид не просто такой, словно он загорел на свежем воздухе, вид у него был человека богатого, который загорал на свежем воздухе, и это было ясно и без дорогого темного костюма и даже без того, что два лакея суетились около столика, где он уже сидел и ждал, – значит, Юрист разыскал его, вытащил сюда откуда-то с Запада, так же как вытащил и меня, специально на этот день. Нет, не Юрист притащил сюда Маккэррона и меня за тысячу миль и за две тысячи миль, чтобы нам троим встретиться тут, в нью-йоркском ресторане, нас сюда привела эта девочка – девочка, которая одного из нас никогда в жизни не видела, а с двумя другими, в сущности, только была знакома, – девочка, которая не только не знала, но и не интересовалась тем, что унаследовала роковую способность своей матери – опутать четырех мужчин этой паутиной, этой единственной прядью волос, это она, даже пальцем не пошевелив, свела нас четверых – своего отца, своего мужа, человека, который до сих пор готов был пожертвовать жизнью ради ее матери, если только эта жизнь кому-нибудь понадобится, и, наконец,

меня, постоянного друга всего семейства, – свела для того, чтобы мы были статистами в той сцене, когда она скажет: «Согласна», – когда подойдет их очередь в регистрационном бюро ратуши, прежде чем они сядут на пароход и уедут в Европу, а там уже будут делать то, что они намеревались делать на этой самой войне. В общем, тут мне пришлось их познакомить: – Это юрист Стивенс, Хоук, – и уже целых три лакея (видно, он был здорово богатый) засуетились вокруг, усаживая нас за столик.

– Что будете пить? – спрашивает он Юриста. – Я знаю, чего хочет В.К.: бушмилл, – говорит он лакею. – Принесите бутылку. – И ко мне: – Вам покажется, что вы опять дома, – говорит. – На вкус оно, совсем как тот самогон, что гнал дядюшка Кэлвин Букрайт, помните? – Потом он посмотрел на эту штуку. – От Аллановны? – говорит. – Верно? Значит, и вы тоже пошли в гору со времен Французовой Балки, правда?

Потом он обернулся к Юристу. Допил свой стакан одним глотком, а лакей уже подскочил к нему с другой бутылкой, прежде чем он ему подал знак.

– Вы не беспокойтесь, – говорит он Юристу. – Раз я вам дал слово, я его сдержу.

– А вы тоже не беспокойтесь, – говорю. – Юрист держит Линду вот так. Она ему первому поверит, хоть бы кто другой забылся и все ей сказал.

Мы могли тут же пообедать, но Юрист говорит:

– Мы же в Нью-Йорке. Обедать в такой обстановке мы можем дома, в харчевне у дядюшки Кэла Букрайта. – И мы пошли в настоящий ресторан. А потом уже пора было ехать. Мы поехали до ратуши в такси. А когда мы вылезали, подъехала другая машина, и вышли они. Он был не такой уж крупный, только выглядел крупным, как хороший футболист. Нет, как боксер. И вид у него был такой, что не только он никому не даст спуска или пощады... впрочем, это не то слово. Вид у него был такой, что он мог бы тебя побить, а может быть, и ты побил бы его, но только ты бить его не станешь, и он мог бы убить тебя или ты его мог бы убить, но только ты и убивать его не станешь. Одно было видно, что он ни на какие сделки не пойдет, так он смотрел на тебя своими светлыми, как у Хэба Хэмптона, глазами, только у него взгляд был не жесткий, он просто видел тебя всего насквозь, смотрел не спеша, пристально, ничего не упуская, будто заранее знал, что увидит.

Мы вошли в помещение, длинное такое, вроде коридора, стали в очередь, пара за парой, сперва они были последними, но конца этой очереди не было, сейчас же за последними становились еще, и шли они быстро: до двери с надписью «Регистратура», и туда, внутрь. Там тоже пробыли недолго, такси нас ждали.

– Так вот, значит, Гринич-Вилледж, – говорю. Вход был прямо с улицы, но потом шел клочок земли, который можно было бы назвать двориком, хотя городские, должно быть,

зовут их садиками, там даже стояло дерево, а на нем три такие штучки, которые, несомненно, весной или летом были листьями. Но внутри дома мне понравилось: народу, конечно, тьма, два официанта бегают с подносами, разносят шампанское в бокалах, им помогают и гости, и те, кто остается в этой квартире, пока Линда с мужем будут воевать в Испании, – молодая пара, их ровесники.

– А он тоже скульптор? – спрашиваю я Юриста.

– Нет, – говорит Юрист, – он в газете работает.

– Вот как, – говорю, – значит, они-то наверняка давно женаты.

Мне у них понравилось: везде сплошные окна. Вещей порядочно, но вещи, видно, нужные: вся стена в книгах, роль и, как я догадывался, картины, потому что они висели на стенах, и я догадывался, что те вон штуки – скульптуры, но про другие я не понимал, что оно такое: куски дерева, железа, какие-то полоски жести, проволока. Но спросить я никак не мог, потому что кругом было столько всяких поэтов, и художников, и скульпторов, и музыкантов, и он должен был хозяйничать, а потом мы все – он, Линда, Юрист, Хоук и я – должны были ехать в порт, к пароходу; свою мечту в Гринич-Вилледже находили многие, но свадьба, видимо, там была целым событием. А один из гостей, как видно, был не поэт, и не художник, и не скульптор, и не музыкант, и даже не обыкновенный честный журналист, он, как видно, был галантейщик, который отпросился на субботу из

лавки. Потому что не успели мы войти в комнату, как он не только стал глазеть на эту штуку, но и щупать ее пальцами.

– От Аллановны, – говорит.

– Правильно, – говорю.

– Оклахома? – спрашивает. – Нефть?

– Как? – говорю.

– Ага! – говорит. – Значит, Техас. Скотоводство. В Техасе можно сделать миллионы либо на нефти, либо на скоте, верно?

– Нет, сэр, – говорю, – Миссисипи. Продаю швейные машины.

Вышло так, что Коль подошел ко мне не сразу, а подойдя, налил еще вина.

– Вы, кажется, выросли с матерью Линды, – говорит.

– Правильно, – говорю. – А эти штуки вы делали?

– Какие штуки? – говорит.

– Вон те, – говорю.

– А-а, – говорит. – Хотите посмотреть еще? Вам интересно?

– Пока не знаю, – говорю. – Но это ничего.

И тут мы стали проталкиваться сквозь толпу – уже приходилось проталкиваться, – вышли в прихожую, а оттуда по лесенке вверх. И там было лучше всего: мансарда, почти вся крыша стеклянная, и видно, что тут не просто люди живут, а человек приходит сюда один и работает.

Он стоял немного в стороне, чтоб не мешать, не торопить

меня, пока я все не рассмотрел. Потом наконец говорит:

– Что, возмущаетесь? Сердитесь?

– Неужто мне надо возмущаться или сердиться только потому, что я этого никогда в жизни не видал?

– В ваши годы это бывает, – говорит. – Только дети любят все новое, для них новизна удовольствие. Взрослые нового не терпят, если только им заранее не внушат, что им захочется это новое купить.

– Может, я еще мало смотрел, – говорю.

– Смотрите еще, – говорит. Стоит, прислонясь к стене, руки скрестил на груди, как футболист, снизу, через лестницу, слышно, как шумят гости, которых он должен был принимать, а я все осматриваю, не торопясь: кое-что разбираю, кое-что почти разбираю, а может, и совсем разобрал бы, будь у меня времени побольше, а кое-что, сам вижу, мне так никогда и не разобрать, и вдруг я понимаю, что это совершенно несущественно не только для него, но и для меня. Потому что любой человек может видеть, и слышать, и нюхать, и щупать, и пробовать на вкус то, что ему положено видеть, слышать, нюхать, щупать и пробовать на вкус, и никому от этого ни тепло, ни холодно, и вообще неважно, есть ты на свете или тебя нет. А вот если ты умеешь видеть, и слышать, и нюхать, и щупать, и пробовать на вкус то, чего ты никогда не ожидал и даже вообразить себе до этой минуты не мог, так, может, для того Старый Хозяин и отметил тебя, для того ты и живешь среди живых.

Но уже наступила пора для их свидания наедине. Я говорю про свидание, которое задумали Юрист и Хоук, хотя Хоук все время повторял:

– Но что я ей скажу? И ее мужу, и ее друзьям?

А Юрист ему говорит:

– Зачем вам с кем-то объясняться? Я все уже устроил. Как только выпьем за ее здоровье, берите ее под руку и удирайте. Только не забудьте вернуться к пароходу ровно в половине двенадцатого. – Правда, Хоук все еще пытался что-то сказать, стоя с ней вдвоем у выхода, он – в своем дорогом темном костюме, со шляпой в руках, она – в вечернем платье, а сверху пальто. И не то чтоб они очень были похожи, нет. Для женщины она была слишком высокая, такая высокая, что даже незаметно было, как она сложена (я про то, что, глядя на нее, мужчина и не присвистнул бы), а он был вовсе не такой высокий, скорее коренастый. Но глаза у них были совершенно одинаковые. Во всяком случае, мне казалось, что каждый, кто их видит, понимает, что они родня. И он все пытался кому-то объяснить:

– Старый друг ее матери... Ее дед и мой дед, кажется, были дальние родственники, – но тут вмешался Юрист:

– Ладно, ладно, ступайте! И не забывайте о времени, – а Хоук говорит:

– Да, да, мы будем обедать в ресторане «Двадцать один», а потом поедem в Сторк-клуб²⁰, если захотите позвонить.

²⁰ «Двадцать один», Сторк-клуб – дорогие рестораны в Нью-Йорке.

Они ушли, и гости тоже скоро разошлись, остались только трое, все – газетчики, как я узнал, иностранные корреспонденты, и Коль сам помог жене своего нового квартиранта сварить макароны, и мы их съели, выпили винца, на этот раз красного, и все говорили о войне, об Испании и Абиссинии и что это только начало: скоро во всей Европе потухнут огни, а может, и у нас тоже. Наконец пора было собираться на пароход. В спальне стояло еще шампанское, но Юрист не успел откупорить и первую бутылку, как вошли Хоук с Линдой.

– Так скоро? – сказал Юрист. – А мы вас ждали через час, не раньше.

– Она, вернее, мы решили не ходить в Сторк-клуб, – говорит Хоук. – Мы просто покатались по парку. А теперь... – говорит он и даже шляпы не снимает.

– Оставайтесь, выпейте шампанского, – говорит Юрист. И Коль тоже что-то сказал. Но Линда уже протянула ему руку.

– Прощайте, мистер Маккэррон, – говорит. – Большое спасибо за этот вечер, за то, что приехали ко мне на свадьбу.

– А ты не можешь называть меня просто Хоук? – говорит он.

– Прощайте, Хоук, – говорит она.

– Тогда подождите нас в машине, – говорит Юрист. – Мы сейчас же выйдем.

– Нет, – говорит Хоук. – Я возьму другую машину, а эту оставлю вам. – И ушел. Она закрыла за ним двери, подошла

к Юристу и что-то вынула из кармана.

– Вот, – говорит. Это была золотая зажигалка. – Знаю, что вы не станете ею пользоваться, вы говорили, что вам кажется, будто от зажигалок у трубки вкус бензина.

– Не так, – говорит Юрист, – я говорил, что всегда чувствую вкус бензина.

– Все равно, – говорит она, – возьмите. – Юрист взял. – Тут выгравированы ваши инициалы, видите?

– Г.Л.С. – говорит Юрист. – Это не мои инициалы, у меня только два: Г.С.

– Знаю. Но ювелир сказал, что в монограмме должно быть три инициала, вот я вам и одолжила один свой. – Она стояла перед ним, глядя ему в глаза, почти такая же высокая, как он. – Это был мой отец, – говорит.

– Нет, – говорит Юрист.

– Да, – говорит она.

– Уж не собираешься ли ты утверждать, что он тебе сам это сказал? – говорит Юрист.

– Вы же знаете, что нет. Вы заставили его поклясться, что он не скажет.

– Нет, – говорит Юрист.

– Ну поклянитесь!

– Ладно, – говорит Юрист, – клянусь!

– Я вас люблю, – говорит она. – И знаете за что?

– За что? – говорит Юрист.

– За то, что каждый раз, как вы мне лжете, я знаю, что вы

никогда от своих слов не отречетесь.

Потом мы проделали второе сентиментальное путешествие. Нет. Сначала произошло вот что. Было это на следующий день.

– Теперь пойдем за вашим галстуком, – говорит Юрист.

– Нет, – говорю.

– Значит, вы хотите пойти один?

– Вот именно, – говорю. И вот я стою один в том же маленьком кабинете, и на ней то же самое платье, каких никто не носит, и она замечает, что я без галстука, даже прежде чем я успел положить галстук и сто пятьдесят долларов на столик рядом с тем, новым, до которого я и дотронуться побоялся. Он был красный, чуть темнее, чем бывают кленовые листья осенью, а на нем не один подсолнух и даже не букет, а по всему полю рассыпаны крошечные желтые подсолнечники, и в каждом – маленькое голубое сердечко совершенно того же цвета, что и мои рубашки, когда они чуть полиняют. Я даже дотронуться до него не посмел. – Простите меня, – говорю, – но понимаете, я просто не могу. Я же продаю швейные машины в штате Миссисипи. Не могу я, чтоб там, дома, все узнали, что я купил галстуки по семьдесят пять долларов за штуку. Но если мое дело – продавать швейные машины в Миссисипи, то ваше дело – продавать галстуки в Нью-Йорке, и вы не можете себе позволить, чтобы люди заказывали вам галстуки, надевали их, а потом за них не платили. Так что вот деньги, – говорю. И очень прошу вас, простите меня,

будьте настолько добры!

Но она на деньги и не взглянула:

– Почему он вас назвал Владимир Кириллыч? – спрашивает. Я ей все объяснил.

– Только теперь мы живем в Миссисипи, и надо стараться быть как все, – говорю. – Вот. И я очень прошу вас, простите меня!

– Уберите их с моего стола, – говорит. – Я вам подарила эти галстуки. Значит, платить за них нельзя.

– Но вы понимаете, что я и этого не могу допустить? Так же, как я не мог бы допустить у себя в Миссисипи, чтоб мне человек заказал швейную машину, а потом я ее доставлю, а он заявит, что передумал.

– Так, – говорит, – значит, вы не можете принять галстуки, а я не могу принять деньги. Прекрасно. Тогда мы делаем так. – У нее на столе стояла какая-то штучка, вроде кувшинчика, но она что-то нажала, и оказалось, это – зажигалка. – Давайте сожжем их, половину – за меня, половину – за вас.

Но тут я ее перебил.

– Стойте, стойте! – говорю. Она остановилась. – Нельзя, – говорю. – Нельзя жечь деньги, – а она спрашивает:

– А почему? – И мы смотрим друг на друга, в руке у нее горит зажигалка, и оба держим руки на деньгах.

– Потому что это деньги, – говорю, – потому что где-то, когда-то, кто-то слишком старался... слишком страдал... я хочу сказать, что деньги кому-то принесли слишком много

обиды и горя и что они этого не стоят... нет, я не то хочу сказать... я не о том, – а она говорит:

– Я все понимаю, я отлично все понимаю. Только растяпы, только невежды, безродные трусы могут уничтожать деньги. Значит, вы примете этот подарок от меня? Увезите их домой – как вы сказали, где это?

– В Миссисипи, – говорю.

– В Миссисипи. Туда, где есть такой человек, который... нет, не нуждается – надо ли говорить о таких низменных вещах, как нужда?.. Но человек, который мечтает о чем-то, что, может быть, стоит целых сто пятьдесят долларов, будь это шляпа, картина, книга, драгоценная сережка, словом, о чем-то, чего ему никогда, никогда... о чем-то, чего нельзя ни съесть, ни выпить, и думает, что он или она никогда этого не получит, и уже давно потерял... не мечту, нет, надежду потерял, – теперь вы понимаете, о чем я говорю?

– Очень хорошо понимаю, вы же мне сами все рассказали.

– Ну, тогда поцелуемся! – говорит.

И в тот же вечер мы с Юристом выехали в Саратогу.

– А вы сказали Хоуку, чтоб он лучше и не пробовал давать ей деньги? – говорю. – Или он сам своим умом дошел?

– Да, – говорит Юрист.

– Что «да»? – говорю.

– И то и другое, – говорит Юрист.

Днем мы были на скачках, а на следующее утро поехали на Бемис-Хейтс и Фрименс-Фарм. Но, конечно, там и в по-

мине не было никакого памятника одному из гессенских наемников, который, наверно, и по-немецки не говорил, а по-английски и подавно, и, уж конечно, там не оказалось никакого холма, или оврага, или скалы, которые вдруг заговорили бы и объявили во всеуслышанье: «На этом самом месте твой предок и родоначальник В.К. навеки отрекся от Европы и примкнул к Соединенным Штатам». А два дня спустя мы вернулись домой, покрыв за два дня то расстояние, которое тот, первый Владимир Кириллыч, и его потомки прошли за четыре поколения, и потом мы видели, как потух свет в Испании и в Абиссинии и как мрак пополз через всю Европу и Азию, пока тень от него не упала на тихоокеанские острова и не легла на Америку. Но до этого еще дело не дошло, когда Юрист мне сказал:

– Зайдите ко мне, – а потом говорит: – Бартон Коль погиб. Его самолет – он летал на старом пассажирском самолете, вооруженном ручными пулеметами образца тысяча девятьсот восемнадцатого года, с самодельными бомболюками, откуда летчики-самоучки бросали самодельные бомбы, – вот как им приходилось сражаться с гитлеровской «Люфтваффе», – этот самолет был сбит и сгорел, она, наверно, даже не могла бы опознать его, если бы и была на месте катастрофы. Что она теперь собирается делать, она не пишет.

– Вернется сюда, – говорю.

– Сюда? – говорит. – Вернется сюда? – И потом вдруг: – А почему бы ей и не вернуться, черт возьми? Здесь ее дом.

– Правильно, – говорю. – И судьба.

– Что? – говорит. – Что вы сказали?

– Да ничего, – говорю, – я только сказал, что, по-моему, так оно и будет.

8. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН

Линда Коль (в девичестве Сноупс, как сказал бы Теккерей, да уже и не Коль, так как ее муж умер) была не первым раненым героем войны, которого забросило к нам в Джефферсон. Однако ее первую мой дядя потрудился встретить. Но не на железнодорожном вокзале: в 1937 году в Джефферсоне вот уже год, как не останавливались поезда, на которых приезжали бы стоящие пассажиры. И не на автобусной станции, да и вообще не в Джефферсоне. Мы поехали встречать ее в мемфисский аэропорт, и в последнюю минуту мой дядя сообразил, что ему одному будет трудно вести машину восемьдесят миль туда и обратно.

Впрочем, она была и не первым героем-женщиной. Еще в 1919 году у нас две недели прожила сестра милосердия, девушка в чине лейтенанта, конечно, не жительница, не уроженка Джефферсона, но как-то связанная с одним из джефферсонских семейств (а может, просто заинтересованная в одном из членов этого семейства; она служила в госпитале на военной базе во Франции и, по ее словам, целых два дня провела на передовом распределительном пункте и слышала, как грохочут пушки за Мон-Дидье).

В сущности говоря, тогда, в 1919 году, даже пятилетним джефферсонцам, вроде меня, уже немножко надоели герои войны, и не только те, кто остался цел и невредим, но и ра-

ненные, приезжавшие на поезде из Мемфиса или Нового Орлеана. Я не хочу сказать, что те, кто остались целы и невредимы, сами называли или считали себя героями, да и вряд ли думали об этом, пока не очутились дома, где им все уши прожужжали этим словом, а уж тогда некоторые из них, не все, конечно, всерьез стали верить, что они, может быть, и на самом деле герои. А уши им прожужжали именно те, что застряли и организовали всю эту шумиху, те, что сами на войну не пошли и уже заранее приготовились устраивать парадные встречи в портах и более скромные, местного значения, торжества в маленьких городах с угощением и пивом; те, что не пошли на эту войну и не собирались на следующую, да и вообще старались, если удастся, не воевать, а покупать безналоговые облигации займов и устраивать парадную шумиху в честь героев для того, чтобы будущие рекруты – теперь восьми-, девяти-, десятилетние мальчишки – могли любоваться красивыми погонами, нашивками за ранения и ленточками медалей.

Шумели до тех пор, пока некоторые из вернувшихся всерьез не поверили, что раз им все кругом прожужжали уши про их геройство, значит, это, по всей вероятности, правда, и они на самом деле герои. Потому что, если верить дяде Гэвину (а он тоже был в некотором роде солдатом, сначала на американской полевой службе при французском штабе в шестнадцатом и семнадцатом годах, потом, тоже во Франции, чем-то вроде секретаря или как их там называли при са-

нитарной службе Ассоциации молодых христиан), им ничего другого не оставалось: этих юношей, вернее, мальчишек, у которых было самое смутное и совершенно превратное понятие о том, что такое Европа и где она есть, и абсолютно никакого представления об армии, не говоря уж о войне, в один прекрасный день сбили в кучу, помуштровали и послали в экспедиционные войска, где они еще до двадцати пяти лет пережили (если им повезло) самое великое испытание в своей жизни, хотя многие этого даже не осознали. А потом, опять без их ведома, опять в один прекрасный день их выплюнуло обратно, туда, где они надеялись увидеть привычный, знакомый им мир, – а ведь им внушали, что для того их и оторвали от дома, для того они и шли на страдания и на смерть, чтобы в этом их привычном мире все осталось по-прежнему, когда они вернутся, но только, когда они вернулись, от прежнего и следа не осталось. Так что вся шумиха насчет героев, все эти оркестры, парады и банкеты длились совсем недолго, они затихли даже прежде, чем к ним стали привыкать, подошли к концу еще до того, как последние из «героев» с опозданием вернулись домой, и уже им говорили под замирающие звуки оркестров, над застывшим жиром жаркого и выдохшимся пивом: «Ладно, ребяташки, доедайте мясо с картофельным салатом, допивайте пиво и не путайтесь у нас под ногами, мы по горло заняты в этом новом мире, где главное и единственное наше дело – не просто извлекать выгоду из мирного времени, а получать такие при-

были, какие нам и не снились».

Так что, по словам дяди Гэвина, им необходимо было поверить, что они герои, хотя они уже никак не могли вспомнить, где же именно, какими подвигами и в какую именно минуту или секунду они заработали, заслужили это высокое звание. А больше им ничего и не осталось: прожили они всего треть своей жизни, но уже поняли, что пережито огромное испытание, и, вернувшись, увидели, что их мир, ради сохранения которого они столько терпели и так рисковали, в их отсутствие был до неузнаваемости изменен теми, кто благополучно отсиживался дома, так что теперь для них в этом мире места не оказалось. Потому-то им и необходимо было верить, что про них хоть отчасти говорят правду. По этой же причине (как говорил Гэвин) возникли всякие союзы и легионы ветеранов войны: единственное священное прибежище, где хоть раз в неделю, среди других обманутых и обездоленных, они могли уверять друг друга, что во всем этом есть хоть какая-то микроскопическая доля правды.

В сущности (во всяком случае, у нас в Джефферсоне), даже те, что вернулись без ноги или без руки, вернулись совершенно такими же, как уехали, только их, так сказать, выделили курсивом, подчеркнули. Взять, например, Тэга Найтингейла. Отец его был сапожник, работал в крошечной конуре в переулке за площадью – маленький, сухощавый человечек, который не потянул бы и ста фунтов вместе со своей скамейкой, верстаком и сапожным инструментом, весь обросший,

со свирепо торчащими усами и бородой, со свирепыми, бесстрашными, неумолимыми глазами – твердокаменный баптист, который не то что верил, а твердо знал: земля плоская, а Ли предал весь Юг, сдавшись при Аппоматоксе ²¹. Сапожник был вдовый, Тэг – его единственный оставшийся в живых сын. Тэг дошел почти что до третьего класса, когда сам директор школы сказал мистеру Найтингейлу, что Тэгу лучше из школы уйти. Тэг ушел и теперь все свободное время болтался на конном рынке за конюшней Далзека, где, впрочем, и раньше торчал целыми днями, но теперь он нашел себе дело: сначала связался с Лонзо Хейтом, местным барышником, торговавшим мулами и лошадьми, а потом с самим Пэтом Стэмпером, который среди лошадиников – и не только в округе Йокнапатофа или на севере штата Миссисипи, но и во всей Алабаме, и Теннесси, и Арканзасе – был по сравнению с Лонзо Хейтом все равно что сам Фриц Крейслер ²² по сравнению со скрипачом на сельской пирушке, и Тэг понимал, что перед ним – гений. А у самого Тэга были не просто какие-нибудь ерундовые навыки и умение обращаться с мулами, он был для них *homme fatal* (роковой человек (франц.)), любой мул, жеребец или кобыла были в его руках послушной глиной, он мог делать с ними что угодно, только

²¹ Ли Роберт Эдвард (1807-1870) – генерал, командующий армией южан. Аппоматокс – деревня недалеко от Ричмонда, где 9 апреля 1865 г. Ли капитулировал перед командующим армией северян генералом Грантом.

²² Фриц Крейслер (1875-1962) – австрийский скрипач и композитор, жил в США.

не умел выгодно продавать и покупать. Потому он и остался простым конюхом и подручным, а в конце концов ему пришлось стать маляром, чтобы зарабатывать на жизнь: маляр он был далеко не первоклассный, но, по крайней мере, умел натереть краску и выкрасить забор или стенку, если ему сначала кто-нибудь покажет – где именно красить.

Так он жил примерно до 1916 года, то есть лет до тридцати с лишним, когда в нем что-то стало меняться. А может, он давно изменился, только мы, джефферсонцы, до сих пор ничего не замечали. Для нас он был, что называется, обыкновенным провинциальным, захолустным маляром: холостяк, живет с отцом в домишке на окраине, по субботам ходит в цирюльню мыться и бриться, а потом немножко напивается – не особенно сильно: всего лишь два-три раза в год воскресным утром он просыпался в местной тюрьме, признавал свою вину, и его выпускали: попадал он туда не за пьянство, а за драку, хотя дрался он именно под пьяную руку и только в тех случаях, когда кто-нибудь (противники всегда оказывались разные – все равно кто) вдруг пытался разбить прочную, завещанную ему отцами веру в то, что генерал Ли был трус и предатель и что земля плоская, с закраиной, как крыши сараев, которые он красил. Потом в овраге за кладбищем он немножко играл в кости, пока к концу воскресного дня не проходил хмель, а с понедельника он уже брался за свои краски, кроме того, раза четыре в год он ездил в мемфисский бордель.

Но потом на него накатило. Он по-прежнему брился по субботам в цирюльне, по-прежнему немножко выпивал, хотя, насколько было известно в Джефферсоне, давно не допивался до драки из-за генерала Ли, Птолемея и Исаака Ньютона, так что ни разу не попадал в тюрьму, и ночной полисмен, который при малейшей драке встревоженно колотил в дверь запертой цирюльни или бильярдной и орал: «Тише, ребята, марш по домам!» – и тот его ни разу не накрыл. Не видели его больше и за игрой в кости в овраге за кладбищем, в воскресное утро на глазах у всех он шествовал рядом со своим отцом, щуплым, маленьким, со свирепыми усищами, к баптистской молельне, стоявшей в переулке, а после обеда сидел на малюсенькой галерейке их игрушечного домика, уткнувшись в газеты и журналы (это он-то, еле-еле проковылявший через первые два класса и выгнанный из третьего), откуда мы черпали все наши сведения о войне в Европе.

Он очень изменился. Даже мы (то есть весь Джефферсон, мне самому было всего три года) не понимали, насколько он изменился, вплоть до того апреля 1917 года, после гибели «Лузитании» и декларации президента ²³, когда капитан (тогда еще просто мистер, пока его не выбрали капитаном) Маклендон организовал джефферсонский отряд под названи-

²³ «Лузитания» – британский пассажирский пароход, потопленный 7 мая 1915 г. немецкой подводной лодкой – событие, которое в конечном счете способствовало вступлению США в войну. Декларация президента – выступление президента Вильсона 2 апреля 1917 г. в конгрессе, где он потребовал, чтобы США вступили в войну против Германии.

ем «Стрелки Сарториса», в честь того первого полковника Сарториса (в отряде ни одного Сарториса не было, так как Баярд и его брат-близнец Джон уже служили в английской королевской авиации), и только потом все стало известно: Тэг Найтингейл, которому уже было за тридцать, так что он даже не подлежал призыву, одним из первых записался в отряд, и мы, вернее, они узнали, в какой переплет он попал: он просто не смел и думать, что будет, если отец узнает, что он решил поступить в армию янки, потому что, узнай отец об этом, он немедленно проклял бы Тэга и вышвырнул его из дому. И хотя капитан Маклендон говорил: «Глупости! Не может быть», – все же они вместе с другим волонтером – его потом назначили сержантом – решили сами пойти домой к Тэгу; тот, другой, будущий сержант, все нам и рассказал:

– Будто тебя заперли в сарай с электропилой, а она на полном ходу соскочила с оси, нет, верней, стоишь ты рядом с динамитной шашкой, запал у нее уже дымится, а она скачет себе по полу, как змея, и к ней не только не подступиться, не прижать ногой, – тут уж не до того, лишь бы выскочить живьем, – а Мак все говорит: «Да погодите, мистер Найтингейл, это же не армия янки, это армия Соединенных Штатов, вашей родины!» – а этот сумасшедший карлик, черт его дери, шипит и трясется, будто ему усы подпалили, и орет: «Стрелять их, сукиных детей! Стрелять! Стрелять!» – а Тэг тоже пытается его урезонить: «Папаша, слышишь, папаша, капитан Маклендон и Крэк тоже в этом отряде», – но старик

знай орет: «Расстрелять их всех! Расстрелять их всех, сине-пузых сволочей!» – а Тэг пробует его уговорить: «Папаша, да если я сейчас не пойду, все равно, когда начнется призыв, меня заберут!» – а этот сумасшедший одно орет: «Всех вас расстрелять! Всех расстрелять, сукины вы дети!» Да, брат. Наверно, если бы Тэг захотел пойти в германскую армию, к французам или даже к англичанам, старик благословил бы его. Но только не в ту армию, которой генерал Ли сдался в 1865 году. Он тут же выгнал Тэга. Мы все трое выскочили из дому и давай бог ноги, но не успели выбежать на улицу, как он ринулся в комнату, где, видно, жил Тэг, и даже двери не стал открывать, вышиб стекло вместе с рамой и ну выкидывать вещи Тэга прямо во двор.

Словом, Тэг перешел Рубикон, и теперь как будто все было в порядке. Я хочу сказать, что капитан Маклендон приютил его у себя. Он, этот Маклендон, сам вырос в громадной семье, с целой кучей братьев, в громадном доме, и мамаша у него была громадная, весила чуть ли не двести фунтов, очень любила стряпать, да и покушать как следует, так что одним человеком больше или меньше для нее никакого значения не имело, может, она даже и не заметила Тэга. В общем, пока отряд ожидал приказа к выступлению, Тэг мог бы жить спокойно. Но товарищи не оставляли его в покое: такой способ поступления в армию был единственным в своем роде, почти как в пьесе «Ист Линн»²⁴. Кто-нибудь всегда начинал:

²⁴ «Ист Линн» – пьеса, написанная по мотивам одноименного романа (1861)

– Скажи, Тэг, правда ли, что генералу Ли вовсе и не надо было сдаваться, когда он сдался?

И Тэг отвечал:

– Да, папаша так всегда говорит. Он сам тогда воевал, все видел, хоть ему и семнадцати не было.

Но тут второй добавлял:

– Значит, тебе пришлось идти ему наперекор, собственному отцу наперекор, чтобы поступить в отряд стрелков?

А Тэг сидел не двигаясь, спокойно, свесив меж колен руки, которыми он умел красить только самые простые стенки сараев, только самые незамысловатые заборы, но зато с любым, даже самым норовистым мулом делал что хотел, – сидел и ждал, зная, что сейчас начнется. А кто-нибудь из них, вернее, все, кто тут был поблизости, одним глазом косились на Тэга, а другим – на капитана Маклендона, стоявшего поодаль, и дожидались той минуты, когда капитан выйдет на улицу.

– Верно, – говорил Тэг, и кто-нибудь снова начинал:

– Зачем же ты так сделал, Тэг? Тебе уже за тридцать, призывать тебя никто не стал бы, отец твой уже старик, как же ты его одного оставишь, кто о нем позаботится?

– Нельзя этим немцам позволять измываться над народом. Кто-нибудь должен им набить морду.

– Значит, ты пошел наперекор отцу в армию, чтобы им морду набить? А теперь тебе и дальше надо идти ему напе-

рекор, ведь придется объехать вокруг света, иначе тебе не взяться за этих немцев.

– Я во Францию еду, – говорит Тэг.

– А я что говорю? Полсвета надо обогнуть. Ты куда поедешь, – на восток или на запад? Можешь в любую сторону ехать – все равно попадешь туда. А хочешь, я с тобой побьюсь об заклад? Поезжай на восток, пока не доедешь до войны, приструни там этих немцев как следует, а потом двигай еще дальше, на восток, а я поставлю сто долларов против одного, что ты доедешь до самого Джефферсона и окажешься прямо против почтового ящика мисс Джоанны Берден, в миле от городской площади, от суда.

Но тут уже возвращался капитан Маклендон: кто-нибудь успевал за ним сбегать. Видно, он оказался настолько неумелым командиром, что его освободили от этой должности задолго до того, как отряд попал на фронт, а через несколько лет он тут, в Джефферсоне, встал во главе такой шайки, что я каждый раз, ложась спать, радуюсь, что их тут, в темноте, нет поблизости. Но в те времена он, по крайней мере, держал свой отряд в руках, и не оттого, что на нем были погоны: если б только это, в отряде после первого же субботнего вечера не осталось бы ни души: он их держал какими-то своими простыми человеческими качествами, видно, они в нем таились, даже когда он потом впутался в скверное дело и отряд ждал другого командира, получше. Капитан уже был в военной форме. Вообще-то он промышлял хлопком, скупал

его для одной мемфисской экспортной фирмы, а все свои коммиссионные просаживал на бирже, играя на повышение; но именно в военной форме он особенно походил на фермера.

– Какого черта вы тут затеяли? – говорил он. – Что же, повашему, Тэг – муравей какой-нибудь, ползущий по апельсину? Вовсе он не поедет вокруг чего-то, он поедет напрямик, прямо через океан, во Францию, сражаться за свою родину, а когда он там больше не понадобится, то вернется назад, опять-таки прямо через океан, сюда, в Джефферсон, – откуда уехал, туда и приедет, и все мы будем рады, когда вернемся сюда. И чтоб больше мне тут всякое... мягко выражаясь, дерьмо не разводили, понятно?

Понадобилась ли еще Тэгу помощь капитана Маклендона или нет, но факт тот, что эта помощь сама собой кончилась. Через неделю весь отряд построили и отправили на обучение в Техас, после чего, принимая во внимание, что Тэг умел красить любую плоскую поверхность, если только она была достаточно простой и с осязаемыми краями, и, кроме того, обладал таким удивительным умением обращаться с мулами и лошадьми, что эксперт по этому делу Пэт Стэмпер разглядел в нем проблески редкого качества, которое называется талантом, – принимая во внимание именно эти данные, его, разумеется, назначили в армии поваром и в тот же день отправили на фронт; так что он был не только первым солдатом из округа Йокнапатофа (не считая братьев Сарторисов, официально числившихся в британских войсках), которого

отправили за море, но он был одним из последних американских солдат, вернувшихся домой в конце 1919 года, так как, видимо, то же самое военное начальство, которое его назначило поваром, забыло, куда его послали (нет, они его не совсем потеряли, мой собственный опыт, приобретенный между 1942 и 1945 годами, меня научил, что военное начальство ничего не теряет, оно только может где-нибудь вас заживо похоронить).

Словом, наконец он вернулся домой и жил один (его отец, старый Найтингейл, умер еще летом 1917 года; по словам дяди Гэвина, его сгубил его собственный непреклонный характер, потому что он, не сдаваясь, с презрением бросил вызов самому Джаггернауту – беспощадной истории и науке, еще в тот апрельский день 1865 года, и с тех пор ни разу не дрогнул); Тэг снова красил заборы и сараи, мыл голову по субботам в цирюльне, снова играл в кости и выпивал в меру своих возможностей, но на лице у него, как говорил В.К.Р-этлиф, застыло такое выражение, будто его всю жизнь учили верить, что четвертое измерение невидимо, и вдруг он его сам увидел. А кроме того, теперь при нем не было капитана Маклендона. То есть Маклендон тоже вернулся домой, но он уже не был его командиром. А может быть, тут и не помогла бы прирожденная гуманность капитана Маклендона, которую он проявил тогда, защищая Тэга от беспощадных истин космологии, да и вообще запас этой доброты в нем, как видно, иссяк, потому что в том последующем столкновении

с проблемами гуманизма он никакой доброты не выказал.

А история с Тэгом опять разыгралась в цирюльне (нет, я при этом не присутствовал, я еще был в том возрасте, когда меня обязательно выгнали бы из цирюльни в субботу в десять часов вечера, даже если бы мне удалось сбежать от мамы, историю с Тэгом Рэтлиф рассказал дяде Гэвину, а потом уж мне).

На этот раз заводилой был Скитс Макгаун, приказчик из кондитерской дяди Билли Кристиана, – франтоватый, хвастливый юнец, от которого больше пахло одеколоном, чем чистотой; в кондитерской его обожали четырнадцатилетние и пятнадцатилетние девчонки, но потом мы узнали, что он вовсе не так молод, как казалось, и, по утверждению Рэтлифа, он и десять лет спустя не стал таким образованным, каким притворялся в те годы, делая вид, что даже кое-что позабыл. Скитса только побрили и надушили, а Тэг вымыл голову и сидел спокойно, пока первые порции виски не стали сказываться на его настроении.

– Значит, из Техаса ты поехал на север, – сказал Скитс.

– Верно, – сказал Тэг.

– Ну, расскажи, как было дело, – продолжал Скитс. – Значит, ты выехал из Техаса прямо на север, в Нью-Йорк. Потом сел на пароход и поехал дальше, тоже прямо на север.

– Верно, – сказал Тэг.

– А вдруг они тебя малость обманули? Вдруг они повернули пароход на запад или на восток, а то и обратно, на юг?

– Будь я проклят! – говорит Тэг. – Что же я, по-твоему, не знаю, где север? Да меня можно среди ночи поднять с постели, и я сразу тебе пальцем ткну на север, даже света зажигать не надо.

– Хочешь, поспорим? На пять долларов? На десять?

– Могу поставить и десять долларов против одного, только, наверно, ты свой последний доллар уже профукал на шампунь или на шелковую рубашу.

– Ладно, ладно, – сказал Скитс. – Значит, пароход отправился прямо на север, во Францию. Пробыл ты во Франции два года, потом опять сел на пароход и опять поехал прямо на север. А потом ты слез с парохода, сел в поезд, и он тоже...

– Заткнись! – говорит Тэг.

– ...поехал прямо на север. И ты слез с поезда и очутился в Джефферсоне.

– Заткнись, убудок проклятый! – сказал Тэг.

– Неужели же ты не понимаешь, что это значит? Одно из двух – либо Джефферсон перенесли... – Но Тэг уже встал с места, хотя Скитс еще не понимал, что его ждет, и продолжал: – ...а всякий, кто сидел тут дома и на войну не ходил, тебе скажет, что этого не было. Либо ты уехал из Джефферсона через Техас, на север, и приехал в Джефферсон, тоже двигаясь на север, но Техас уже не проезжал... – Тут уже всем парикмахерам, и клиентам, и просто зевакам, и даже ночному полисмену пришлось удерживать Тэга силой. Впрочем, к этому времени «скорая помощь» уже увезла Скитса

в больницу.

Потом вернулся Баярд Сарторис. Он приехал весной 1919 года и купил самый мощный гоночный автомобиль, какой можно было найти, и все время носился по округе или в Мемфис и обратно, но потом его тетушка, миссис Дю Прэ (мы все считали, что это она), оглядела весь Джефферсон и одной рукой захватила мисс Нарциссу Бенбоу, а другой придерживала Баярда между двумя поездками ровно настолько, чтобы успеть их поженить, надеясь, что этим она помешает Баярду сломать себе шею, так как он остался последним из могикан – Сарторисов (Джона в конце концов сбили в июле 1918 года), но из ее планов ничего не вышло. Потому что, как только Нарцисса забеременела (а это случилось довольно скоро), он, Баярд, опять стал носиться в своей машине, пока на этот раз не вмешался сам полковник Сарторис: он отказался от своей коляски, хоть и терпеть не мог автомобилей, и Баярд возил его в машине до банка и обратно, так что, по крайней мере, этот отрезок пути проезжал помедленней. К несчастью, у полковника Сарториса было большое сердце, и, когда случилась авария, он умер; а Баярд вылез из разбитой машины и скрылся, бросив беременную жену и дом, и о нем услышали только на следующую весну, когда он все еще пытался разогнать тоску, пробуя, на какой предельной скорости можно нестись к намеченной цели, на этот раз он испытывал самолет, новую экспериментальную модель, на испытательном аэродроме в Дайтоне; но, к сожалению, самолет

его перехитрил, сбросив в воздухе все четыре свои крыла.

– Да, его тоска заела, – говорил дядя Гэвин, и еще он сказал, что в цивилизованном мире война – единственное состояние, которое дает выход низменным инстинктам, присущим человеку, причем это не только поощряется, но и поддерживается; Баярд не мог простить немцам не то, что они начали войну, а то, что они ее кончили, прекратили. Но моя мама сказала, что это неверно. Она сказала, что Баярду стало страшно и стыдно, стыдно не потому, что он испугался, но страшно, когда он понял, что способен устыдиться, подвержен стыду. Мама говорила, что Сарторисы не похожи на других людей. Другие люди больше всего любят самих себя, только они это от всех скрывают, а может быть, и себе признаются в этом только тайком; так что им этого не надо стыдиться, а если им и становится стыдно, они не пугаются этого стыда. Но Сарторисы не сознавали, что они любят себя больше всего на свете, один только Баярд это знал. Но ему это не мешало, и он не знал стыда, пока вместе с братом-близнецом не приехал в Англию, где оба стали обучаться летному делу, летая на самолетах, сделанных на соплях и проволоке, без парашюта; а может быть, он и не знал этого стыда, пока оба они не попали на фронт, где даже для тех, кто до сих пор выжил, шансы – по сравнению с пилотами-разведчиками, которые обычно оставались живы в течение первых трех недель действительной службы, – равнялись примерно нулю. И тут Баярд вдруг понял, что он – единственный человек

в эскадрилье, а может быть, и во всем британском воздушном флоте, а может, и во всей военной авиации, у которого есть двойник, понял, что он – не один человек, а два, потому что у него есть брат-близнец, который так же рискует, имея столько же шансов выжить, как и он. Так что, в сущности, из всех летчиков, сражавшихся в этой войне, он имел двойную гарантию безопасности против всяких случайностей (и, разумеется, у его брата-близнеца шансов тоже было вдвое больше, только как раз наоборот), и в ту же секунду, как он это подумал, он с ужасом понял, что ему стыдно даже одной этой мысли, одного сознания, одного того, что он посмел так подумать.

В этом, как говорила моя мама, и была его беда – вот почему он и вернулся в Джефферсон угрюмый и безучастный, с одной целью – попробовать, каким способом лучше сломать себе шею и всех окружающих постоянно держать в тревоге, в огорчении или, по крайней мере, в недовольстве: вся беда была в совершенно не свойственном Сарторисам чувстве стыда, с которым он и жить не мог, и расстаться не умел; не мог с ним примириться и не мог сам своей волей от него избавиться. Вот почему он рисковал жизнью, играл с опасностью, верил в судьбу. Но, вероятно, та же тайная мысль – что у близнецов есть как бы двойная гарантия безопасности – тогда же пришла в голову и второму брату, Джону, недаром они были близнецами. Впрочем, Джона это, наверно, беспокоило ничуть не больше, чем его прадеда (первого, настоя-

щего полковника Сарториса) беспокоило то, что этот прадед делал на той, давнишней войне (дядя Гэвин говорил – а лет через пять я сам имел возможность это проверить на себе, – что человек, даже если он служил в санчастях АМХ, всегда возвращается с войны, жалея о чем-то, что он сделал, или хотя бы стараясь забыть об этом); и только один Баярд из всей семьи оказался таким слабым, таким не Сарторисом.

И вот теперь, если моя мама была права, он мучился вдвойне. Во-первых, он мучился от мысли, что способен дойти до такого падения не только в том, что дал волю своему низменному воображению и эгоистическим надеждам, но и в том, что способен их стыдиться, обречен на этот стыд, и, во-вторых, что если эта двойная гарантия безопасности сработала в его пользу и Джона сбили первым, все равно ему, Баярду, как бы долго он ни прожил, должно быть, придется, уже в сонме бессмертных, встретиться со своим близнецом, и тогда никак нельзя будет скрыть свою слабость, свое позорное пятно. А позорным пятном была не эта самая мысль, потому что та же мысль и в то же время, наверно, приходила в голову и его брату, хотя они оказались в разных эскадрильях; позор был в том, что из них двоих Джон никогда не устыдился бы этой мысли. А мысль была вот какая: Джон сумел сбить трех немцев, прежде чем его самого сбили (наверное, он лучше стрелял, чем Баярд, а может быть, командир больше любил его и помогал ему), но и сам Баярд набрал достаточно очков по британскому счету (если только кому-то

из них не пришла невероятная мысль сказать: «Я тут ни при чем, я так сдрейфил, что забыл ко всем чертям нажать спуск у пулемета»), так что ему засчитали двоих сбитых и одного возможного, а теперь, когда Джон погиб и ему уже не нужны были никакие очки, предположите, только на секунду предположите, что Баярд мог бы выклянчить, подделать или запутать записи, подкупить того, кто их вел, с тем, чтобы все трофеи записать на одного Сарториса – пусть хоть один из них вернется домой героем, – причем эта мысль сама по себе вовсе не была такой низкой, потому что она не только приходила в голову Джону, но если бы Джон остался жив, а Баярда убили, Джон непременно как-нибудь осуществил бы эту идею, но низкой она стала потому, что Баярд ее унизил и изгадил тем, что он ее устыдился. Причем он никак не мог самовольно уйти от этой позорной мысли: ведь если когда-нибудь он на том свете встретится с Джоном, погибнув от несчастного случая, то Джон просто презрительно усмехнется, но если он сам уйдет из жизни, сунув дуло пистолета в рот, дух Джона не просто будет над ним насмехаться с презрением, он никогда с ним не помирится, никогда ему не простит.

В общем, Линда Сноупс – виноват, Сноупс-Коль – была первым нашим героем-женщиной. Так что можно было предполагать, что весь город явится ее встречать или, по крайней мере, пришлет делегатов от гражданских клубов, от церковных советов, не говоря уж об Американском легионе

ветеранов войны, который непременно встречал бы ее, если б она получила титул «Мисс Америка», а не просто подорвалась на mine или была контужена снарядом, словом, тем, что ударило в санитарную машину, которую она вела, и оглушило ее навсегда. Я и сказал: а зачем она, собственно говоря, возвращается домой? Ей тут и вступать некуда. На кой ей нужно «Дамское благотворительное общество» – устраивать лотереи, где разыгрывают варенье и самодельные абажуры, что ли? Даже если она умела бы варить варенье, – впрочем, этому скульптору, наверно, меньше всего нужно было, чтобы она умела стряпать. Да он, должно быть, и вообще проводил с ней время только между партийными собраниями, пока кто-то не затеял войну с фашистами и он в эту войну не ввязался. Уж я не говорю, что в Джефферсоне, штат Миссисипи, ей пришлось бы заново научиться готовить. Особенно если она раньше училась этому в ресторации «Грязная ложка», которую ее папаша отнял у Рэтлифа, когда они только появились у нас в городе. Но я ошибся. Встречали ее не городские организации, а просто частные лица, все трое оказались в Джефферсоне по чистой случайности, потому что фактически они явились из прошлого ее матери: мой дядя, ее отец и Рэтлиф. Потом я увидел, что их будет всего двое. Рэтлиф даже не захотел сесть в машину.

– Поехали! – сказал дядя Гэвин. – Едем с нами!

– Я лучше подожду здесь, – сказал Рэтлиф. – Я буду комитетом по встрече. Значит, до следующего раза? – сказал

он мне.

– Что? – переспросил дядя Гэвин.

– Ничего, – говорит Рэтлиф. – Это Чик как-то сказал в шутку, а я ему напоминаю.

Потом я увидел, что людей, связанных с прошлым ее матери, будет не двое, а один. Мы не только не остановились у банка, мы даже мимо не проехали. Я сказал: «А какого черта мистеру Сноупсу терять, по крайней мере, шесть часов хорошего ростовщичества и ехать до самого Мемфиса встречать свою дочку? Он ведь не пожалел никаких затрат, лишь бы отправить ее из Джефферсона подальше: он не только изуродовал особняк де Спейна, он еще нагромоздил весь этот импортный итальянский мрамор на могиле ее матери, чтобы дочке хоть из-за этого захотелось уехать отсюда или сюда не возвращаться, считай, как тебе угодно».

Я сказал: "Значит, я виноват, что родился слишком поздно, чтобы защищать «Дас Демократа» в вашей войне или Марксов «Дас Капитал» в ее войне? Что ж, значит, у меня еще впереди времени достаточно. Или ты хочешь сказать, что Гитлер, Муссолини и Франко вместе взятые не могут добиться того, чтобы впутать доподлинного, бессрочного, официально зарегистрированного члена гарвардского запасного офицерского корпуса в серьезную военную передрагу? Конечно, я вряд ли попаду в «Порселлиан», например, Ф.Д.Р.²⁵ так и не попал".

²⁵ Ф.Д.Р. – Франклин Делано Рузвельт (1882-1945), президент США

Я сказал: «В том-то и дело. Для того ты и настаивал сегодня, чтобы я поехал с тобой: хотя у нее барабанные перепонки порваны и она не услышит, как ты скажешь: „Не надо“, или „Пожалуйста, не надо“, или даже „Не надо, черт побери!“ – но, по крайней мере, она не сможет выйти за тебя замуж прежде, чем мы доедем до Джефферсона, если я буду сидеть тут же, в машине. Но впереди еще целый вечер, а меня ты можешь выгнать, я уж не говорю, что есть еще восемь ночных часов, когда маме приятно думать, что я честно сплю наверху. Не считая того, что в будущем месяце мне надо возвращаться в Кембридж, если только ты не решишь, что ради сохранения твоего... как бы лучше сказать – целомудрия или просто холостого состояния? – можно даже пойти и на эту жертву. А впрочем, почему бы и нет, ведь это ты придумал отправить меня в этот самый Кембридж, штат Массачусетс, для того чтобы там получить то, что мы в шутку именуем образованием. Не зря мама говорит, что она всю жизнь тебя обожала, только она была слишком молода, чтобы это понять, а ты был слишком джентльменом, чтобы ей объяснить. Может быть, мама действительно всегда все знает лучше всех?»

Но тут мы подъехали к аэропорту, то есть к Мемфису. Дядя Гэвин говорит:

– Поставь машину, давай выпьем кофе. Вероятно, нам придется ждать еще с полчаса.

Мы выпили кофе в ресторане; не знаю, почему они тут не называют его «Рай на земле», – может быть, Мемфис еще не получил разрешения. Рэтлиф говорил, что рано или поздно она обязательно выйдет замуж и с каждым днем этот срок приближается. Нет, вернее, он говорил не совсем так: не вечно же ему – дяде Гэвину – удирать от судьбы, вот-вот настанет день, когда какая-нибудь женщина решит, что он уже вполне солидный, вполне надежный человек и ему наконец можно дать постоянную работу вместо случайных поручений и что чем скорее это случится, тем лучше, тогда уж никакой опасности не будет.

– При чем тут опасность? – говорю. – По-моему, он в полной безопасности, я никогда в жизни не видал человека более неуязвимого.

– Я не про него, – говорит Рэтлиф. – Я про нас, про Йокнапатофский округ, – может, хоть тогда нам никакие опасности угрожать не станут, потому что времени у него не будет во все вмешиваться.

– Да, в таком случае нас нелегко от него убережешь. Потому что в его – Гэвина – характере было что-то такое, что его всегда спасало. Дело в том, что люди вообще взрослеют, особенно девочки лет пятнадцати – шестнадцати, которые за полгода или год вдруг вырастают больше, чем потом в течение десяти лет. Я хочу сказать, что Гэвин всегда любил детей, а может быть, к нему особенно привязывались девочки, они его любили. Но они ли его выбирали или он их, все это было

в том возрасте, когда клятвы в вечной верности испаряются быстрее, чем дыхание. Я сейчас говорю про Мелисандру Бэкус, правда, это было еще до меня и до Линды Сноупс. То есть Мелисандре было и двенадцать, и тринадцать, и четырнадцать за много лет до того, как она освободила место для Линды, заполнившей эту пустоту, и тогда, давно, Гэвин выбирал и заказывал томики стихов для Мелисандры, во всяком случае, наблюдал за ее чтением и руководил им, и, может быть, это ему помогло, проверяя свои ошибки опытным путем, установить, какими книжками можно повлиять на ум и характер Линды, и, когда подошла ее очередь, он уж, во всяком случае, знал, как лучше повлиять на ее умственное развитие.

К сожалению, Мелисандра совершила непоправимую ошибку – она сразу повзрослела, навеки променяв призрачный мир Спенсера и юного Мильтона на обыкновенную человеческую жизнь, где даже такая девушка, каких выбирал дядя Гэвин или какие выбирали его, может потребовать от мужчины, который разглагольствует о верности и преданности, чтобы он либо действовал, либо молчал. Во всяком случае, в тот раз он спасся. Правда, меня при этом не было, так что я не знаю, в каком порядке все произошло: то ли Гэвин сначала уехал в Гарвард, то ли это случилось между Гарвардом и Гейдельбергом, а может быть, Мелисандра вышла замуж еще до этого. Во всяком случае, когда он вернулся с войны, она уже была замужем. Вышла за крупного новоор-

леанского дельца и гангстера, за некоего Гарисса, через два "с". Одному богу известно, каким образом и где она ему попала на глаза – скромная, застенчивая девочка, выросшая без матери, единственная дочка овдовевшего отца, с которым она жила в нескольких милях от города, – когда-то там было огромное поместье, но с годами оно пришло в запустение, а его хозяин все дни просиживал летом на веранде, а зимой в библиотеке с бутылкой виски и томиком Горация в руках. Она, Мелисандра, на нашей памяти ни разу в жизни не уезжала из дому, и только каждый день кучер-негр отвозил ее в экипаже в город, где она окончила начальную, потом среднюю школу, потом «Женскую академию». А об этом человеке мы только и знали то, что он сам рассказывал, то есть, что его фамилия Гарисс, через два "с", – так оно может быть, и было, – и что он занимается кое-каким «импортом» в Новом Орлеане. Мы ему верили, потому что (это было в начале 1919 года, когда дядя Гэвин еще не вернулся) даже джефферсонцы понимали, что значит черный бронированный «кадиллак» с двумя шоферами, у которых под двубортными пиджаками у левой подмышки что-то слегка выпирает.

Я уж не говорю о деньгах. Мистер Бэкус в скором времени умер, и, конечно, многие говорили, будто умер он от горя, оттого, что его дочка вышла за короля бутлегеров. Хотя он, наверно, прежде чем умереть, убедился в том, что его зять – настоящий король, во всяком случае, его королевство да-

ет хорошую прибыль: еще до смерти старика деньги стали притекать, все крыши и веранды были починены и укреплены, хотя мистер Бэкус все еще упирался и красить дом не позволял, аллея была вымощена гравием, так что когда дочь впервые приехала к отцу на рождество с нянькой и наследным принцем, то спокойно могла выезжать в город уже не в старом экипаже, запряженном рабочими клячами, а в новом автомобиле.

А потом мистер Бэкус умер, и дом вместе со службами выкрасили. И тут Гарисс, через два "с", стал появляться в Джефферсоне и со временем даже приобрел друзей, хотя наш Йокнапатофский округ не так-то легко можно было купить и жители держались в стороне, только ездили на своих старых фордиках, а то и верхом на конях или мулах смотреть, как это обыкновенное, всем известное поместье в северном Миссисипи превращали в коневодческую ферму, вроде как на Лонг-Айленде или в Вирджинии: целые мили обнесли белыми дощатыми загородками (тогда как у нас фермеры вполне довольствовались мотком проволоки и любыми подвернувшимися под руку кольями); в белые новые конюшни провели паровое отопление, электричество и водопровод, и лошадей там обслуживали специальные лакеи и дворецкие, как будто они не кони, а люди, тогда как у нас многие еще жили при керосиновых лампах и жены таскали дрова из ближнего леса и воду из ручья или колодца.

У них уже было двое детей – наследный принц и принцес-

са, – когда Гарисс, со своими двумя "с", умер в кресле ново-орлеанской парикмахерской от обычного профессионального заболевания тридцать восьмого калибра. После чего лошади, их конюхи и слуги перешли другим владельцам и дом был заперт, остался только сторож, а миссис Гарисс со своими двумя "с" и двумя детьми, с пятью слугами, с няньками и секретарями уехала, и моя мама, которая училась с ней в «Женской академии», и другие ее подруги стали получать от нее открытки и письма из всяких шикарных европейских городов, сначала насчет того, насколько там лучше климат, а потом – насколько там лучше и климат и школы для детей, и (это она писала, конечно, только маме) она надеется, что Гэвин здоров, а может быть, даже женат.

– Ну, теперь ему хоть эта не опасна, – говорю я Рэтлифу, а он мне отвечает:

– Не опасна?

– Конечно, черт возьми! Она не только выросла, и ей сказки больше не нужны, у нее теперь двое детей и куча денег, какого черта ей выходить замуж? Да и Гэвину это ни к чему, деньги ему не нужны, ему одно нужно: во все вмешиваться, всех исправлять. Разве она ему теперь опасна, черт возьми?

– Это-то правильно, – говорит Рэтлиф. – Выходит, что теперь он вообще в безопасности, верно? По крайней мере, до следующего раза.

Шутка, конечно. Но он ее повторил два часа назад, когда отказался ехать с нами в аэропорт. И теперь Гэвин сидел и

пил то, что содержатели ресторана в аэропорту именовали «кофием», и вид у него был самодовольный, и непроницаемый, и высокомерный, и неприступный, как у вши на королевском задку. Наверно, у этой Линды Коль (простите, Сноупс-Коль) тоже было денег достаточно, – ей не только мать оставила, но и дяде Гэвину, как ее опекуну, кое-что удалось выжать из старого Билла Уорнера. Из ее отца ему не приходилось ничего выжимать, потому что старый Сноупс, наверно, сам был рад выложить хоть малую толику, лишь бы то, что дядя Гэвин или Рэтлиф назвали бы безупречной девичьей прямоотой, перестало мозолить ему глаза. Но ведь у нее-то не было двух детей, так что нам с Рэтлифом приходилось на этот раз надеяться, верить в то же самое основное обстоятельство, заключавшееся в самом обыкновенном течении времени: каждый раз наступал какой-то момент, когда все они вмиг становятся старше: то есть для того, чтобы он их вдруг начинал замечать, надо было, чтобы они росли и жили, а для этого им надо было находиться в постоянном движении, и выходило так, что единственный момент, когда он их начинал замечать, обращать на них внимание, был именно тот момент, когда они созревали, и тогда они мелькали перед нами, как мелькают в дверях складки юбки, рука или нога, остановленные киноаппаратом, хотя все уже исчезло в движении, в невозвратном миге.

Это-то и спасало его каждый раз: именно то, что мгновение было преходящим. Они не могли остановиться в дверях,

а тем более уже войдя в двери, иногда они даже не успевали закрыть за собой эту дверь, и уже уходили в другую, и дальше за нее – уже в замужество: от зрелости к материнству в один урок, так сказать. И это было хорошо. Там, за следующей дверью, дяди Гэвина уже не было. Он все еще стоял у первой двери. А так как жизнь – это не столько движение, сколько однообразное повторение одних и тех же движений, то ему недолго приходилось стоять у этой первой двери, пока снова за ней не начинали мелькать убегающие складки платья, пока не исчезала несформировавшаяся ножка подростка. И я мог бы сказать Рэтлифу, что, пока я помогаю дяде Гэвину прощаться в Мемфисе с прошлым, пусть он посмотрит, кто же будет следующий, как Линда когда-то заняла место Мелисандры, прежде чем Мелисандра поняла, что у нее есть заместительница. Но вскоре я постиг, что ничего не нужно и что дядя Гэвин уже, наверно, выбрал кого-нибудь, вот почему он теперь видит такой спокойный, такой безмятежный, попивая кофе, в ожидании, пока объявят о прибытии самолета.

Наконец объявили. Мы вышли на поле. Я остановился у загородки.

– Я тебя подожду, – говорю. – Вы, наверно, захотите побыть наедине, пока можно: хотя вы будете не одни, но тут вас все равно никто не знает. Ты приготовил грифельную доску? А может быть, она уже приспособила себе дощечку, привязала к рукаву или к коленке, знаешь, как летчики пристраи-

вают карту?

Но он не отвечал. Тут подкатил самолет, новый ДС-3, и вскоре она вышла. Издали мне не были видны ее глаза, но ведь пострадали не глаза, а уши от этой бомбы, или мины, или снаряда, не знаю, что там в нее попало. А она была все та же высокая девушка, слишком высокая, так что даже трудно было сказать, хорошо ли она сложена (впрочем, не знаю, с такими женщинами бывает – снимешь с нее платье и удивишься, хоть бы ей и было уже двадцать девять лет). А потом я увидел ее глаза, такие синие, что сначала показалось, будто они черные. Вообще я никак не мог понять, откуда у нее такие глаза и темные волосы, потому что у старого Сноупса глаза были цвета затхлой болотной воды, а волосы и вовсе бесцветные, а у ее матери глаза, правда, были голубые, но волосы белокурые. Когда я вспоминал ее мать, она мне всегда представлялась такой, будто ее только что вытащили из веселого дома в скандинавской Валгалле ²⁶, и полиция, прежде чем посадить ее в полицейскую карету, только-только успела накинуть на нее кое-какую одежонку. А у Линды глаза были хорошие, и, наверно, если бы именно тебе довелось снять с нее платье, так ты бы сказал, что глаза у нее прекрасные. А в руке она действительно, держала маленький блокнот и карандаш, пока целовала Гэвина. Честное слово, целовала. Но, очевидно, он не сразу сообразил, что надо пользоваться

²⁶ Валгалла – в скандинавской мифологии – дворец бога Одина, куда попадают души героев и воинов, павших в битве.

этим блокнотом, потому что сказал вслух, как будто она все слышит.

– И Чик тоже тут, – и она меня вспомнила: она была высокая, как Гэвин, чуть ли не с меня ростом, и ногти кусала, Впрочем, может, это после контузии, а может, с горя. А когда она пожимала руку, чувствовалось, что она сама водила машину, и резину на ней тоже, наверно, меняла сама, и говорила она негромко, но голос у нее был какой-то сухой, резкий, кричающий, каким обычно говорят глухие, она даже спросила меня про маму, про отца, будто ей и впрямь было интересно, будто она самая обыкновенная жительница Джефферсона и никогда даже во сне не участвовала в войнах, не подрывалась на минах. А дядя Гэвин уже сообразил, что надо воспользоваться блокнотом, взял карандаш и что-то нацарапал, наверно, про багаж, потому что она сказала: «Ах, да!» – как будто слышала, и сразу достала квитанции из сумочки.

Я подогнал машину, пока они разбирались с багажом. Значит, она жила с тем типом несколько лет до того, как они зарегистрировались, но по ней ничего такого заметно не было. А потом она отправилась в Испанию, на войну, и подрывалась в машине, но по ней и этого видно не было. Я сказал:

– Почему ты ей не даешь вести машину? Тогда она хоть перестанет нервничать из-за того, что не может разговаривать с тобой.

– Ты лучше веди машину сам, – говорит он.

Так мы и сделали. «Итак, на родину доставлен был герой», я – за рулем, они – сзади. Правда, кто-то, кажется, сказал: «А почему бы нам втроем не сесть впереди, тут места хватит». А впрочем, не помню, сказал или нет. Кажется, нет. В общем, они сели вдвоем сзади. Я тоже не помню почему, но дядя Гэвин вдруг сказал:

– Можешь успокоиться, теперь ты в безопасности. Я держу ее руку.

Они и вправду держались за руки, она держала его руку обеими своими у себя на коленях, и через каждую милю этот утиный голос говорил: «Гэвин», – а потом еще через милю опять: «Гэвин». И, должно быть, она только недавно начала пользоваться блокнотом и карандашом, еще не привыкла, а может быть, когда теряешь слух и погружаешься в настоящую тишину, то забываешь, что не все совершается в этом замкнутом, отъединенном мире. А может быть, когда он взял у нее из рук карандаш, чтобы писать на блокноте, она не могла дожидаться, чтоб он ей отдал карандаш, и вообще надо было бы им обоим иметь блокноты.

– Да, да. Чувствую, где-то внутри черепа, где-то в горле. Звук ужасный, правда? – Но Гэвин, очевидно, привыкал писать, потому что снова ему ответил этот утиный голос: – Да, есть. Я чувствую, понимаете? – И опять утиный голос: – А как? Если я буду практиковаться, как я узнаю – хорошо выходит или нет?

И тут я с ней согласился: если ты собираешься отрывать

время от своих юридических занятий, от обязанностей главного прокурора штата, чтобы вернуть своей глухой подруге потерянную девственность ее сладкогласия, то интересно, как ты этого будешь добиваться? Хотя для мужа это просто клад: ему только надо будет внушить своей глухой, как стенка, жене, что главное для приобретения красивого, мягкого голоса – это больше помалкивать, чем говорить. А может быть, дядя Гэвин написал ей просто цитату из Бена Джонсона (или старика Донна, или, может, Гаррика, а то даже и Сэклинга ²⁷, – словом, к кому там он приучал это ушко – а теперь глазок – наш старик Стивенс): "Кораллы губ не тяготи пустою речью. Но дай мне выпить с них в твоём дыханье – «да!». А может, он ей написал еще проще: «Помолчи, пока не приедем домой. Тут не место ставить тебе голос. Кроме того, этот младенец в конце месяца вернется в Кембридж, тогда мы подолгу сможем бывать с тобой наедине».

Словом. «На родину доставлен был герой». Уже показались Джефферсон, часы на здании суда и, конечно, электростанция, где служил когда-то ее папаша, и тут утиный голос произнес имя Рэтлифа:

– Барту он понравился. Он не ожидал, что ему может понравиться житель Миссисипи, но потом сказал, что ошибся.

О чем ее спросил Гэвин, можно было понять сразу:

²⁷ Бен Джонсон (1573-1637) – английский драматург, современник Шекспира. Джон Донн (1573-1631) – английский поэт. Давид Гаррик (1717-1779) – английский актер и драматург. Джон Сэклинг (1609-1642) – английский поэт.

– Нет, даже вы. Он с меня взял обещание, пусть тот из нас, кто выживет, подарит Рэтлифу одну из скульптур. Вы помните – итальянский мальчик, вы еще не могли понять, что это такое, хотя и видели раньше всякую скульптуру, а вот Рэтлиф никогда в жизни не видал не только итальянских мальчиков, но и вообще ничего, кроме памятника перед зданием суда, и все-таки сразу понял, кто изображен и даже что он делает. – И мне ужасно захотелось взять на минутку блокнот и написать: «А что делал итальянский мальчик?» – но тут мы подъехали к городу: доставили домой героя. И Гэвин сказал:

– Сначала остановись у банка. Надо его предупредить, этого требует простое приличие. Если только его не предупредили и он не уехал на время из города, чтобы пересилить себя, подготовиться к этой минуте. Конечно, если предположить, что даже он наконец понял, что нельзя просто-напросто вычеркнуть ее из жизни, погасить, как вексель или кладную.

– Что же, значит, нам тут, прямо на улице, принимать почести, даже не дав ей привести себя в порядок? – говорю.

– Успокойся, – говорит он мне снова. – Станешь старше, сам поймешь, что люди гораздо бережнее, гораздо внимательнее, добрее, чем тебе сейчас хочется о них думать.

Я остановился у банка. Но будь я Гэвином, я бы даже не стал брать карандаш, пусть хоть голос, похожий на кряканье, сказал бы: «Какого черта? Поезжайте прямо домой». Но она

промолчала. Она сидела, держа его руку обеими руками, даже не на коленях, а прямо прижав к животу, и обводила глазами площадь, а утиный голос все повторял: «Гэвин! Гэвин!» А потом она вдруг говорит:

– Вот дядя Билли идет с обеда.

Только это вовсе был не старик Кристиан, тот давно умер. А в общем, неважно, не стоило об этом писать на блокноте. И Гэвин оказался прав. Никто даже не остановился. Я видел, что двое ее узнали. Нет, вернее, узнали вот почему: машина Гэвина Стивенса стоит у обочины перед банком, днем в двадцать две минуты второго, за рулем – я, а Гэвин с какой-то женщиной – сзади. А ведь все слышали про Линду Коль, виноват – Сноупс-Коль, – во всяком случае, знали, что эта женщина раньше жила в Джефферсоне, а потом настолько близко видела войну, что ей пробило обе барабанные перепонки. Вообще-то он прав: люди добры, бережны, внимательны. И не то что не ждешь от них этого, а просто заранее решаешь, что они не такие, и они тебя сбивают, запутывают. Никто даже не остановился, только один сказал: «Здорово, Гэвин», – и направился дальше.

Я вышел из машины и зашел в банк. Я думал о том, что сделал бы, если бы у меня была единственная дочка и у ее деда куча денег, да и я был бы достаточно богат, чтобы отправить ее в колледж. Однако я ее все не отправлял, и никто не знал почему, а потом вдруг взял да и отправил, но только в тот университет, что поближе, всего в пятидесяти милях, и

никто не понимал, зачем я это сделал: но я стремился стать президентом того банка, где был президентом человек, который, по мнению всех, с тех пор как мы переехали в этот город, спал с моей женой. Вообще никто не понимал, зачем я отослал дочку, до того самого дня, через три месяца после ее отъезда, когда моя жена впервые в жизни пошла в косметический кабинет и в ту же ночь аккуратно, чтобы не помять новый перманент, прострелила себе висок, и когда наконец на все это осела пыль, оказалось, что тот прелюбодей, президент банка, навсегда уехал из города, и теперь я стал не только президентом его банка, но и поселился в его особняке, и тут каждый понял бы, что мне теперь совершенно не нужна эта дочка, и пусть она уезжает ко всем чертям, куда ей угодно, лишь бы не возвращалась в город Джефферсон, штат Миссисипи. Я ее только не отпускал до тех пор, пока мы оба, сидя в машине, не увидели, как открыли памятник на могиле ее матери; и мы беспомощно смотрели на эту вырезанную на мраморе беспомощную издевку:

ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНА – ВЕНЕЦ СУПРУГУ

ДЕТИ РАСТУТ, БЛАГОСЛОВЛЯЯ ЕЕ

И тогда я сказал:

– Все. Можно ехать.

Я вернулся к машине:

– Мистер Сноупс освободил себе день, – говорю, – чтобы посидеть дома и дожждаться дочки. – И мы все втроем поехали туда, к этой классической уродине, которая была второй издевкой. Теперь у него в Джефферсоне было три монумента: электростанция, памятник и этот особняк. И кто его знает, у какого окна он, выжидая, шпионил, или, шпионя, выжидал, как вам больше нравится. – Может быть, и мне с вами войти? – говорю.

– Может быть, нам обоим надо завести блокнот и карандаш, – говорит дядя Гэвин, – и ей тогда всех будет слышно!

Нас ждали. Почти сразу из парадного вышел негр-шофер, он же привратник. Я выгрузил вещи на тротуар, а они оба стояли, высокие, почти одного роста, и она крепко обняла Гэвина, а он обнял ее, и они целовались тут же, на улице, среди бела дня, и утиный голос повторял: «Гэвин! Гэвин!» – не только так, будто она все еще не могла поверить, что наконец-то видит его, но так, будто она еще не привыкла произносить вслух его имя, как произносила раньше. Потом она его отпустила, он сказал: «Едем», – мы сели в машину – и все. На родину доставлен был герой. Я свернул за угол, оборачиваясь, – да, хотелось бы мне сказать, что я даже не обернулся, только это неправда: привратник еще возился с вещами у парадного, а она стояла рядом, глядя нам вслед, слишком высокая на мой вкус, неприкосновенная, замурованная в безмолвии, неуязвимая, безмятежная.

В том-то и дело: в безмолвии. Как будто не существовало

звука. А если ты живешь в безмолвии, значит, люди уже ничем тебя не проймут, не обидят: ни пальбой, ни предательством, ни человеческими словами.

В том-то и дело: в глухоте. Ни Рэтлиф, ни я ничего тут сделать не могли. Те, прежние, промелькнувшие складками платья, те уплывали, исчезали, взрослея, созревая, и сразу за этой зрелостью для них открывались двери, и сразу за ними алтарь – и длинный ряд сохнувших пеленок: исполнение желания, конец. Но она победила. Она не промелькнула мимо, не исчезла за той дверью – нет, от громового удара она застыла в безмолвии, остановилась в неподвижности, а та дверь и те стены исчезли, улетели, и она сама уже стала не порождением минуты, но неуязвимой невестой безмолвия, в нерушимой девственности, недвижимой, навеки защищенной от превратностей и перемен. Наконец дня через три я поймал Рэтлифа.

– Ее муж прислал вам подарок, – говорю, – ту скульптуру, которая вам понравилась: итальянский мальчик чего-то там делает, помните, вам понравилось, а вот Гэвин, хоть и видал раньше итальянских мальчишек и, может, даже видел, как они делают то, что этот делает, все-таки не разобрал, что к чему. Впрочем, это пустяки. Жены, женщины в доме у вас нет и невинных дочек тоже, значит, можете держать у себя что хотите... Она выйдет за него замуж, – говорю.

– А почему бы и нет? – говорит. – Полагаю, что он и это выдержит. А кроме того, если кто-нибудь наконец возьмет

его в мужа, может, нам, остальным, будет спокойнее.

– Вы хотите сказать – им, остальным? – говорю.

– Да нет, – говорит, – я именно то сказал, что хотел. Я говорю про всех про нас.

9. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН

Гэвин был прав. Это было в конце августа. А три недели спустя я снова сидел в Кембридже и надеялся, то есть старался, ну, в общем, я уже был на том курсе, который кончал или, во всяком случае, должен был кончить в июне будущего года. Но я пробыл в Джефферсоне целых три недели, времени у них было вдоволь, даже если бы они настояли на церковном оглашении, что было совершенно лишнее, – ведь Линда была вдовой, и не просто вдовой, а раненым героем войны. Так что я подумал, – может, они ждут, пока избавятся от меня. Знаете, старая затасканная мелодрама, только наоборот: обезумевшее дитя держится не за мать, а за фалды жениха, рыдая: «Папочка, папочка, папочка (впрочем, тут надо бы „дядечка, дядечка, дядечка“), не надо жениться на миссис Смит!»»

Потом я подумал (уже подошел день благодарения, скоро я должен был ехать на рождественские каникулы домой): «Естественно, никто из них и не сообщил мне сюда, в Массачусетс». Так что я даже хотел написать и спросить, разумеется, не маму и, уж конечно, не дядю Гэвина, потому что, если это уже случилось, он будет слишком занят, а если нет – все равно будет занят, то ли спасая свою жизнь, если он все еще говорит «нет», то ли стараясь поставить ей голос настолько, чтобы услышать и от нее «согласна!», если он первый сказал

«да». Надо бы спросить Рэтлифа, который всегда был заинтересованным зрителем, хотя трудно назвать его безграничное любопытство к чужим делам просто невинным интересом, – может, даже надо бы послать ему телеграмму: «Спят ли они официально вместе? Сообщите – это уже „rosa“ или все еще „sub“ [sub rosa – по секрету (лат.)], допуская, что вы допускаете то же допущение, которому нас научили тут в Гарварде, а именно: если снять платье с высокой и тонкой женщины, она может оказаться вовсе не такой уж тонкой».

Потом пришло рождество, и я подумал: «Может, я к ним несправедлив. Может, они только и дожидаются меня, чтобы прерывать экстренным вызовом мои академические занятия, ждут, пока праздник мира и в человецех благоволения приведет меня домой, и я понесу букет, или кольца, или что там полагается». Но я с ней даже не встретился. А мы с дядей Гэвином как-то целый день провели вместе. Я поехал к Сарторисам поохотиться на куропаток вместе с Бенбоу (ему было всего семнадцать лет, но он считался лучшим стрелком в округе, уступая только Лютеру Биглипу – наполовину фермеру, наполовину промысловому охотнику, который еще натаскивал собак и стрелял с левой руки, он был чуть постарше Бенбоу, в общем, почти мой ровесник и жил на реке близ Олд-Уайотспорта), и дядя Гэвин напросился с нами. Он, Гэвин, стрелок был так себе, даже если ему и удавалось помолчать какое-то время, но все же он изредка ездил со мной на охоту. И весь день об этом – ни слова. Наконец

я сам спросил:

– Ну, как идет постановка голоса?

– У миссис Коль? Неплохо. Но ты, свежий человек, лучше сможешь судить, – а я говорю:

– Когда же это я смогу? – а он говорит:

– В любой день, когда окажешься поблизости. – И на рождество я опять спросил о ней. Обыкновенно Рэтлиф в первый день рождества обедал у нас, он был гостем дяди Гэвина, хотя моя мама тоже очень любила Рэтлифа, может, потому, что она и дядя Гэвин – близнецы. А иногда дядя Гэвин обедал у Рэтлифа и брал меня с собой, потому что Рэтлиф здорово стряпал, а такой чистоты, такого уюта я нигде больше не видел, он все делал сам, даже свои неизменные голубые рубашки шил сам. В общем, я первый спросил маму:

– А почему бы не позвать к обеду миссис Коль? – И дядя Гэвин сказал:

– О господи, неужто ты приехал из самого Кембриджа, чтоб на рождественском обеде видеть перед собой рыью морду этого сукиного... – Но тут он спохватился вовремя и сказал: – Прости, пожалуйста, Мэгги, – а мама сказала:

– Ну конечно, ей придется в первый день рождества пообедать с отцом, ведь это ее первое рождество дома.

А на следующий день я уехал. Мой друг Споуд, – его отец учился вместе с дядей Гэвином в Гарварде еще в 1909 году, – пригласил меня к себе в Чарлстон, хотел показать мне, что такое настоящий бал в день святой Цецилии. Да и вообще мы

всегда разъезжались в эти дни: отец ездил на неделю в Майами посмотреть лошадей, а мама тоже уезжала с ним, не потому, что и ей хотелось завести скаковую конюшню, а наоборот, чтобы своим присутствием или хотя бы своим пребыванием где-то поблизости удержать отца от покупки лошади.

Наступил 1938 год, я вернулся в Кембридж. А потом подошел сентябрь 1938 года, и я все еще по-прежнему был в Кембридже, уже на юридическом факультете. Пережили Мюнхен, или отметили его, или отпраздновали – как хотите. Дядя Гэвин сказал:

– Теперь уже скоро. – Но он это говорил и прошлой весной. И я ему сказал:

– Зачем же мне тратить еще два-три года на то, чтобы стать адвокатом, когда очень скоро, если верить тебе, гражданские дела вести будет не для кого, даже если я научусь защищать или обвинять? – А он говорит:

– Затем, что, когда окончится эта война, на помощь человечеству и справедливости придет только одно – законность, – а я говорю:

– А разве теперь она людям не нужна?

– Сейчас хорошие времена подъема, расцвета, а зачем искать справедливости, когда вокруг сплошное благосостояние? Сейчас закон – последнее прибежище, если хочешь запустить руку в тот карман, куда раньше не попал или где было пусто.

И вот прошлой весной, в начале июня, они с мамой (отца

они бросили в Саратогe, хотя он обещал поспеть в Кембридж к самой раздаче дипломов) приехали на мое выпускное торжество. И я сказал:

– Как? До сих пор никаких свадебных колоколов? – И он сказал:

– Для меня, по крайней мере, нет. – А я сказал:

– А как продвигаются уроки постановки голоса? Ну рассказывай же, – говорю. – Я теперь большой мальчик, я уже гарвардский кандидат прав, хотя я и не поеду учиться в Гейдельберг. Расскажи мне все. Неужели вы только этим и занимаетесь, когда уютно сидите вдвоем? Разговариваете, и все?

– Помолчи и послушай, что я тебе скажу. Ты едешь на лето в Европу – это мой тебе подарок. Я уже заказал билеты и оформил паспорт; тебе осталось только пойти к фотографу и запечатлеть свою физиономию.

– А почему в Европу? Почему теперь? А если мне не хочется?

– Будущим летом там, может быть, ничего не останется. Значит, надо ехать теперь. Поезжай, посмотри эти места, может быть, тебе придется там умереть.

– Так, может, лучше дождаться? – А он говорит:

– Тогда ты поедешь туда хозяином. А этим летом ты еще можешь быть гостем.

Я поехал с двумя приятелями – побегали, похлопотали и по протекции достали билеты на один пароход. И в то же лето мы, верней, я, – мои дружки в последнюю минуту никак

не могли оторваться от Парижа, – проехался по Европе на велосипеде. Я хочу сказать, по тем местам, куда еще был открыт доступ, по той самой полосе, где, если прав был дядя Гэвин, меня, возможно, ждала смерть, по Англии, Франции, Италии, по той Европе, от которой, как говорил дядя Гэвин, скоро ничего не останется, так как те, кто выживут, уничтожая Гитлера, Муссолини и Франко, будут слишком измучены, а тем, кто просто выживет, вообще все будет безразлично.

И я старался все увидеть, все понять, потому что даже в своя двадцать четыре года я по-прежнему верил ему безоговорочно, как верил в четырнадцать лет и (мне так кажется, хотя я, конечно, не помню) в четыре. Но той Европы, которую он знал или, как ему-казалось, вспоминал, уже фактически не было. Я увидел, что-то вроде сдержанной, подспудной, сосредоточенной истерии: бешеный разгул, в котором все казались туристами – и местные жители, и приезжие. И слишком много солдат. Я хочу сказать, слишком много людей были одеты и вели себя как военные, словно из каких-то политических или временных хозяйственных соображений они должны были носить эти маскарадные костюмы и строить линию Мажино (и притом все или, во всяком случае, французы как будто говорили: «Помилуйте, зачем же над нами потешаться? Мы и сами в это не верим!») – и это в самом разгаре борьбы за тридцатидевятичасовую рабочую неделю. А тут же – громкие парламентские дебаты: на какой

стороне Пикадилли или Елисейских полей лучше будут выглядеть мешки с песком, совершенно так, как будто решали, на какой стене развесить картины; и сверкающая великолепием фигура генерала Гамелена ²⁸, который, вытирая суп с усов, заявлял: «Будьте спокойны. Я тут». Словно вся Европа (да, конечно, и мы тоже, везде было полно американцев) говорила: «Раз так выходит, что Зло всеми признано и не только общепринято, но и преуспевает, давайте все станем на сторону Зла и тем самым претворим его в Добро».

А потом я провел в Париже две последние недели: хотелось посмотреть, исчез ли Париж Хемингуэя и Скотта Фицджеральда ²⁹ (это не одно и то же, хотя они и жили в одном месте), совсем ли он исчез или не совсем; потом – снова Кембридж, куда я опоздал всего на день; и это все связано, то есть, вернее, ни с чем не связано, но объясняет мне, почему вышло так, что я полтора года не видел ее. Итак, настал Мюнхен: минута почтительного молчания – и мы снова занялись своими делами. От дяди Гэвина пришло письмо: «Теперь уже скоро». Но для меня, пожалуй, уже было поздно. Когда мне придется идти, – нет, я не так сказал: когда подойдет время мне идти – я хотел бы стать летчиком-истребителем. Но мне уже минуло двадцать четыре года, через шесть

²⁸ Генерал Гамелен – французский генерал, один из главных виновников капитуляции Франции во второй мировой войне.

²⁹ В 20-е годы в Париже жили многие известные впоследствии американские писатели, в том числе Эрнест Хемингуэй и Скотт Фицджеральд.

лет мне минет тридцать, а может, и сейчас уже поздно: Баярду и Джону Сарторисам было по двадцать лет, когда они уехали в Англию в 1916 году, а дядя Гэвин рассказал мне об этом летчике из КВФ (теперь они называются КВС)³⁰, совсем мальчишке – командиру звена, у которого было столько боевых заслуг, что британское правительство отослало его домой, чтобы он, по крайней мере, дожил до своего гражданского совершеннолетия. Так что мне, пожалуй, придется стать штурманом или механиком на бомбардировщике, а может быть, в тридцать лет мне и вообще летать не дадут.

А свадебных колоколов все нет как нет. Может быть, из-за ее голоса. Мои агенты – мне, собственно, нужен был всего один, моя мама – доложили мне, что частные уроки постановки голоса продолжаются, может, она считала, что ее «да» будет еще недостаточно сладкогласным, чтобы считаться законным. А на этом – я говорю о законном браке – она, разумеется, будет настаивать, потому что в тот первый раз испытала сожительство, можно сказать *au naturel* [в чистом виде (франц.)], и оно взорвалось у нее на глазах. Нет, все это чепуха. Наоборот, сожительство было прочным до тех пор, пока не стало законным, пока кто-то из них, не знаю, кто именно, наконец не сказал: «Ну, хорошо, черт возьми, доставай священника или выправляй брачное свидетельство, только, ради Христа, замолчи!» Так что теперь она будет бояться церковного брака или регистрации пуще самого дьяво-

³⁰ КВФ – Королевский воздушный флот. КВС – Королевские воздушные силы.

ла или палача, потому что для любого мужчины обвенчаться с ней значило подписать себе смертный приговор. А этого она, конечно, не могла пожелать дяде Гэвину, потому что ее «да» не только должно было прозвучать очень нежно, раз она вернулась в Джефферсон исключительно ради того, чтобы произнести это слово, но Гэвин был не настолько богат, чтобы стоило стать его вдовой, если в этом «да» не будет особой нежности.

Нет, это тоже чепуха. Если ей надо было прожить с человеком под одной крышей пять лет, прежде чем он согласился с ней обвенчаться, да еще со скульптором настолько современным, настолько передовым, что даже Гэвин не мог разобраться, что он там лепил и мастерил, – значит, он, наверно, был здорово передовым. А если ему пришлось бросить такую приятную и спокойную жизнь, то есть быть скульптором в Гринич-Вилледже и жить с девушкой, которая так охотно платила за жилье и покупала харчи, не считаясь с тем, были они обвенчаны или нет, если ему пришлось все это бросить и уехать сражаться в Испанию на стороне тех, кого – и это ему каждый мог сказать – явно ожидало поражение, значит, он был не просто передовым человеком, а куда больше. И если она любила его настолько, что могла пять лет прождать, пока он не сказал: «Ладно, зови священника, наплевать», – и потом поехала в Испанию, чтобы им не расставаться, из-за этого подорвалась на mine, значит, она тоже из них, потому что нельзя быть лишь отчасти на стороне коммунистов:

ты либо целиком за них, либо целиком против. (Я спросил об этом его, я говорю о дяде Гэвине. «Ну, предположим», – говорит. «Так», – говорю. «А тебе-то какое дело, черт побери?» – «Так, так, так», – говорю.) И то, что она подорвалась на mine, ее, как видно, ничуть не исправило. Так что никаких свадебных колоколов явно не предвиделось, та первая ошибка была, очевидно, заблуждением юности и больше не повторится, она только на миг стала «враждебным элементом» и сразу поплатилась за это.

Значит, никаких тебе священников. Значит, они будут на практике проводить народную демократию прямо тут, в Джефферсоне, независимо от того, как она будет выглядеть, когда он снимет с нее платье, – тут уж все равны. И ломать голову приходилось только над тем, каким чертом они ухитрятся это сделать в таком маленьком городишке, как Джефферсон, где царит такое равенство и братство. Вернее, не они, а он, Гэвин. Я хочу сказать, что все эти трудности, волнения, поиски выхода ложились на него. Ее это не касалось. Она была свободна, отрешена от мирских дел: кто знает, может быть, те, кто прошел кастрацию звука, обрезание слуха, не ищут никакого выхода. Ей досталось безмолвие: громовой удар навеки заключил ее в нерушимое, замкнутое одиночество, и пусть все другие несутся в грохоте и в толчее к цели – хоть и оказывается, что цель-то у края пропасти, как в старых чаплинских фильмах.

Его дело было найти пути и возможности, а ей надо было

только проявить покорность и воскресить, так сказать, старые фамильные традиции. Но, конечно, она была не похожа на свою мать, уж не говоря о том, что Гэвин был отнюдь не Манфред де Спейн. Понимаете, мне было всего тринадцать лет, когда миссис Сноупс застрелилась, так что я до сих пор не знаю, что я видел и помню сам, а что дошло до меня или вошло в меня через дядю Гэвина, оттого что я, как выражался Рэтлиф, прожил первые одиннадцать – двенадцать лет своей жизни в самом нутре дяди Гэвина, думая его мыслями и глядя его глазами не потому, что он меня этому учил, а потому, что он меня допускал, приобщал к этому. Понимаете, у Линды и дяди Гэвина не было того безупречного, естественного преимущества, какое было у ее матери и Манфреда де Спейна: той ауры, того нимба, не знаю, как назвать, того, в чем миссис Сноупс не только существовала, жила, дышала, но и что создавала вокруг себя просто тем, что существовала, жила, дышала. Никак не подберу нужное слово: не то что атмосфера распутства, нецеломудренности, потому что (может быть, это тоже слова Рэтлифа, не помню) мелкие моральные запреты, вроде воздержания и чистоты, имели не больше отношения к такой женщине, как миссис Сноупс (вернее, такая женщина, как она, не больше считалась с ними, не больше обращала на них внимания), чем всякие конвенции насчет того, какие средства, как, и где, и когда применять, имеют отношение к войнам или ураганам. Я хочу сказать, что когда какое-нибудь общество вдруг обнаружит,

что оно является единственным обладателем богини Венеры, хотя бы на какой-то срок, то от нее и не надо требовать, чтобы она была целомудренной женой или даже верной любовницей, независимо от того, такая она или нет, хочет она быть такой или не хочет. Требовать этого не только недопустимо, но и было бы совершенно преступным недомыслием, и если бы общество, получившее такой великий дар, даже не потребовало бы, а просто приняло бы чистоту и воздержание как должное, то это было бы оскорблением дарителям и заслуживало бы их божественной мести. Это было бы все равно, как если б в нашем краю в какое-то чудодейственное невероятное время года ветер, солнце, дождь, жара и холод в какой-то чудодейственный миг создали бы самые благоприятные условия для посева, а мы вдруг начали бы мелочно настаивать на нашем праве что-то отбирать, отсеивать, селекционировать, вместо того чтобы сразу, скопом выпустить на поля всех, кто может ходить: мужчин, женщин, детей, – чтобы они засеяли столько, сколько может принять земля. Но мы все – я говорю и о мужчинах и о женщинах – даже не хотели избавиться от треволнений и разговоров, подымавшихся из-за того, что она жила и дышала среди нас, и мы считали, что даже недостойны ревновать ее, пока среди нас есть хоть один человек, который может с ней сравняться, справиться в равном бою и тем самым быть нашим чемпионом, и мы можем им гордиться, как гордится штат, вырастивший самого быстрого скакуна во всей стране. Мы все были на их

стороне – ее и де Спейна, – мы даже покровительствовали их встречам, охраняли их, только проповедники ненавидели ее, они ее боялись, потому что божество, чьим воплощением она была (легко, без всяких ухищрений оно заставляло мужчин вздыхать по ней, а женщин гордиться, что хотя бы одна из них стала его посланницей), это божество оказалось куда сильнее, чем бледнолицый, страдающий галилеянин – единственный, через кого они бросали ей вызов.

Но в Линде этого свойства не было, оно ей не передалось. Так что ей и Гэвину оставалось одно – воздержание. Грубо говоря, высоконравственное поведение. Куда же они могли деваться? К ней домой нельзя, "потому что из них двоих – отца и ее – не тот был глухой, кому надо было. К нему тоже нельзя, потому что он жил вместе с моей мамой, а одно из самых нерушимых правил, которому он меня (конечно, когда подошло время) обучил, было то, что джентльмен не приводит женщин в дом в таком порядке: во-первых, в дом своей жены, во-вторых, своей матери, потом – своей сестры, потом – своей любовницы. Им вместе нельзя было и уезжать во всякие укромные местечки, в Мемфис или в Новый Орлеан, а может быть, и дальше – Сент-Луис и Чикаго, куда (как мы предполагали) ездила ее мать с Манфредом де Спейном, потому что даже совесть полиции, не говоря уже о совести той полулегальной среды, в которой им пришлось бы очутиться, не потерпела бы, чтобы совершенно глухую женщину соблазнитель привез из спокойного, нравственного род-

ного дома для такой низкой цели. Так что им оставалось бы только прятаться в его машине, с отчаянной торопливостью загнанной в кусты: он – Гэвис Стивенс, пятидесяти лет М.И., Гарвард, Д.Ф., Гейдельберг, Американская полевая служба в ПСС³¹, АМХ, Франция, 1915-1918, прокурор штата, – и она – Линда Коль, тридцати лет, вдова, раненная в рядах коммунистических войск в Испании, – задыхаясь, целуются в спрятанной машине, будто им по семнадцать лет.

Особенно если бы полиция еще узнала (понимаете, если бы кто-нибудь пришел и донес), что она коммунистка. Или если бы, скажем, об этом узнали в Джефферсоне. У нас жили два финна, которые еле-еле унесли ноги из России в 1917 году и из Европы в 1919, а в начале двадцатых годов очутились в Джефферсоне; никто не знал, как они сюда попали, один из них был сапожник, он работал в крошечной мастерской, которую ему передал мистер Найтингейл, другой – слесарь: в сущности, оба они не были формально признанными коммунистами, да и сами в этом не признавались, потому что слишком плохо говорили по-английски еще до того, как чиновники «нового курса» мистера Рузвельта и профсоюзные боссы превратили слово «коммунист» в бранную кличку, относившуюся главным образом к Джону Льюису³²

³¹ М.И. – магистр искусств. Д.Ф. – доктор философии. ПСС – полевая санитарная служба.

³² Джон Льюис – американский профсоюзный деятель, в 1935-1950 гг. стоял во главе Совета производственных профсоюзов.

и его Совету производственных профсоюзов. В сущности, с их точки зрения не было никакой необходимости ни тайно сознавать, ни явно признавать себя коммунистами. Они просто были уверены, что в Джефферсоне есть пролетариат, совершенно конкретный, определенный, явственный, как сегодняшняя погода, и что, как только они выучатся говорить по-английски, они отыщут этот пролетариат, и так как все они пролетарии, то все тут же станут коммунистами, потому что это не только их право и их долг, но иначе и быть не может. Было это лет пятнадцать назад, но тот высокий сапожник, который никак не мог выучиться говорить по-английски, все еще пребывал в недоумении и растерянности, считая, что преградой служит только незнание языка, а не то обстоятельство, что джефферсоновские пролетарии не только не желали осознать, что они пролетариат, но и с неудовольствием считали себя средним классом, будучи твердо убеждены, что это – временное, переходное состояние перед тем, как они, в свою очередь, станут собственниками банка мистера Сноупса, или универсальных магазинов Уоллстрита Сноупса, или (как знать?) займут место во дворце губернатора Джексона, или президентское кресло в Белом доме.

Тот, что поменьше, слесарь, был куда сообразительнее. Может быть, в отличие от сидячей и более философической профессии сапожника, его работа больше сталкивала его с людьми. Во всяком случае, он уже давно понял: для того чтобы стать одним из пролетариев Джефферсона, надо сначала

этот пролетариат создать. За это он и взялся. Единственную возможность вербовать людей, обращать их в коммунизм, единственный материал для этого представляли негры. Потому что среди нас, белых граждан мужского пола города Джефферсона, царило полное и единодушное согласие, которое, может быть, глубже всего коренилось и громче всего высказывалось именно в низших слоях населения; но и вообще все жители Джефферсона, начиная от разносчиков жареных орехов и кукурузы, ставивших свои лотки на углу но субботам, и хозяев захудалых, дешевых лавчонок, и кончая владельцами огромных универмагов, автомобильных гаражей и заправочных станций, все были против тех, кого теперь называли коммунистами, – против Гарри Гопкинса, Хью Джонсона³³, против тех, кто как-нибудь был связан с Юджином Дебсом³⁴, рузвельтовским «новым курсом», прогрессивными профсоюзами, – словом, против всех и каждого, кто подвергал хотя бы малейшему сомнению наше природное джефферсонское право покупать, доставать, раздобывать, выращивать или отыскивать что-нибудь как можно дешевле, пуская при этом в ход любое мошенничество, уговоры, угрозы или насилие, а потом продавать все это как можно дороже, пользуясь нуждой, невежеством или робостью покупателя.

³³ Гарри Гопкинс (1890-1946) – американский государственный деятель, близкий сотрудник президента Рузвельта. Хью (Хьюлетт) Джонсон (1874-1966) – видный английский прогрессивный общественный деятель.

³⁴ Юджин Дебс (1855-1926) – видный деятель рабочего движения в США.

И это было все, что Линда нашла у нас, в нашей чужой капиталистической пустыне, вдалеке от всего ей родного, если только она и вправду была коммунисткой и если коммунизм и вправду не просто политическая идеология, но вера, которая без дел мертва, — нашла она тут только двух иммигрантов из-за полярного круга: один, фактически, даже не мог изъясняться на человеческом языке, как троглодит, другой был маленький, вспыльчивый, упорный, как шершень; причем оба они уже считались вне пределов джефферсоновского общества, не из-за того, что были признанными коммунистами (никому до этого и дела не было, пусть бы тот, маленький, и называл себя коммунистом, лишь бы он не вмешивался в нашу оплату труда; с таким же успехом они оба могли быть республиканцами, лишь бы не мешали нашему городу и нашему округу голосовать на выборах за демократическую партию; или католиками, лишь бы не устраивали пикеты около протестантских церквей и не нарушали молитвенных собраний), а из-за того, что они были друзьями негров — их знакомыми, их политическими единомышленниками. Нет, они не заводили с ними знакомства домами, этого у нас не потерпели бы даже от них, а тот, маленький, достаточно знал наш джефферсонский язык, чтобы понять хоть это. Но вообще связываться с неграми им не следовало, и местная полиция давно уже косо посматривала на них обоих, хотя мы и не верили, что иностранцы могут по-настоящему со-
вратить наших вполне лояльных цветных.

Так что Сами понимаете, все, что им, Линде и Гэвину, оставалось, – это брак. Потом наступило рождество 1938 года, последнее рождество перед затемнением, я приехал домой на праздники, и она пришла к нам в гости. Не к рождественскому обеду, а к ужину. Не знаю почему: то ли мама и Гэвин решили, что удобнее всего будет пригласить ее к обеду и пусть бы она сама отказалась, то ли они решили к обеду ее совсем не приглашать. Нет, это неверно: держу пари, что мама пригласила их обоих – и ее, и старика Сноупса. Ведь женщины – удивительнейшие существа, они могут спокойно и безмятежно пройти сквозь какое-то препятствие, об которое мужчины годами разбивали себе голову в кровь, – и тут вдруг обнаруживается, что препятствие это не только ерунда, но его вообще не существует. Она пригласила их обоих так просто, будто уже сто лет подряд, по крайней мере, раз в месяц звала их к себе всякий раз, когда думала, что им доставит удовольствие у нее пообедать или же ей доставит удовольствие их принять, – а Линда отклонила это приглашение так же просто.

Можете себе представить рождественский обед в их доме, где никто из моих близких не бывал, кроме моей мамы (о да, она должна была зайти к ним после приезда Линды) и дяди Гэвина: столовая – стол, буфет, сервант, канделябры, расставленные точно так, как стояли они в мемфисском мебельном магазине, где он, Сноупс, обменял на эти вещи старинную обстановку матери майора де Спейна; на одном кон-

це стола – он, на другом – Линда, и лакей в белой куртке им прислуживает; он, этот старый сукин сын с рыбьей кровью, весь словарь которого состоит из двух слов: «НЕТ» и «ПРОСРОЧЕНО», и она, невеста безмолвия, более непорочная в своей чистоте, чем жена Цезаря ³⁵, потому что она была навеки неуязвима, навсегда защищена этой извечной чистотой, и, конечно, она не услышала бы его, даже если бы ему было что сказать ей, так же как он не понял бы ее, ибо они говорили на разных языках. Так они сидели лицом к лицу, выполняя длинный, мучительный обряд, к которому этот день из всех дней в году их обязывал, и никто не знал, зачем они это делали, терпели, зачем она это терпела и выносила, какой ритуал соблюдала, какое выполняла обязательство – или, как знать, какое знамение воплощала, чтобы он ни о чем не забывал. Может быть, потому так и вышло. Я хочу сказать – может быть, потому она и вернулась в Джефферсон. Наверно, не за тем, чтобы выйти замуж за Гэвина Стивенса. Во всяком случае, пока что не за этим.

В общем, к нам ее позвали просто отужинать, хотя моя мама уверяла и сама безоговорочно верила, что ужин устроили в честь моего приезда. Я же только что сказал, что женщины – удивительный народ. У нее, у Линды, был подарок (угадай от кого?), крошечный блокнот из тонких пластинок слоновой кости с золотыми уголками, в каждой строке еле

³⁵ Имеются в виду известные слова Гая Юлия Цезаря: «Жена Цезаря – выше подозрений».

умещалось три слова, и странички переворачивались на золотых колечках, и к нему золотой карандашик, им можно было писать, а потом стирать написанное носовым платком, или бумажкой, или второпях, по-мужски, посплюнув палец, а потом опять писать (наверно, он ей подарил эту штучку взамен той золотой зажигалки с инициалами «Г.Л.С.», хотя в его инициалах не было никакого "Л", да и вообще у него никакого третьего инициала не было, а она подарила ему эту зажигалку пять лет назад, только он никогда не пользовался ею: он был твердо убежден, что зажигалка придает табаку бензиновый вкус. Мама тоже пользовалась этим блокнотиком, как и все мы, но у нее это выходило вполне естественно, как обычные жесты в разговоре. Потому что при этом она разговаривала с Линдой, не заглядывая в блокнот, а прямо смотря ей в глаза, так что, наверно, нельзя было даже разобрать те закорючки, какие она писала, не глядя, если только она вообще что-нибудь писала, потому что она говорила с Линдой совершенно так же, как со всеми нами. "И провались я на месте, если Линда ее не понимала, они обе болтали и смеялись, как все обыкновенные женщины, хотя, может быть, женщины вообще друг друга не слушают, им это, может, и не нужно, они как-то умеют общаться без слов, еще до того, как заговорят.

А Линда в такие вечера много говорила. Да, уроки постановки голоса с Гэвином пошли ей на пользу, не могли не пойти, потому что занимались они много, во всяком случае, до-

статочно, если предположить, что встречались они, хоть отчасти, для того, чтобы поставить ей голос. Но все-таки голос у нее был какой-то утиный: сухой, безжизненный, мертвый. Вот именно: мертвый. Не было в нем страсти, тепла и, что еще хуже, надежды. Понимаете, вдвоем, в постели, в темноте, когда в тебе столько любви, столько радости и восторга, что одному не выдержать и надо поделиться, пошептаться, а как же тут шептаться, бормотать, когда тебе отвечает только этот сухой, безжизненный, кричающий голос. В тот вечер (потом, летом, она часто бывала у нас в доме, но в тот раз я впервые сидел с ней вместе за столом) она начала рассказывать об Испании. Нет, не о войне. То есть не о том, как проиграли войну. И это было странно. Она упоминала о войне лишь вскользь, не так, словно войны не было, но так, будто их вовсе и не пбили. А ведь многие, например, Коль, были убиты, другим оторвало к чертям руки и ноги и повредило барабанные перепонки, как ей самой, а скольких разбросало по свету, и очень скоро их объявят вне закона, ФБР начнет их преследовать, уж не говоря о том, что их будут донимать и дотекать добровольные охотнички, но пока что у нас до этого не дошло, и все-таки их, как видно, не пбили, и они ничего не проиграли. Она рассказывала о людях на войне, о таких, как Коль. Рассказывала об Эрнесте Хемингуэе и Мальро ³⁶,

³⁶ Мальро Андре (род. в 1901 г.) – французский писатель и государственный деятель. Во время национально-революционной войны в Испании (1936-1939 гг.) командовал эскадрильей иностранных летчиков-добровольцев.

об одном русском – он был поэт, и, наверно, стал бы лучше Пушкина, только его убили; а мама что-то царапала на этом блокнотике, причем они с Линдой обе не обращали внимания на то, что она там, как ей казалось, царапала, а вслух она говорила:

– Ах, Линда, какой ужас! – Понимаете, как, мол, ужасно – умереть молодым, не закончив работу. Но тут Гэвин уже выхватывал у мамы блокнот, а сам говорил:

– Чепуха. Не бывает «немых, неведомых Мильтонов»³⁷. Если бы Мильтон умер двух лет от роду, все равно за него написал бы кто-нибудь другой.

Я уж и не пытался взять блокнот, сомневаюсь, чтобы они мне его отдали.

– Под фамилией «Бэкон» или «Марло», – говорю.

– А может быть, под хорошим, доброкачественным, обобщенным профессиональным псевдонимом, вроде Шекспира, – сказал дядя Гэвин.

Но Линда даже не посмотрела на блокнот, я же говорил, что им с мамой это было ненужно.

– Почему? – сказала ода. – Какая строчка, какой страх или даже поэма может сравниться с тем, что человек отдает жизнь, чтобы сказать «нет» таким, как Гитлер или Муссолини? – И тут Гэвин тоже не стал возиться с блокнотом:

– Она права. Она абсолютно права, и слава богу, что это

³⁷ Строка из «Элегии» английского поэта Томаса Грея (1716-1771). Мильтон Джон (1609-1674) – великий английский поэт и мыслитель.

так. Ничто не пропадает зря. Ничто. Ничто.

Только Линда, конечно, пропадала. Гэвин говорил, что Колю был сильный человек. Не то что кусок мяса, но мужественный, живой; человек, любивший то, что греки называли радостью, такой человек мог, умел наполнить, насытить жизнь женщины и духовно и физически. А Линде сейчас было всего тридцать, о да, глаза у нее были прекрасные, а может быть, не только глаза; впрочем, Колю, наверно, было безразлично, какая она там была под платьем, и тому счастливцу, который стал бы его преемником – не исключая и дяди Гэвина, – тоже, наверно, это было бы все равно. Так что теперь я наконец понял, что происходило у меня на глазах: ни моей маме, ни Линде совершенно не надо было смотреть на закорючки, которые мама царапала на этих нелепых костяных пластинках, потому что с того самого дня, как Линда вернулась домой, моя мама, очевидно, так же бессовестно хитрила и добивалась своего, как добивались в старину викторианские мамыши, охотившиеся за женихами во время сезона на курортах в Бате или Танбридж-Уэлсе, как описано у Диккенса, Фильдинга и Смоллетта. Потом я понял еще одну вещь. Я вспомнил, как примерно с год назад мы сидели вдвоем с Рэтлифом в дядином кабинете и он мне сказал:

– Послушай, зачем ты себе портишь кровь, ревнуешь своего дядюшку? Кто-нибудь непременно выйдет за него замуж раньше или позже. Когда-нибудь ты сам его перерастешь, дел будет по горло и тебе некогда станет торчать тут и оберегать

его. Так что пусть уж лучше Линда, чем другая.

Понимаете, что я хочу сказать? Значит, оно все-таки перешло по наследству. Я про то – не знаю, как назвать, – чем была отмечена ее мать. Гэвин увидел Линду однажды, когда ей было всего тринадцать лет, и видите, что с ним случилось. Потом, когда ей было девятнадцать, ее увидел Бартон Коль, и видите, что с ним произошло. А теперь я увидел ее два раза, то есть когда я уже стал понимать, на что смотрю, – первый раз в мемфисском аэропорту прошлым летом и сегодня вечером, у нас за ужином, и теперь я знал: придется мне пригласить дядю Гэвина в библиотеку или в свой кабинет, словом, где полагается вести такие разговоры, и сказать ему:

– Послушайте, молодой человек. Я знаю, насколько бесчестны ваши намерения. Но я желаю знать, насколько они серьезны. – Впрочем, может, придется сказать не ему, а кому-нибудь другому. Вряд ли это будет он. Рэтлиф мне рассказал, будто Гэвин говорил, что ее судьба – полюбить раз в жизни и потерять его, а потом горевать. Может, потому она и вернулась в Джефферсон: если человеку только и остается, что тосковать, так не все ли равно, где жить. А теперь она пропадала, теперь она теряла даже того последнего человека, который должен жениться на ней по той простой причине, что именно он с самого ее детства потратил больше сил, чем кто другой, чтобы сделать ее такой, какой она стала теперь. Но это будет не он, ему нужно было оправдать свое собственное предсказание, доказать свои слова, кто бы ни тосковал

и ни страдал.

Да, она пропадала. С тех пор как она вернулась, она водила эту черную банкирско-баптистскую машину; очевидно, она сначала решила, что будет ездить одна, но потом старый Сноупс сам запротестовал из-за ее глухоты. И вот она каждый день ждала в машине, когда закроется банк, и они вдвоем катались по окрестностям, и он прислушивался к сигналам. Ему они были нужны, эти самые поездки по окрестностям, потому что вся округа была его владением, его вотчиной – поля, фермы, посевы, – и, может быть, владельцы собирались заложить и то, на что он еще не держал закладные; и он мог осматривать и прикидывать, как бы их заполучить и за сколько.

Не ездила она с ним только раз в неделю, обычно в среду. Старый Сноупс не пил, и не курил, и даже не жевал табак, а челюсти у него мерно двигались потому, что он, как говорил Рэтлиф, до сих пор жевал тот кусочек пустоты, воздуха из Французовой Балки, который он привез во рту тридцать лет назад, когда переехал в Джефферсон. Да, она пропадала: в тот день она обратилась даже не к дяде Гэвину, она подошла к Рэтлифу и сказала:

– Не знаю, у кого теперь можно купить виски. – Нет, она не то что растерялась, она просто отсутствовала слишком долго, и сама объяснила Рэтлифу, почему она не обратилась к дяде Гэвину: – Он прокурор округа, и я подумала... – И Рэтлиф потрепал ее по плечу прямо тут же, посреди улицы, и

сказал так, что все слышали – она-то слышать не могла:

– Давно дома не была. Поедем. Все достанем.

И они втроем в машине Гэвина поехали к так называемому кэмпингу для рыбаков Джейклега Уотмана у Уайот-Кроссинга, чтобы она потом знала, где и как достать то, что надо. Для этого нужно было подъехать к маленькой некрашеной лавчонке Джейклега (Джейклег не хотел ее красить, чтобы каждый раз, когда вновь избранную администрацию округа одолеет жажда реформ и шериф тайком предупредит его, что грозит налет полиции, ему не надо было бы портить краску, выдергивая гвозди и снимая части самогонного аппарата, чтобы перенести их на милю в глубь леса, пока реформы не затихнут и он не сможет вернуться обратно, поближе к шоссе и автомобилям), там надо было выйти из машины, зайти в лавочку, где на некрашенных полках валялись рыболовные крючки, поплавки, удочки, пачки табаку, батареи для фонариков, жестянки с кофе и бобовыми консервами, патроны для охотничьих ружей, а на стенах были аккуратно приколоты лицензии департамента внутренних сборов США, а сам Джейклег в широченных и высоченных резиновых сапогах, которые он не снимал ни зимой, ни летом, с револьвером за голенищем стоял за стойкой, обнесенной проволочной сеткой, а приезжий говорил: «Здорово, Джейк, что у вас есть сегодня?» И он всегда называл одну и ту же марку с таким видом, будто ему было наплевать, нравится она вам или нет, и одну и ту же цену, будто ему в высшей степени безразлич-

но, по карману вам она или нет. И едва только ты говорил, сколько надо бутылок, негр-слуга (в прошлогодних резиновых сапогах Джейклега) наклонялся или выходил, словом, исчезал с глаз, а потом появлялся с бутылками и стоял, не выпуская их из рук, пока Джейклегу не отдавали деньги и не получали сдачу (если причиталось), и тогда Джейклег открывал окошечко в проволочной сетке, просовывал бутылки, и приезжие возвращались в машину – вот и все; и он (дядя Гэвин) взял Линду с собой в лавку и, наверно, сказал: «Здорово, Джейк. Познакомьтесь – это миссис Коль. Она не слышит, но вполне может выпить и почувствовать вкус». А Линда, должно быть, сказала: «А что у него есть?» – и, наверно, дядя Гэвин написал ей на блокноте: «Тут не спрашивают. Тут бери, что дают. Плати восемь долларов или шестнадцать, если берешь две».

Так что в следующий раз она, возможно, приехала туда одна. А может быть, дядя Гэвин сам зашел в банк, в маленькую заднюю комнатку, и сказал: «Послушайте, сукин вы сын, рыба морда, вы что же, так и будете тут сидеть, а ваша единственная дочка, женщина, которая даже трубы в Судный день не услышит, пусть ездит одна в притон Джейклега Уотмана покупать виски?» А может быть, это вышло просто случайно, в одну из сред, и он, мистер Сноупс, не мог ей сказать: «Стой, куда ты едешь, черт возьми? Надо вовсе не сюда», – потому что она все равно ничего не слышала, и вообще я не понимаю, как он мог с ней разговаривать, потому

что не представляю себе, чтобы его рука писала что-нибудь, кроме цифры процентов или даты просрочки; может быть, у них при себе была карта местности, он тыкал пальцем куда надо, и до сих пор это их вполне устраивало. Но теперь он сталкивался не с одной трудностью, а с тремя: во-первых, всем знакомая машина банкира подъезжала к притону самогонщика, и он сам в ней сидел; во-вторых, стоило ли, чтобы каждый будущий должник Йокнапатофского округа узнал, что он, сидя в машине, разрешает своей единственной дочке заходить в пользовавшийся весьма дурной славой притон и покупать виски; и, в-третьих, стоило ли заходить ему туда самому и собственной рукой, рукой баптистского церковного старосты, выкладывать шестнадцать долларов своих кровных денежек.

Пропадала. Гэвин рассказывал мне, как примерно с год назад оба финна-коммуниста стали наведываться к ней по вечерам (по ее приглашению, разумеется), и можете вообразить, что это было. Сидели они в гостиной. Дядя Гэвин говорил, что она устроила себе комнаты наверху, но с финнами она сидела внизу, в гостиной, а наискось, через коридор, была комната, где старый Сноупс, как говорили, проводил все то время, что не торчал в банке. Значит, гостиная капиталиста, и в ней трое – два финских рабочих-иммигранта и дочка банкира, – один ни слова не говорит по-английски, а она вообще ни слова не слышит ни на каком языке, и оба стараются как-то общаться через третьего, который

еще и писать не научился, и беседуют они о надежде, о светлом будущем, о мечте: навеки освободить человека от трагедии его жизни, навсегда избавить его от болезней, от голода и несправедливости, создать человеческие условия существования. А через две двери в комнате, где он разве только не ел и не держал наличных денег, сидел, уперев ноги в некрашеную планку, прибитую прямо гвоздями к антикварному камину работы знаменитого скульптора, и жуя то, что Рэтлиф называл глотком воздуха из Французовой Балки, он сам – капиталист, владелец этой гостиной и этого дома, всей этой роскоши, в которой они предавались мечтам; начал он жизнь нигилистом, потом смягчился, стал анархистом, а теперь превратился не просто в консерватора, а в настоящего реакционера: в столп, в незыблемую опору существующего порядка вещей.

Пропадала. Вскоре она, как это называлось в Джефферсоне, стала совать нос в негритянские дела. Как видно, она без приглашения и без всякого предупреждения начала посещать уроки в негритянской начальной и средней школе, причем, сами понимаете, ей даже гром был неслышен, так что она только и могла смотреть на выражения лиц, на жесты учеников и учителей, а им всем было жутковато, может быть, даже страшно, во всяком случае, их беспокоило и настораживало неожиданное присутствие непонятной белой женщины, которая заводила разговор с преподавателем кричающим утиным голосом, а потом протягивала ему блок-

нот и карандаш для ответа. Но тут сразу, лишь только его успевал найти перепуганный посланец, в класс входил директор школы, – как говорил дядя Гэвин, это был человек с университетским образованием, очень неглупый и преданный своему делу, – и тут она, и директор, и старшая преподавательница школы уходили в директорский кабинет, и там не столько она, белая женщина, сколько они, двое негров, сами догадывались и понимали все, хотя и не соглашались с ней. Потому что они, негры, когда дело не касается страстей, вскормленных нуждой, невежеством и страхом, – азартных игр, пьянства, – а касается простых человеческих отношений, народ мягкий, добрый, они добрее и мягче белых, потому что им пришлось стать такими; и они гораздо мудрее в своем отношении к белым, чем белые в своем отношении к ним, потому что им – меньшинству – приходилось бороться за существование. И тут они тоже заранее знали, что ей придется бороться с невежеством и предрассудками, с тем невежеством и предрассудками, которые будут противиться ее мечтам, губить их, а если она будет идти напролом, то и уничтожат ее, – знали, что это невежество, эти предрассудки коренятся не в черной расе, которую она хочет понять, а в белой, к которой она принадлежала.

И в конце концов случилось то, чего ждали, что предчувствовали все, кроме нее самой, очевидно, из-за ее глухоты, изолированности, одиночества, оттого, что она жила не среди звуков, а только в окружении жестов. Может быть, она

и ждала сопротивления, но, побывав на войне, просто не придавала этому значения. Во всяком случае, она шла напролом. А задумала она еженедельно устраивать что-то вроде соревнования или конкурса, и чтобы победители, то есть лучшие ученики этой недели, следующую неделю провели на специальных курсах, которые она собиралась организовать, и занимались там у белых учителей, причем подробно план будет разработан позднее, а временно они станут собираться в ее гостиной, в доме ее отца, на общие лекции, и тех, кто вышел на первое место в эту неделю, на следующей неделе заменят другие победители, причем в эти группы будут входить ученики всех классов, начиная с приготовительных и кончая выпускными, потому что у нее была своя теория: если ты в восемнадцать лет дорос до восприятия знания, значит, ты дорос и в восемь лет, потому что в этом возрасте новое дается легче. Понимаете, слышать-то она ничего не могла, не только слов, но и тех интонаций, тех обертонов и полутонов страха, ужаса, испуга, какие звучат в голосе черного, когда он вынужден говорить: «Благодарю вас». Так что в конце концов директор школы сам пришел к дяде Гэвину в его кабинет, – интеллигентный человек с волевым и трагическим лицом.

– Я вас ждал, – сказал дядя Гэвин. – Знаю, о чем вы хотите поговорить.

– Благодарю вас, – сказал директор. – Значит, вы сами поняли, что ничего не выйдет. Что и вы к этому еще не готовы

и мы, конечно, тоже.

– Немногие представители вашей расы с этим согласятся, – сказал дядя Гэвин.

– Никто не согласится, – сказал директор. – Так же, как никто не соглашался, когда это говорил мистер Вашингтон.

– Мистер Вашингтон?

– Букер Т.³⁸, – сказал директор, – и мистер Карвер тоже.

– Понятно, – сказал дядя Гэвин. – А что именно?

– Что мы сначала должны сделать так, чтобы белые нуждались в нас. В прежние времена мы были необходимы вашему народу хотя бы в области экономики, если не в области культуры, необходимы, чтобы производить хлопок, табак, индиго. Но это была не та необходимость, в ней коренилось много зла, много бед. И она не могла сохраниться. Она должна была исчезнуть. И вот теперь мы вам не нужны. Нет для нас места ни в вашей культуре, ни в вашей экономике. Мы в рассрочку покупаем те же автомобили, что и вы, расходует тот же бензин, пользуемся теми же радиоприемниками, чтобы слушать ту же музыку, и теми же холодильниками, где держим то же пиво, что и вы. Но это и все. Так что теперь нам надо найти себе место как в вашей культуре, так и в вашей экономике. Не вы должны предоставить нам место, чтобы мы не путались у вас под ногами, как тут, на Юге, или чтобы заполучить наши голоса для увеличения ваших поли-

³⁸ Вашингтон Букер Тальяферро (ок.1855-1915 гг.) – общественный деятель США, идеолог негритянской буржуазии.

тических капиталов, как там, на Севере, но *мы сами* должны найти себе место, сделаться необходимыми для вас, чтобы вы не могли без нас обойтись, так чтобы никто, кроме нас, не мог заполнить то место в вашей экономике и культуре, которое сможем заполнить мы, вот тогда это место по праву станет нашим. Надо, чтобы вы не просто сказали нам «пожалуйста!», но чтобы вам было необходимо сказать нам «пожалуйста!», чтобы вы захотели сказать нам «пожалуйста!». Не можете ли вы объяснить ей это? Скажите, что мы ее благодарим, мы этого никогда не забудем. Но пусть оставит нас в покое. Хорошо, если мы можем всегда рассчитывать на вашу дружбу и на вашу помощь, когда она нам понадобится. Но не покровительствуйте нам, пока мы сами не попросим.

– Это совсем не покровительство, – сказал дядя Гэвин. – Вы это отлично знаете.

– Да, – сказал директор школы. – Я и это знаю. Простите. Я не хотел... – Потом он добавил: – Вы просто скажите ей, что мы ей благодарны, мы ее не забудем, но пусть нас оставят в покое.

– Как же можно сказать это человеку, который идет на такой риск исключительно ради справедливости, только ради того, чтобы помочь уничтожить темноту, невежество?

– Понимаю, – сказал директор. – Это действительно очень трудно. Может быть, мы и впрямь еще не умеем обходиться без вашей помощи, вот я же попросил вас помочь. Прощайте, сэр! – сказал он и ушел. Но как мог дядя Гэвин сказать ей

об этом? Кто мог ей сказать об этом – будь то белый или черный? Дело было не в том, что она не слушала: она и слушать бы не стала даже то единодушное «нет», которым ее встречала негритянская школа в том массовом – нет, не сопротивлении, а скорее оцепенении, инстинктивном, как у животного, когда оно лежит неподвижно, даже не дыша, ничего не понимая. А может быть, она почувствовала это, потому что сразу, без промедления, из школы пошла прямо в инспекцию народного образования: раз она не может уничтожить невежество постепенно, занимаясь с отдельными учениками, она попытается сделать это оптом, пригласив белых учительниц в негритянскую школу; ни у кого не прося помощи, даже у Гэвина, она пошла сама – сначала в педагогический совет школы, а когда они отступили, совершенно стусеивались, она проникла в самое святилище – в инспекцию народного образования всего округа, вооружившись не каким-то блокнотиком из слоновой кости, а целой пачкой желтой бумаги для заметок и карандашами для всех. Очевидно, они сделали роковую ошибку, допустив ее на заседание. Гэвин рассказывал, что дело было примерно так:

Инспектор написал: «Давайте на минуту предположим, что мы назначили белых учителей в негритянскую школу. Что же станет с учителями-неграми – или вы, может быть, сами собираетесь выплачивать им пенсию?»

И ее утиный голос:

– Не совсем так. Я их пошлю на Север, в школы для белых,

где они получают такую же квалификацию, как белые учителя.

Карандаш: «Опять-таки, предположим дальше, что мы отчислим учителей-негров, где же вы найдете белых учителей, которые согласятся занять места негров тут, в Миссисипи, и долго ли им позволят занимать места негров именно тут, в Миссисипи?»

Утиный голос:

– Я их найду, если только вы их защитите.

Карандаш: «Защитим – от кого, миссис Коль?»

Но на это ей не надо было отвечать. Это уже началось: слова «ПРОДАЛАСЬ ЧЕРНОМАЗЫМ» уже появились крупными буквами, мелом на тротуаре перед их особняком, и на следующее утро ее отец неторопливо шел по этим буквам в своей черной банкирской шляпе, в галстучке бабочкой, жуя все тот же глоток воздуха. Да, конечно, он видел надпись. Гэвин говорил, что ее нельзя было не заметить, что к полудню чуть ли не весь Джефферсон ухитрился «случайно» пройти мимо и взглянуть на эту надпись. Но что еще мог сделать банкир, *этот* банкир? Поплевать на платок и, встав на колени, стереть буквы с тротуара? А позже и Линда вышла, направляясь в здание суда, чтобы снова проникнуть за запертые двери и ловить других представителей окружной власти. И, может быть, даже вполне возможно, она ничего не заметила. Во всяком случае, ни она, ни повариха, ни привратник ничего не сделали. Сделала женщина, их соседка, она вышла с метлой и хотя бы размазала буквы, злобно, сердито, но не

для того, чтобы защитить немыслимые фантазии Линды, и даже не из инстинктивной женской солидарности, а только потому, что она тоже жила на этой улице. Можно было писать на тротуаре примитивные ругательства, непристойности – даже в этой респектабельной части города так случилось, – и она прошла бы, не останавливаясь, не то выходило, будто она во всеуслышание призналась, что ей, порядочной женщине, понятно, что тут написано. Но на улице, где она жила с мужем и владела недвижимостью, конечно, никто не смел писать «ПРОДАЛАСЬ ЧЕРНОМАЗЫМ» или как-нибудь иначе, то есть выражать в явной, вызывающей надписи мелом этот древний, глухой, сокровенный, атавистический расовый страх.

В конце концов старший инспектор народного образования пересек площадь и зашел в банк, в маленькую комнату, где старый Сноупс сидел, положив ноги на каминную доску, в те часы, когда не занимался просроченными закладными, и я хотел бы собственными глазами посмотреть, как это было; посторонний человек входит в комнату и говорит примерно так: «Неужто вы, черт побери, не можете держать свою дочь дома или, по крайней мере, не пускать ее в официальные учреждения?» Безнадежная попытка: разве можно чего-то добиться, если дочери тридцать лет и она не только вдова, материально независима, она к тому же ветеран войны и фактически – Рэтлиф сказал бы «фанатически» – побывала под огнем. Да она и тут удержу не знала: дошло до того,

что члены инспекции боялись отпирать двери во время заседания и даже не шли в полдень завтракать домой, а вместо этого им через заднее окошко передавали сэндвичи из кафе «Дикси». И тут каждому могло прийти в голову, что, может статься, она-то и послушалась бы советов, последовала им, но он, старый Сноупс, не смел ее просить, уж не говорю – приказать ей бросить все это. Причины, конечно, никто не понимал. Можно было только гадать – какой вексель или закладную из его прошлого, за его подписью она держала в руках, вексель, благодаря которому он занял это место в задней комнатке банка и теперь мог сидеть и наживать состояние, выдавая ссуды и опротестовывая векселя.

Но вскоре ему пришлось вытерпеть не только надписи, сделанные неизвестно кем на тротуаре, по которому он проходил чуть ли не каждый раз, как шел из дому. Однажды ночью (я тогда был в Европе) на лужайке перед особняком вдруг запылал грубо сколоченный крест, пропитанный керосином, и горел до тех пор, пока полисмены, возмущенные, обозленные, но совершенно беспомощные, не прибежали и не потушили его; тут кто угодно, не только полисмены, оказались бы беспомощными. Поймите: если бы она жила самостоятельно, если бы она была просто дочерью какого-нибудь врача, или адвоката, или даже священника, это было бы одно, тогда это было бы поделом и ей и папаше. А вместо того надо же было ей оказаться не просто дочкой банкира, но дочкой того самого банкира, вот и выходило, что крест яр-

ко озарял неопровержимый факт, что люди, запалившие его, дубины и олухи, и если защита белой расы находится в руках болванов, которые не могут, а главное, не умеют разобраться, где сад банкира, а где нет, значит, до чего же докатилась эта белая раса!

А через месяц был Мюнхен. Потом – пакт Сталина с Гитлером, и уж теперь, когда Флем утром выходил из дому в своей черной банкирской шляпе и в галстук бабочкой, жуя все ту же неизменную пустоту, как говорил Рэтлиф, ему приходилось идти не по каким-то обычным заборным словам, теперь огромные буквы складывались в три слова, покрывавшие весь тротуар перед его домом в разных сочетаниях и перестановках: «КОЛЬ КОММУНИСТКА ЖИДОВКА».

И он, банкир, консерватор, реакционер, который приложил больше усилий, чем кто бы то ни было в Джефферсоне или во всем Йокнапатофском округе, чтобы повернуть время вспять, по крайней мере, к 1900 году, должен был идти по этим словам, как будто их и вовсе не было, будто они были написаны на другом языке, в другом веке, и вполне естественно, что он их не понимает, и весь Джефферсон, – во всяком случае, через своих представителей, – следил за ним, смотрел, не выдаст ли он себя. Но что же он мог сделать? Теперь-то становилось понятно, что это правда, что действительно на нем лежал запрет, – не сметь! – потому что он завоевал себе положение, одержал победу, а за этим крылись уже две смерти: не только самоубийство матери, сделавшее

Линду сиротой, но и то, что, будь он другим человеком, его жене не надо было бы стреляться, а он мог бы воспитать такую дочку, чей муж, Бартон Коль, не был бы и скульптором и евреем, да еще с гороскопом, где значилась испанская война. Но в следующую минуту у людей появлялись совершенно противоположные мысли: видно, эти надписи на тротуаре, по которым ему приходилось ступать всякий раз, как он выходил из дому, не были для него ни мрачным предзнаменованием, ни угрозой гибели, так же как неудачно выданный вексель не был для него непоправимым несчастьем, раз деньги сами по себе еще не отменены. И что никогда ему и в голову не пришла бы мысль: «Это мой крест, я буду нести его», – потому что думал он так: «Мне теперь одно нужно, чтобы люди думали, будто это мой крест, а не мой ход в игре».

Потом – Польша. Я сказал: «Теперь я пойду», – а Гэвин сказал: «Годы твои не те. Тебя пока что не возьмут в летнюю школу», – и я сказал: «Пока?» – и он сказал: «Поучись еще год в юридическом институте. Никто не знает, что тогда будет, но, во всяком случае, не то, что ты видишь сейчас». Так что я опять вернулся в Кембридж, и он мне туда написал, что ФБР наводит о ней справки, он писал: «Я боюсь. Не за нее. Не за то, что они о ней узнают, – она сама все рассказала бы им, если бы только они догадались, что самое простое – прийти к ней и расспросить ее». А потом он мне рассказал обо всем: как она наконец перестала стучаться в двери,

за которыми не дыша пряталась вся инспекция и школьный совет, и теперь только собирала по воскресеньям маленьких ребятишек в одной из негритянских церквей и читала им вслух своим сухим, монотонным, кричающим голосом, конечно, не ортодоксальные библейские притчи, но хотя бы легенды Месопотамии иди сказки народов Севера, которые даже христианство приняло в свои обиход, и это ограждало ее, потому что даже белые священники не могли протестовать против такого парадокса. Так что теперь на тротуаре больше не писали ни «КОЛЬ КОММУНИСТКА ЖИДОВКА», ни «ПРОДАЛАСЬ ЧЕРНОМАЗЫМ» (хотелось бы верить, что те устыдились), и ей не приходилось переступать через это, чтобы ежедневно у всех на виду появляться в городе: невеста безмолвия и тишины, неприкосновенная в неслышимости, неуязвимая, она проходила, как и тогда, когда ей было четырнадцать, и пятнадцать, и шестнадцать лет: похожая на молодого пойнтера, который вот-вот выследит и подымет выводок куропаток.

И когда я приехал домой на рождество, я сразу сказал Гэвину:

– Веди ей разорвать этот проклятый партийный билет, если он у нее есть. Слышишь? Вели немедленно. Людям она помочь не может. Они того не стоят, не нужны им ни советы, ни работа. Они хотят одного – хлеба и зрелищ, и к тому же даром. Человек – дерьмо. И как это она ухитрилась целый год проторчать на войне, где и муж погиб, и у нее самой что-

то в голове лопнуло ко всем чертям, да еще при этом их все равно побили, – и все-таки ничего не понять? Да, да, конечно, знаю. Знаю, что и ты и Рэтлиф вечно мне твердили одно, а уж Рэтлиф сто раз мне говорил: «Человек, в сущности, не зол, просто он ничего не понимает». Но тогда это тем более так, тогда тем более люди совершенно безнадежны, совершенно не стоят ничьих тревог, ничьих усилий, ничьих страданий. – Но тут я замолчал, потому что он положил мне руку на голову. Теперь ему надо было дотягиваться до меня, но он совершенно так же положил руку, как раньше, когда я был вдвое меньше ростом и втрое моложе, мягко, нежно, слегка поглаживая, и голос у него был тоже спокойный и мягкий.

– А почему ты ей сам не скажешь? – спросил он. Да, он очень хороший и мудрый, кроме тех случаев, когда его занесет вдруг, сразу закрутит и он повернет не туда, – даже я и то понимал, что он повернул не туда – и потом полетит, не разбирая дороги, совершенно не считаясь ни с логикой, ни со здравым смыслом, пока всех нас не втянет в такую кашу, в такую путаницу, что я и то сообразил бы, что нельзя было так делать. Он хороший человек, может, я иногда ошибался, доверчиво следуя за ним, но я был прав, что любил его.

– Прости, – сказал я.

– Не надо, – говорит, – только помни об этом. Не трать времени, раскаиваясь в ошибках. Просто не забывай их.

Так что мне опять пришлось где-то ловить Рэтлифа. Впрочем, нет, я просто воспользовался случаем. Это было во вре-

мя рождественского ужина – Рэтлиф сам его готовил и всегда приглашал дядю Гэвина и меня к себе в гости. Но в тот вечер Гэвина вызвали в Джексон по какому-то делу санитарной инспекции, и мне пришлось одному сидеть в безукоризненно чистой кухоньке Рэтлифа, попивая холодный пунш из домашнего виски старого Кэлвина Букрайта, – Рэтлиф доставал это виски без всякого труда, хотя теперь, на старости лет, Кэл мог и продать вам бутылку и подарить, но мог и выгнать вас взашей, – этого никогда нельзя было предвидеть; и я потягивал холодный пунш, его только Рэтлиф умел так делать: сначала растворить сахар в малой толике воды, потом добавлять виски, непрерывно помешивая ложечкой, потом долить дождевой воды из бочки; а тем временем сам Рэтлиф без галстука, в белоснежном фартуке поверх чистой голубой, чуть выцветшей рубашки – он их сам шил – готовил еду, и готовил превосходно не только потому, что любил поесть, но потому, что любил стряпать, любил сам доводить все до совершенства, до высшей точки. Потом он снял фартук, и мы сели ужинать за кухонный стол с бутылкой красного вина, которую обычно приносили мы с дядей Гэвином. Потом, взяв кофе и графинчик с виски, мы перешли (как всегда) в маленькую, безукоризненно чистую комнатку – он называл ее своей гостиной – где в углу стояла навощенная до блеска фисгармония, вокруг – навощенные стулья, а в камине, наполненном в летнюю пору жатой зеленой бумагой, зимой стоял газовый радиатор в виде полена, – и до нас дошел

прогресс, поглотил и нас, – а посреди комнаты на навощенном столике, на подставке под стеклянным колпаком лежал галстук от Аллановны – на густом, почти алом, вернее, винно-красном фоне рассыпаны мелкие желтые подсолнечники с крохотными голубыми середками, в точности того же, чуть линиялого голубого цвета, что и его рубашки, он привез этот галстук из Нью-Йорка года три или четыре назад, когда они с Гэвином ездили к Линде на свадьбу и потом провожали ее в Испанию, но я бы скорее отрезал себе язык, чем сказал ему, что, наверно, за этот галстук заплачено (по-моему, платил Гэвин) не меньше семидесяти пяти долларов; и все же как-то я нечаянно проговорился, и Рэтлиф сказал:

– Я-то знаю, сколько заплачено: сам платил. Сто пятьдесят долларов.

– Что? – сказал я. – Сто пятьдесят?

– Да, их было две штуки, – сказал Рэтлиф.

– Но я вижу только один, – говорю.

– А другой ты, наверно, и не увидишь, – сказал он, – это дело частное, – и тут же стояла эта самая скульптура, которую ему завещал Бартон Коль, и если Гэвин все еще пытался хоть для начала разобраться, что это, так я уже давно вышел из игры – я даже не мог понять, что изображено, уж не говорю, что оно делает.

– Не хватает только золотой зажигалки, которую она ему подарила, – говорю, – Музей имени Линды Сноупс.

– Нет, – сказал Рэтлиф. – Имени Юлы Уорнер. Надо бы

еще кое-что сюда поставить, но пока и этого хватит. Если среди нас хоть раз в тысячу лет рождается такая Юла Уорнер, живет тут, дышит, значит, надо хотя бы воздвигнуть ей... нет, памятник не то слово.

– Мавзолей, – говорю.

– Вот именно, – сказал Рэтлиф, – мавзолей ее памяти, на- поминание тем, кому не выпало счастье видеть ее, кто тогда был еще ребенком. – Он остановился. Он стоял и молчал. Но скорее он над чем-то посмеивался, призадумался, а не то чтоб растерялся. И тут я сказал:

– Вы ошибаетесь. Не выйдет.

– Что? – говорит он. – Ты о чем?

– Она не выйдет замуж за Гэвина.

– Правильно, – говорит, – будет куда хуже.

И тут уж я переспросил:

– Что? Как вы сказали?

Но он уже снова стал таким, как всегда: мягким, невозму- тимым, непроницаемым.

– Полагаю, что Юрист и это выдержит, – сказал он.

10. ГЭВИН СТИВЕНС

Я мог бы ей посоветовать, предложить сделать так – и она послушалась бы, она разорвала бы свой билет, быстро, не задумываясь, со страстью и самозабвением. В одном, по крайней мере, она походила на свою мать – ей тоже было необходимо, непременно нужно найти в жизни что-то очень крепкое, очень надежное (в данном случае, в ее случае, не просто сильного человека, потому что Коль был достаточно сильный, но все же и он, как выяснилось, состоял из плоти и крови и потому оказался недолговечным), чтобы отдать все, что у нее было. При этом она в данном случае была обречена на неудачу не потому, что Бартон ее подвел, а потому, что и в его гороскопе была обреченность. Значит, если коммунистическая партия, уже доказавшая, что для пуль она неуязвима, а следовательно, бессмертна, заменила ей Бартона и никогда не подведет, то, разумеется, она разорвала бы свой билет со страстью и самозабвением, может быть, даже с радостью. Разве может любовь потребовать большей жертвы, чем полное самоуничтожение, самопожертвование, особенно ценной того, что грубые, бесчувственные материалисты в своем непроходимом невежестве могут окрестить трусостью и позором? Я всегда смутно подозревал, что древнехристианские мученики, брошенные на растерзание диким быкам и львам, втайне чувствовали к ним расположение, а может быть, даже

и любовь.

Но я посоветовал другое. Шел 1940 год. Маньяк-нибелунг разорил Польшу и пошел на Запад, где ему продали Париж, эту блистательную всемирную куртизанку, как простую по-таскушку, и только благодаря стойкости английского характера он повернул на Восток; еще год – и человек, ставший во главе государства после Ленина, будет нашим союзником, но для Линды это будет уже слишком поздно; и для нас всех тоже поздно, поздно для того, чтобы на ближайшие сто лет можно было сохранить мир для народов Запада, как уже говорил в частных беседах знаменитый толстяк в Англии ³⁹; но в тяжкую минуту... и так далее.

Все началось в моем служебном кабинете. Пришел тихий, спокойный, почти что незаметный человечек неопределенного возраста, от двадцати пяти до пятидесяти, – все они такие, – который деловито показал мне значок ФБР (звали его Гихон), принял приглашение сесть, сказал: «Благодарю вас», – и начал деловой разговор спокойно и равнодушно, как они всегда начинают, словно просто передают не слишком важное поручение. Ну и, конечно, я был последним в его списке, самым последним, потому что он, наверно, тщательнейшим образом предварительно, без моего ведома проверил меня, все обо мне разузнал, так же, как он уже много дней, а может быть, и месяцев тому назад разведал, и проверил, и отобрал все, что удалось узнать о ней.

³⁹ Имеется в виду Уинстон Черчилль.

– Мы знаем, что она действует, или пыталась действовать, совершенно открыто, явно на виду у всех.

– Думаю, что на этот счет вы можете быть спокойны, – сказал я.

– Да, – сказал он, – вполне открыто. И делает вполне безобидные вещи. С самыми лучшими намерениями, и только... не очень практично. Ничего такого, что не должна бы делать леди, и все же несколько...

– Странновато, – сказал я.

– Благодарю вас. Вот именно. Могу сказать вам по секрету, что у нее есть партийный билет. Разумеется, вы об этом не осведомлены.

Тут я сказал:

– Благодарю вас.

– А кто раз был коммунистом – знаете, тут, как в старой поговорке, конечно, без всяких намеков, сами понимаете: «Раз наблудила...» – и так далее. Конечно, если спокойно поразмыслить, то каждому понятно, что это не так. Но видите, что получается. Сейчас не время раздумывать, спокойно размышлять. Тут даже надеяться на это нечего, а не то что требовать этого от правительства или народа перед лицом того, что нас ждет гораздо раньше, чем мы предполагаем.

– Да, да, – сказал я. – Так чего же вы от меня хотите? Что я, по-вашему, могу сделать?

– Она... Я так понял, мне говорили, что вы – самый старый и до сих пор самый близкий ее друг...

– Конечно, без всяких намеков, – сказал я. Но тут он уже не сказал «благодарю». Он вообще ничего не сказал, ни слова. Он просто сидел и смотрел на меня сквозь очки, серый, безликий, как хамелеон, жуткий, как след ноги на берегу необитаемого острова Робинзона, слишком безликий, слишком ничтожный в своей безликости и незаметности, чтобы нести на своих плечах ту страшную власть, какую он представлял. – Значит, вы хотите, чтобы я повлиял на нее...

– ...как гражданин и патриот, который достаточно умен, чтобы понимать, что и мы тоже будем втянуты в эту войну в ближайшие пять лет: я кладу пять как самый крайний предел – в прошлый раз немцам понадобилось всего три года, чтобы совершенно потерять голову и втянуть нас в войну, причем теперь мы точно и не знаем, кто будет нашим врагом, но потом уже будет поздно...

– ...и уговорил ее спокойно отдать вам партийный билет и чтобы вы с нее взяли клятву – не знаю, какие там у вас полномочия на этот счет, – сказал я. – Но разве вы сами только что не сказали: «Раз наблудила – опять наблудит» (без всяких намеков, конечно!).

– Я с вами вполне согласен, – сказал он. – В данном случае никаких намеков и быть не может.

– Так чего же вы хотите от меня... от нее?

Он вынул небольшую книжечку, открыл ее, она была разграфлена не только по дням, но и по часам.

– Она и ее муж были в Испании шесть месяцев и двадцать

девять дней, воевали в республиканской, то есть коммунистической, армии, пока его не убили в бою, она сама осталась в госпитале после ранения и работала санитаркой, пока республиканцы не эвакуировали ее через границу во Францию.

– ...о чем знают даже тут, в Джефферсоне.

– Да, – сказал он. – Перед этим она семь лет жила в Нью-Йорке в гражданском браке...

– ...и это, конечно, ставится ей в вину не только тут, в Джефферсоне, но и в Вашингтоне. – Но он даже не остановился.

– ...со всем известным зарегистрированным членом коммунистической партии и близким соратником других известных членов коммунистической партии, о чем, быть может, у вас в Джефферсоне и неизвестно.

– Так, – сказал я. – Дальше?

Он закрыл записную книжку, положил ее в карман и снова посмотрел на меня совершенно спокойно, совершенно равнодушно, словно пространство между нами было линзой микроскопа:

– Значит, она знала людей не только в Испании, но и тут, в Соединенных Штатах, людей, которые пока что неизвестны даже нам, – членов компартии и агентов, важных людей, хотя и не столь заметных, как еврейские скульпторы, и колумбийские профессора, и всякие интеллигентные дилетанты. – И вот тут-то я его наконец понял.

– Все ясно, – сказал я. – Вы предлагаете мену. Вы ей га-

рантируете неприкосновенность в обмен на список имен. Ваше бюро обелит ее, превратит из врага в обыкновенную доносчицу. А есть у вас какой-нибудь ордер?

– Нет, – сказал он. Я встал.

– Тогда прощайте, сэр! – Но он не сдвинулся с места.

– Значит, вы ей не станете советовать?

– Нет, не стану, – сказал я.

– Ваше отечество в опасности, может быть, даже под угрозой гибели.

– Но угроза – не она, – сказал я. И тут он тоже встал и взял шляпу со стола.

– Смотрите, как бы вам не пришлось пожалеть об этом, мистер Стивенс.

– Прощайте, сэр! – сказал я.

Вернее, я ей все написал. Уже прошло три года, и она старалась, действительно очень старалась научиться читать по губам. Но что-то было не так. Может быть, жить вне человеческих звуков значило жить и вне человеческого времени, и у нее не было времени учиться, не было желания. И все же что-то было не так. Может быть, ей не надо было и трех лет свободы, уединения, отгороженности от всего, чтобы понять: вся сложность человеческого существования коренится в непрестанной болтовне, которой человек окружает, оболакивает, отгораживает себя от расплаты за свои собственные промахи, а вот если бы существовала расплата, простая, как по векселю, – можно было бы сделать жизнь наполнен-

ной, достойной, плодотворной. Так что я ей написал: «Уходи отсюда. Переезжай».

– Как переехать? – сказала она. – Вы хотите сказать – жить отдельно? Найти дом или квартиру?

«Нет, уезжай из Джефферсона, – написал я. – Совсем уезжай, уезжай навсегда. Отдай мне этот самый билет и уезжай из Джефферсона».

– Вы мне и раньше говорили.

– Нет, не говорил, – сказал я. Сказал, а сам уже писал новую фразу, в которую должна была уместиться моя мысль: «Мы не упоминали о билете и вообще о компартии. Даже три года назад, когда ты мне впервые пыталась рассказать, что у тебя есть билет, хотела показать его, но я не позволил, остановил тебя, отказался слушать – неужели не помнишь?»

Но она уже заговорила:

– Нет, помните, мне было лет пятнадцать-шестнадцать, и вы сказали – тебе надо уехать из Джефферсона?

Я не стал писать о другом, я написал: «Но тогда было нельзя. Теперь можно. Отдай билет и уезжай». Она помолчала минуту, другую. В таких важных и трудных случаях мы даже не пытались пользоваться костяным блокнотом. Он был просто игрушкой, забавой, женской безделушкой, в сущности, почти бесполезной: тоненькие пластинки слоновой кости, в золотой оправе, на золотых колечках, каждая величиной с игральную карту, на ней еле помещалось три слова в строку, вроде анаграммы или акростиха для детского возрас-

та, будто загадка или сказка с продолжением, вырванная из букваря. Сейчас мы были наверху, в гостиной – она сама обставила ее, – и стояли у камина, сделанного по ее рисунку: доска как раз такой ширины и высоты, чтобы удобно было ставить большой отрывной блокнот, когда надо было что-нибудь обсудить точно, без ошибок или поговорить о том, на что не стоило тратить времени, например, о деньгах, так что она могла читать слова сразу, вслед за моей рукой, почти как голос, почти слыша их.

– Куда уехать? – сказала она. – Куда же я могу уехать?

«Куда угодно, в Нью-Йорк, в Европу, но в Нью-Йорке остались люди, знавшие тебя и Бартона, друзья, ровесники».

Она взглянула на меня. Когда у нее расширялись зрачки, глаза казались почти что черными. И слепыми.

– Боюсь, – сказала она.

Я заговорил. Отдельные слова она могла читать по губам, если говорить медленно:

– Ты?.. Боишься? – Она сказала:

– Да. Мне не хочется быть беспомощной. Не хочу быть беспомощной. Не хочу ни от кого зависеть.

Я торопливо думал, как бывает в ту секунду, когда надо поставить на карту, или объявить игру, или сдать, а каждая минута промедления отнимает у тебя шанс выиграть. Я написал медленно и твердо, под ее взглядом: «Зачем же тогда я?» – и отодвинул руку, чтобы ей было видно. И она проговорила своим сухим, безжизненным, как Чик называл – ути-

НЫМ, ГОЛОСОМ:

– Гэвин. – Я молчал. Она снова сказала: – Гэвин. – Я молчал. Она сказала: – Ну, хорошо. Я солгала. Дело не в зависимости. Я ни от кого зависеть не буду. Просто мне надо быть там, где вы. – Она даже не добавила: «Потому что, кроме вас, у меня нет никого». Она стояла все так же, глаза в глаза, и смотрела на меня сквозь что-то, через что-то – пропасть, мрак – без унижения, без вопроса, даже без надежды; вот сейчас я все узнаю; и снова этот утиный голос произнес: – Гэвин.

Я стал писать быстро, по три-четыре слова сразу, залпом, одним духом, называйте как хотите, чтобы она читала из-под моей руки, пока я писал: «Все хорошо. Не бойся. Я отказываюсь на тебе жениться, 20 лет слишком большая разница, у нас ничего не выйдет, а кроме того, я не хочу».

– Гэвин, – сказала она.

Я снова стал писать, отрывая желтоватые листки блокнота и откидывая их в сторону на камин: «Я не хочу».

– Я вас люблю, – сказала она. – Даже когда мне надо солгать, вы уже заранее придумываете все за меня.

Я написал: «Никакой лжи о Бартоне Коле не было и речи».

– Была, – сказала она.

Я написал: «Нет».

– Но вы всегда можете со мной переспать, – сказала она. Вот именно. Она употребила грубое слово, выговорила его своим резким, крякающим утиным голосом. С тех пор как

мы начали заниматься постановкой голоса, труднее всего было наладить голос, – как смягчить тон, как приглушить звук, который она сама слышать не могла. «Получается совсем наоборот, – объясняла она. – Когда вы говорите, что я шепчу, у меня в голове словно гром гремит. Но когда я говорю вот так, я совсем ничего не чувствую». А тут она почти что выкрикнула это слово. Вышло так потому, что ей казалось, будто она, наоборот, приглушает голос. Я стоял и ждал, пока замрет эхо слова, громом поразившего меня. – Вы покраснели, – сказала она.

Я написал: «Это слово».

– Какое слово?

«Которое ты только что сказала».

– Подскажите мне другое слово. Напишите, я посмотрю и запомню.

Я написал: «Нет другого слова это слово точное но я человек старомодный меня оно все же шокирует. Нет шокирует когда его произносит женщина и сама ничуть не шокирована пока не видит что я шокирован». – Потом я приписал: «Это неверно шокирует то что все волшебство страсть восторг определяется и отбрасывается одним этим голым неприятным словом».

– Ну, хорошо, – сказала она, – тогда не надо никаких слов.

Я написал: «А ты действительно хочешь...»

– Конечно, вам все можно, – сказала она. – Всегда. Вы сами знаете.

Я написал: «Я тебя не о том спрашиваю», – и она прочла. И тут она промолчала. Я написал: «Посмотри мне в глаза», – и она посмотрела на меня оттуда, сквозь то, что я должен был увидеть и понять через несколько минут.

– Да, – сказала она.

Я написал: «Ведь я только что сказал тебе никогда не надо бояться», – и на этот раз мне пришлось слегка пододвинуть блокнот, чтобы привлечь ее внимание, и тогда она сказала, не поднимая глаз:

– Значит, мне и уезжать не надо?

Я написал: «Нет», – у нее перед глазами, и тут она взглянула на меня, и я понял, откуда, сквозь что она на меня глядела: сквозь неизмеримую глубину потери, сквозь неутолимую тоску, сквозь верность и постоянство, а сухой, трескучий голос повторял: «Гэвин, Гэвин, Гэвин», – пока я писал: «потому что мы 2 во всем мире можем любить друг друга без того, чтобы...» – и в конце вышел резкий росчерк, потому что она обняла меня, прижалась ко мне изо всей силы, и сухой, дребезжащий голос повторял:

– Гэвин, Гэвин. Люблю тебя. Люблю, – так что мне пришлось высвободиться, чтобы дотянуться до блокнота и написать: «Отдай мне билет».

Она уставилась на бумагу, и как сняла руки с моих плеч, так они и остались поднятыми.

– Билет? – проговорила она. И потом сказала: – Я потеряла его.

Тут я все понял вмиг, словно молния сверкнула. Я написал: «Твой отец», – а вслух повторял: – Ах он сукин сын, сукин сын, – и сам себя уговаривал: «Погоди, погоди! Он иначе не мог. Поставь себя на его место. Что еще он мог сделать, каким еще оружием защищать самое свое существование, прежде чем она его разрушит, – свое положение, ради которого он пожертвовал всем – женой, семьей, друзьями, покоем, – чтобы добыть единственную ценность, какую он знал, потому что он только эту ценность и понимает, потому что весь мир, в его восприятии, внушил ему, что только это и нужно, что только этого и стоит добиваться». Ну конечно, это было единственное его оружие: овладеть билетом, угрожать ей тем, что сдаст его в ФБР, остановить ее этой угрозой, прежде чем она его погубит. И все же я твердил себе: «Как же ты не понял, он использует этот билет, чтобы погубить ее. Наверно, он сам писал Жидовка Коммунистка Коль на своем тротуаре в полночь, чтобы заранее запастись сочувствием всего Джефферсона, когда ему придется отправить свою единственную дочь в сумасшедший дом».

Я написал: «Обыскал твою комнату ящики стола?»

– Да, кто-то обыскал, – сказала она. – Еще в прошлом году. Я подумала...

Я написал: «Это твой отец».

– Вот как? – Да, именно таким тоном. Я написал: «Разве ты не понимаешь что это он?»

– Не все ли равно? Наверно, мне пришлют другой билет.

Да и это неважно. Во мне-то ничего не изменилось. И мне не нужна книжечка, чтобы это доказать.

Тут я стал писать медленно, обдуманно: «Тебе уезжать не надо, я больше и просить не стану, но, когда я попрошу тебя уехать, ты просто поверь и сразу уезжай, я все устрою, сделаешь?»

– Да, – сказала она.

Я написал: «Поклянись».

– Хорошо, – сказала она. – Тогда вы сможете жениться. – Я все равно не смог бы ничего написать: она схватила обе мои руки, прижала к груди: – Вы должны жениться. Я так хочу. Нельзя, чтобы у вас никого не было. Никто не должен жить без этого. Никто, никто. – Она смотрела на меня. – То слово, которое вы не любите. Моя мать тоже один раз вам так сказала, правда? – Слова не походили на вопрос. – Это было?

Я высвободил руки и написал: «Ты знаешь, что нет».

– Почему нет?

Я написал: «Потому что она меня пожалела, а когда что-то хочешь сделать для человека из жалости, значит, для тебя самой это вовсе не важно».

– А мне вас не жаль. Вы это знаете. Разве вы не понимаете, что для меня это было бы важно?

Я написал: «А может быть, ничего не случилось, потому что я был недостоин ее, и мы оба это знали, но я подумал, если ничего не будет, то она, быть может, всегда будет думать,

а вдруг я мог бы стать...» – Но тут я оторвал лист, смял его, сунул в карман и написал: – «Мне надо идти».

– Не уходите, – сказала она. Потом сказала: – Нет, уходите. Видите, все прошло, я даже больше не боюсь.

Я написал: «Чего же тебе бояться», – и на том же листке. «Где моя шляпа?» – И она пошла за шляпой, пока я засовывал исписанные листки в карман, и я взял шляпу и пошел к двери, а скрипучий голос окликнул меня:

– Гэвин, – и я повернулся. – Как вы сказали? Только мы двое во всем мире можем любить друг друга и не... Я люблю вас, Гэвин, – тем голосом, звуком, что ей казался шепотом, бормотаньем, но для тех, у кого, к несчастью, еще сохранился слух, звучал пронзительно и резко, как гудок старого автомобиля.

И надо бы сразу, немедля, вон из его дома, его особняка, его дворца, туда, в его банк, тоже сразу, немедля, и туда, к нему, прямо в тот маленький кабинет, и спугнуть, столкнуть, сбросить его ноги с каминной доски, и тут же, протягивая руку: «Отдайте-ка мне этот билет, будьте добры» Но только это значило бы легкомысленно упустить такую возможность, такой подарок судьбы: зачем позволять ему самому выбрать момент, когда он захочет собственноручно дать эту улику в ФБР? Почему не напасть первому – не напустить на него ФБР прежде, чем он, как сказал бы Рэтлиф, укусит: чтобы тот кроткий, незаметный человек показал ему свой значок и сказал: «Мы знаем из достоверных источников, что

вы, мистер Сноупс, храните билет коммунистической партии. Вы имеете что-нибудь нам сообщить?»

Но я не знал, где сейчас Гихон, да он бы все равно не поверил мне, своему явному врагу. Так что он как представитель ФБР отпадал; значит, надо было прямо обращаться к той всемогущей Силе, которая называлась Правительством, причем самый донос должен был быть написан без сучка и задоринки, исходить из низов и строго придерживаться жаргона анонимок. Нужна открытка, дешевенькая открыточка. Сначала я думал, что надо адресовать ее прямо президенту Соединенных Штатов, но при том количестве маньяков, которые пишут письма мистеру Рузвельту, мое письмо, наверно, утонет в этом потоке. Но хотя военные власти никогда не теряют ни клочка бумаги, если на нем что-то написано и подписано (что-нибудь другое – пожалуйста, это они могут и выкинуть, и отдать, и уничтожить, но листок испи-санной бумаги – ни за что, хотя и приходится оплачивать и одевать в форму тысячи людей исключительно для сохранения подобных бумажек), конечно, они этой бумаге когда-нибудь дадут ход, хотя бы через сто лет, но это слишком долго. И вдруг я сам себя спросил: а что тебе мешает действовать непосредственно через ФБР, как ты и задумал вначале? И я ответил себе – ничего. И я уже мысленно представил себе написанную открытку. В низах знали, что у нас было два Гувера: – один – бывший президент, другой – владелец фабрики пылесосов и что фамилия главы ФБР тоже Гувер. Так что

я представил себе такой адрес: «Герберту Гуверу, Департамент ФБР», но потом остановился: нельзя писать в Вашингтон – эти анонимки пишутся не только людьми осведомленными, но и на вполне определенном жаргоне, так что сначала я подумал, не адресовать ли донос в Парчмен, Миссисипи, начальнику каторжной тюрьмы штата, но там, вероятно, почту принимал какой-нибудь доверенный, отбывающий срок пожизненно, а что для такого человека несколько лишних дней? Значит, открытка и там может завалиться. И тут я сообразил, куда писать: в Джексон, столицу штата. Лучше не надо: город не слишком большой, агенты там, наверно, так скучают и бездельничают, что рады будут любой оказии; кроме того, это близко. Значит, письмо должно выглядеть примерно так:

Герберту Гуверу, Департ. Ф.Б. и Р.
Джексон. Миссисипи.

Ежели приедете в Джефферсон Мисс с ордером на обыск и обысчете банк и дом Флема Сноупса там обнаружите коммунистической партийный билет.

Гражданин-патриот

Пожалуй, можно возразить, что выражение «ордер на обыск» несколько выпадает из жаргона и что слово «обнаружите» чересчур исковеркано. Но я могу доказать обратное: слова «ордер на обыск» и «обнаружите» настолько для

него привычны, что при любом правописании он тут никакой ошибки, по существу, сделать не может: первое, «обыск» неизбежно грозит ему – а по его разумению и вам тоже – чуть ли не каждый день, а второе, «обнаружите», или, что для него синонимично, «зацапаете», постоянно сопутствует первому.

Да, если бы я только на это решился. Вы понимаете, если бы даже я мог обыскать его дом или взломать сейф в банке, найти билет, стереть ее имя и вместо него подставить его имя, чтобы в ФБР ему устроили допрос с пристрастием, то она первая встала бы на дыбы, налетела, наскочила, опровергла бы, разоблачила, потребовала бы признать билет ее собственностью; сначала она, наверно, отправилась бы к Гихону или любому из них, кто оказался бы поблизости, и заявила о своих убеждениях, если б только ей пришло в голову, что они этим заинтересовались. И тогда с этого часа вплоть до того часа, когда даже самый сильный союз всех безумцев вселенной наконец приутихнет, станет мирным и неприметным, ее будут мотать и мучить, за ней станут шпионить день и ночь, следить, как она ходит, ест, даже спит. Так что в конце концов мне пришлось отказаться от этого дела не из-за ее наивной убежденности, что все это неважно и никакого значения не имеет, а из-за своей более низменной и более обоснованной уверенности, что для него этот билет – единственное орудие защиты и он не станет им пользоваться, пока его к этому не вынудит страх.

А может быть, и надежда... Словом, так обстояли дела до того времени, когда битва за Великобританию фактически спасла Линду; иначе мне оставалось бы только пойти к нему и сказать: «Отдайте мне билет», – что, в сущности, равносильно тому, чтобы подойти к незнакомому человеку и сказать: «Это вы украли мой бумажник?» Словом, битва за Великобританию спасла ее, да на какое-то время и его тоже. Я говорю про те известия, про те сообщения, которые доходили до нас, о горсточке юнцов, сражавшихся за родину. А до тех пор всю весну, лето и осень 1940 года она становилась все беспокойнее. Да, она все еще занималась своей негритянской воскресной школой, все еще, как говорили в городе, «совала нос» куда не надо, но ей это как-то прощали, – видно, привыкли, а кроме того, никто еще не придумал, каким способом остановить ее.

Так было до июня, когда Чик приехал из Кембриджа. И тут я вдруг обнаружил, открыл две вещи: во-первых, что теперь Чик в ее представлении стал чуть ли не главой нашей семьи, а во-вторых, что она даже лучше его знала имена летчиков и названия всех самолетов английского воздушного флота – Мэлена, Эйткена, Финукейна и все эти «спитфайры», «бофайтеры», «харрикейны», «берлинги» и «диры», знала, как зовут всех иностранных добровольцев – тех американцев, которые не хотели дожидаться, тех поляков и французов, не желавших, чтобы их били, знала Дэймонда, и Вжлевского, и Клостермана; а в сентябре этого же года мы дого-

ворились: Чик обещал еще год, проучиться на юридическом факультете, а мы согласились, чтобы он из Кембриджа переехал в Оксфордский университет. Должно быть, это и послужило толчком: когда он уехал, ей не с кем было обмениваться сведениями насчет авиации. Так что, пожалуй, нечего было удивляться, когда она явилась ко мне в служебный кабинет. Она не стала говорить: «Я тоже должна помогать, я должна что-то делать, я не могу сидеть сложа руки», – нет, она просто сказала:

– Я уезжаю. Нашла работу на заводе в Калифорнии, там строят самолеты для отправки в Европу, – и я торопливо нацарапал: «Погоди». – Все в порядке, – сказала она, – уже все улажено. Я им написала, что слух у меня потерян, но что я хорошо знаю моторы и вообще автомобиль и легко научусь делать то, что им надо. Они пишут, чтобы я приезжала и захватила кое-какие документы. Ну, скажем, рекомендательное письмо, что вы меня давно знаете и заверяете их, что она, мол, вполне нравственная, в лоск не напивается и на воровстве ее тоже ни разу не поймали. Так что напишите, ведь вы даже можете официально подписаться «Председатель Йокнапатофской окружной мобилизационной комиссии, штат Миссисипи», – а я все пишу ей: «Погоди», – нет, даже не пишу, я уже раз написал, а просто хватаю ее за руку и другой рукой поднимаю блокнот, чтобы она прочла и замолчала или, по крайней мере, хотя бы прочла или хотя бы замолчала, чтобы я мог написать дальше:

"На этом заводе на всех заводах один человек безграничной власти сотрудник службы безопасности его работа должностное единственное что освобождает его от службы в армии, – я писал, а ее рука, ее пальцы лежали у меня на плече, я чувствовал ее дыхание, вдыхал запах ее волос, касавшихся моей щеки, – «естественно он будет спасать свою шкуру разоблачая почаще подрывные элементы так что рано или поздно он доберется до тебя выгонит ты пом... – я оторвал лист, не останавливаясь, – ...нишь на берегу Мексиканского залива Билокси-Спрингс ты там бывала».

– Да, с мамой... и, – я думал, что тут она замолчит, но она даже не остановилась, – ...с Манфредом. Помню.

Я написал: «Паскагула верфь где стоят транспорты для перевозки самолетов танков орудий если тебя берут в Калифорнии значит и там возьмут поедешь туда?»

– Да, – сказала она. Потом сказала: – Для России, – и глубоко вздохнула. – Но служба безопасности будет и там.

Я написал: «Да но это близко я сразу смогу туда приехать помешает служба безопасности найду тебе еще что-нибудь».

– Хорошо, – сказала она, дыша спокойно и медленно у самого моего плеча. – Близко. Я могла бы приехать на воскресенье.

Я написал: «Возможно придется работать и по воскресеньям, транспорты очень нужны».

– Тогда вы сможете приезжать ко мне. По воскресеньям ваша мобилизационная комиссия не работает, правда?

Я написал: «Там будет видно».

– Быть вместе хоть иногда. Вот почему я боялась Калифорнии – слишком далеко. Но Паскагула близко. Хоть иногда, хоть изредка.

Я написал: Конечно.

– Хорошо, – сказала она. – Конечно, я поеду.

И она уехала сразу после Нового года, пошел 1942 год. У меня там был приятель, адвокат, и ей устроили у знакомых маленькую квартирку с отдельным входом. И, по всей видимости, она решила, что раз она теперь не связана с Джефферсоном и, по крайней мере, в двенадцати часах езды от запретов, которые на нее могли бы наложить Сноупс или я, вместе или по отдельности, значит, никто ей не помешает купить себе маленькую машину и самой ее водить, но тут я пригрозил, что как только я об этом услышу, то тут же самолично сообщу властям в Паскагуле, что она не слышит. Она обещала отказаться от покупки, и мой приятель адвокат договорился, что она будет пользоваться машиной на паях с другими, и вскоре она стала работать браковщицей в инструментальной, хотя сразу написала мне, что по ее просьбе ее почти согласились перевести на сварку и клепку, где глухота была преимуществом. Во всяком случае, она снова надела рабочий комбинезон, снова стала маленьким винтиком в этом мужском или, вернее, бесполом мире, стараясь овладеть смертоносной гигантской техникой, без которой теперь невозможна война, и, может быть, даже успокоилась, если только теперь

был возможен покой. Во всяком случае, сначала приходили письма, где она писала: «Когда вы приедете, мы непременно...» а потом: «Если вы приедете, не забудьте...» – и через несколько недель просто дешёвенькая открытка: «Я без вас соскучилась», – и ни слова больше, та почти бессловесная скудость открыток с видами, на которых написано: «Жаль, что тебя тут нет» или «Это наша комната», – обычно полуграмотные люди посылают такие открытки домой, – а потом недавно снова письмо, на этот раз в конверте: «Хорошо. Я все понимаю. Знаю, как много времени отнимает работа в комиссии. Приезжайте, когда сможете, потому что мне надо попросить одну вещь».

На это я ей ответил сразу, немедленно (я хотел добавить «так как не знал, что подумать», но я знаю, что я подумал): «Попросить или сказать?» И она ответила, как я и предполагал: «Да. Попросить».

И тогда (уже стояло лето) я ей телеграфировал число, и она ответила телеграммой: «Заказала номер гостинице каким поездом встречать целую». И я ей ответил (я же сам ей запретил покупать машину): «Приеду машиной за тобой вторник верфь концу работы целую», – там я ее и ждал у выхода. Она вышла со своей сменой, в комбинезоне, и протянула мне блокнотик и грифель, прежде чем расцеловать меня, прижавшись крепко и говоря:

– Расскажите мне все! – И я высвободился, чтобы написать, снова связанный этими короткими словесными обрыв-

ками, клочками фраз, которые приходилось стирать:

«Ты мне скажи, в чем дело».

– Поедем к морю, – а я:

«Может, сначала пойдешь переоденешься».

– Нет. Поедем на берег. – Мы поехали к морю. Я поставил машину, и мне казалось, что я уже написал: «Теперь расскажи мне», – но она вышла из машины, а когда и я вышел, отняла блокнотик и грифель и сунула в карман, а потом взяла меня под руку обеими руками, и мы пошли, и она держалась за мою руку крепко, обеими руками, так что мы сталкивались и спотыкались на каждом шагу; солнце уже садилось, и наши длинные тени, сливаясь, касались края прибоя, и я думал: «Нет, нет, не может быть», – и тут она сказала: – Походите, – и выпустила мою руку и стала рыться в кармане, но не в том, куда засунула блокнотик.

– У меня для вас что-то есть. Чуть не забыла. – Это была раковина; наверно, мы растоптали их с миллион на той сотне ярдов, что прошли от машины, пока я думал: «Не может этого быть. Это невозможно». – Я ее нашла в первый же день. Боялась, что потеряю до вашего приезда, а вот и не потеряла. Нравится?

– Очень красивая.

– Что? – спросила она, уже протягивая мне блокнотик и грифель.

Я написал: «Просто прелесть. Теперь скажи мне».

– Хорошо, – сказала она. Она прижалась ко мне, сильно и

крепко охватив мою руку, и мы все шли, и я думал: «Почему бы нет, почему этого не может быть, почему не может быть на свете второго Бартона Коля или хотя бы достойной замены, хоть как-то жить, все лучше, чем тоска», – и тут она сказала: – Вот, – и остановилась и повернулась вместе со мной так, чтобы нам увидеть последний миг перед самым заходом солнца, высокие лохматые пальмы и сосны, застывшие в уже гаснущей вспышке света, перед тем как ночной ветер станет их трепать и тормошить. Потом все кончилось. Остался обыкновенный закат. – Вот, – сказала она. – Теперь все хорошо. Мы были тут. Мы это сберегли. Взяли себе. Понимаешь, вот земля прошла весь долгий путь от сотворения мира, и солнце прошло весь долгий путь от начала времени ради одного такого дня, такой минуты, такой секунды из всех дней, минут и секунд, а взять этот миг – некому, не было тех двоих, которые наконец оказались бы вместе после стольких преград, после такого ожидания, но вот они наконец вдвоем, они уже отчаялись от долгого ожидания, они даже бегут по берегу к тому месту, оно уже недалеко, туда, где они наконец будут вместе, вдвоем, и никто в мире не узнает, не осудит, не помешает, словно нет ни самого мира, ничего, кроме них, и теперь мир, который даже еще не был сотворен, может возникнуть, начаться.

А я думал: «Быть может, такая верность и стойкость должны встретиться каждому хоть раз в жизни, пусть даже кто-то страдает. Да, ты слышал про любовь, про утрату, а может

быть, и про любовь, и утрату, и горе, про верность и стойкость, и ты сам знал и любовь, и утрату, и горе, но никогда не встречал все пять вместе, вернее, четыре, потому что верность и стойкость, про которые я думаю, неотделимы», – а она в это время говорила.

– Я не про то, чтобы вместе... – И остановилась сама прежде, чем я поднял руку и закрыл ей рот, не знаю, решил-ся бы я или нет, – и сказала: – Нет, не бойся, я больше не скажу то слово. – Она посмотрела на меня: – Теперь ты, наверно, знаешь, о чем я с тобой хотела говорить.

– Да, – сказал я, это она прочла по губам. Я написал: «О браке».

– Как ты догадался?

«Неважно, – написал я. – Я рад».

– Я тебя люблю, – сказала она. – Теперь пойдем обедать. А потом домой, я тебе все расскажу.

Я написал: «А ты не пойдешь переодеваться?»

– Нет, – сказала она. – Туда можно идти, не переодеваясь.

Она так и пошла. И среди посетительниц этого ресторана она могла бы появиться в чем угодно, хоть с одной слуховой трубкой и в набедренной повязке, причем внимание привлекла бы, наверное, слуховая трубка. Это был настоящий притон. Наверно, в субботу к полуночи, а может быть, и в другие вечера (это было время бешеных заработков на верфях) здесь начинался настоящий бедлам, даже, как говорится, пожар в бедламе; мне и сейчас казалось, что я в сума-

шедшем доме, так тут орало радио. Но я-то не глухой. Зато еда – камбала и креветки – была первоклассная, и официантка подала стаканы и лед, бутылку я принес с собой, и в этом шуме голос Линды был не так приметен. А она все время нарочно говорила о том, на что я мог бы отвечать только «да» и «нет», болтала о верфи, о работе, о других людях, и похоже было, что она – маленькая девочка, в первый раз приехала на каникулы домой из школы, и ела она тоже по-детски торопливо, не прожевывая как следует, а когда мы поели, сказала:

– Теперь пойдем!

Она мне еще не говорила, где я остановлюсь, а я не знал, где она живет. Мы снова сели в машину, и я зажег свет, чтобы она видела блокнот, и написал: «Куда?»

– Прямо, – сказала она. Мы вернулись к центру города, и я поехал прямо, пока она не сказала: – Поверни тут, – и я повернул, потом она сказала: – Вот тут, – и мне пришлось остановиться у обочины, чтобы написать: «Который дом?»

– Гостиница, – сказала она. – Вон дальше. – Я написал: «Нам надо поговорить. Разве у тебя нет в квартире комнаты, где никто не помешает?»

– А мы тут сегодня оба ночуем. Я все устроила. Наши комнаты рядом, между ними только стенка, и я велела обе кровати поставить к этой стенке, и когда мы поговорим и разойдемся по комнатам, я в любое время ночью смогу постучать в стенку, и ты услышишь, а я приложу руку к стене и почув-

ствую ответный стук. Я знаю, я тихо постучу, чтобы никого не разбудить, никто, кроме тебя, не услышит.

Около гостиницы была стоянка для машин. Я взял чемоданчик, и мы вошли. Хозяин был знаком с Линдой, – должно быть, к этому времени все в городе уже знали ее или слышали о молодой женщине, глухой, которая работала на верфи. Во всяком случае, нас никто не остановил, хозяин назвал ее по имени, она меня с ним познакомила, он отдал мне оба ключа, и опять нас нигде не остановили, я открыл дверь ее номера, а там уже стояла ее сумка и даже цветы в вазе, и она сказала:

– Теперь я могу принять ванну, – и я сказал:

– Хорошо, – потому что это слово она умела читать по губам, и ушел к себе в номер. Да, почему должна существовать верность и стойкость, неужто только потому, что ты вообразил, будто они есть? Если бы у всех людей мечты сбывались, какие же это были бы тогда мечты?

И вскоре она постучала в стенку, и я прошел из одного номера в другой, пять шагов, и закрыл за собой дверь. Она сидела в постели, опираясь спиной на обе подушки, на ней было что-то вроде свободной кофточки или халатика, а волосы (должно быть, она остриглась, когда правила санитарной машиной, но теперь они отросли, она их уже связывала лентой, темно-синей, как ее глаза) расчесаны или убраны на ночь, одной рукой она придерживала на коленях блокнотик и грифель, другой похлопала по кровати, чтобы я сел около нее.

– Тебе он и не понадобится, – сказала она, слегка подымая и снова кладя блокнот, – тебе придется только отвечать «да», а это я могу слышать. И вообще, раз ты знаешь, о чем идет речь, нам будет легко договориться. А если я еще скажу, что прошу сделать это ради меня, тебе будет еще легче это сделать. Вот я и говорю. Сделай так ради меня.

Я взял блокнот.

«Конечно, сделаю все, что ты...»

– Помнишь, там, на берегу, когда солнце село и ничего не осталось, только сосны и закат, песок и океан и мы с тобой, и я сказала, что нельзя, чтобы все это пропадало зря после такого ожидания, такой разлуки, что должны быть два человека во всем мире, которые так отчаялись, так стосковались друг без друга, что наконец заслужили, чтобы все это не пропадало зря, и вот они вдруг бегут вдвоем, спешат туда, на это место, а оно уже близко, вот тут, и нет больше отчаяния и тоски, нет больше ничего, ничего. – И вдруг я увидел, как прямо под упором моего взгляда у нее сразу хлынули, потекли слезы, а я никогда не видел, чтобы она плакала, и она сама как будто не чувствовала, не сознавала, что с ней делается. Я написал:

«Перестань».

– Что перестань? – а я:

«Ты плачешь».

– Нет, не плачу, – а я:

«Посмотри на свое лицо».

На столике, как всегда, лежало обычное, стандартное зеркальце и пачка салфеток, но я вынул носовой платок и протянул ей. А она вместо платка прижала к глазам ладони ребром и растерла слезы по лицу, по щекам, горстью, как стирают пот, и даже стряхнула влагу движением кисти, как стряхивают капли пота.

– Не бойся, – сказала она. – Я не скажу то слово, я об этом и не думаю. Потому что это неважно, как неважно дышать, пока ты не осознаешь, что дышишь, а просто дышишь, когда тебе нужно. Это становится важным, только когда встают вопросы, когда тебе трудно, когда ищешь выход: ведь дыхание тоже становится важным, только когда встает вопрос – можешь ли ты вздохнуть, только когда тебе становится трудно дышать. Все дело в другом, в мелочах: вот подушка, на ней еще осталась вмятина от его головы, вот галстук, он еще сохранил форму, словно только что снят вечером и висит, пустой, на спинке кровати, даже пустые туфли на коврике стоят, как прежде, правый чуть повернут наружу, будто его ноги все еще в них, все еще идут, как он ходил, слегка припадая на одну ногу, негры в старину говорили – гордая походка... – И я:

«Перестань, перестань же. Ты опять плачешь».

– Я не чувствую. Я ничего не чувствую на лице с того самого дня, ни жары, ни холода, ни дождя, ни воды, ни ветра – ничего. – Тут она взяла мой платок, вытерла лицо, но когда я подал ей зеркало и даже начал писать: «Где твоя пудра?» –

она и зеркала не взяла. – Я больше не буду. Понимаешь, вот этого я хочу и для тебя. Я тебя люблю. Если бы не ты, я, наверно, не выдержала бы. Но теперь все в порядке. И я хочу, чтобы у тебя тоже было все это. Сделай это ради меня. – И я:

«Но что ради тебя Ты мне так и не сказала».

– Женись, – сказала она. – Я думала, ты понял. Разве ты мне не сказал, что знаешь, о чем я? – И я:

«Мне жениться Мне...»

– А про кого же я говорю? Неужели ты подумал, что я...
Гэвин!

– Нет, – сказал я.

– Я вижу. Ты сказал «нет». Ты солгал. Ты думал, что я сама собираюсь замуж.

– Нет, – сказал я.

– Помнишь, как я тебе однажды сказала, что, если ты решил солгать ради меня, я всегда могу рассчитывать, что ты не отступишься, как бы тебя ни разоблачали?

– Помню, – сказал я.

– Значит, все в порядке, – сказала она. – Нет, теперь я о тебе. Вот что ты должен сделать ради меня. Я хочу, чтобы ты женился. Хочу, чтобы у тебя тоже было все это. Потому что тогда нам будет хорошо. Мы всегда будем вместе, хотя бы мы были вдали друг от друга, хотя бы нам пришлось жить далеко и врозь. Как ты говорил? Те, двое на всем свете, которые могут любить друг друга без того, чтобы – нет, даже без того, чтобы думать об... я не скажу то слово, которое ты

не любишь. Значит, обещаешь?

– Да, – сказал я.

– Знаю, ты не можешь завтра выйти из дому и тут же найти ее. Может быть, пройдет год, два. Только не надо сопротивляться мысли, что тебе нужно жениться. Как только ты перестанешь сопротивляться, все выйдет само собой. Ты сделаешь это?

– Клянусь, – сказал я.

– Как? Ты сказал «клянусь», правда?

– Да, – сказал я.

– Ну, поцелуй меня! – Я поцеловал ее, на миг ее руки крепко, сильно сомкнулись у меня на шее, потом опустились. – И завтра пораньше уезжай домой. – И я написал:

«Я собирался остаться на весь день».

– Нет. Завтра. Пораньше. Я приложу руку к стене, и, когда ты ляжешь, постучи мне, а если я проснусь ночью, я смогу тебе постучать, и если не будешь спать, если еще будешь там, ты тоже постучи мне, а если я не почувствую стука, ты мне напишешь из Джефферсона завтра или послезавтра. Теперь мне хорошо. Спокойной ночи, Гэвин.

– Спокойной ночи, Линда, – сказал я.

– Я прочла и это. Я люблю тебя.

– Я люблю тебя, – сказал я.

– Я и это прочла, но ты все равно напиши, и у меня утром – как это говорят? – будет чем опохмелиться.

– Хорошо, – сказал я и протянул руку за блокнотом.

11. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН

В тот раз я уже был в военной форме. Теперь мне только надо установить, вспомнить, про какой «тот раз» я говорю, когда именно происходило то, о чем я рассказываю. Это было не в тот раз, когда я снова увидел Линду, потому что тогда она все еще работала в Паскагуле, строила транспорты для России. И было это не в тот раз, когда я побывал в Джефферсоне, потому что тогда я только заехал ненадолго, по дороге к коричневым рубашкам. Может быть, я хотел рассказать про тот раз, как я опять припер Рэтлифа к стенке. В общем, я хочу сказать, что в тот раз я увидел дядю Гэвина после свадьбы – он был уже женат.

Шел 1942 год, и Гэвин был женат на Мелисandre Гарисс (в девичестве Бэкус, как сказал бы Теккерей): повадился кувшин по воду ходить, а тут ему и крышка, как сказал бы Рэтлиф, только он, кажется, этого не говорил. В одно воскресное утро мы узнали про Пирл-Харбор, и я дал Гэвину телеграмму из Оксфорда, так сказать, в ответ на события: "*Вот оно наконец, еду*". Дал я телеграмму Гэвину, потому что иначе пришлось бы говорить с мамой по телефону, а мама по междугородному наговаривает кучу денег, и лучше было телеграфировать Гэвину за сорок два цента, а уж мамин разговор пусть запишут на счет отца в Джефферсоне,

Так что я побывал дома как раз вовремя, стал свидетелем

лем того, как были пробиты первые, невинные с виду бреши в его, как он считал, неприступных бастионах: я «сопутствовал» ему, стал шафером при его катастрофе. Вышло вот так. Я не попал на подготовительные авиационные курсы при университете, но мне сказали, что если имеешь высшее образование и достаточное количество летных часов, особенно если есть самостоятельные вылеты, то имеешь полное основание попасть прямо в офицерскую школу летчиков. Нашелся профессиональный летчик из сельскохозяйственной авиации, летавший с того же аэродрома, и он взялся меня обучать на самолете, настоящем армейском учебном самолете, который был даже больше, как он говорил, чем те хлопушки в пятьдесят лошадиных сил, на которых обучали летчиков в армии.

Так что, когда я посылал дяде Гэвину телеграмму, у меня на счету уже было пятнадцать летных часов, три из них – самостоятельных, и когда мама позвонила мне по телефону, я уже сложил вещи и вывел свою машину, чтобы ехать в Джефферсон. Таким образом, я попал туда вовремя и увидел, как все это началось, хотя Гэвин, может, и не считал это церковным оглашением. Я говорю про ту историю на коннозаводческой ферме, куда Мелисандра Гарисс, бывшая Бэкус, изредка привозила двух своих детей (к этому времени они уже выросли, и Гэвину при женитьбе достались не маленькие пасынки, а женатые дети) домой из Европы, пока немцы не начали взрывать американские корабли у ирландских бере-

гов. Так что потом они жили в Южной Америке и привезли оттуда с собой аргентинца-кавалериста, наездника, про которого этот маньяк-мальчишка, один из Гариссовых отпрысков (я не хочу сказать, что оба Гариссова отпрыска были маньяки, а то, что один из них был мальчишка), решил, что этот аргентинец хочет жениться на сестре ради ее денег, – они были под опекой матери, – а не ради самой сестры, она пока что получала только карманные, как и ее брат. Тогда он (этот самый маньяк) решил убить этого аргентинского кавалериста при помощи дикого жеребца, принадлежавшего Рейфу Маккалему. Он не то купил, не то сманил этого жеребца, словом, как-то запер его на конюшне, куда ни в чем не повинный аргентинец должен был войти ночью в темноте и открыть дверь, думая (я про ни в чем не повинного аргентинца), что там стоит не просто смиренная, но и полуслепая лошадь. К счастью, Гэвин погадал на своей кофейной гуще или воспользовался своим ясновидением или своей волшебной палочкой – уж не знаю, чем он там пользовался в таких случаях, – и добежал до конюшни первым.

Словом, аргентинец был спасен, а маньяку в тот же вечер пришлось выбирать между вербовочной комиссией в Мемфисе и дядей Гэвином, и он, для вящей безопасности, пошел в армию, а этот аргентинец в тот же день женился на сестре маньяка, и они уехали из Джефферсона и тоже оказались в безопасности. Но дядя Гэвин остался, а мне в тот же день пришлось уехать в военную школу для предваритель-

ной наземной тренировки, и, когда я приехал домой в следующий раз, уже в военной форме, дядя Гэвин был не только мужем Мелисандры, но и отчимом пасынка, из которого вышел бы первоклассный убийца, лучше и не придумать, если бы не наглое вмешательство Гэвина, которое возмутило бы даже собаку, и падчерицы – это она, обвенчавшись с аргентинцем-кавалеристом, сделала Гэвина тестем жокея. (К этому времени я и сам был обручен с авиабомбой – пилотом я не стал, но зато в полете должен был сидеть рядом с летчиком, невесту мне сосватало правительство, явно не доверявшее моему с ней обращению и потому приставившее ко мне соглядатаев, которым было поручено следить за тем, что я с ней буду делать, причем прежде чем ее мне доверить, мне внушили, что нельзя доверять ни моим соглядатаям, ни вообще никому на свете, а потому рядом со мной стоял запертый черный ящик, прикрепленный ко мне цепью, даже когда я спал, что было, разумеется, источником не только постоянного неудобства, но и неустанной взаимной подозрительности, взаимного недоверия, а с течением времени и взаимной ненависти, – и все это я приучался терпеть, тем самым проходя наилучшую подготовку к будущему счастливому браку.)

Словом, когда я в следующий раз приехал в Джефферсон, я был уже в военной форме, успел только навестить владельца замка и его супругу среди их родовых конюшен с электрическим освещением и белыми загородками, сказать: «Благо-

слови вас бог, дети мои», – а потом опять припереть Рэтлифа к стенке.

– Теперь уж он на ней не может жениться, – говорю, – у него уже есть жена.

Как-то никогда не думалось, что можно сказать про Рэтлифа «здорово мыслит». По крайней мере, до сих пор, до этого разговора.

– Правильно, – сказал он. – Замуж она за него не выйдет. Будет куда хуже.

12. ФЛЕМ

Когда грузовичок, подвезший его от Кларксдейла, свернул в сторону у городка под названием Лейк-Корморант и ему пришлось выйти, он пошел дальше пешком. И все-таки он еще был далеко от Мемфиса. Он начинал понимать – вот самое важное и, пожалуй, самое страшное, что произошло с ним за эти тридцать восемь лет: он забыл, что значит расстояние. Он забыл, как далеко один город может находиться от другого. А ведь теперь еще надо было что-нибудь есть. У него была всего-навсего одна десятидолларовая бумажка, которую ему выдали вместе с новым комбинезоном, с башмаками и шляпой при выходе из Парчменья, да еще три доллара семьдесят пять центов, оставшихся от тех сорока долларов, которые его родич Флем – да, их наверняка прислал Флем: после того как он наконец понял, что Флем не приедет помочь ему, даже никого не пришлет из Французовой Балки, и перестал кричать из окна тюрьмы всем прохожим, чтобы они сообщили о нем Флему, никто на свете, кроме Флема, да еще, может быть, кроме судьи, не знал, даже не интересовался, что с ним случилось, где он теперь, – прислал восемнадцать лет назад, перед тем как засадить в тюрьму Монтгомери Уорда, чтобы тот подговорил его бежать в женском платье и шляпке, а его, конечно, поймали, дали ему еще двадцать лет. Маленькая, тесная лавчонка с аккуратно разложенными

товарами, сплошь оклеенная разными рекламами, ютилась за бензоколонкой, у самой дороги; разбитая, вся в пыли и грязи, машина стояла тут же, а в лавке никого, кроме хозяина и молодого негра в совсем изношенной военной форме. Он спросил хлеба и вдруг – почти через сорок лет – вспомнил сардинки, вкус сардин, – разок можно было истратить лишний никель, но тут в испуге, в недоверии, – на минуту он усомнился, что расслышал правильно, – он узнал, что коробка стоит теперь двадцать три цента, та маленькая плоская тяжелая жестянка, которую всю жизнь до Парчмена он мог купить где угодно за пять центов, – и, пока он стоял в недоверчивом испуге, хозяин лавочки поставил перед ним другую жестянку и сказал:

– Эту можете взять за одиннадцать.

– А что это? – спросил он.

– Тушенка, – сказал хозяин.

– Что еще за тушенка? – сказал он.

– Не спрашивайте, – сказал хозяин. – Ешьте, и все. Что там купишь за одиннадцать центов?

И вдруг он увидел у стены напротив поставленные друг на друга ящики с газированной водой, и что-то страшное случилось с его ртом и горлом: вдруг брызнула, потекла жидкая слюна, словно тысячи муравьев кусали его от гортани до самого желудка; и с каким-то недоверчивым испугом, твердя про себя: «Нет! Нет! Небось стоит четверть доллара!» – он услышал собственный голос:

– Пожалуй, возьму вон то.

– Весь ящик? – спросил хозяин.

– А одну бутылку нельзя? – сказал он, торопливо считая в уме: «Там бутылок двадцать. Все десять долларов уйдут. Может, это для меня спасение». Но когда хозяин открыл и поставил перед ним холодную запотевшую бутылку, он даже не успел сказать себе: «Надо скорей взять в рот, пока не знаю, сколько стоит, а то не смогу выпить», – как его рука уже сама взяла бутылку, и уже наклонила, уже засунула горлышко чуть ли не силой в рот, и первый глоток обжег холодом, слишком быстро, не дав почувствовать вкус, пока он не смирил, не сдержал этот позыв, эту страсть, чтобы ощутить вкус и увериться, что ничуть не забыл его за все тридцать восемь лет: только забыл, какое наслаждение допить бутылку медленными, сдержанными глотками и уж тогда отнять ее от губ и в страхе услышать свой голос: «Дайте еще одну», – и хотя про себя он твердил: «Нельзя! Нельзя!» – но сам стоял совершенно спокойно, совершенно неподвижно, пока хозяин открывал вторую запотевшую бутылку, а потом взял ее, тихо закрыл глаза и выпил медленно, до дна, а потом отделил одну долларовую бумажку в кармане, где лежали еще две по доллару (десятидолларовая была аккуратно завернута в газетную бумагу и приколоты изнутри английской булавкой к нагрудному кармашку комбинезона), и положил этот доллар на прилавок, никуда не глядя, в ожидании, что хозяин спросит еще доллар, а может, и два, но тот бросил на прилавок

шестьдесят восемь центов мелочью и взял доллар.

А две пустые бутылки так и стояли на прилавке у всех на виду, и он торопливо подумал: Если б можно было взять сдачу и выйти, пока он не заметил, – но это было невозможно, это была слишком опасная игра, он не смел, ему некогда было идти на риск, либо отдать два доллара, либо – крик, прыжок через прилавок, запертая дверь, пока шериф не придет за ним опять. И он сказал, не трогая сдачи:

– Вы газировку не посчитали.

– Что такое? – сказал хозяин. Он рассыпал сдачу по прилавку. – Консервы – одиннадцать, хлеб... – Он остановился и вдруг снова смел все монеты в кучу. – Откуда вы, говорите, приехали?

– Ничего я не говорил, – сказал Минк. – Издалека еду.

– И давно тут не были, верно?

– Верно, – сказал он.

– Ну, спасибо, – сказал хозяин. – Я и вправду забыл про эту кока-колу. Проклятые профсоюзы, из-за них и кока-кола подорожала, не подступишься. Вы две выпили, так? – Он взял из сдачи полдоллара и пододвинул ему остальное. – Не знаю, что народ будет делать, если их не остановят. Придется этих проклятых демократов по шапке, не то и вовсе обнищаем, дойдем до богадельни. Куда, сказали, едете? В Мемфис?

– Ничего я не сказал, – начал было он. Но хозяин уже заговорил или продолжал разговор с негром, уже подавал негру откупоренную бутылку воды.

– Это за мой счет. Ну-ка, бери свою машину и доведи его до перекрестка, там его скорее подвезут, может, кто завернет с шоссе.

– Да я еще не собирался ехать.

– Врешь, собирался, – сказал хозяин. – Жалко тебе лишних полмили сделать, что ли? А времени у тебя хватит. И не появляйся тут, пока не съездишь. Вот так, – сказал он Минку. – Там вас скорее подвезут.

И он поехал дальше в разбитой, забрызганной грязью машине; на одну секунду негр покосился на него и сразу отвел глаза.

– Откуда это вы приехали? – спросил негр. Он не ответил. – Из Парчмена, а? – Машина остановилась. – Вот и перекресток, – сказал негр. – Может, кто вас подвезет.

Минк вылез из машины.

– Премного благодарен, – сказал он.

– А вы ему уже заплатили, – сказал негр.

И опять он пошел пешком. Главное, подальше бы от всяких лавок, нельзя больше никуда заходить. Если бы бутылка стоила доллар, это было бы для него запретом, за этот предел его никакое искушение, никакая слабость не могла бы увлечь, тут бы ему ничто не грозило. Но бутылка стоила всего четверть доллара, а у него на руках было целых двенадцать долларов, – значит, надо сначала доехать до Мемфиса и купить револьвер, иначе никак нельзя предугадать, не поддастся ли он вдруг искушению: уже сейчас, выходя из лавчонки,

он себе говорил: «Будь человеком. Будь же человеком. Ты должен быть человеком, у тебя дело есть, опасное дело», – и уже на ходу, выйдя из лавки, он почувствовал, как его прошибает пот, и он не то что задыхается, но старается перевести дух, словно путник, который нечаянно попал в тайное логово, в объятия Мессалины или Семирамиды и, вырвавшись оттуда, все еще потрясен своей дерзостью, все еще никак не может опомниться, понять, как это ему удалось выскочить живым.

И тут он открыл еще одну вещь – все двадцать с лишним лет до тюрьмы и все тридцать восемь последних лет он всегда ходил по мягкой земле. Теперь он шел по асфальту, и у него не только ныли ноги, но боль пронизывала насквозь все кости, все мышцы, до самого черепа; наконец он нашел лужу чистой воды в пожухлом редком бурьяне у канавы и, сняв негнущиеся новые ботинки, выданные вместе с комбинезоном, сел, опустил ноги в воду и стал жевать консервы с хлебом, думая: «Нельзя мне распускаться. Может, и заходить туда нельзя, где этим торгуют», – думая, в сущности, без огорчения, но неуклонно, непоколебимо: «Наверно, придется за него отдать все десять долларов, а то и больше. Значит, остается всего три доллара восемьдесят пять центов, а я уже восемьдесят два из них потратил», – и тут он остановился, вынул горсть монет из кармана, аккуратно разложил их на земле около себя; у него было три бумажки по доллару и мелочи на восемьдесят пять центов, и он, медленно пере-

считав эти восемьдесят пять центов – полдоллара, двадцать пять центов и два никеля, – отложил их в сторону. Он отдал лавочнику одну из долларовых бумажек; и лавочник дал ему сдачи – хлеб стоил одиннадцать, консервы одиннадцать, значит, всего двадцать два цента, потом лавочник взял еще полдоллара за воду, а всего семьдесят два цента, значит, должно было остаться двадцать восемь центов; он снова пересчитал сдачу – монету за монеткой, потом отдельно те деньги, что отложил в сторону, чтобы еще раз себя проверить. И все-таки сдачи получалось всего восемнадцать центов, вместо двадцати восьми. Десять центов пропало. А ведь консервы стоили всего одиннадцать центов, он это помнил, потому что об этом был разговор. «Значит, хлеб подорожал, наверно, хлеб. На целых десять центов подорожал, тут же, на глазах, – подумал он. – А если хлеб мог подскочить сразу на десять центов у меня на глазах, так, может, и револьвера мне не купить даже за все тринадцать долларов. Значит, надо где-то пристроиться, найти работу».

По шоссе густо шли машины, они шли очень быстро, большие легковые машины, совсем новые, и грузовики, громадные, как вагоны, не было пыльных «пикапов», которые подвезли бы его, только машины богачей, а они мчались так, что не могли заметить одинокого человека в комбине зоне. А может, и того хуже: наверно, они, огромные, быстрые, сверкающие, затерли бы ту, что остановилась ради него; больно им надо, чтобы он путался у них под колесами в Мемфисе.

Но, в общем, это было неважно. Пока что Мемфиса и не видно. Теперь даже нельзя было сказать, скоро ли он его увидит, и он думал: «Может, еще понадобится долларов десять, если не больше, пока я дойду до того места, где их продают». Во всяком случае, надо было добраться до Мемфиса поскорее, пока еще все можно сделать, пока ничто не помешало; во всяком случае, когда он доберется до Мемфиса, все его тринадцать долларов и три центра должны быть целы, сколько бы ему ни пришлось выложить, чтобы попасть в город. Значит, надо добыть еще денег, раз он даже не может поручиться, что не зайдет в лавочку, где продают газированную воду. «Значит, надо где-то остановиться и попросить работы, а я в жизни ни у кого еще работы не просил, может, я и не сумею, – думал он. – Значит, пропадет, по крайней мере, день, а то и больше, – подумал он спокойно, все еще не отчаиваясь, – слишком я стар для этого; не стоило бы в шестьдесят три года ввязываться в такое дело», – и это он подумал, не отчаиваясь, по-прежнему непоколебимый: «Нет, раз уж пришлось ждать тридцать восемь лет, подожду еще день-два, а то и три, ничего мне не сделается».

Женщина была плотная, но не жирная и вовсе не старая, довольно Строгая с виду, в линиях, но очень чистом платье, она стояла в узком замусоренном дворике и обрывала засохшие плети выюнка с ограды.

– Вы не из духовного звания? – спросила она.

– Мэм? – сказал он.

– Вы похожи на проповедника.

– Нет, мэ, – сказал он. – Я не здешний.

– Какую работу можете делать?

– Ту, что вы делаете. Я вам двор вычищу.

– А еще?

– Я фермером был. Все могу делать.

– Наверно, вас сначала накормить надо, – сказала она. –

Ну, ладно. Все мы божьи твари. Оборвите-ка сначала эти плети. А грабли возьмете за кухонной дверью. И помните, я за вами следить буду.

Может, она и следила за ним из-за оконной занавески. Трудно сказать. Да ему и дела не было. Но, как видно, она все время следила, потому что вышла на крохотную веранду, как только он снес в кучу последнюю охапку листьев, показала ему, где тачка, дала три спички и смотрела, как он отвез сушняк на пустырь рядом с домом и поджег всю кучу.

– Поставьте тачку и грабли на место и ступайте на кухню, – сказала она.

Он пошел на кухню – плита, раковина, холодильник, у накрытого стола стул, на столе тарелка скверно сваренных овощей с кусками сероватого сала, на блюдечке два ломтика покупного хлеба и стакан воды; он постоял, не двигаясь, спокойно опустив руки и глядя на стол.

– Брезгуете, что ли? – спросила она.

– Не в том дело, – сказал он. – Я не голодный. Мне деньги нужны на дорогу. Нужно добраться до Мемфиса, а там об-

ратно в Миссисипи.

– Будете вы обедать или нет? – спросила она.

– Да, мэм, – сказал он, – премного благодарен, – и под ее взглядом сел за стол, и тут она открыла холодильник, вынула оттуда початую консервную банку и поставила перед ним. В банке лежала половина персика из компота.

– Ешьте, – сказала она, выходя.

– Да, мэм, – сказал он. – Премного вам благодарен. – Должно быть, она и сейчас откуда-то следила за ним. Он съел сколько мог (все было холодное), потом отнес тарелку, нож, вилку к раковине, чтобы вымыть, но тут она вдруг вернулась на кухню.

– Я сама, – сказала она. – А вы идите по дороге, четыре мили. Подойдете к почтовому ящику, там написано: «Брат Гудихэй». Читать умеете, а?

– Найду, – сказал он.

– Скажите, что Бесс Холком вас прислала.

Ящик он нашел, найти было необходимо. Он думал: «Надо найти», – думал, что, может быть, сумеет прочесть имя на ящике, просто потому, что прочесть необходимо, необходимо проникнуть в эти непонятные иероглифы, и думал, стоя перед металлическим ящиком со словами «Бр. Д.С.Гудихэй», не написанными, а выведенными краской, не то чтобы неряшливо, небрежно, но как-то нетерпеливо, с каким-то диким, яростным нетерпением, думал еще прежде, чем понял, или, во всяком случае, когда уже понял, что его кто-

то зовет: «Может, я всегда умел читать, но никогда не знал, пока вот не пришлось». Но тут он услышал голос и в маленьком, дико запущенном дворике увидел деревянный домишко с малюсенькой терраской, а на ней человека, который махал ему рукой и кричал: «Сюда, сюда! Заходите!» – худого, проворного, лет под сорок, с холодными бегающими глазами и длинной верхней губой, как у стряпчего или уличного оратора, и длинным подбородком – такими изображали на старинных карикатурах пуритан, – и тот ему сказал:

– Черт, да вы проповедник?

– Нет, – сказал он, – я не здешний. Хочу добраться до...

– Ладно, ладно, – сказал тот. – Идите кругом, я вас встречу, – и сразу скрылся в доме. Он, Минк, пошел вокруг дома на задний двор, еще больше запущенный и захламленный, и тут стоял еще один дом, даже не разрушенный, а просто завалившийся – груда бревен, стропил, оконных рам, дверей и неразобранных кусков перегородок, а среди этого навала двигался или стоял внушительного роста человек, примерно одних лет с Минком, хотя на нем была форменная куртка английского образца, а погоны дивизии, тоже не существовавшей до войны, а когда Минк показался во дворе, этот человек стал торопливо стучать топором по наваленным тут же доскам; он еле успел за это взяться, как с грохотом отворились двери домика и тот, первый, вышел с пилой в руках; только теперь Минк увидел козлы и горку напиленных досок.

– Вот, – сказал первый человек, подавая Минку пилу. – Все крепкие куски откладывай. Гвоздей не гни, вытаскивай аккуратно. Распили все обломки на ровные куски. Папаша тебе покажет. А я буду в доме. – И он тут же ушел в дом; даже двери, едва он их выпустил из рук, сердито захлопнулись, как будто, проходя, он их втянул за собой.

– Значит, и тебя подловили, Мак? – сказал человек в военной куртке (видно, это и был Папаша).

Минк ничего не ответил. Он только сказал:

– Это и есть сам преподобный?

– Это Гудихэй, – сказал старик. – Не слышал, как он проповедует, но, даже если он и рта не откроет, все равно он, наверно, проповеди читает лучше, чем стряпает. Что ж, кому-то надо же пересушивать лепешки. Говорят, от него жена сбежала с одним сукиным сыном, разносчиком каким-то, когда он еще на Тихом океане воевал. Все они тут этим занимались, да, как я примечаю, и сейчас не бросили, хоть на войну уже сваливать нечего. Ну и черт с ним, я всегда говорю – было бы болото, лягушки найдутся, одна ускачет, другая сядет. Значит, и тебя подловили, а?

На этот раз он ответил:

– Мне в Мемфис надо попасть, а потом обратно в Миссисипи. Я и то задержался. Надо бы сегодня к вечеру двинуться. Сколько он платит?

– Мало ли чего тебе надо, – сказал тот. – Я тоже дня три назад так думал: заработаю доллар-другой и двину дальше.

Но ты тут церковь строишь, голова еловая. Давай надеяться, что этот черт напроповедует хоть чего-нибудь, нам денег не видать, пока он их не соберет в воскресенье.

– В воскресенье? – сказал он.

– Ну да, – сказал тот. – Сегодня четверг, так что считай сам.

– В воскресенье, – сказал он. – Это же еще три дня.

– Правильно, – сказал тот. – В здешних местах воскресенье всегда наступает на третий день после четверга. У них обычай такой.

– А сколько мы получим в воскресенье?

– Может, доллар наличными, ты же работаешь на господа бога, а не на мамону, не ради денег. Но тут, по крайней мере, тебя кормить будут, спать положат.

– Не могу я так долго работать за один доллар, – сказал он. – Времени нет.

– А может быть, и больше дадут. Я слышал, у него кое-что есть. Во всяком случае, он собирать умеет. Говорят, он служил в морской пехоте, сержантом на десантной барже, в Тихом океане, да вот японский бомбардировщик спикировал прямо на них, и все попрыгали в воду, пока бомба не попала, а один молокосос не то сдрейфил, не то зацепился и никак прыгнуть не мог, наш же преподобный (только он тогда еще не был верующим, это с ним случилось через несколько минут) полез на баржу обратно, чтобы отцепить того, а тут вся баржа взорвалась к чертям собачьим, и их обоих, и препо-

добного, и того молокососа, сразу потянуло на дно, и вот тут-то преподобный отцепил этого второго и сам с ним всплыл наверх. За это он будто бы и получил медаль, это так официально считается или, по крайней мере, так считает он сам и его паства, – как я слышал, к нему все больше ходят бывшие солдаты, или их жены, или всякие девки, которых они трахнули без венца, больше все молодые, но есть и старики, их, так сказать, попутно сюда втянуло, может, они – родители тех ребят, что на войне убило, а может, они вроде этой самой сестры Холком, что тебя подловила там, на шоссе, она-то, наверно, ни разу не подтаяла как следует, чтобы завести ребятенка, и вообще спаси господи ее мужа, ежели он только у нее есть; эту никто не втягивал, она сама прицепилась к автобусу, благо проезд бесплатный... – Он остановился. – Нет, знаю, зачем она сюда ходит: послушать, как он забористо выражается, когда проповедует, или как это у них там называется. Так про что я рассказывал? Да, про эту самую баржу. Сам преподобный так рассказывает, что он уже лежал себе тихо и спокойно, мертвый на дне Тихого океана, отвоевался наконец, и вдруг сам Иисус Христос очутился перед ним и говорит: «Встань!» И он встал, а Иисус говорит: «Смирно! Налево кругом!» – и тут же его прикрепили на постоянную работку сюда, поближе к Мемфису, в штат Теннесси. Да, что-то в нем есть такое, что ему помогло завербовать целое стадо прихожан для своей новой церкви, теперь им даже новое помещение понадобилось. И будь я проклят, ведь он и плотни-

ка заполучит, чтоб сколотить эту ихнюю будку. Что он тебя спросил, когда увидал?

– Как? – сказал Минк.

– Ну, что он сказал, когда посмотрел на тебя?

– Он сказал: «Черт, да вы проповедник».

– Вот видишь? Он оплел бог знает сколько народу, разослал по всему штату, велел искать такие дома, где бы уж никто не сидел на крыльчке, велел разбирать их и стаскивать сюда, а уж тут разделявать на доски, вот как мы с тобой. Только нет у него пока что настоящего плотника, чтобы сколотить им церковь. Потому что хорошие плотники все члены профсоюза, им каждый день выкладывает деньги на бочку, а его на это место назначил сам Иисус Христос, он деньгами не интересуется, особенно, когда их надо выкладывать. Вот он и его приспешники ловят всех, кого можно, по дороге сюда, как эта сестра Холком, та, что тебя заарканила, ловят и просеивают, все ищут.

– Просеивают?

– Ну да. Как муку. Пропускают народ через этот задний двор, пока не заполучат такого, чтоб сумел сколотить им церковь, а наше дело готовить побольше досок, и бревен, и оконных рам. Ну, давай-ка возьмемся за работу. Правда, я не заметил, чтобы он за нами шпионил из-за занавески, но все же с отставным сержантом морской пехоты, будь он хоть сто раз проповедником, шутить не стоит.

– Значит, мне и уйти нельзя?

– Как нельзя? Можно. Иди хоть на все четыре стороны. Но денег ты не получишь, пока они сбор не проведут, в воскресенье. Уж не говорю, что тебя тут и спать положат, и так называемым ужином накормят, если, конечно, ты не станешь нос воротить.

Вообще-то в этом доме ни ставен, ни занавесок не было, так что подсматривать, казалось бы, неоткуда. А когда он внимательно разглядел весь этот дом, ему почудилось, что это тоже временка, вроде того неопишуемого навала стен, дверей и окон, среди которых работал он и его сотоварищ: казалось, весь дом сколочен наспех и еле держится; и пока медленно рос штабель отобранных досок и куча растопки, напиленной из бракованных кусков, Минк иногда слышал, как проповедник расхаживает по домику, и думал: «Если он там, в доме, сочиняет проповедь, так похоже, что он на это тратит не меньше сил, чем если бы он седлал мула». Солнце уже садилось, и он подумал: «Наверно, заработано не меньше полдоллара. Надо получить. Надо получить. Надо идти дальше. Не могу я дожидаться воскресенья», – но тут дверь домика дернулась, распахнулась, и проповедник сказал:

– Ну, все. Ужин готов. Заходите.

Он пошел вслед за Папашей. Никто и не заикнулся насчет умывания.

– Я уж лучше... – начал Минк. Но было уже поздно. Они очутились в кухне, не то что спартанской, а просто заброшенной, как старый летний барак для туристов где-нибудь в

пригородном парке, с плитой – он про себя называл ее «автоматической», потому что никогда в жизни не видел ни газовых, ни электрических плит, пока не попал к миссис Холком. Гудихэй стоял перед плитой в свирепом молчании, окруженный злобным шипением стряпни. Минк опять начал было. – Я уж лучше... – Но тут Гудихэй отошел от плиты с тремя мисками, в которые было наляпано что-то подгорелое; на эмалированной поверхности оно имело столь же странный, неуместный и несъедобный вид, как коровья лепешка. – А я уж поел, – сказал Минк. – Я лучше пойду.

– Что? – спросил Гудихэй.

– В Мемфисе меня дело дожидается, – сказал он. – Мне обязательно надо вечером двинуться.

– Значит, вам сейчас и деньги платить? – сказал Гудихэй, ставя миски на стол, где уже стояла громадная бутылка томатного соуса, тарелка нарезанного хлеба, сахарница и банка сгущенного молока с продырявленной крышкой. – Садитесь, – сказал Гудихэй, отходя к плите, где Минк уже носом учуял кофе, перекипавший через край с тем же яростным нетерпением, с каким шипело мясо на сковородке, грохнулись доски во дворе и разлетались буквы на почтовом ящике; но тут Гудихэй поставил три чашки кофе и опять сказал: – Садитесь. – Папаша уже сел. – Я сказал, садитесь, – повторил Гудихэй. – Деньги получите в воскресенье, после сбора.

– Некогда мне ждать, долго очень.

– Ладно, – сказал Гудихэй, поливая соусом еду. – Сначала поужинайте, ужин вы уже заработали. – Он сел. Те двое уже ели. Гудихэй сразу все съел, вставая, положил вилку и, еще дожевывая, хлопнул дверью (Минк не разобрал, что на ней внутри висела каска в маскировочной сетке, какие носила морская пехота на тихоокеанском фронте, потому что он в это время смотрел на приклад пистолета-автомата, торчавший из-за широкого пояса под каской) и вынул из холодильника, стоявшего за дверью, банку консервированного компота – половинки персиков, – поставил банку на стол, точно и беспристрастно разделил сироп с персиками, разлив его в жирные миски, и компот тоже был съеден, причем Гудихэй и тут доел раньше всех; за все время, что Минк его видел, он впервые сидел абсолютно неподвижно, будто спал, дожидаясь, пока те двое кончат есть. Потом сказал: – Делай уборку! – и сам первый подошел к раковине со своей миской, чашкой и ложкой, вымыл их под краном, потом посмотрел, как те двое вслед за ним вымыли посуду, вытерли и поставили на полку. Потом он сказал Минку: – Ну как? Уйдете или останетесь?

– Придется остаться, – сказал Минк. – Мне деньги нужны.

– Ладно, – сказал Гудихэй. – Становись на колени, – и сам встал первым, а за ним и они, прямо на кухонный пол, под колючим смутным светом единственной голой и тусклой лампочки, свисавшей с провода, и Гудихэй стоял на коленях, но голову не склонил и, даже не прикрыв kloкочущие холо-

дом глаза, проговорил: – Спаси нас Христос, несчастных сукиных детей, – после чего поднялся и сказал: – Все. Свет тушить. Грузовик придет в семь часов.

Это была, в сущности, не комната, а кладовушка, чуть побольше шкафа. Одно оконце, дверь, ведущая в дом, с потолка свисает одна лампочка, на полу тонкий тюфяк, покрытый брезентом, но ни подушек, ни одеял, вообще ничего: Гудих-эЙ придержал двери, пока они входили, потом закрыл. Они остались одни.

– Ну, давай, – сказал Папаша. – Пробуй!

– Чего пробовать? – спросил Минк.

– Дверь. Он нас запер. Нет, выйти ты можешь когда угодно, окошко не заперто. Но дверь ведет в дом, а ему никак не хочется, чтоб мы, будущие плотники, обшарили на прощание его хазу и смылись. Хотя ты теперь на господа бога работаешь, балда, но командует тут парадом сержант морской пехоты. – Он зевнул. – Но ты-то хоть получишь свои два доллара в воскресенье, а то и три, если он сегодняшней день засчитает. А в придачу еще и проповедь услышишь. А это стоит трех долларов. Знаешь, бывают такие редкие издания, за которые берут в десять раз дороже, потому что их выпускают всего каких-нибудь две-три штуки. – Он подмигнул. – А почему? Потому! Долго он не продержится. – Он опять подмигнул Минку. – Никто этого не допустит.

– Значит, мне мои два доллара не отдадут? – сказал Минк.

– Нет, нет, – сказал тот. – Я про здешних жителей, кого он

еще не обратился, они больше этакое не потерпят. Про тех, кто эту проклятую войну терпел все четыре с лишним года, кто про нее забыть хочет. Они пять лет бедовали, разорялись, лишь бы от этой войны избавиться, а только они собрались зажить по-старому, по-мирному, является, черт их подери, кучка горлопанов, бывших солдат, отъелись на пенсии, сукины дети, и такое развели, словно все то, отчего война началась, не только раньше было, но и теперь продолжается, да так и будет продолжаться, пока кто-то чего-нибудь не сделает. Вся ихняя шайка – неплательщики, они, наверно, скорее бы голосовали за Нормана Томаса, чем за Рузвельта, я уже не говорю про Трумэна, а теперь, в тысяч девятьсот сорок шестом году, хотят тут своими силами Христа воскресить. Так что, сам понимаешь, может, и стоит потерять три доллара, чтобы этого Гудихэя напоследок послушать на свежем воздухе, а то, чего доброго, придется ему проповедовать, а нам слушать через тюремную решетку. – Он снова зевнул во весь рот, снимая военную куртку. – Что ж, книжки у нас тут нет, почитать на сон грядущий нечего, значит, только и остается, что лечь спать.

Они легли. Свет потух. Минк лежал на спине, тихо дыша, сложив руки на груди. Он думал: «Наверняка не меньше трех долларов. Наверняка и сегодняшней день засчитают», – думал: «Но с воскресеньем, выходит, три дня пропало, даже если мне добраться до Мемфиса в воскресенье после расчета, там уже все лавки, где его можно купить, закры-

ют до понедельника», – думал: «Как видно, придется подождать три дня», – и с огорчением: «Все равно ничего не придумаешь», – и тут же почти сразу уснул спокойным крепким сном, и уже было совсем светло, когда он очнулся; некоторое время он лежал спокойно, прежде чем понял, что остался один. После ему казалось, что, осознав, что стряслось, он еще минуту лежал тихо и спокойно, все еще лениво вертя в руке английскую булавку, которая лежала расстегнутая у него на груди: но тут он вскочил, сел и, даже не видя, что окно открыто и ставня болтается, уже неистово рвал из нагрудного кармана сверток газетной бумаги, где была приколоты десятидолларовая бумажка, и вместо проклятий и ругани у него выходило только жалкое повизгивание, и он стучал кулаком в запертую дверь, пока ее не распахнул Гудихэй, сразу увидевший раскрытое окно.

– Ограбил, значит, сукин сын, – сказал Гудихэй.

– Десять долларов взял, – сказал Минк. – Поймать его надо. Пустите!

– Погодите, – сказал Гудихэй, все еще загораживая двери, – сейчас его уже не поймать.

– Надо! – сказал он. – Мне эта десятка нужна.

– Вам она нужна, чтобы до дому добраться, так, что ли?

– Да, – сказал он и снова выругался. – Я без нее никуда.

Пустите же!

– Давно дома не были? – сказал Гудихэй.

– Тридцать восемь лет. Скажите, куда, он, по-вашему, по-

шел?

– Погодите! – сказал Гудихэй, не двигаясь. – Ладно, постараюсь, чтобы вы в воскресенье получили эти десять долларов. Стряпать умеете?

– Могу жарить мясо, яичницу, – сказал Минк.

– Ладно. Готовьте, завтрак, а я нагружу машину. Пошли, – Гудихэй показал ему, как зажигать плиту, и ушел; а он долил вчерашний кофе водой, по привычке, как доливал всегда, пока гуща не теряла всякий запах и цвет, потом нарезал сало, по той же привычке посыпал его мукой на сковородке, достал яйца для яичницы и, постояв у открытой двери, отошел и стал сосредоточенно смотреть на висевший под каской автомат в тяжелой кобуре, думая спокойно: «Взять бы мне его дня на два, тогда и десять долларов не понадобилось бы», – думая: «Ограбил меня запросто, слова не сказал, почему же и я теперь не имею права грабить? Уж не говорю, что мне эти десять долларов позарез нужны, во сто раз, в тысячу раз нужнее, чем какому другому человеку», – думая уже совсем спокойно, мирно: «Нет, никогда я не воровал. Никогда я до этого не доходил, воровать я никогда не стану».

Когда он подошел к двери, чтобы кликнуть Гудихэя завтракать, тот еще с каким-то человеком уже сложили в грузовик целые перегородки и отдельные доски, потом, сидя на этой груде досок, он снова ехал по шоссе к Мемфису; он даже подумал: «Может, они проедут до самого Мемфиса, и будь у меня десять долларов...» – но потом перестал думать

и просто тряся в кузове, пока грузовик не свернул на боковую дорогу; сначала подъезжали, потом въехали и дальше уже ехали по чьим-то владениям, угодьям, плантациям – по бескрайним хлопковым полям, где еще белел хлопок в ожидании сборщиков, потом повернули по проселку через поле и подъехали к заросшему ивняком затону, где стоял еще один «пикап», тоже с грузом разобранных перегородок, и рядом трое или четверо мужчин, чем-то до странности похожих на Гудихэя и водителя его, вернее, их грузовика; он, Минк, не мог сказать, чем именно похожих, и даже не думал об этом: не присматриваясь, он просто заметил еще одну военную куртку, потом, тоже не присматриваясь, увидел канат, обтянутый прямоугольником меж вбитыми кольями и обозначающий место, где собирались строить; и тут они разгрузили доски, и Гудихэй сказал:

– Ладно, вы с Альбертом можете отправляться за следующим грузом.

Теперь он ехал в кабине назад, в приход, или как оно там называлось, где они с Альбертом еще раз нагрузили «пикап» и опять поехали к затону: к этому времени при стольких рабочих руках – если все четверо работали так же быстро, как Гудихэй, – там должна была уже вырасти целая стенка. Но вместо этого ни второго грузовика, ни Гудихэя, ни отмеченного вешками и канатом участка там не оказалось, и только трое мужчин спокойно сидели возле кучи досок и бревен.

– Что такое? – спросил Альберт.

– Ага, – сказал один из сидящих. – Передумал.

– Как? – сказал Минк. – Кто передумал? Мне ехать надо.

Я и то опаздываю.

– Хозяин участка, – сказал Альберт. – Сначала разрешил поставить тут молельню. Да кто-то заставил его передумать. Может, банк, который держит на него закладную. Может, Легион.

– Какой Легион? – сказал Минк.

– Американский легион. Что хотят, то и делают, как в восемнадцатом году. Не слышал никогда, что ли?

– А где преподобный Гудихэй? – спросил он. – Мне надо уезжать.

– Ну, ладно, – сказал Альберт. – Всего!

И Минк остался ждать. Только после обеда второй грузовик подлетел на полном ходу, и Гудихэй соскочил с него прежде, чем он остановился.

– Ну, – сказал он. – Грузите. – И снова они поехали по мемфисскому шоссе, и «пикап» мчался вслед за грузовиком, чтобы не потерять из виду Гудихэя, мчался, как все машины по шоссе, а он думал: «Было бы у меня сейчас десять долларов, хотя мы, наверно, и на этот раз до Мемфиса не доедем». Они и не доехали. Гудихэй повернул, и они за ним, рискуя головой, иначе Гудихэй, ехавший впереди, потерял бы их в пустынном безлюдье; кончилась плодородная дельта, пошли выветрившиеся голые глинистые холмы и дальше сплошные унылые пустыри; Гудихэй остановился – пе-

ред ним была свалка, нагромождение ржавых остовов автомобилей, котлов, хлопкоочистительных машин, груды битого кирпича, куски бетона; но веши уже были заново вбиты, и канат натянут между ними тугим прямоугольником, а Гудихэй уже стоял около своего грузовика и, размахивая руками, звал их:

– Сюда! Приехали. Начинай.

Наконец-то началась настоящая работа. Но становилось поздно, полдня пропало, а завтра была суббота, то есть всего один полный день.

Но когда он попытался заговорить, Гудихэй сразу оборвал его:

– Я же вам сказал, что вы получите свои десять долларов в воскресенье. Чего же еще?

И насчет ужина Гудихэй тоже не распорядился. Он просто дернул, распахнул дверцу холодильника, выхватил откуда запачканную кровью бумагу с мясом и ушел из кухни. И тут Минк вспомнил, что он когда-то умел варить овсянку, и нашел крупу и подходящую кастрюлю. В этот вечер Гудихэй не запирали его; он, Минк, попробовал дверь, потом запер ее изнутри и лег спокойно на спину, сложив руки на груди, как покойник, пока Гудихэй не разбудил его, чтобы он поджарил бекон с яичницей. Грузовик уже стоял наготове, на этот раз собралось человек двенадцать, и уже можно было видеть, как будет выглядеть молельня (так они ее называли). Работали дотемна. Он сказал:

– Мне сегодня не холодно, могу тут пристроиться, вон под теми листьями толя, а завтра начну на рассвете, пока другие еще не...

– Мы по воскресеньям не работаем, – перебил Гудихэй. – Поехали.

Наступило воскресенье. Шел дождь, морозящий, неугомонный дождик ранней осени. Какой-то мужчина с женой заехали за ними, но уже не в «пикапе», а в легковушке, видавшей виды и порядком помятой. Снова повернули на перекрестке, дальше пошли уже не дикие пустыри, а просто ровная местность, и наконец некрашенная коробка здания, что-то где-то виденное до тех тридцати восьми тюремных лет подтолкнуло, подсказало. «Да это же негритянская школа», – подумал он, выходя на стоянке; пять или шесть таких же грязных, помятых легковых машин и «пикапов» и кучка людей ждали тут же, были люди постарше, но большинство – ровесники Гудихэя или чуть помоложе; снова он почувствовал в них что-то одинаковое, общее, помимо сходства в одежде: военные куртки, зеленые армейские плащ-палатки, одна военная фуражка со следами офицерской кокарды; за его спиной кто-то сказал; «Здорово», – это был Альберт, Минк узнал и эту мисс или миссис Холком, чей двор он чистил, а потом увидел высокую негритянку – уже немолодую женщину, сильно отощавшую, но все еще толстую. Он остановился не от удивления, а просто насторожившись.

– Вы сюда и черномазых пускаете? – удивился он.

– Эту пускаем, – сказал Альберт. Гудихэй уже вошел в дом. Теперь и остальные пошли за ним, толпясь в дверях. – Ее сын то же самое заработал, что и сыновья белых женщин, хоть на памятнике его имя рядом с ихними именами не написано. Видишь ту женщину в желтой шляпке? – Шляпка была грязная, но все еще броская, пальто когда-то было белым, тоже немного броским, и хозяйке шляпы и пальто можно было с виду дать лет двадцать пять, но сейчас она выглядела плохо, исхудавшая, хоть и не очень потрепанная. – Да, вот именно, – сказал Альберт. – Она и сейчас смахивает на потаскушку, но ты бы поглядел на нее прошлой весной, когда она явилась из того дома, на Католпа-стрит. Муж ее, лейтенант, командовал пехотным взводом, там, где япошки гнали нас из Азии, а мы отступали все скопом – австралийцы, англичане, французы из Индокитая – и даже ничего удержать не пытались, отрывали окопчики, когда темнело, и только успевали подобрать отставших и тех, кто прятался по окопам, а наутро – снова бежать, если только к утру хоть кто-нибудь оставался жив. А его взвод в ту ночь находился в дозоре, он в окопчике, его отделение в цепи, а тут этот черномазый подполз к нему с боезапасом. Понимаешь, он был новенький – я про негра. Он никогда япошек близко и не видел.

Представляешь, как это было: сидишь там, согнулся в три погибели, кругом вонь, непроглядная тьма, сидишь в вонючей мокрой яме, уши и глаза до того напряг, что вот-вот они у тебя вылетят из головы, как камешки, а кругом стре-

кочет что-то вроде кузнечиков в траве, только вдруг ты понимаешь, что никакие это не кузнечики, а вроде бы голоса, и стрекочут они про тебя по-английски: «На заре – помереть. На заре – помереть». А тут еще приползает этот черномазый с ручными гранатами, с автоматными дисками, и лейтенант велит ему лечь в окопчик, кладет его руку на спуск автомата и говорит: жди тут, пока я не вернусь, а сам ползет назад докладывать командиру, словом, куда-то смывается. Знаешь, как это бывает. Есть у человека предел. Он сам не знает, когда он до этого предела дойдет, но вдруг приходит минута, и он понимает, что теперь – все, что он уже кончился; конечно, всякому тошно станет, но тут никто не виноват, тут ничего поделать нельзя. В том-то и беда: заранее сам не знаешь, когда сдашь, заранее никто тебе не скажет – держись. А на войне особенно. Поневоле подумаешь, что нашей породе людской и не место на войне, раз мы такие слабые, верно? А уж если войны будут продолжаться, так надо бы изобрести что-нибудь покрепче людей, да их и посылать в драку. Словом, настает утро, заря и первая отрубленная голова, – может, ты с ним вчера еще последний паек делил, – летит прямо к нам в окоп, как будто кто бросает баскетбольный мяч. Видим, голова-то черная, того негра. А как же иначе? Вырос он, этот негр, на арканзасской плантации, а тут ему белый человек, да еще лейтенант, да еще с арканзасским выговором, приказывает: «Бери эту мотыгу, то есть эту винтовку, и жди тут, пока я не вернусь». А когда мы отогнали япошек

настолько, что можно было снова целый день спокойно прятаться от их налетов, наш лейтенант зашел за груды хвороста, что мы таскали за собой для костров... Да, странная штука эти джунгли. Весь день потеешь, даже ночью, глотка всегда пересыхает, воды-то в джунглях нет и не надейся, а выйдешь на солнце, не успеешь рубаху застегнуть, уже весь пошел пузырями. И начинает казаться, что, урони ты котелок или штык или даже ударь подкованным каблуком по корню, сразу искры посыплются, все кругом запылывает. А попробуй разжечь огонь. Ты только попробуй что-нибудь поджечь, увидишь, что это за мука. Ну, словом, наш лейтенант зашел за груды хвороста, где его никто видеть не мог, и сунул себе дуло револьвера в рот. Ясно, что теперь ее сюда пускают.

Уже все вошли в помещение, и он вспомнил, хоть и через тридцать восемь лет, как долго остается запах в комнате, где негров уже давно нет, – этот запах нищеты, и тайного страха, и терпения, и стойкости, а надежда слишком слаба, чтобы отбить этот запах, – и тут все присутствующие (он подумал, что, наверно, у них это называлось молитвенным собранием) расселись по скамьям без спинок, женщина в желтой шляпке на первой скамье, высокая негритянка, одна, на последней, и Гудихэй встал перед ними в конце комнаты, опираясь на доску, положенную на козлы, руки его лежали спокойно, кулаки были не стиснуты, а просто сжаты, и он выжидал, пока все затихнут.

– Ну, вот, – сказал Гудихэй. – Если кто думает, что доста-

точно ему усесться на свою корму и ждать, пока благодать сама на него снизойдет, вроде дождя или чего еще, так тому тут делать нечего. Надо крепко стать на ноги, искать ее, пока не поймаешь, а там уже держать покрепче, драться за спасение души, если понадобится. А не дождешься благодати, сам сотвори ее, черт подери! Сам сотвори себе благодать, спасение души. Так сотвори, чтобы и Он ее признал, заработай на нее право, держись за нее, дерись, если надо, но не выпускай из рук, хотя бы тут все летело к чертовой матери...

И тут мужской голос перебил его:

– Расскажи все сначала, Джо. Давай. Расскажи еще раз.

– Что? – спросил Гудихэй.

– Расскажи еще раз, – сказал мужской голос. – Давай!

– Да я же вам рассказывал, – сказал Гудихэй. – Вы же слышали. Не могу я все сначала объяснять.

– Нет, можешь, – сказал мужской голос; тут слышались и женские голоса:

– Можешь, Джо. Рассказывай! – А он, Минк, все смотрел на руки, не стиснутые, а просто сжатые, на клокочущие холодом глаза анахорета – глаза отшельника пятого века, глядящие в пустоту из своей месопотамской пещеры, – на тело, напряженное в неподвижности, словно в страшной натуге под тяжелым грузом.

– Ну, хорошо, – сказал Гудихэй. – Значит, лежу. Все в порядке. Раздолбали нас к чертовой матери, все нормально – пошли ко дну. Знаете, как в воде веса своего не чувству-

ешь, лежишь, а свет идет сверху, вроде как сквозь решетчатые ставни, когда они на ветру тихонько так дрожат, трясутся. Лежу себе, смотрю, как мои руки плывут в воде, мне шевелить ими не надо, а тени словно от решетчатых ставен по ним мелькают, подмигивают, и ноги мои тоже плывут, совсем вес потеряли, идти некуда, маршировать не надо, даже дышать не надо, даже спать не надо, ничего не надо, – словом, все нормально, пошел ко дну. И вдруг вижу: стоит Он надо мной, с виду обыкновенный лейтенантишка, прямо из окопов, ну, может, немного постарше, да еще на Нем ни пилотки, ни каски нет; стоит с непокрытой головой, тени по Нему бегают, а сам курит сигарету.

– Встань, солдат! – говорит.

– Не могу, – говорю. Потому что чувствую – пока не двигаюсь, все в порядке. А только захочу двинуться, только подумаю или попробую, сразу станет ясно – не могу. А какого черта мне двигаться? Мне и так хорошо. Отвоевался. Отдал концы, и все. Пусть они, б..., делают что хотят со своей б...ской войной, но только уж без меня.

– Раз! – сказал Он. – Ты только три раза имеешь право отказываться. Как же это ты, правофланговый, говоришь «не могу»? Тебя, наверно, называли бы правофланговым при Шато-Тьерри и при Сен-Мигеле. А есть у вас теперь в гвадалканалских частях правофланговые?

– Есть, – говорю.

– Ладно, правофланговый, – говорит Он. – Становись в

строй. – И тут я встал. – Вольно, – говорит Он. – Видал? – говорит.

– Да я думал – не смогу, – говорю. – Не верил, что встану.

– Правильно, – говорит Он. – А чего же нам от вас нужно? У нас полным-полно людей, которые знают, что могут, но ничего не делают, потому что, раз они знают, что могут, им ничего и делать не надо. А нам такие люди нужны, которые думают, что ничего не могут, и все равно делают. Тем, другим, и мы не нужны, в они нам без надобности. Я даже больше скажу: они нам и вообще ни к чему. Мы их в рай не примем, пусть у нас под ногами не болтаются. И если они для рая не годятся, так куда же они вообще годятся? Правильно?

– Правильно, сэр! – говорю.

– Можешь говорить «сэр», где хочешь – и тут и наверху. Это свободная страна. Всем на всех плевать. Ну как, пришел в себя?

– Да, сэр, – говорю.

– Смирно! – говорит Он. У меня даже глаза на лоб полезли от натуги, хоть я и стоял весь в грязи. – Налево кругом! – говорит Он. Наверно, Он ни разу и не видел, чтоб лучше выполняли команду. – Шагом марш! – говорит. Я уже шагнул было вперед, а тут Он опять командует: – Стой! – и я остановился. – Что же, ты его так и оставишь Тут? – сказал Он. По правде говоря, я совсем забыл про него, а од лежит себе тут тихо и смирно – этот гаденьш, который сдрейфил в самую неподходящую минуту, они всегда так, выпустил штур-

вал, хотел было нырнуть в трюм, из-за него-то вся эта каша и заварилась, нам еще повезло, что у него, у б..., не было этих б...ских погон, иначе он бы давно про...л нашу команду, всех бы сгубил.

– Не могу я его тащить, – говорю.

– Два! – сказал Он. – Ты уже один раз сказал «не могу», тебе осталось еще только один раз отказаться – и все. Ну и откажись, сразу разделаешься, и все.

– Не могу я его нести, – говорю.

– Отлично! – говорит. – Три раза отказался – и конец. Больше тебе не придется говорить «не могу». Ты – особый случай, тебе было разрешено три раза отказаться. А теперь вышел новый приказ, чтоб больше одного раза никто отказываться не смел. Ну-ка, неси его! – Я и понес. – Вольно, – говорит. Ну и все. Я же вам сказал, что этого не расскажешь. Было, и все. Этого не расскажешь.

И он, Минк, смотрел на них на всех отчужденно, не только непримиренный, но и непримиримый: без презрения, потому что он только ждал, без нетерпения, потому что даже если бы он очутился в Мемфисе сейчас, сию же минуту, в воскресенье утром в десять или одиннадцать, – словом, который там был час, – ему все равно пришлось бы дожидаться почти сутки, пока можно было бы предпринять следующий шаг. Он просто смотрел на этих людей: вон сидят две пожилые пары, явно мужья с женами, – как видно, фермеры, арендаторы, приехали они с хлопковых плантаций, зало-

женных-перезаложенных в банках или синдикатах, я с этих плантаций их сына три или четыре года назад призвали, в он далеко от дома отдал жизнь за них, а теперь они сидят тут, старые, слишком отчужденные, слишком старые для всего на свете, и нет примирения в их скудных, скупых слезах, похожих больше не на слезы, а на следы ожога; и никто из белых людей почти не обратил внимания, когда одиноко сидевшая негритянка встала с задней скамьи и пошла по проходу туда, где молодая женщина в грязной шляпке уткнулась головой в согнутую руку, как ребенок в припадке детского горя и отчаяния, и белые люди на скамье подвинулись, чтобы негритянка смогла сесть рядом с молодой белой женщиной и обнять ее; а Гудихэй все еще стоял, упершись сжатыми кулаками в доску, даже не закрывая холодных клокочущих глаз, и сказал точно так же, как говорил три дня назад в кухне, где они втроем стояли на коленях:

– Спаси нас Христос, бедных сукиных детей. – И тут Гудихэй посмотрел на него: – Слушайте, вы! – сказал Гудихэй. – Встаньте-ка! – Минк встал. – Вот он хочет попасть домой. Работал всего один полный день, но ему нужны десять долларов, чтобы попасть домой. Он тридцать восемь лет не был дома. Ему нужно еще девять монет. Как быть?

– Я ему дам, – сказал мужчина в офицерской фуражке. – Вчера выиграл тридцать четыре доллара в карты, пусть возьмет из них десятку.

– Я сказал девять, один доллар ему причитается, – сказал

Гудихэй. – Дайте ему десять, я дам доллар сдачи. Но ему сначала надо попасть в Мемфис. Кто-нибудь туда едет вечером?

– Я еду, – сказал второй человек.

– Хорошо, – сказал Гудихэй. – Кто будет петь?

Вот почему он снова увидел Мемфис в самых лучших, самых благоприятных условиях, особенно для человека, который там не был – сколько же это?.. Он тут же подсчитал. Женился он двадцати лет. До того он три раза выжимал, выди-рал немного денег у родственника, подобравшего его, когда он осиротел, и ничего не платившего за работу на ферме, и на эти деньги ездил в мемфисский бордель. Последний раз он там был в год женитьбы. Ему исполнилось двадцать шесть лет, когда его посадили в Парчмен. Вычсть двадцать долла-ров из двадцати шести – останется шесть долларов. Он про-был в Парчмене тридцать восемь лет. Шесть долларов плюс тридцать восемь долларов, получится сорок четыре долла-ра, значит, он увидел Мемфис через сорок четыре года и в самых изумительных условиях: вечером, когда темная зем-ля бежала рядом с обеих сторон, а впереди – уже шальные вспышка и россыпь неоновых огней, никогда не виденных доселе, а дальше – свет в низине, предвестник города, и он сидел на самом краю сиденья, как сидят дети, маленький, как подросток, уставившись на дорогу, по которой мчались ма-шины, вливались в сплошной сверкающий поток, и этот по-ток несся все быстрее, словно город издали уже притягивал, присасывал его; внезапно справа пролетел поезд, мелькнула

длинная вереница освещенных окон, мимолетная и призрачная, как сон; вдали показался перекресток, множество дорог скрещивалось, словно спицы гигантского темного колеса, лежащего на втулке, и по ним густо и неуклонно, как муравьи, шли автомобили и то, что, как ему объяснили потом, называлось автобусами, словно сама земля заторопилась, сдвинулась, домчалась вся в зеленых и рубиновых огнях в низкий отсвет на небе, в какое-то чудовищное, невообразимое наслаждение или счастье.

Уже сходящиеся дороги украсились большими круглыми фонарями, они сидели высоко в деревьях, как глухари на току.

– Скажите, когда подъедем, – попросил он.

– Куда подъедем? – спросил водитель.

– Подъедем к Мемфису.

– Да мы уже в Мемфисе, – сказал водитель. – Уже милю едем по городу.

И тут он понял, что если бы он все еще шел пешком, один, и не у кого было бы спросить, некому указать дорогу, то все затруднения начались бы именно тут, в самом Мемфисе. Тот Мемфис, который он видел сорок лет назад, уже не существовал, а он думал: «Слишком долго меня тут не было; а когда у человека такое дело, как у меня, и справляться надо одному, и у него ни черта нету, как вот у меня, а тут осталось пройти еще восемьдесят миль, такому человеку никак нельзя отсутствовать столько, сколько мне пришлось». В преж-

ние времена его непременно подвез бы кто-нибудь с Французовой Балки, а то вдвоем или втроем они поехали бы верхами на пахотных мулах до Джефферсона, с мешком кукурузы, притороченным ко взятому на время седлу, а там привязали бы мулов во дворе, за Коммерческой гостиницей, заплатили тамошнему негру по никелю с брата, чтобы кормил мулов, пока хозяева не вернуться, потом сели бы в поезд на товарной станции, а на пассажирском вокзале пересели бы на пассажирский поезд, который шел прямо в Мемфис, – там вокзал стоял почти что в самом центре города.

А теперь все изменилось. Четыре дня назад ему объяснили, что теперь поезда почти не ходят, я, даже если бы у него оказались лишние деньги на билет, он бы никуда не попал. Ему рассказали, что теперь повсюду пустили автобусы, но за все четыре дня он не видел ничего похожего на станцию, где можно было бы купить билет на автобус. Сорок четыре года назад от окраины Мемфиса можно было пешком дойти до центра за час, а теперь, по словам водителя, они уже с милу едут по городу и, однако, видят только слепящие отсветы в небе. И хотя он уже попал в Мемфис, но до того места, которое он помнил и разыскивал, ему, очевидно, еще так же далеко, как от лавки Уорнера до Джефферсона, хорошо, что его хоть подвезли на машине и водитель, в общем, знал, куда ему нужно, не то ему пришлось бы все десять долларов истратить на еду, бродя по Мемфису, пока он дошел бы до места, где можно купить револьвер.

Теперь машина крепко вклинилась в мчащийся поток других машин, мигающих, мелькающих, вспыхивающих разноцветными огнями; теперь все вокруг уже вспыхивало и ярко горело мириадами огней, звенело мириадами звуков. Вдруг стена мерцающих зеленых, красных и белых огней поднялась, прорезала ночь, он знал, чувствовал, что это такое, но из осторожности не стал спрашивать, внушая себе, шипя на себя: «Помни. Помни. Тебе никакого вреда не будет, лишь бы не проведали, что ты ничего не знаешь».

Значит, это и был город. Сначала он только встал ему навстречу, сверкающий, сплошной, выше звезд. Потом он поглотил его; налетел, наклонился, налег на него, как горячее дыхание, огромной бетонной громадой, страшной тяжестью, так что ему стало трудно дышать, ловить губами воздух. И тут он понял почему. «Тут сна не знают, – подумал он, – так давно без сна живут, что и совсем разучились спать, а теперь никак не останутся, не могут снова приучить себя ко сну». Машина, зажата крутыми громадами, ползла, останавливалась, снова ползла, подчиняясь равномерной смене и миганию разноцветных огней, похожих на светофоры железной дороги; наконец машина выехала из потока и остановилась.

– Вот автобусная станция, – сказал водитель. – Вам сюда надо, так?

– Спасибо, – сказал он.

– Отсюда автобусы идут во всех направлениях. Хотите, зайду с вами, наведу справки.

– Премного благодарен, – сказал он. – Все будет хорошо.

– Ну, тогда прощайте! – сказал водитель.

– Премного благодарен, – сказал он. – Прощайте.

Наконец-то он действительно попал на автобусную станцию. А вдруг стоит ему войти в помещение станции, и по ихним новым законам – он слышал еще в Парчмене, что теперь, по новым законам, человек не может даже напилить досок и сбить их гвоздями, если не заплатит деньги и не получит разрешения, не может даже хлопок выращивать на своей земле, если ему государство не разрешит, – вдруг его тут же заставят сесть на первый попавшийся автобус, куда бы он ни шел. Но надо было переждать, просидеть почти всю ночь, сейчас было совсем еще рано. На эти двенадцать часов он может стать еще одним безымянным прохожим среди тех смутных, безымянных лиц, которые теснились вокруг него, без конца, без счета, торопясь под разноцветными огнями, возбужденные, веселые, бессонные. И вдруг что-то произошло. Внезапно город завертелся, закрутился, стремительно, неуловимо, головокружительно, и так же внезапно затормозил, остановился, – и он сразу понял, где и как он проведет оставшиеся двенадцать часов. Надо было только перейти улицу по сигналу светофора, подчиняясь толпе, утонуть, исчезнуть в ней, а когда перейдешь, выбраться из толпы и снова остаться одному. Вот и то место – оно называлось Парк Конфедерации – прорезанная дорожками и газонами площадь, точно такая, какой он помнил ее, ряд скамеек вдоль каменного па-

рапета, где в пролетах приютились приземистые пушки времен Гражданской войны, а за парапетом – ощущение, запах реки; сюда сорок четыре, сорок пять и сорок шесть лет назад, истратив накануне половину денег в борделе и оставив вторую половину на последнюю ночь, после которой, кроме обратного билета в Джефферсон, в кармане ничего не осталось, сюда он приходил смотреть на пароходы.

Тогда у дамбы стояли суда с названиями вроде «Стэкэр Ли», или «Красавица Озарка», или «Королева Полумесяца», прибывшие из самого Каира или Нового Орлеана; они приходили и уходили у него на глазах, а по набережной стучали запряженные мулами и лошадьми повозки, орали грузчики, а кипы хлопка, машины, обшитые досками, и всякие мешки и ящики двигались вниз и вверх по трапу, и на скамьях у парапета теснились такие же зеваки, как он. А теперь скамьи пустовали и, даже когда он подошел поближе к каменному парапету, где стояли старые пушки, он ничего не увидел на реке, только широкую водную пустыню, только мокрый, темный холод, который шел оттуда, дышал на него с огромной пустой реки, так что пришлось сразу застегнуть бумажную куртку, надетую поверх бумажной рубахи: вокруг – ни звука, лишь неумолчный бессонный ропот города за спиной, ни движения, кроме крохотных машин, снующих вдали по мосту, ниже по реке, они спешат, их тянет в этот нестихающий гул страстей и веселья, в эту пену прилива, куда его, Минка, тоже когда-то занесло, закружило, а потом выбросило отту-

да, потому что его предали, вынудили надолго уйти от всего этого. А теперь он мерз даже тут, за старой пушкой, пахнувшей старым холодным железом, корчился в своей жесткой бумажной одежде, слишком новой и потому плохо прилегающей к телу, не греющей его. Скоро станет еще холоднее, хотя тут можно тихо и спокойно пересидеть оставшиеся двенадцать часов. Но он уже вспомнил другое место, оно называлось Корт-сквер, там его защитят от речной сырости высокие здания, только надо переждать немного, пускай те, что, наверно, сидят там на скамейках, захотят спать и разойдутся по домам.

Но когда он вернулся к свету и шуму, гуденье бетона, все еще не стихавшее, уже стало спадать, расплываться, как расплывается, подымаясь, дым или пар, и только где-то вверху, меж карнизов и выступов, остаются следы; случайные машины, пробежавшие мимо, еще сверкали разноцветными огнями, но казалось, они убегают в ужасе, в одиночестве, от одиночества. Тут было теплее. И вскоре он пристроился: кроме него – ни души; он выбрал удобную скамейку, лег, подтянув колени под застегнутую куртку, с виду не больше ребенка, такой же заброшенный, сиротливый, как вдруг что-то твердое застучало по его подошвам, а время – много времени уже прошло, ж ночь стала холодной и пустой. Рядом стоял полисмен; он узнал его даже через сорок четыре года, несмотря на все перемены и превращения.

– Опять небось из Миссисипи, черт подери, – сказал по-

лисмен. – Слушай, где остановился? Что? Спать негде? Вокзал знаешь? Иди туда, там за пятьдесят центов дают койку. Ну, ступай! – Но он не пошевелился, сиротливый, заброшенный, это верно, но жалости он вызывал не больше, чем скорпион. – О, черт, да у тебя, видно, ни гроша нет. Держи! – Полисмен вынул полдоллара. – Ну, марш! Вали отсюда! Смотри мне, я тут буду стоять, пока ты не уберешься!

– Премного благодарен, – сказал он. Полдоллара. Видно, у них теперь еще и такой закон появился. Он вспомнил, что и об этом слышал в Парчмене; называется не то пособие, не то как-то еще: то же самое правительство, которое не позволяет тебе сажать хлопок на твоей собственной земле, вдруг берется тебе помочь и выдает то тюфяк, то продукты, а то и наличными деньгами, только ты сначала должен присягнуть, что у тебя никакой собственности нет, а чтобы это доказать, надо перевести свой дом, или землю, или даже повозку с упряжкой на имя жены, или детей, или каких-нибудь родственников, которым можно доверять. И кто знает? Даже если подержанные револьверы и подорожала, как подорожало все, может, этих лишних пятидесяти центов за глаза хватит, не надо будет искать еще одного полисмена.

Однако второй полисмен сам нашелся. Вокзал был недалеко. По крайней мере, он-то ничуть не изменился: та же гулкая пустота перрона, через которую он проходил, когда приезжал из Джефферсона те три раза в Мемфис – в тот первый, незабываемый проезд (он уже высчитал: в последний раз он

тут был сорок четыре года назад, а в первый – еще на три доллара больше, то есть сорок семь лет назад), когда он сжимал в кулаке жалкую кучку выпрошенных горьких монет, а с ним приехал его наставник и проводник – от него он и узнал про те специальные дома в Мемфисе, где полно белых женщин и каждую можно заполучить, если у тебя есть деньги; до тех пор он только и знал бурные, случайные встречи, неукротимые, как рвота, когда он едва успевал с треском отстегнуть пуговицы, перед тем как опуститься в пыльную придорожную траву или на хлопковую стерню, где пряталась, поджидая его, невытая негритянская девчонка. Но в Мемфисе все было иначе, он и его проводник вышли на улицу, и весь город распростерся перед ними, чтобы принять их в себя, как в объятия, как в руки, и карман ему жег жалкий комочек денег, которые он выжал, вымучил из случайных заработков на передвижных лесопилках, из многомесячного хождения за плугом по неумолимой чужой земле, да еще свою долю из этих денег ему каждый раз приходилось силой отнимать у отца, драться с ним за каждый никель.

На вокзале было тоже тепло и почти пусто, но на этот раз полисмен растолкал его прежде, чем он успел уснуть. Полисмен был без формы, но он и таких знал.

– Я тебя спрашиваю, какого поезда ждешь? – спросил полисмен.

– Никакого поезда я не жду, – сказал он.

– Вот как, – сказал полисмен. – Тогда катись отсюда. Сту-

пай домой. – И тут же, как и тот, первый: – Тебе спать негде, что ли? Ладно, тогда иди, откуда пришел, хоть там в спать не на чем. Ступай, слышишь? Уходи! – И когда он не двинулся с места: – Я сказал – уходи! Чего ты ждешь?

– Чтобы дали полдоллара, – сказал он.

– Чего, чего? – сказал полисмен. – Дать пол... ах ты... – И тут он отскочил, пригнувшись, чтобы его не ударили, маленький, не больше мальчишки, так что человеку такого громадного роста, как полисмен, трудно было его сразу поймать в огромном зале... Он даже не бежал, он просто пошел так быстро, что полисмен не мог его схватить, но вместе с тем не имел и никаких оснований заорать «стой!», вышел с платформы на улицу, не оглядываясь, а полисмен остановился в дверях и крикнул ему вслед: – Чтоб я тебя тут больше не видал!

Теперь он ориентировался все лучше и лучше. За перекрестком был еще один вокзал, но там могло случиться то же самое; очевидно, полисмены, которые ходят в штатском, как все люди, не имеют никакого отношения к тем самым пособиям, что раздавали по новому закону. Да и ночь уже была на исходе; он это чувствовал. И он просто стал ходить тут же поблизости, потому что места были знакомые; иногда в пустынных переулках он останавливался, садился отдохнуть в парадном или за составленными у стен мусорными урнами и помойными ведрами и просыпался каждый раз, когда сон начинал одолевать его. И снова он шел, и тихий пустой

город, – по крайней мере, этот район, – принадлежал ему, и он думал с таким же изумлением, острым и отчетливым, как прежде, несмотря на столько прошедших лет: «Человек все может вытерпеть, только нельзя ему останавливаться».

Уже настал день, но город не проснулся, город никогда не засыпал; просто не заново, а снова стали видны лица, бледные, тусклые, бессонные; веселые, возбужденные люди торопились к невероятным, к невообразимым наслаждениям. Теперь он точно знал, где он находится: на этой мостовой могли бы сохраниться следы его шагов – он тут прошел сорок четыре года назад. Впервые, с тех пор как он вышел за ворота Парчмена пять дней назад, он почувствовал себя уверенным, неуязвимым, неприкосновенным. «Теперь я хоть целый доллар могу истратить на это самое, мне ничего не будет», – подумал он, заходя в маленькую грязную лавчонку, где несколько негров уже что-то покупали. Хозяин лавчонки тоже был негр, впрочем, может, он только обслуживал покупателей. А может, лавочка, и принадлежала ему, может, по новым законам даже негры могли держать лавку, и тут он вспомнил через тридцать восемь лет еще одну вещь.

– Дайте мне печенье «Зверинец», – сказал он. – Теперь он уже был в безопасности, неуязвимый, неприступный. – Небось оно тоже подскочило центов на десять – пятнадцать, а? – сказал он, глядя на картонную коробку, пеструю, как цирковой балаган, и разрисованную зверями, как герб.

– Десять центов, – сказал негр.

– На десять центов дороже? – спросил он.

– Просто десять центов, – сказал негр. – Берете или нет?

– Дайте мне пару, – сказал он. – И снова он пошел по улицам, и уже по-настоящему светило солнце, и он влился в торопливую толпу, грызя пахнущих ванилью мелких зверушек; времени было достаточно, потому что ему не только ничто не грозило, но он точно знал, где он находится; ему достаточно было обернуться (но он не обернулся) – и он увидел бы ту самую улицу, тот самый дом (он, конечно, не знал, да и не узнал бы, если бы увидел свою младшую дочку, которая теперь содержала этот дом), куда он вошел со своим наставником в ту ночь сорок семь лет назад и где ждали сияющие плечи женщин, не только сложенных, как Елена, и Ева, и Лилит, не только делавших то же, что и Елена, Ева и Лилит, но и белокожих, как они, – тот дом, где он в постели продажной женщины сказал «нет» не только всем тяжким, диким годам своей тяжкой, пустой жизни, но и самой смерти.

Окошко осталось таким же: то же невымытое стекло за проволочной решеткой, где лежали те же потрепанные банджо, вычурные часы и лотки со стеклянными украшениями.

– Мне надо купить револьвер, – сказал он стоявшим за прилавком мужчинам с синеватыми, как у пиратов, подбородками.

– А разрешение есть? – спросил первый.

– Разрешение? – сказал он. – Да мне только надо купить револьвер. Мне еще раньше говорили, что тут продаются ре-

вольверы. Деньги у меня есть.

– Кто вам сказал, что тут продаются револьверы? – спросил первый.

– Да, может, он вообще не хочет покупать, может, он из заклада выкупить хочет, – сказал второй.

– А-а, – сказал первый, – это дело другое. Какой револьвер хотите выкупить, папаша?

– Как это? – спросил он.

– Сколько при вас денег? – спросил первый. Минк достал газетный сверток из нагрудного кармана, вынул бумажку в десять долларов, развернул ее. – И это все, что у вас есть?

– Вы мне сначала револьвер покажите, – сказал он.

– За десять долларов вам его не купить, дедушка, – сказал первый. – Поройтесь-ка в других карманах.

– погоди, – сказал второй. – Может, тот, что он хочет выкупить, лежит в моем личном запасе... – Он нагнулся и пошарил под прилавком.

– Это мысль, – сказал первый. – Ежели для него что найдется в твоём личном запасе, ему и разрешение не понадобится. – Второй вынул из-под прилавка и положил перед собой какой-то предмет.

Минк спокойно посмотрел на этот предмет.

– Похоже на ящерку, – сказал он. И верно: курносый, со срезанным дулом, раздутым барабаном, весь заржавленный, с кривой рукояткой и плоским, как рыльце, курком, он действительно был похож на окаменелые останки какой-то мел-

кой допотопной ящерицы.

– Какие глупости! – сказал первый. – Да это же настоящий специальный бульдог для сыщиков, сорок первого калибра, лучшей самозащиты вам и не найти. Вам же он нужен для самозащиты, верно? Потому что если он вам для чего другого нужен, если вы хотите взять его с собой в Арканзас и там из него стрелять людей, грабить, так закон этого не потерпит. За это даже в Арканзасе в тюрьму сажают. Даже там у вас, в Миссисипи, это не разрешается.

– Вот именно, – сказал Минк. – Мне для самозащиты. – Он положил десятку на прилавок, взял револьвер, взвел курок и посмотрел дуло на свет. – А грязи в нем сколько! – сказал он.

– А как же вы тогда насквозь видите? – сказал первый. – Что, по-вашему, пуля сорок первого калибра не пройдет через дырку, когда в нее насквозь видать? – Минк опустил револьвер. И уже стал его закрывать, когда вдруг увидел, что десятка исчезла.

– Погодите! – сказал он.

– Пожалуйста, пожалуйста! – сказал первый, кладя десятку обратно на прилавок. – Отдайте револьвер. Даже такой мы вам за какую-то десятку отдать не можем.

– А сколько вам надо?

– А сколько у вас есть?

– У меня три доллара осталось. А мне еще надо домой попасть, в Джефферсон.

– Ясно, ему надо домой, – сказал второй. – Отдай ему за одиннадцать. Разве мы грабители?

– Он не заряжен, – сказал Минк.

– За углом на главной улице есть лавка, там вам продадут сколько угодно патронов сорок первого калибра, по четыре доллара коробка, – сказал первый.

– Нет у меня четырех долларов, – сказал он. – У меня всего два и останется. А мне еще надо домой...

– А зачем ему полная коробка для самозащиты? – сказал второй. – Ну, так и быть. Уступлю вам пару патронов из своего личного запаса, всего за доллар.

– Мне нужен хоть один лишний патрон для проверки, – сказал он. – Разве что дадите гарантию.

– А разве мы вас просим дать гарантию, что вы никого не ограбите, не пристрелите? – сказал первый.

– Ну, ладно, ладно, надо же ему проверить, – сказал второй... – Дай ему еще патрон за... Дадите еще четверть доллара? Патроны для сорок первого калибра вообще достать невозможно, сами понимаете.

– Может, уступите за десять центов? – сказал он. – Мне домой надо попасть.

– Ладно, ладно, – сказал второй. – Отдай ему револьвер ж три патрона за двенадцать долларов в десять центов. Надо же ему попасть домой. Мерзавец тот, кто хочет ограбить человека, которому надо попасть домой.

Теперь все было в порядке, он вышел на улицу, разморен-

ную ярким солнцем ранней осени, в неспящий, распаленный страстью город. Теперь все было в порядке. Ему оставалось только добраться до Джефферсона, всего каких-нибудь восемьдесят миль.

Когда Чарльз Маллисон вернулся домой в сентябре 1945 года, в Джефферсоне уже сидел новый Сноупс. Их самолет сбили («Чего и надо было ожидать», – всегда добавлял Чарльз, рассказывая, как это случилось), но никакой катастрофы не произошло. Пилотом был Плексиглас, Плекс. На самом деле его звали Гарольд Баддрингтон, но он был помешан на целлофане, который называл плексигласом, у него это доходило до мании, при одной мысли, даже при одном виде новой пачки сигарет, новой рубашки, которые теперь продавались запечатанные в невидимую, непроницаемую оболочку, он впадал в такое же безудержное, истерическое неистовство, в какое, Чарльз сам это видел, впадали при одном упоминании о немцах или японцах многие штатские, особенно те, кому было за пятьдесят. Он, Плекс, придумал свою систему – как победить в этой войне при помощи целлофана: вместо бомб, самолеты 17 и 24, а также британские «бленхеймы» и «ланкастеры» должны были сбрасывать запечатанные в целлофан пачки табаку, пакеты нового белья и одежды, и пока немцы будут строиться в очередь, их можно будет безнаказанно бомбить, а еще лучше скопом брать в плен при помощи парашютных десантов.

Выбрасываться с парашютами их экипажу не пришлось: Плекс блестяще посадил машину на одном моторе. Беда бы-

ла в том, что для посадки он выбрал деревушку, которую немецкий патруль уже наметил в это утро для освоения на практике нового способа оккупации, для какой-либо операции они только что получили соответствующие директивы, так что, не успев опомниться, весь экипаж самолета очутился в лагере для военнопленных в Лимбурге, причем тут же выяснилось, что это самое опасное место из всех мест, где им пришлось воевать: лагерь находился рядом с той самой узловой станцией железной дороги, которую англичане регулярно бомбили каждую среду вечером с высоты не более тридцати – сорока футов. Шесть дней они следили, как дни на календаре неуклонно подползали к среде, когда с хронометрической точностью начинался рев моторов, грохот взрывов и воздух пронизывала лучи прожекторов, пулеметные очереди и визжащие осколки зенитных снарядов; весь барак прятался под койки, подо что угодно, лишь бы отгородить себя хоть дюймо́м чего-нибудь твердого, и у всех было бешеное желание, потребность, необходимость выскочить наружу и, дико размахивая руками, орать прямо в пекло, бушевавшее над головой: «Эй, ребята! Побойтесь бога! Это мы! Мы!» Если бы это была кинокартина или роман, а не просто война, говорил Чарльз, они обязательно удрали бы из лагеря. Но сам он никогда не встречал ни одного человека, который действительно убежал бы из настоящего подлинного сталага, так что ему пришлось дожидаться обычного стандартного освобождения, после чего он вернулся домой и застал там, в Джефф-

ферсоне, еще одного, нового Сноупса.

Но все же они, джефферсонцы, не сдавались. Именно в то лето 1945 года, когда Джефферсон заполучил нового Сноупса, Рэтлиф изничтожил Кларенса. Нет, Рэтлиф его не подстрелил, ничего подобного: он просто изничтожил Кларенса, зачеркнул его как действующий фактор в том, что дядя Чарльза, Гэвин, называл «наш постоянный сноупсихоз и сноупсобоязнь». Случилось это во время предвыборной кампании, перед августовским выдвижением кандидатов. Чарльз только через месяц вернулся домой, и его дядя Гэвин, собственно говоря, тоже не присутствовал на пикнике, где все это фактически произошло, где Кларенс Сноупс фактически провалился на выборах в Конгресс, хотя эти выборы, в которых принимала участие вся страна, должны были состояться только в будущем году. Чарльз имел в виду именно этот случай, говоря, что Рэтлиф изничтожил Кларенса. Он сидел в кабинете своего дяди, и на этот раз сам Гэвин припер Рэтлифа к стенке и стал его допрашивать:

– Ну, хорошо. Теперь расскажите точно, что именно произошло в тот день?

Сенатора Кларенса Эгглстоуна Сноупса называл просто «Клансом» каждый свободный белый йокнапатофский американец, чьим правом и обязанностью было пойти на выборы и поставить крестик там, где ему велит старик Билл Уорнер: он звался просто сенатор Кларенс Сноупс те первые несколько лет, когда старик Уорнер назначил или откоман-

дировал, – словом, каким-то образом перевел его в верхнюю палату Конгресса штата в городе Джексоне; там сенатор уже стал обрастать жирком (был он высокий, неуклюжий мальчишка, потом юнец, в меру решительный и даже подвижный, несмотря на некоторую неуклюжесть, а потом от сидячей умственной жизни, которую пришлось вести в качестве избранного народом отца, наставника и защитника интересов Йокнапатофского округа, у него побагровел нос, отвисли щеки и раздулся живот), как вдруг, в июльский день, в середине двадцатых годов, когда ни на одном жителе Джефферсона и всего Йокнапатофского округа моложе шестидесяти лет не было пиджака, Кларенс появился на площади в белоснежном полотняном костюме, при черном галстуке бабочкой, и в те же дни, может быть, до или сразу после этого появления, люди с изумлением заметили, что он подписывается «сенатор К.-Э.Сноупс», и дядя Чарльза, Гэвин, спросил:

– А откуда у него взялось еще и "Э" обратное? – И Рэтлиф объяснил:

– Может, он его подобрал вместе с этим самым белым свадебным костюмчиком, когда проезжал Мемфис по дороге на службу в Джексон. А почему бы и нет? Разве даже у выборного законного сенатора нет тех же личных прав, какие есть у любого свободного избирателя?

Но Чарльз считал, что уже тогда Кларенс всех их несколько сбил с толку, как боксер, который измотал противника, но еще ни разу не ударил как следует. Так что все избирате-

ли кротко и покорно приняли известие, что их собственный личный Цинциннат ⁴⁰ уже зовется сенатор Эгглстоун Сноупс; дядя Гэвин только спросил:

– Эгглстоун? Почему именно Эгглстоун? – А Рэтлиф только ответил:

– А почему бы и нет? – И тогда дядя Гэвин тоже сказал:

– Верно, почему бы и нет? – Так что, в сущности, никто и не заметил, когда он вернул себе инициал "К" – теперь он стал сенатор К.Эгглстоун Сноупс, и у него определенно вырос животик, набрякли мешки под глазами и нижняя губа отвисла от речей, от ораторского искусства. Потому что Кларенс теперь произносил речи когда угодно, где угодно, на собраниях акционеров, в женских клубах, в любом месте, по любому поводу, лишь бы публика не могла разойтись; Чарльз все еще был в немецком лагере для военнопленных, когда его дядя Гэвин и Рэтлиф уже поняли, что Кларенс собирается выставить свою кандидатуру в конгресс в Вашингтон и что старый Билл Уорнер, вполне возможно, добьется, чтобы выбрали именно его – того самого Кларенса Сноупса, который медленно, но верно делал карьеру, – сначала занимал пост полисмена, лично и тайно охранявшего Уорнера на его личном собственном втором участке, затем стал старшим констеблем района, потом был выбран представителем окру-

⁴⁰ Цинциннат Люций Квинт – известный римский политический деятель. Избранный в 460 г. до н.э. в консулы, восстал против нравственного бессилия сената и своеволия трибунов.

га в Джексоне благодаря умению старого Билла применять в самых широких масштабах ростовщический шантаж и, наконец, теперь, в 1945 году, при поддержке и взаимном сговоре всех Уорнеров избирательного округа, при помощи подтасовки голосов был выдвинут в самую палату представителей в Вашингтоне, где, попав в лапы не какого-нибудь Билла Уорнера местного или окружного значения, а в лапы Билла Уорнера общенационального или даже интернационального масштаба, он мог бы наделать бог знает что, если только кто-нибудь, как-нибудь не примет заранее какие-то меры. Так было до того знаменательного дня в июле, во время ежегодного пикника на мельнице Уорнера, когда, по обычаю и традиции, в предвыборную кампанию включались не только местные кандидаты на городские и окружные должности, но и кандидаты на должности в административных учреждениях штата или даже всей страны, например, такие люди, как Кларенс, хотя сами выборы должны были состояться только в будущем году. И вот тут Кларенс даже не выступил с ораторской трибуны, чтобы объявить о своей кандидатуре, словом, исчез с глаз еще до того, как был подан обед. И на следующий день по всей округе пошел слух, что Кларенс не только решил не выставлять свою кандидатуру в Конгресс, но и вообще собрался навсегда удалиться с политической арены, как только его срок в законодательном собрании штата истечет.

Но дядя Гэвин больше всего интересовался не тем, что

случилось с Кларенсом, а тем, что жестряслось со стариком Биллом Уорнером. Ведь для того чтобы вышибить Кларенса из состязания за место в Конгрессе, надо было ударить не по Кларенсу, а по старому Биллу; в сущности, Кларенса не стоило трогать. Никто по-настоящему и не обращал внимания на Кларенса, так же как не обращаешь внимания на динамитную шашку, пока к ней не прилажен запал; а без запала Кларенс вообще был просто кучкой опилок и грязной бумаги, которая и гореть-то как следует не станет, даже если ее поджечь. Конечно, он и сам был достаточно лишен совести и всяких моральных устоев, но без той руки, без того мозга, которые его направляли, вели и отпускали ему грехи, Кларенс мог бы стать чьей угодно игрушкой, потому что сам он обладал только слепым инстинктом садизма и мошенничества и был опасен только тому, над кем у него было моральное и умственное превосходство, а из всего населения земного шара таким человеком мог быть только другой Сноупс, да и во всей сноупсовской породе нашелся только один такой. В данном случае таким оказался младший брат Кларенса – Дорис, оболтус лет семнадцати, похожий на Кларенса не только ростом и видом, но и умственной отсталостью, при моральных устоях гиены, с той единственной разницей, что Дориса пока еще не выбрали в законодательные органы штата. Давно, в конце двадцатых годов, Байрон Сноупс, который ограбил банк полковника Сарториса и удрал в Техас, прислал наложенным платежом четырех ребят полусноупсов, полуин-

дейцев-апашей, – и Кларенс, проводивший лето дома между двух сессий, избрал их мишенью для всяких шуток и издевательств. Но, занимая пост сенатора штата, Кларенс должен был поддерживать свой престиж не ради своих избирателей, конечно, а потому, что он отлично знал, что со стариком Уорнером шутки плохи, и не дай бог никому задеть его amour-propre [самолюбие (франц.)]. Так что Кларенс только придумывал шутки, а выполнял их его брат Дорис, пока четверо маленьких индейцев не подкараулили Дориса на нейтральной территории: они поймали его, связали, положили на кучу хвороста в лесу и даже успели зажечь костер, когда кто-то услышал вопли Дориса и спас его в последнюю минуту.

Но самому Кларенсу теперь было за тридцать, и он уже занимал место сенатора штата; его карьера началась задолго до того – когда ему было восемнадцать – девятнадцать, – в лавке Уорнера, где он командовал (он был высокий, сильный, в, по словам Рэтлифа, любил драться, если только противник уступал ему в росте) бандой родственников и подхалимов, и все они дрались, резались в карты, пьянствовали, избивали негров, наводили ужас на женщин и молодых девушек во всей Французовой Балке, а потом (как рассказывал Рэтлиф) старого Уорнера это стало так раздражать и сердить, что он прекратил общественную деятельность Кларенса, приказав мировому судье назначить его своим личным констеблем. Вот тогда вся жизнь Кларенса, все его существование, его судьба наконец определились, как определяется

судьба фейерверка, когда к нему подносят спичку.

Однако его продвижение пошло вовсе не так быстро, во всяком случае, не сразу. А может быть, он сам не сразу вник, не сразу понял, какая его ждет карьера. Сначала он только осматривался, ориентировался, разбирался – где же это он очутился; и только потом с некоторым недоверчивым изумлением разглядел открывшуюся перед ним дорогу. Сначала он только удивился, а потом пришел в восторг от безграничных перспектив, о которых ему никто раньше не говорил. И сперва он даже повел себя вполне пристойно. Сперва все думали, что если он раньше держался так нагло, опираясь только на свою незаконную банду, то уже теперь, при поддержке неоспоримого величия закона в лице самого Билла Уорнера, он совсем распояшется. Но он всех обманул. Вместо этого он стал оплотом и защитником гражданских прав и общественного спокойствия во Французовой Балке. Но, разумеется, первые же негры, с которыми он столкнулся при исполнении служебных обязанностей, жестоко поплатились. Хотя теперь даже в жестоком обращении с неграми чувствовалось какое-то равнодушие. Раньше, до его вознесения, до его канонизации, он и его шайка избивали негров из принципа. Не в наказание за какой-нибудь проступок и даже, по словам дяди Гэвина, не за то, что они принадлежали к чуждой им расе, не похожей на них и поэтому враждебной им *per se* [сама по себе (лат.)] (причем дядя Гэвин говорил, что и сам Кларенс, и вся его шайка не понимали этого, потому

что не смели себе в этом сознаться), но из страха перед этой расой. Они боялись ее не потому, что она была черная, а потому что они сами белые люди, превратили этих черных людей в угрозу своему расточительному, неразумному способу хозяйствовать; сами белые заставили черных научиться, как использовать лучше и умнее всякую малость, все худшее, если черный хотел выжить в окружении белых, – научиться лучше обрабатывать землю самыми несовершенными орудиями, которых к тому же не хватало, обходиться и довольствоваться самыми примитивными жизненными удобствами, беречь и не растрачивать ничего, что помогает выжить. Но теперь Кларенс относился к неграм иначе. Теперь, когда он избивал негра дубинкой или рукояткой пистолета, который был ему официально положен, он делал это с каким-то хладнокровием, будто перед ним была не черная кожа и даже не живое человеческое тело; просто власть закона над этим человеком Кларенс использовал для проверки, для подтверждения, для того чтобы еще и еще раз доказать себе, может быть, даже поддержать в себе уверенность в том, насколько велики его официальные права и его законная неприкосновенность и насколько он все еще силен физически, несмотря на неизбежный ход времени.

Да и не всегда это были негры. Собственно говоря, первой жертвой новой власти Кларенса был его адъютант, вместе с ним командовавший той старой шайкой; пожалуй, Кларенс даже проявил на этот раз еще большую жестокость, потому

что тот пытался сыграть на их прежних взаимоотношениях, на прошлом; казалось, Кларенс потому затратил столько усилий, что хотел придать проявлениям своей прежней, естественной, инстинктивной жестокости и трусости вид неподкупности и честности, и заплатил он за эту маску неподкупности и честности такой дорогой ценой, что теперь должен был охранять ее изо всех сил, во что бы то ни стало. Словом, он очень изменился, и дядя Чарльза говорил: так же как прежде, до того как на Кларенса снизошла благодать, все считали, что он неисправим, так и теперь все сразу поверили, что его новый облик останется неизменным навсегда, до конца его жизни. Они все еще верили, даже узнав (и это были не пустые слухи – Кларенс бахвалился, хвастался этим сам), что Кларенс стал членом Ку-клукс-клана, когда эта организация появилась в наших местах (у нас она не привилась и просуществовала недолго, да и вообще все считали, что если бы не Кларенс, ее бы и вовсе не было), но клан принял его, потому что нуждался в нем, или, во всяком случае, мог его использовать, или, как говорил дядя Гэвин, потому что не было таких сил на земле, которые могли бы удержать его от вступления в клан, потому что он был создан для клана, как клан был создан для него. Он вступил туда прежде, чем стал констеблем во Французовой Балке; это было, так сказать, его первым непорочным дебютом в общественной жизни, первым рыцарским посвящением и общественным признанием, пока еще сравнительно безобидным, потому что

даже такая организация, как Ку-клукс-клан, понимала, что очень рассчитывать на Кларенса все же не стоит; он оставался для них просто послушным орудием, мускульной силой, тем, что потом стали называть вышибалой, – до тех пор, пока старик Уорнер в приступе раздражения или недовольства не сделал его старшим констеблем, после чего примерно через год пошли слухи, что он стал одним из членов их совета, «клаверна», или как они его там называли, а еще через два года стал самым главным местным «драконом» или «орлом» клана: старый Уорнер назначил его стражем общественного спокойствия, а он сам провозгласил себя также арбитром общественной морали.

Очевидно, тогда же он по-настоящему увидел те широкие и блестящие перспективы, какие открыла ему судьба, и с удивлением и недоверием смотрел он на эти, казалось, неограниченные возможности и – кто знает? – может быть, робел при мысли, что он признан достойным, избран для того, чтобы неограниченно проявлять на этом поприще свои способности и таланты, свое умение не только избивать людей до бесчувствия, до полного подчинения, но и заставлять их работать на себя; не только расходовать этих людей, как патроны, или пожирать их, как свиней или овец, но использовать их для работы, как мулов или быков, непрестанно, из года в год, прокладывая с их помощью все новые борозды; использовать не только их умение поставить в избирательном бюллетене свою подпись-крестик – там, где велит

старый Билл Уорнер, – но и воспользоваться их скупостью, их жадностью, их вечной боязнью, использовать все это так умело, словно он, Кларенс, всю жизнь был политиканом, а не просто сельским констеблем, да и то лишь в последние годы. И, как говорил дядя Чарльза, руководил им простейший безошибочный инстинкт, а не какой-нибудь наставник или чей-то пример. Ведь все это происходило задолго до того, как Хью Лонг поднялся на ту высоту, откуда он смог показать их земляку Бильбо, сенатору от штата Миссисипи, что может натворить человек с малой толикой денег и дерзости и без всяких задерживающих центров.

Так что когда Кларенс выставил свою кандидатуру в законодательные органы штата, они – то есть весь округ – знали, что политической платформой ему будет служить имя дядюшки Билла Уорнера. В сущности, все сразу решили, что мысль о кандидатуре пришла в голову не Кларенсу, а дядюшке Биллу, что раздражение дядюшки Билла дошло до той степени, когда надо было бы вообще убрать Кларенса с глаз долой. Но оказалось, что все ошиблись. У Кларенса была своя политическая платформа. И тут наступил момент, когда некоторые люди, как, например, Рэтлиф, и дядя Чарльза, и некоторые мальчишки, вроде самого Чарльза (ему тогда было всего лет восемь-девять), которые их слушались (или, как Чарльз, должны были слушаться), поняли, что надо остерегаться Кларенса – бойся и трепещи! Платформа у него была своя собственная. На такую платформу мог встать только

человек аморальный и предельно наглый, потому что этим он изменял своим избирателям; то ничтожное количество голосов, которое решило исход выборов в его пользу, он набрал среди людей, не только не подчиненных самодержавной власти Балла Уорнера, но тех, кто при других условиях охотнее голосовал бы за любого жителя земного шара, чем за него, но он выступил против Ку-клукс-клана. Он сам был их главным местным «орлом», «драконом», – словом, как у них там называлось их начальство, – до той минуты, как выставил свою кандидатуру, во всяком случае, так все считали. И вдруг он стал смертельным врагом Ку-клукс-клана и вообще занимался предвыборной кампанией как бы мимоходом, ибо его главной миссией было уничтожить эту гидру; и он победил на выборах благодаря тем немногим избирателям в Джефферсоне, которые вдруг подали голос за него, – то были учителя, молодые врачи в адвокаты, женщины, – словом, те начитанные и наивные либералы, которые верили, что порядочность, и честность, и личная свобода победят, потому что сами они были людьми порядочными и честными; но у них не было никакого единодушия в политических убеждениях, пока Кларенс их не объединил, они даже не всегда голосовали; и вдруг у них появился защитник от того, чего они боялись, что ненавидели. И Кларенс явился в Джексон не просто удачливым кандидатом, избранным на политическую должность, но как признанный паладин и защитник добра, и вошел он под сень законодательных органов (как говорил

дядя Чарльза) в ореоле Белого Рыцаря чистоты и невинности, провожаемый растерянными и перепуганными взглядами своих бывших соратников, от которых он явно откололся и отрекся. И он действительно уничтожил Ку-клукс-клан в Йокнапатофском округе, и один из ветеранов клана высказался так: «Раз мы не смогли побить на выборах какую-то жалкую кучку дрянных учителей, редакторов и всяких директоров воскресных школ, какого же черта теперь надеяться, что мы сможем одолеть целые нации – всяких там негров, католиков и евреев?»

В общем, Кларенса выбрали. Попал в яблочко, как говорили сверстники Чарльза. Два года до следующих выборов он мог спокойно осматриваться, выискивать, куда ступить дальше, как альпинист, повисший на выступе скалы. Это дядя Чарльза так определил: как высокогорный альпинист. Но альпинист поднимается на гору не только для того, чтобы добраться до вершины. Он будет упорно лезть, даже зная, что туда не доберется. Он карабкается в гору ради единственной тихой радости, ради удовлетворения сознавать, что между ним и гибелью стоит только лишь его личная выдержка, воля и мужество. А Кларенс даже не сознавал, что лезет в гору, потому что ему некуда было падать, его можно было только спихнуть оттуда, и неизвестно, хватит ли у кого-нибудь силы и ловкости спихнуть Кларенса Сноупса откуда бы то ни было.

Так что сначала у всех в округе создалось впечатление,

что Кларенс просто притих, изучая и запоминая правила новой игры. Никто не знал, что он главным образом учился использовать каждый удобный случай, как только он подвернется. И он все выжидал такого случая, даже когда начал выступать, говорить речи на заседаниях, все еще в роли Белого Рыцаря, истребившего фанатизм и нетерпимость в Йокнапатофском округе, как считали те наивные идеалисты, чьи голоса, хоть и в малом количестве, перевесили на выборах и помогли пройти Кларенсу, несмотря на то что весь остальной округ уже давно понял, что Кларенс всегда исповедовал ненависть к неграм, католикам и евреям – то есть доктрину той самой организации, на уничтожении которой он сделал себе карьеру: когда появились «Серебряные рубашки», Кларенс один из первых в штате Миссисипи вступил туда, и вступил не потому, как говорил дядя Чарльза, что разделял установки этих «Серебряных рубашек», а, должно быть, потому, что просто решил: эта организация будет куда прочнее, чем чисто местный клан, уничтоженный с его помощью. Вообще к этому времени его курс стал ясен: выступать куда угодно, в любое общество, в любую организацию, которой он может помыкать, командовать, управлять, разжигая религиозные или патриотические чувства или обыкновенную жадность, алчное желание урвать кусок политического пирога; с самого рождения он принадлежал к баптистской церкви во Французовой Балке; теперь он ходил в ту же церковь в Джексоне, где его дважды переизбирали, преподавал в церковной

школе; в то же лето по округу пошел слух, что он решил на время отказаться от своего поста в законодательных органах штата, чтобы прослужить в армии или на флоте ровно столько, сколько необходимо, чтобы быть потом принятым в Американский легион.

Кларенс попал в яблочко. Он сделал карьеру. Чарльз чуть не сказал про него, что он «разделил» весь округ, но слово «разделил» подразумевает хоть какое-то равновесие, хотя бы неустойчивое, даже если одна чаша весов безусловно легче и неуклонно лезет кверху. Но если уж говорить о Кларенсе и нашем округе, то более легкая чаша весов не то что поднималась кверху, она просто взлетела куда-то в безвоздушное пространство, и оттуда кто-то пытался возвать глазом вопиющего в пустыне. Кларенс просто-напросто заглотал весь наш округ целиком, с потрохами, как глотают пищу сычи и киты, а потом выплюнул туда, на эту верхнюю чашу весов, все непереваренные остатки, кожу и кости – то есть ту кучку обреченных неудачников, начитанных, либеральных, плохо оплачиваемых работников умственного труда, которые голосовали за него, потому что считали, что это он уничтожил Ку-клукс-клан; к ним надо добавить еще меньшую кучку таких идеалистов, как дядя Гэвин и Рэтлиф, которые тоже голосовали в тот раз за Кларенса, как за меньшее зло, так как он выступил против Ку-клукс-клана; они-то и были обречены на еще большую неудачу: если школьные учителя, и преподаватели музыки, и все другие наивные интел-

лигенты, учившие наизусть речи президента Рузвельта, каждый раз заново верили, что честность, справедливость и порядочность возьмут верх, потому что сами они – люди честные, справедливые и порядочные, то ни дядя Гэвин, ни Рэтлиф никогда в это не верили и верить не могли.

Но Кларенс их не тронул. Их было слишком мало. Их было настолько мало, что он мог из года в год посылать им всем поздравительные открытки массового производства – по слухам, открытки ему подносила фирма, которой он ежегодно помогал получать контракт на поставку жестянок для автомобильных номеров. Что же касается остальных избирателей, то они только дожидались, чтобы Кларенс им указал, где поставить крестик, и тем самым избрать его на любой пост, какой ему будет угодно, вплоть до самого высокого поста в штате, к которому, по мнению всего округа (включая и кучку идеалистов типа дяди Гэвина), он стремился: поста губернатора штата. Хью Лонг уже маячил на горизонте, как образец для каждого политика штата Миссисипи, и всему округу казалось вполне естественным, что их собственный кандидат тоже может последовать его примеру; и даже когда Кларенс подхватил боевой лозунг Хью Лонга: «Жми деньгу из богачей», как будто он сам, Кларенс, это придумал, даже тогда дядя Гэвин и Рэтлиф еще верили, что Кларенс целит не выше, чем в губернаторский особняк. И хотя в те годы – 1930-1935 – в Миссисипи «жать деньгу» было, в сущности, не из кого, ввиду отсутствия настоящих богачей – так как ни

сколько-нибудь значительной промышленности, ни нефти, ни природного газа там еще не добывали, – но одна мысль, что можно у кого-то отнять то, чего у тебя нет, а у него есть, причем он этого явно не заслуживает, потому что он ничуть не умнее, не трудолюбивей, чем ты, а просто ему больше повезло, – эта мысль доходила до глубины избирательского сознания каждого издольщика, каждого арендатора не только в Йокнапатофском округе, но и во всем штате Миссисипи; Кларенса могли избрать губернатором Миссисипи, даже если бы он выдвинул лозунг – жать деньги из богачей где-нибудь в Луизиане, Алабаме, Мейне или Орегоне.

Так что эту крошечную ячейку несправимых идеалистов, состоявшую из дяди Гэвина и Рэтлифа, не так поразило слух, будто Кларенс одно время собирался стать во главе Американского легиона в Миссисипи, как то, что они узнали три года назад (сам Чарльз в это время отсутствовал: он уже отбыл из нашего округа в проходил предварительное обучение для последующего десятимесячного стажа в немецком лагере для военнопленных); будто бы самая мощная политическая фракция штата, та фракция, которая с уверенностью могла провести своего кандидата в губернаторы, предложила Кларенсу выставить свою кандидатуру на пост вице-губернатора и что Кларенс отказался. Никаких объяснений он не дал, но это и не было нужно, так как теперь уже весь округ – не только маленькая группка дяди Гэвина, но и все избиратели – понял, какую цель наметил себе Кларенс:

Вашингтон, Конгресс. Это потрясло только обитателей как-токомб, расположенных около самого бестиария, – для всех остальных это был триумф в восторг: тот, кто, цепляясь за фалды Кларенса, подъехал к правительственной кормушке в Джексоне (сравнительно небольшой), уже видел ясный путь к огромной, неисчерпаемой кормушке в Вашингтоне.

Но дядю Гэвина и Рэтлифа это не просто потрясло и поразило, это их напугало, привело в ужас перед тем человеком, который использовал Ку-клукс-клан для своих целей, "а потом использовал их собственную наивность, чтобы изничтожить Ку-клукс-клан, когда он ему стал не нужен, перед человеком, который использует баптистскую церковь, пока она ему служит, использовал и ВПА, и НРА, и ААА, и ССС ⁴¹, и все другие организации, созданные теми, кто мечтал или надеялся избавить людей от страданий, а если уж во время потрясений и катастроф страдания неизбежны, то пусть, по крайней мере, все страдают одинаково; перед человеком, который то был за организацию, то против нее, смотря по тому, куда дул политический ветер, – так, он в конце тридцатых годов выступал против партии, породившей его, а теперь под сводами, еще сохранившими отзвук выступлений знаменитых государственных деятелей и гуманистов, гремел его го-

⁴¹ ВПА – Управление промышленно-строительных работ общественного назначения. НРА – Национальная администрация восстановления промышленности. ААА – Управление регулирования сельского хозяйства. ССС – Корпорация Правительственных заготовок и поддержания цен на сельскохозяйственные продукты.

лос, полный расовой, экономической и религиозной нетерпимости (раньше самым сильным пунктом в его политическом кредо было нападение на богачей, теперь громче всего звучал страх перед организованными рабочими массами), и ничто не могло стать поперек его пути в конгресс, кроме этой ничтожной горсточки наивных людей, все еще веривших, что зло может быть уничтожено просто потому, что оно – зло, – людей, которых Кларенс настолько не боялся, что до сих пор посылал им дешевые поздравительные открытки к рождеству.

– Но этих людей слишком мало, – сказал дядя Чарльза, – они всегда играют слишком малую роль в жизни страны. Даже если бы их стало в десять тысяч раз больше, все равно он бы их опять одурачил.

– Возможно, – сказал Рэтлиф (это передал Чарльзу его дядя Гэвин, рассказывая ему обо всем, что произошло до его возвращения домой в сентябре, когда все уже было кончено и Кларенс, так или иначе, был побит и вынужден снять свою кандидатуру после того случая на пикнике у старого Билла Уорнера, в июле, а разговор между дядей Гэвином и Рэтлифом происходил до того, еще в апреле). – Нам нужно было бы вернуть сюда нашу молодежь, хотя бы на два-три дня, лишь бы это было до семнадцатого августа ⁴² будущего года. Безобразие, что люди затеяли эту войну и призвали всех молодых избирателей, не подумав, что нам нужно их задержать

⁴² Семнадцатое августа – день выборов в конгресс США.

хотя бы для того, чтобы не допустить Кларенса Сноупса в Конгресс.

– Вам нужно? – переспросил дядя Гэвин. – Кому это вам?

– Вы как будто сейчас сказали, что старикам вроде нас с вами никак не справиться с Кларенсом, – мол, нам только и остается сидеть сложа руки и сокрушаться.

– Да, не справиться, – сказал дядя Гэвин. – Нас, конечно, не так мало. Люди нашего с вами возраста и поколения проделали немалую работу – добивались того хорошего, что у нас есть сейчас. Но теперь наше время ушло, теперь мы уже ничего не можем, а то и побаиваемся снова во все вмешиваться. Вернее, не боимся, а стесняемся. Нет, ничего мы не боимся: просто мы слишком постарели. Видно, мы устали, настолько устали, что уже не боимся ничего, даже проигрыша. Только ненавидеть зло сейчас мало. Вы – а может, кто-то другой – должны с этим злом бороться. Видно, теперь это придется делать кому-то другому, но даже если японцы сдадутся до августовских выборов, домой вернется слишком мало этих «других». А мы уже ничего поделать не можем.

– Пожалуй, – сказал Рэтлиф.

И дядя Гэвин был прав. А может быть, и Рэтлиф тоже был прав. Первым бросил вызов Кларенсу и выступил против него на выборах один из тех «других», про которых говорил дядя Гэвин, – человек с дальней окраины штата, немногим старше Чарльза, только, как сказал сам Чарльз, много храбрее. Его кандидатура в Конгресс была выставлена еще

раньше, чем кандидатура Кларенса. Выборы были назначены на будущий, 1946 год, и времени оставалось достаточно. Но Кларенс так поступал всегда: он дождался, пока другой кандидат или другие кандидаты заявят, или сообщат, или хотя бы намекнут, какая у них политическая платформа. И Кларенс показал Йокнапатофскому округу, почему он так делал: выступая самым последним, он и не должен был выдумывать для себя политическую платформу, потому что к тому времени его главный и самый опасный конкурент уже снабдил его такой платформой. А теперь вышло так, что Кларенс воспользовался положением этого человека, использовал его мужество как оружие против него самого.

Звали этого человека Деврис, в нашем округе о нем ничего не знали до 1941 года. Но с тех пор слышали много. В 1940 году он был первым в Резервном офицерском корпусе своего университетского выпуска, окончил университет, получил офицерский чин и в новом, 1942 году уже был за океаном; в 1943-м, когда его вернули в Соединенные Штаты, чтобы он «создавал атмосферу» в кампании по подписке на заем, он уже был майор, и (так говорил Чарльз) орденских ленточек на нем было столько, что из них можно было бы сделать длинный галстук; он получил эти ленточки, команду негритянской пехотой: назначен он был в части, сформированные из негров, по решению какого-то меднолобого теоретика в отделе личного состава, решившего, что раз он южанин, значит, он, несомненно, «понимает» негров; и (как

предполагал Чарльз) он, несомненно, блестяще командовал своим полком по той же причине: будучи южанином, он отлично знал, что ни один белый никогда не понимал негров и не будет их понимать, если он, белый, будет видеть в негре сначала негра и только потом – человека, потому что непроницаемая стена, разделяющая их, – это единственная защита черного человека, за которой он прячется, чтобы выжить. Возможно, что распространять заем Деврис не умел; во всяком случае, он, очевидно, никаких усилий к этому не прилагал. И, по словам окружающих, не успела семья обрадоваться его приезду, как он снова уехал на фронт, и в третий раз он вернулся домой заслуженным полковником, чуть ли не кавалером всех орденов и с протезом вместо ноги; и пока он ехал в Вашингтон, где его должны были наградить самым последним, самым высшим орденом, дома узнали, что в тот день, когда он во второй раз отвоевался и уже был назначен к отправке домой, генерал прикрепил к его груди предпоследний орден. Но вместо того чтобы ехать домой, он положил орден в вещевой мешок, снова надел фронтовую форму и до тех пор изводил штаб, пока его опять в третий раз не послали на фронт, где однажды ночью он передал командование остатками полка своему помощнику и вместе с сержантом-негром и связным пополз туда, где остатки соседнего батальона были отрезаны ураганным огнем, и, отправив этих солдат со связным в качестве проводника, они вдвоем с сержантом отбили противника, а потом выбрались из ло-

вушки, причем он, Деврис, нес на себе раненого сержанта, пока его тоже не стукнуло, и тут неуклюжий великан-негр, хлопковод из Арканзаса, подполз к ним и, подхватив обоих, вынес к своим. И когда он, Деврис, после наркоза очнулся с одной ногой, он до тех пор изводил всех кругом, пока они не прислали к нему того негра-хлопковода, и он, Деврис, заставил санитарку вынуть орден из его мешка, сказал негру: «Подыми-ка меня, орясина ты этакая!» – и приколот орден ему на грудь.

Он-то и был соперником Кларенса на выборах в конгресс. Ведь даже если в армии никого другого не было, кто, по мнению специалистов, умел бы «понимать» негров, то Деврис (как рассказывал Чарльз) все равно никак не мог уговорить начальство послать его, одноногого, на фронт. И теперь ему только и оставалось уговаривать штатских послать его куда-нибудь, а кроме Конгресса, он ничего придумать не мог. И, конечно (это все рассказывал Чарльз), может быть, только такой человек, который по недомыслию дважды добровольно отправлялся на фронт, мог набраться смелости и бросить вызов столь давнишнему капиталовложению, как Кларенс Сноупс. И даже если бы все пошло более правильным путем: скажем, если бы события 1944 года произошли в 1943-м, или если бы выборы перенесли на год позже, или, наконец, если бы японцы сдались до 1945 года и все искалеченные ребята вернулись бы домой вовремя, – их все-таки было бы малова-то, и в конце концов Деврису пришлось бы опереться на на-

следников все тех же неорганизованных политических идеалистов, достаточно наивных, чтобы верить, будто демагогия, ханжество и нетерпимость не должны, не могут и не станут существовать только потому, что это демагогия, ханжество и нетерпимость, – тех идеалистов, которых Кларенс уже использовал и вышвырнул вон двадцать с лишним лет назад; и дядя Гэвин сказал Рэтлифу:

– Они всегда будут неправы. Они думают, что борются против Кларенса Сноупса. Вовсе нет. Перед ними совсем не отдельная личность и даже не определенная политическая ситуация; они разбивают себе голову о незыблемую скалу – основу нашего национального характера. Заключается она в предпосылке, что политика и политические институты не являются и никогда не являлись тем способом и средством, которым мы можем управлять своей страной мирно, достойно, честно и безопасно, но, наоборот, представляют собой национальное прибежище для тех бездарностей, которые провалялись на всех других поприщах и нашли в политике занятие, обеспечивающее их и их семьи, в результате чего мы обязаны кормить, одевать и содержать этих политиканов на средства из своего собственного кошелька. Самый верный путь для того, чтобы попасть на выборную должность в Америке, – это завести человек семь-восемь детей и потом потерять руку или ногу в аварии на лесопилке; а ведь такой беспардонный оптимист, который завел семь-восемь ребят, когда их нечем прокормить, кроме как работой на лесопил-

ке, такой безмозглый растяпа, который подставляет руку или ногу прямо под движущуюся пилу, – такого человека уже в силу его характера надо было бы на веки веков лишить даже тени общественного доверия. Нет, Кларенса им не побить. Его выберут в Конгресс по той простой причине, что, если он провалится, он не сможет делать ничего такого, за что бы хоть один человек в мире платил ему жалованье по субботам, а старый Билл Уорнер и вся сноупсовская семейка вкупе с их дружками никак не намерены всю жизнь кормить и содержать Кларенса. Вот увидите сами, что произойдет.

Было похоже, что дядя Гэвин окажется прав. Наступил май, наступило время начинать политическую кампанию, она обещала стать успешной, после того как немцы окончательно капитулировали. И все же Кларенс официально еще не выставлял свою кандидатуру. И, разумеется, все понимали – почему. Но никто не мог себе ясно представить, как именно Кларенс собирался использовать заслуги Девриса для своей, Кларенсовой платформы; каким путем Кларенс намеревался воспользоваться военной славой Девриса, чтобы побить его на выборах в Конгресс. И когда наконец его план стал проясняться, весь Йокнапатофский округ, по крайней мере, многие его жители, еще кое-что узнали о том Кларенсе, с которым они, в счастливом неведении, прожили последние двадцать лет. А именно: до какой степени Кларенс был опасен своей способностью использовать нормальную, можно даже сказать, в общем безвредную человеческую под-

лость для получения голосов. И на этот раз он заставил тех, чьим защитником он собирался стать, чтобы они сами пришли умолять его быть их защитником, и не просто умолять стать их рыцарем, но они должны были сами придумать или, во всяком случае, указать ему то дело, для защиты которого он им понадобился.

Дядя Гэвин рассказал Чарльзу, как однажды в мае или в начале июня весь округ узнал, что Кларенс не только не собирается выставлять свою кандидатуру в Конгресс, но и вообще хочет отойти от общественной деятельности; официально, вслух он об этом не заявлял, а просто нашептывал потихоньку на ухо то одной, то другой овечке из уорнеровского стада избирателей, которое вот уже двадцать пять лет покорно следовало за Кларенсом на избирательный участок; и говорил он об этом (по словам дяди Гэвина) тихо, даже немного грустно, словно недоумевая, как же они сами этого не понимают:

– Что ж, я уже человек старый, – говорил Кларенс (ему едва перевалило за сорок). – Пора мне и уступить место другому. Особенно раз у нас есть такой храбрый молодой человек, такой капитан Деврис...

– Полковник Деврис, – поправляли его.

– Полковник Деврис, он отлично может представлять ваши интересы, продолжать мою работу, я ведь всегда старался сделать как лучше для наших людей, для нашего округа.

– Значит, вы собираетесь выставить его кандидатуру? Вы

будете его поддерживать?

– Конечно, – говорит Кларенс. – Мы, старики, сделали для вас все, что могли, пора нам и на покой. Нам в конгрессе теперь нужна молодежь, особенно та, что храбро воевала. Конечно, этот генерал Деврис...

– Полковник Деврис, – поправляли его.

– ...полковник Деврис немного моложе, чем следует, я бы лично выбрал кого-либо постарше. Но время и это исправит. Конечно, есть у него взгляды, с которыми я лично никогда не соглашусь, да и другие старики, вроде меня, и в Миссисипи, и на всем Юге тоже вряд ли их примут. Но, может быть, мы все устарели, отстали от века и то, во что мы верили, за что боролись, а если надо было – и страдали, все это уже отошло, никому не нужно, может, эти его новые взгляды как раз и необходимо провести в нашем округе, и в штате Миссисипи, и вообще на Юге...

И тут, разумеется, каждый спрашивал:

– А что это у него за новые взгляды?

И все. Дело было сделано. Кларенс каждому рассказывал: этот человек, полковник Деврис (теперь он уже не ошибался чином), так полюбил своих негров, командуя ими в боях, что дважды возвращался к ним на фронт добровольно, может быть, даже по протекции (ведь все знали, что он достаточно воевал за родину и демократию и мог бы, больше того – имел полное право дальше не воевать), и возвращался он на фронт исключительно для того, чтобы водиться с негра-

ми; он даже рискнул жизнью, чтобы спасти какого-то черномазого, да и ему самому спас жизнь негр. Человек он храбрый (и правительство его родины закрепило и подтвердило это, наградив его всеми орденами, вплоть до самого высшего), человек он честный (ордена и это доказывают, их дают только за честную службу), но неизвестно, какой курс он изберет, может избрать, осмелится избрать, если его выберут в тот самый конгресс, который уже проводит мероприятия, которые могут навсегда сломать, уничтожить естественные, законные (законные? Да, сам господь бог установил и узаконил их!) границы между белыми и черными людьми. И так далее. И дело было сделано: как говорил дядя Гэвин, можно было считать, что Кларенс уже выбран, ни штату, ни округу не стоило даже тратить деньги на оборудование избирательных участков и подсчет голосов; почетный орден, полученный Деврисом от государства в награду за то, что он, рискуя жизнью, защищал принципы, на которых и было построено это самое государство, благодаря которым оно существовало, этот орден навеки подорвал все шансы Девриса работать в том самом конгрессе, который провозгласил его героем.

– Понятно вам? – сказал дядя Гэвин Рэтлифу. – Кларенса ничем не побьешь.

– По-вашему, тут и придумать ничего нельзя? – сказал Рэтлиф.

– Нет, можно, – сказал дядя Гэвин. – Надо поддержать его.

– Его? – сказал Рэтлиф.

– Это самый надежный, самый старый – о, да! – и, безусловно, первый, – самый первый из всех политических принципов еще с тех темных времен, когда два пещерных человека объединились против третьего.

– Поддержать его? – сказал Рэтлиф.

– Ну не надо, – сказал дядя Гэвин. – Тогда вы мне скажите, что делать. Я вас поддержу.

Дядя рассказывал Чарльзу, как Рэтлиф посмотрел, поморгал:

– Нет, надо найти какой-то выход попроще. Задача тут простая и ясная, значит, и ответ надо найти простой и ясный. У Кларенса намерение тоже простое и ясное – попасть в Конгресс, все равно, каким образом. Значит, тем, кто просто и ясно не желает его туда пускать, надо найти простой и ясный способ, все равно какой, сказать «нет».

Дядя Чарльза сказал:

– Отлично. Найдите способ, я к вам присоединюсь. – Но, очевидно, для Рэтлифа все было не так просто и ясно, как для Кларенса. Дядя рассказал Чарльзу, что Кларенсу даже не надо было проводить предвыборную кампанию, агитировать; что ему нужно только подняться на трибуну для ораторов во время пикника, устроенного старым Биллом Уорнером у себя на мельнице, ровно настолько, чтобы удостовериться, что все те, кому исполнился двадцать один год и кому Билл Уорнер давно внушил, за кого подавать голос, – что все они сумеют прочесть слово «Сноупс» на бюллетене.

Собственно говоря, Деврис мог уже сдаться, и, по словам дяди Гэвина, нашлись люди, считавшие, что так он и должен сделать. Но разве он мог сдаться при всех своих орденах – а их было пять или шесть в чемодане на чердаке или где он их там держал, полученных именно за храбрость, за выдержку? Деврис даже приехал в Джефферсон, в собственную вотчину Кларенса, и произнес там речь как ни в чем не бывало. Но тут-то и была загвоздка. Мало еще вернулось солдат, которые могли бы понять, за что он получил свой главный орден. И хотя выборы были назначены только на будущий год, никто не мог предвидеть, что японцы сдадутся в этом же году. А для всех других родителей и четвероюродных кузенов, которым солдаты прислали доверенности на голосование, Деврис был только негритянским прихвостнем, которого янки, засевшие в правительстве, именно за это и наградили. Больше того, сейчас уже пошел слух, что Деврис получил высший орден за то, что, когда ему пришлось выбирать, кого спасти – негра или белого, – он выбрал негра и оставил белого парня погибать. Впрочем, дядя сказал Чарльзу, что этот слух был пущен не самим Кларенсом, надо было хоть в этом отдать ему справедливость. И не то чтобы Кларенсу совесть не позволила распускать такие слухи: ему просто не понадобилось тратить лишние боеприпасы; дело не в том, что он долго занимался политикой, он просто долго был Сноупсом и отлично знал, что только дурак платит за голос на выборах два доллара, когда его можно купить за пятьдесят центов.

Конечно, все это было как-то грустно: человек заранее уже был побит из-за того самого ордена за храбрость, который не позволял ему отступить и сейчас. Нет, это было больше чем грустно. Дядя Гэвин рассказал Чарльзу, как вскоре даже те, у кого никогда не было искусственной ноги и, по всей видимости, если повезет, никогда и не будет, начали понимать, что значит иметь протез, жить с ним, а тем более стоять и двигаться на нем. Деврис не сидел в машине на площади или даже у дороги, чтобы граждане его округа, его избиратели, толпились вокруг машины, подходили пожать ему руку, послушать его – таков был с незапамятных времен успешный способ предвыборной агитации самого Кларенса. Вместо этого Деврис выходил из машины, слегка волоча за собой этот мертвый механический придаток, или, опираясь на него, целый час стоял на трибуне и выступал, пытаясь завоевать голоса и заранее зная, что он их уже потерял; при этом он изо всех сил старался, чтобы по его лицу не догадались, как натертая, наболевшая кулья все время напоминает о себе. И в конце концов даже тем, кто хотел отдать ему свой голос, как говорил дядя Чарльза, становилось трудно на него смотреть, не показывая виду, что и они помнят про его кулью; и потому все только и ждали, чтобы это наконец кончилось, поражение завершилось, только и думали (по словам дяди Гэвина), как бы помочь ему, отпустить его, отправить поскорее домой, чтобы он выкинул протез, разломал его на куски и спокойно привыкал к своей инвалидности.

И тут подошел день ежегодного пикника, который устраивал старый Билл Уорнер в предвыборную кампанию, где по традиции все кандидаты на выборные должности в управлении округом, штатом или государством выступали перед избирателями; Кларенс тоже должен был официально объявить о своей кандидатуре, и дядя Гэвин рассказывал, что они схватились и за эту соломинку; как только Кларенс официально выставит свою кандидатуру в Конгресс, Деврису, быть может, станет ясно, что ему лучше ретироваться и тем самым избежать позорного провала.

Но ретироваться ему не пришлось. После обеда, когда ораторы собрались на трибуне, оказалось, что Кларенса между ними нет: вскоре разнесся слух, что он совсем уехал с пикника, а на следующее утро весь округ узнал, что он не только снял свою кандидатуру в Конгресс, но и вообще сообщил о своем окончательном отходе от общественной жизни. И на этот раз так оно и было, потому что не Кларенс, а сам старик Уорнер во всеуслышание объявил, что с Кларенсом покончено. Случилось это в июле 1945 года, а ко времени выборов японцы давно сдались, и Чарльз, а с ним и многие из тех, кто понимал, что значат ордена Девриса, уже вернулись домой, чтобы голосовать лично. Но они просто добавили свои голоса к тем, кто голосовал за Девриса; ордена ему теперь и не понадобились, потому что Рэтлиф уже изничтожил Кларенса Сноупса. Настал сентябрь, Чарльз уже давно был дома, и на следующий день после выборов дядя Гэвин поймал Рэтлифа

на площади, привел к себе в кабинет и сказал:

– А теперь расскажите подробно, что именно случилось там в тот день?

– В какой день и где – там? – спросил Рэтлиф.

– Да вы отлично понимаете, о чем я. На пикнике дядюшки Билла Уорнера, когда Кларенс снял свою кандидатуру в Конгресс.

– Ах, тогда, – сказал Рэтлиф. – Ну, это, можно сказать, был перст божий, хотя ему чуточку помогли близнецы, племянники полковника Девриса, дети его сестры.

– Интересно, – сказал дядя Гэвин, – а почему Деврис вдруг привез сестру со всем семейством из самого Камберленда, неужели только для того, чтобы они услышали, как он выставляет свою кандидатуру, заранее зная, что провалится?

– Да и это перст божий, я же вам говорю, – сказал Рэтлиф. – Иначе каким же образом полковник Деврис мог там, у себя в Камберленде, услышать, что за мельницей дядюшки Билла есть такой заброшенный, запущенный участок, заросли такие, роцца, что ли.

– Ну, хватит, хватит, – сказал дядя Гэвин. – Роцца. Близнецы. Вы лучше расскажите все как было.

– Близнецы близнецами, а роцца-то была собачья, – сказал Рэтлиф. – Вы с Чиком сами знаете, что такое близнецы-мальчишки, я чуть не сказал – знаете, что такое собачья роцца. А потом подумал: нет, наверно, не знаете, потому что я сам не знал, что это такое, пока не увидел эти заросли, – там рос

молодняк, яшень, орех, дубки, – на берегу, как раз за уорнеровским прудом, для удобства клиентов – ну, знаете, как в городских отелях стоит бутылка с чернилами для самописок рядом со столом для писем, чтоб каждый мог пользоваться, когда надо...

– Погодите, – сказал дядя Гэвин. – Собачья роща. Говорите толком. Если у вас никаких дел нет, так у меня их достаточно.

– Да я же вам и хочу все рассказать, – говорит Рэтлиф. – В роще была собачья станция. Вроде собачьей почты, что ли. Каждый пес со Второго участка хоть раз в день наследил там, в этих зарослях, да и каждая собака со всего избирательного округа, не только из Йокнапатофского, хоть раз в жизни подымала там лапу и оставляла визитную карточку. Ну, вы же знаете: бегут себе два пса, принимают, и Первый говорит: «Легавый я буду, если старый куцый овчар с Уайотт-Кроссинга тут не побывал. Как ты думаешь, что ему понадобилось?» – «Да это не он, – говорит Второй, – тут шлялся тот, муругий, которого Рес Грир выменял у Солона Квика на полдня работы, когда они церковную крышу крыли, неужто не помнишь?» А Первый ему говорит: «Нет, тот муругий позже приходил, а вот тут пробежал старый овчар с Уайотт-Кроссинга. Я-то думал, он побоится сюда бегать после того, что с ним сделал тот пес миссис Литтлджон, знаешь, помесь дворняги с эрдель-терьером?» В общем, понимаете, как это бывает.

– Понимаем, – сказал дядя Гэвин. – Дальше что?

– Ничего, – говорит Рэтлиф. – Начался этот самый, так сказать, выпускной бал дядюшки Билла Уорнера для всех кандидатов, и собрались избиратели и кандидаты за сорок миль в округе; у кого был «пикап», кто выпросил, чтоб его подвезли в машине, а кто приехал и на упряжке мулов, если другого ничего не было, и все эти независимые избиратели гуляли по роще, и сам сенатор Кларенс Эгглстоун Сноупс циркулировал между ними, пока не подошло время ему выступить с речью и объяснить, за кого ставить крестик. Представляете себе: все чинно, мирно, прилично, все законно, как всегда, пока какой-то неизвестный хитрюга, не скажу подлец, может, это и был сам полковник Деврис, кто же еще мог знать про этих двух мальчишек, про близнецов, и зачем они сюда приехали из самого Камберленда, уж не говорю, кто мог знать и про этих близнецов и про те кусты тоже, так вот этот неизвестный хитрюга, кто бы он там ни был, подготовил мальчишек попробовать – а что выйдет, если двум таким мальчикам выгнать псов из ихних кустиков, нарезать прутьев пониже того места, куда нацеливались псы, да с этими прутьями пробраться за спиной у сенатора К.Эгглстоуна Сноупса, когда он начнет речь держать, и этак легонько, чтобы ему не мешать, провести сырыми прутьями по его брюкам. Легонько, тихонько, чтобы никого не потревожить. Потому и вышло, что ни Кларенс, ни остальные даже не заметили первых шесть-семь собак, а потом Кларенс вдруг почув-

становал, что у него сзади брюки намокают, что-то ему свежо становится, он покосился одним глазом через плечо и увидел, что за ним выстроилась собачья очередь, стоит, решает его политическую судьбу; тут он как побежит к первому попавшемуся автомобилю, где можно бы укрыться, а сам косится назад и видит, что за ним, как хвост за змеем, несется эта собачья очередь; он как вскочит в машину, стекло поднял, а вокруг машины все псы кружат, как лебеди и лошадки на карусели, – помешали им, понимаете, они так и бегают на трех лапах, четвертую задрали, нацелились, взвели, так сказать курки. Наконец кто-то поймал владельца машины, взял у него ключ и отвез Кларенса домой, последний пес только и отстал мили через две; доехали до двора бывшего сенатора, где его никто не тронул, – видно, его, Кларенса, пес тоже был на пикнике, – и кто-то пошел в дом и вынес пару сухих брюк – переодеться бывшему сенатору. Вот именно – бывшему. Потому что он и в сухих штанах на пикник не вернулся, видно, сообразил, что это малость рискованно, напряжение чересчур большое. Я про то, что ему пришлось бы слишком напрягаться – тут надо свою кандидатуру снимать, а здесь еще оглядывайся все время через плечо – вдруг какой-нибудь пес вспомнит твою физиономию, хоть брюки у тебя свежие и ничем интересным не пахнут.

– Черт меня побери! – сказал дядя Чарльза. – Нет, это слишком просто, даже не верится.

– Видно, он сообразил, что убеждать народ голосовать за

него в при этом то и дело брыкаться одной ногой, отгонять собак – такого даже избиратели Миссисипи не потерпят, – сказал Рэтлиф.

– А я вам все равно не верю, – говорит дядя Гэвин. – Даже если бы все, кто был на пикнике, это видели и знали, не такой он человек, чтобы из-за этого снять свою кандидатуру. Вы же сами только что мне сказали, что его кто-то сразу посадил в машину и тут же увез домой. – И вдруг дядя Гэвин замолчал. Он посмотрел на Рэтлифа. Тот стоял, глядя на него как ни в чем не бывало. Гэвин сказал:

– А может быть, это...

– Правильно, – сказал Рэтлиф. – Такое было условие.

– Какое условие? – спросил дядя Гэвин.

– Видно, тут тоже был замешан тот же самый хитрец, неизвестный мошенник, – сказал Рэтлиф. – Словом, кто-то поставил условие, что если сенатор Сноупс снимет свою кандидатуру на этих самых выборах в Конгрессе, то все, кто видел, как собаки агитировали за Девриса, забудут об этом, а кто не видел, тот никогда и не узнает.

– Он и это обошел бы, – сказал дядя Гэвин. – Неужто Кларенса Сноупса может остановить или на секунду удержать то, что какие-то собаки подняли на него лапу? Черт, да это кончилось бы тем, что он все собачьи номера посчитал бы за поданные заочно бюллетени.

– Ах, вы про Кларенса, – сказал Рэтлиф, – а я думал, вы про дядю Билла Уорнера.

– Про Уорнера? – спросил дядя Гэвин.

– Вот именно, – сказал Рэтлиф. – Тот бессовестный тип, как видно, договорился с самим дядюшкой Биллом. Во всяком случае, именно он, дядюшка Билл, в тот же день объявил всем, что сенатор Кларенс Эгглстоун Сноупс снял свою кандидатуру в Конгресс; и как будто он даже не потрудился сообщить об этом самому бывшему сенатору. Да, припоминаю, люди говорили дяде Биллу то же самое, что вы сейчас сказали: что, мол, Кларенс все обойдет, что ему все нипочем; они даже насчет собак говорили вашими словами, только выражались чуть покрепче... Но дядя Билл сказал:

– Нет, на Втором участке никакой Кларенс Сноупс никуда баллотироваться не будет.

– Но разве он только на Втором участке баллотируется? – говорят. – Он же теперь даже не в нашем Йокнапатофском округе баллотируется. Он выставляет свою кандидатуру на одной восьмой всего штата Миссисипи. – А дядюшка Билл им отвечает:

– К чертовой матери все сто восьмых штата Миссисипи и весь Йокнапатофский округ. Не разрешу я, чтобы наш поселок представлял человек, которого всякая дворняга принимает за столб от забора.

Дядя Гэвин посмотрел на Рэтлифа. Он посмотрел на него очень пристально.

– Значит, этот неизвестный интриган, про которого вы рассказывали, знал не только про близнецов-племянников

Девриса и про собачьи кустики, он и про старого Билла Уорнера все знал.

– Похоже, что так, – сказал Рэтлиф.

– Значит, сработало, – сказал дядя Гэвин.

– Похоже, что так, – сказал Рэтлиф.

Чарльз и его дядя посмотрели на Рэтлифа, который сидел спокойный, аккуратный, чуть помаргивая, очень мягкий и сдержанный, в своей чистенькой голубой рубашке – он шил их сам и всегда носил без галстука, хотя Чарльз знал, что у него дома их было два, он заплатил за них Аллановне по семьдесят пять долларов за штуку, когда они с дядей Гэвином десять лет назад ездили в Нью-Йорк на Линдину свадьбу, но Рэтлиф их никогда не носил.

– О Цинциннат! – сказал дядя Гэвин.

– Что? – сказал Рэтлиф.

– Ничего, – сказал дядя Чарльза. – Интересно, кто же это мог сказать близнецам про собачьи кустики?

– Да, наверно, сам полковник Деврис, – сказал Рэтлиф. – Он на войне воевал, столько орденов получил, три года практиковался на немцах, на итальянцах, на япошках, что же ему стоило придумать такой пустячный стратегический ход в политике?

– Да то были просто обыкновенные убийцы или врожденные садисты без стыда и совести, – сказал дядя Гэвин. – А Кларенс прирожденный, натасканный, мелкотравчатый американский политикан.

– Может, эти политиканы и не такие вредные, надо только смотреть за ними в оба да делать все, что в твоих силах, и как можно лучше, – сказал Рэтлиф. Потом он сказал: – Значит, так, – и поднялся, сухощавый, спокойный, абсолютно вежливый, абсолютно непроницаемый, и, обращаясь к Чарльзу, сказал: – Помнишь, майор, то большое поле, где овес посеян, в излучине, за пастбищем дядюшки Билла? Говорят, там всю зиму дикие гуси водились. Почему бы нам не съездить туда поохотиться? Полагаю, что дядя Билл нам охотно разрешит.

– Большое спасибо, – сказал Чарльз.

– Значит, договорились, – сказал Рэтлиф. – Всего доброго, джентльмены. – И Рэтлиф ушел. Чарльз посмотрел на своего дядю, а тот пододвинул к себе лист бумаги и стал писать, не торопясь, но с чрезвычайно занятым видом.

– Итак, открыть кавычки, – сказал Чарльз. – «Придется поработать вам, молодежи», кавычки закрыть. Наверно, так говорили и тогда, летом тридцать седьмого года, когда мы, моралисты, даже пытались провалить самого Рузвельта, лишь бы добраться до Кларенса Сноупса?

– До свиданья, Чарльз, – сказал его дядя.

– Потому что, открыть кавычки: «Не нам за это дело браться, – сказал Чарльз. – Мы слишком стары, мы устали, потеряли веру в себя...»

– О, черт! – сказал его дядя. – Я же тебе говорю – до свиданья!

– Сейчас, сэр, – сказал Чарльз. – Можно еще минутку?

Потому что, открыть кавычки: «Соединенные Штаты, Америка – величайшая страна в мире, если только мы сможем все время держаться», закрыть кавычки. Только давай вместо «держаться» читать «надеяться на бога». Потому что на этот раз именно господь бог спас всех нас, хотя своим орудием он, безусловно, избрал В.К.Рэтлифа. Но ведь в следующий раз Рэтлифа может тут не оказаться, может, он будет разъезжать, продавать швейные машины или радиоприемники (да, действительно, Рэтлиф теперь представлял фирму по продаже радиоприемников, и приемник теперь стоял в том самом игрушечном домике, в его «пикапе», где раньше стоял образец швейной машины; а через два года на миниатюрном домике появится миниатюрная антенна телевизора), и сам господь бог его не сможет вовремя найти. В сущности, надо нам все наладить, чтобы бог хоть немного мог на нас положиться. Тогда ему не придется тратить время и все делать за нас. – И тут его дядя посмотрел на него, и Чарльз вдруг подумал: "Конечно, я и отца всегда любил, но отец только разговаривал со мной, а дядя Гэвин умел слушать, даже если я болтал такие глупости, что сам в конце концов начинал понимать, как это глупо, а он все-таки выслушивал меня до конца, а потом говорил: «Право, не знаю, выйдет оно или не выйдет, но я знаю отличный способ, как проверить. Давай мы с тобой попробуем». Именно не ты попробуй, а мы попробуем.

– Да, – сказал его дядя. – Я тоже так думаю.

Однако к тому времени, как Рэтлиф изничтожил Кларенса и вернул его к частной жизни во Французову Балку, в Джефферсоне вот уже скоро два года, как поселился новый Сноупс, так что Джефферсон оставался верен себе в том, что дядя Чарльза окрестил количественным соотношением или проблемой Сноупсов.

Этот Сноупс был совсем новенький, холостой, звали его Орест, в просторечии Рес. Вот именно, Орест. Даже дядя Чарльза не понимал, откуда он взялся. Дядя рассказывал Чарльзу, как в 1943 году в городе вдруг узнали, что Флему Сноупсу теперь принадлежит то, что осталось от имения Компсонов. А осталось маловато. Рассказывали, что Компсоны продали порядочный участок муниципальному совету под поле для гольфа еще в 1909 году, чтобы послать старшего сына, Квентина, учиться в Гарвардский университет, где он покончил с собой, не проучившись и года; а лет десять назад младший сын, Бенджи, идиот от рождения, поджег дом и сам сгорел вместе с ним. Было это уже после того, как Квентин утопился под Гарвардом, а брак Кэндейс, его сестры, полетел ко всем чертям, и она исчезла неизвестно куда, а ее дочь, тоже Квентин, неизвестно от какого отца, ночью спустилась из окна по водосточной трубе и убежала со странствующим цирком, и тогда Джейсон, средний сын, из-

бавился было от Бенджи, уговорив мать отправить того в сумасшедший дом, но все равно ничего не вышло, так как, по словам самого Джейсона, мать стонала и плакала до тех пор, пока он, Джейсон, наконец не сдался и не привез Бенджи обратно домой, и, конечно, не прошло и двух лет, как Бенджи не только сам сгорел, но и сжег дотла весь дом. А Джейсон получил страховую премию, взял в долг еще немного денег под пустующий участок и отстроил себе с матерью новый кирпичный дом на главной улице у площади. Но его участок очень ценился: город Джефферсон уже пододвигался к этому участку, окружал его; собственно говоря, поле для гольфа уже давно, еще в 1929 году, перенесли к загородному клубу, а старое поле снова откупил Джейсон Компсон. И не удивительно. Еще в школе Джейсон после уроков и по субботам подрабатывал в скобяной лавке дядюшки Айка Маккаслина в качестве приказчика, а в этой лавке уже тогда хозяйничал некий Эрл Триплет, которого откуда-то выкопал дядя Айк, должно быть, где-нибудь в охотничьих угодьях или на озере в Дельте, потому что дядюшка Айк почти все время проводил там. По этой причине никто в городе не удивился, узнав, что Триплет уже давно потихоньку вытеснил дядюшку Айка из лавки, хотя дядюшка Айк все еще околачивался там, когда не уходил на охоту или на рыбалку, и, конечно, Триплет все еще отдавал ему ружья, патроны и рыболовные снасти по своей цене. И никто не сомневался, что Джейсон поступал точно так же, когда он, в свою очередь, вытеснил Триплета

и тот вернулся к своему ружьишку, перемету или верше для миног.

Во всяком случае, практически Джейсон Компсон теперь стал владельцем скобяной торговли Маккаслина. И никто не удивился, узнав, что Джейсон прикупил к старому родовому имению их прежний участок, который его отец продал, чтобы послать старшего сына в Гарвард – университет, презираемый Джейсоном по той причине, что он вообще презирал все учебные заведения после средней школы, считая их прибежищем для тупиц и трусов. Дядя Чарльза говорил, что его очень удивило одно: когда он в канцелярии суда просматривал купчую и другие бумаги, он увидал, что, хотя Джейсон, несомненно, заплатил наличными за бывшее поле для игры в гольф, он не выкупил закладную на все остальные владения, под заклад которых получил деньги на постройку нового дома, аккуратно выплачивая с тех пор проценты в банк Флема Сноупса и, очевидно, предполагая выплачивать их и дальше. Так продолжалось до самого нападения на Пирл-Харбор. Можно было подумать, что у Джейсона был свой собственный, вполне надежный и верный агент в японском парламенте. А весной 1942 года уже можно было думать, что у него есть свой агент, столь же надежный и верный, и в американском правительстве: дядя говорил Чарльзу, что послушать Джейсона, так сразу поверишь, будто он заранее получил не только достовернейшую информацию, что в Джефферсоне будет построен учебный аэродром, но и достовернейшее обе-

щение, что этот аэродром будет построен именно на старом поле для гольфа, и нигде больше; дядя Чарльза говорил, что в то время никто ничего в аэродромах не понимал и даже над этим не задумывался, так что все охотно поверили Джейсону, что любое открытое место, годное для того, чтобы гонять мячи, годилось также и для посадки самолетов.

Во всяком случае, нужный человек поверил. А этим нужным человеком был Флем Сноупс, президент банка, державшего закладную на все остальные владения. Дядя Гэвин говорил, будто это было похоже на игру в карты, где каждый, открыв туза, добровольно согласился бы объявить два других туза битыми. Гэвин говорил, что никто, в сущности, не понимал, что же произошло. Знали они только то, что всем давно было известно про Джейсона Компсона и Флема Сноупса: Гэвин говорил, что, наверно, подошел такой момент, когда Флем, твердо уверенный, что Джейсон больше его понимает в аэродромах, вдруг в перепуге подумал, что, может быть, Джейсон и про деньги тоже понимает больше его. Так что Флем не мог идти на риск и дать Джейсону возможность взять еще карту. Приходилось Флему идти ва-банк.

А может быть (это мнение Гэвина), так думал Джейсон. И Джейсон просто размахивал воображаемым проектом аэродрома перед носом, мистера Сноупса, чтобы припугнуть его и заставить сделать первый ход. И, очевидно, Сноупс так и поступил: он опротестовал закладную, которую его банк держал на имение Джейсона. И сделано это было, разумеет-

ся, по-дружески, тихо и мирно, как Джейсон и ожидал: его (Джейсона) пригласили в тот самый кабинетик в банке, и Флем сказал примерно так: «Я и сам огорчен не меньше вашего, мистер Компсон. Но сами понимаете, какое дело. Наша страна сейчас сражается в обоих полушариях за самое свое существование, за свою жизнь, поэтому честь и долг каждого гражданина требуют, чтобы и он вложил свою долю в эту борьбу. И вот правление моего банка считает, что каждый цент из ресурсов банка должен быть вложен в то, что непосредственно касается наших военных усилий».

Именно этого и ожидал Джейсон: «Ну конечно же, мистер Сноупс. Каждый патриот и гражданин от всего сердца согласится с вами. Особенно когда тут, в Джефферсоне, собираются строить военный объект – аэродром и, насколько я понимаю, заключить контракт сразу после того, как документы на землю будут оформлены». И он тут же назвал свою цену на бывшее поле для гольфа, из какой-то суммы, само собой разумеется, будет оплачена и закладная. Но, если мистеру Сноупсу и правлению его банка угодно, он, Джейсон, назовет сумму, за которую готов отдать все компсоновские владения, включая и закладную, так что дирекция банка или другое патриотическое учреждение города смогут сами договариваться с правительством насчет продажи земли под аэродром, причем Джейсон оставляет за собой только право надеяться, что готовый аэродром назовут аэродромом Компсонов, не в честь его, Джейсона, а в честь того, что в исто-

рии Джефферсона их семья сыграла свою роль, за которую не приходится краснеть, и что среди их предков был один губернатор и один бригадный генерал, хотя, может быть, это и не стоит увековечивать, а впрочем, может быть, и стоит. Потому что, как сказал дядя Гэвин, Джейсон был и сам достаточно хитер, во всяком случае, он сразу сообразил: если такой человек, как Сноупс, мог потратить столько денег ради того, чтобы его имя стояло на памятнике его неверной жены, то он может потратить и больше, чтобы в его честь назвали аэродром.

Так думал Джейсон. А в январе 1943 года весь Джефферсон узнал, что мистер Сноупс – не банк, нет, мистер Частный Предприниматель Сноупс – стал собственником всего имения Компсонов. И тут – рассказывал Чарльзу его дядя Гэвин, Джейсон из злорадства стал понемногу раскрывать свои карты. И как же могли осудить его за это, если до сих пор никто, кроме итальянского синдиката по изготовлению мраморных памятников, не мог продать Сноупсу нечто столь аморфное, как престиж. А итальянцы, в сущности, продали ему респектабельность, что было для него не роскошью, а насущной необходимостью; теперь он (Джейсон) называл свое старое имение аэродромом Сноупса и даже (как рассказывал дядя Гэвин) подкарауливал, останавливал самого мистера Сноупса на улице, когда вокруг случались зрители, и спрашивал его, как идет строительство, и это после того, как все, даже те, кто не понимал, что такое аэродром, уже

знали, что никакого аэродрома тут строить не будут, потому что правительство давно выбрало ровную местность к востоку от Колумбуса и совершенно плоскую долину в Дельте к западу близ Гринвилла, как единственно приемлемые участки для учебных аэродромов. И тут Джейсон стал выражать сочувствие мистеру Сноупсу косвенным образом, произнося перед публикой длинные тирады о бестолковости и тупости правительства; он говорил, что мистер Сноупс всегда шел впереди своего века и что неизбежно с течением времени, пока будет продолжаться война и всем нам придется потуже затягивать пояса, установка Сноупса, по которой аэродром непременно нужно строить на бугристом поле, будет признана единственно целесообразной установкой и станет известна во всем мире как «Сноупсовский Проект Аэродромов», ибо по этому плану взлетные дорожки, которые раньше тянулись на целую милю, теперь можно будет сократить наполовину, потому что, сгладив бульдозером обе стороны бугра, можно будет их использовать как для посадки, так и для взлета, и самолет поползет, как муха по игральной карте, засунутой в щель.

Но, может быть, Джейсон просто себя подбодрял, говорил Гэвин, и в страхе перед страшным открытием сказал «пас», когда уже было поздно. Конечно, Джейсон был по-своему хитер и пускал в ход свою хитрость, где мог, иначе он не стал бы тем, чем он теперь стал, без всякой помощи со стороны, начав с ничтожной ставки. Возможно, что, подписав купчую,

даже еще не получив деньги по чеку, он сообразил, что Флем тоже был достаточно хитер, иначе как бы он стал президентом банка, начав с еще меньшей ставки, чем Джейсон, – у того хоть был дом и немного земли, а у Флема – только жена. Может быть, Джейсон вдруг догадался, почуял каким-то нюхом, полученным в наследство от их общего хозяина, самого дьявола, что Флем Сноупс вовсе не собирался и не хотел, чтобы строили аэродром на его земле. Это он, Джейсон Компсон, предполагал, что побочным продуктом войны всегда будет принудительное привлечение владельцев земельных участков к строительству аэропланов, танков и пушек, а Флем Сноупс соображал куда лучше. Флем Сноупс отлично понимал, что аэропланы, танки и пушки уничтожают сами себя тем, что устаревают, и что настоящий побочный продукт войны, который вечно растет и множится и никогда не перестанет расти и размножаться, это дети, это повышение рождаемости, и для них нужны участки, где можно возводить стены, чтобы защитить людей от непогоды и ненастья, чтобы им было где хранить накопленный хлам.

Но было уже поздно. Теперь Флем владел землей, и ему только оставалось сидеть и ждать, когда кончится война. Не имело никакого значения, выиграет ли Америка, а вместе с ней и Джефферсон эту войну или проиграет, в любом случае прирост населения будет предоставлять людям жилища, а жилища должны будут стоять на чем-то и где-то – в том числе и на участке земли в четверть квадратной мили, где

лишь один уголок принадлежал ворчливому старику по фамилии Медоуфилл, но с ним Флем Сноупс мог справиться в какие-нибудь десять – пятнадцать минут, как только ему понадобится этот клочок земли, к которому еще до Пирл-Харбора вплотную подошел город, обстраивая и окружая его. И то, что сделал Джейсон, никого не удивило; дядя Гэвин говорил Чарльзу, что удивительно было одно – что Джейсон обратился к нему, пытаясь подкупить его, чтоб он нашел какую-нибудь ошибку в купчей, выданной Сноупсу, а если ошибки нет, чтоб он ее придумал. Дядя Гэвин говорил, что Джейсон сам ему все объяснил.

– Говорят, будто вы – самый что ни на есть образованный юрист в наших краях. Вы же не только в Гарварде учились, но еще и в каком-то немецком городе, верно?

– То есть, если Гарвард не поможет вам жульнически отнять у Флема Сноупса ваше имение, так пусть поможет Гейдельберг, так что ли? – сказал дядя Гэвин. – Убирайтесь вон, Джейсон.

– Правильно, – сказал Джейсон, – теперь вам можно благородничать, не зря вы женились на деньгах!

– Я сказал – убирайтесь вон, Джейсон! – повторил дядя Гэвин.

– Ладно, ладно, – сказал Джейсон. – Найдется адвокат, у которого нет таких денег в банке Сноупса, такой, что Флема не побоится!

Впрочем, Джейсон Компсон и сам, без всякой подсказки,

понимал, что Флем Сноупс никогда и ни с кем не подписал бы такую купчую, где можно было бы придраться к какой-нибудь ошибке, описке. Но Джейсон все же пытался подкопаться, и дядя Гэвин рассказывал об этом Чарльзу: Джейсон только тем и занимался, что искал способ, любой способ опротестовать или хотя бы поколебать право Сноупса на его землю, и в нем кипела холодная, неумемная злоба – злоба сектанта, который вдруг обнаружил, что другой проповедник за его спиной подкараулил и обработал его клиента или пациента, над которым он старался все лето; вернее, это была злоба обманщика, вора, одураченного, ограбленного другим вором или обманщиком. Но каждый раз он попадал впросак: право Сноупса на все имение Компсонов оказалось настолько прочным, что Джейсон наконец сдался: и на той же неделе тот же Уот Сноупс, который двадцать лет назад превратил старый особняк де Спейнов в несокрушимый дворец Флема, опять приехал и перестроил старый каретник Компсонов (он стоял поодаль, и Бенджи не удалось его поджечь) в небольшой двухэтажный флигель, а через месяц новый джефферсоновский Сноупс, Орест, поселился в этом флигеле. И не только как агент Флема Сноупса, который на месте должен был воспрепятствовать любым махинациям, какие могут придумать или изобрести Джейсон. Нет, уже к лету Рес обнес изгородями все прилегающие участки, разделил их на выпасы и стал торговать беспородным скотом и свиньями. Кроме того, к этому времени у него нача-

лись оживленные партизанские стычки со стариком Медоуфиллом, чей сад граничил с выпасом для свиней, который огородил Рес.

Еще до войны старого Медоуфилла хорошо знал весь Джефферсон: он был так скуп, что смог уйти на покой и жить на сбережения от маленькой лесопилки. Уже после того, как он купил участок у Компсонов и выстроил себе хибарку без электричества и канализации, он еще около года работал на своей лесопилке, торгуя досками, а потом продал ее и стал жить в своем домишке, со своей забитой, замученной женой и единственной дочкой: и так как все понимали, что у живого и здорового человека (ушедшего на покой с лесопилки) не может быть ни одного лишнего доллара и у него в долг не возьмешь и ничего ему не продашь, то старый Медоуфилл мог спокойно сидеть и зарабатывать себе репутацию самого что ни на есть отъявленного сквалыги во всем Джефферсоне, а возможно, и во всем Йокнапатофском округе.

Чарльз помнил его дочку – тихонькую, смирную, как мышонок, девочку, на которую никто и не смотрел, пока она вдруг в 1942 году не только первой окончила с отличием среднюю школу, получив наивысшие оценки, каких никто до сих пор не получал, но, кроме того, ей предложили стипендию в пятьсот долларов, установленную президентом Джефферсонского банка (не сноупсовского, а другого) в память его единственного сына, морского летчика, погибшего в первых боях над Тихим океаном. От стипендии она отказалась.

Она пошла к мистеру Холленду и сказала, что поступила на службу в телефонную компанию и стипендия ей не понадобится, но она хочет взять в долг пятьсот долларов в банке под свой будущий оклад и, после настойчивых расспросов, объяснила, что хочет поставить в своем домике ванну: до сих пор раз в неделю, по субботам, зимой и летом, мать грела воду на плите, наполняла круглый стиральный бак, ставила его на пол посреди кухни, и в этой воде все трое купались по очереди: сначала – отец, потом – дочка, а после всех – мать; тут мистер Холленд сам взялся за дело, установил за свой счет ванну и провел канализацию в доме Медоуфиллов, хотя старик бесился и возмущался (он не желал, чтобы в его доме хозяйничали посторонние, а уж если они решили швырять деньги, пусть лучше выдадут наличными), а Эсси было предоставлено постоянное место в банке.

После того как его единственная дочь не только была устроена, но и реально вносила свою долю в семейный бюджет, старик Медоуфилл дошел до такого неистовства, которого в нем раньше и не подозревали. До этого времени он самолично делал все покупки, отправляясь каждое утро в город с пустой дерюжной торбой, и в грязных лавчонках на окраине, где обычно покупали провизию негры, торговался до одури из-за таких ошметков, какими даже негры пренебрегали. Весь остальной день он проводил не то что прячась, но выжидая где-нибудь в закоулке своего двора, надсадно орал на бродячих псов, забегавших на его неогороженный

участок, и на мальчишек, которые из баловства обрывали те жалкие одичавшие фруктовые деревья, которые он называл «садом». Теперь все это кончилось. Он выждал ровно год, как будто хотел окончательно убедиться, что Эсси получила место навсегда. Потом, наутро после смерти старой парализованной соседки, он купил у ее родных кресло на колесиках, в котором она сидела годами, и, не дожидаясь, пока похоронная процессия выйдет из дому, покатил кресло по улице и после этого почти перестал выходить с участка, засев в этом кресле. Правда, сначала он еще расхаживал по своим владениям. И хотя, по словам дяди Гэвина, все покупки теперь делала Эсси, старик Медоуфилл еще показывался во дворе, еще орал на мальчишек или швырял камнями (запас камней кучкой лежал у него под рукой, как ядра подле музейной пушки) в бродячих псов. Но со своего участка он уже не выходил, а вскоре прочно засел в кресло на колесиках, поставив его, как качалку, у окна, откуда был виден огородик, где он уже не работал, и хилые фруктовые деревья, которые он из скупости или просто от гнусного характера никогда не обрезал и не опрыскивал, хотя мог бы получить с них урожай если не на продажу, то хотя бы для себя.

А потом Джейсон Компсон так устроил, что Флем Сноупс завладел его родовым имением, а Рес Сноупс соорудил загон для свиней рядом с огородным участком старика Медоуфилла и тем самым сделал старика новым человеком. Раньше мальчишки могли от силы сломать ветку, а бродячие псы

разрыть цветочную клумбу, если бы он сажал цветы. Но теперь даже один кабан мог изгадить и запакостить самую землю. И теперь Медоуфиллу было ради чего жить. Он даже на время вылез из своего кресла, оно ему мешало, потому что он целыми днями смотрел, как Рес и поденщик-негр делают проволочную изгородь вдоль его участка, следил, как они копают ямы, как вкапывают каждый столб и утрамбовывают землю, и, охватив столб обеими руками, он тряс его и раскачивал, наливаясь кровью, и кричал как сумасшедший на Сноупса и его помощника, натягивавших проволоку:

– Туже! Туже натягивай! К черту в пекло, вы что, гамак вешаете, или как?

И тогда Рес Сноупс, высокий, долговязый малый, слегка кося насмешливым глазом, говорил:

– Да вы не беспокойтесь, мистер Медоуфилл, право, не стоит! Разве я позволю, чтоб такой почтенный старичок, инвалид, лазал на забор, руками цеплялся? Я тут перекладчины сделаю, вы сможете их снимать, а если трудно, можете и под них пролезать, когда захотите, – и Медоуфилл в ярости нечленораздельно бормотал:

– Пусть только эти кабаны... пусть только эти проклятые кабаны... – На что Сноупс отвечал:

– А вы их ловите и запирайте у себя в кухне или же в спальне, где вам удобнее, меня тогда по закону оштрафуют, возьмут с меня доллар. Может, оно и подходящее занятие для такого старичка, инвалида. – Но тут Медоуфилл уже до-

ходил до такого состояния, что Сноупс кричал его безропотной жене, стоявшей у окна или в кухонной двери: – Вы бы лучше его отсюда забрали!

Она вводила его – но на следующий день все начиналось снова. Наконец загородку доделали. Во всяком случае, Сноупс больше не подходил к тому месту, откуда Медоуфилл мог его крыть; только свиньи рылись в земле у новой загородки, которая их удерживала, по крайней мере, до поры до времени.

Именно до поры до времени – до той минуты, как темнело и нельзя было видеть, что делается в саду. Зато теперь старику было ради чего жить, ради чего вставать по утрам, вылезать из постели, бежать к окну, как только светало, смотреть – не предала ли его темнота, когда нельзя увидеть свинью в саду, даже если б можно было не спать двадцать четыре часа в сутки, карауля сад; было ради чего сесть в кресло, подкатиться в нем к окошку и увидеть, что хотя бы в эту ночь садик остался нетронутым, еще на одну ночь его пощадили. Он жалел каждую минуту, когда приходилось просиживать у стола за едой, – ведь сад оставался без присмотра. И, как говорил дядя Гэвин Чарльзу, старик Медоуфилл вовсе и не думал о том, что же он будет делать, если вдруг, выглянув в окно, увидит свинью у себя на участке, – Чарльз отлично помнил, что этот мерзкий старикашка еще до того, как притворился немощным и засел в кресло, настолько вооружил против себя всех соседей, что ни один из них пальцем не по-

шевелил бы, чтобы выгнать свинью из его огорода и вообще сделать для него хоть что-нибудь, разве что помог бы спрятать труп, если его безропотная серенькая жена наконец делает то, что она давно должна была сделать: как-нибудь ночью пристукнет его. Медоуфилл и не задумывался над тем, что он будет делать со свиньей. Ему это было не нужно. Он был счастлив, наверно, впервые в жизни, как говорил дядя Гэвин: человек счастлив, когда его жизнь наполнена, а всякая жизнь становится полной, когда каждая минута настолько занята, что некогда вспоминать о вчерашнем или бояться завтрашнего дня. Но, разумеется, как говорил дядя Гэвин, вечно это продолжаться не может. Со временем старик Медоуфилл дойдет до такой точки, что, если он, выглянув утром из окошка, опять никакой свиньи в саду не увидит, он просто умрет от невыносимого чувства обманутой надежды, а если он вдруг увидит свинью, так уж наверняка помрет, ибо жить уже будет незачем.

Спасла его атомная бомба. Чарльз считал, что, когда японцы тоже сдались, все солдаты со всех фронтов стали возвращаться домой, к женщинам, на которых они начали жениться еще раньше, до того, как замерло эхо от первого взрыва над Пирл-Харбором, и продолжали жениться, как только получали хотя бы двухдневный отпуск, – и теперь все они возвращались домой либо к своим семьям, либо чтобы жениться на тех женщинах, на которых они жениться не успели, а кровные их денежки уже заграбастал государственный жилищ-

ный фонд ветеранов войны (как говорил дядя Гэвин: «Герой, который доставлял ручные гранаты и пулеметные ленты к передовым позициям, теперь доставляет в прачечную корзины с грязными пеленками из переулков и закоулков, где живут ветераны войны»), и теперь Джейсон Компсон испытывал страдания, которые, как ему, вероятно, казалось, ни один человек не только не заслужил, но и выдержать не мог. Потому что, когда Чарльз вернулся домой в сентябре 1945 года, родовое имение Джейсона, потерянное для него, уже было нарезано на участки и там строились стандартные спичечные коробки – дома для ветеранов войны; а через неделю Рэтлиф явился в кабинет дяди Гэвина и сказал ему и Чарльзу, что участки получили официальное название «Поселок Юлы». Не то издевательское название, которое, злорадствуя, придумал когда-то Джейсон – «Аэродром имени Сноупса при опытно-разрушительном пункте его же имени», нет, участки называли «Поселок Юлы», семейные гнездышки имени Юлы. И Чарльз не знал – сам ли Сноупс это придумал или нет, но хорошо запомнил, какое лицо было у Дяди Гэвина, когда Рэтлиф им об этом рассказал. Но и без того Чарльз все еще предпочитал верить, что придумал название не сам Флем, а застройщик участка и (как полагали в городе) партнер Флема Уот Сноупс, потому что Чарльзу все еще хотелось верить, что есть вещи или хотя бы одна вещь, на которую даже Флем не способен, пусть даже по той единственной причине, что Флем никогда и не подумал бы давать участкам какое бы

то ни было название, потому что ему было совершенно безразлично, называются они как-нибудь или нет. К рождеству все участки уже были усеяны маленькими, ярко выкрашенными, девственно новыми домиками, столь же одинаковыми (и столь же прочными), как пряники или галеты, и уже бывший военный моряк или солдат в потрепанной форме, толкая детскую коляску одной рукой и держа на другой второго (или третьего) ребятенка, в нетерпении ждал у дверей, пока последний маляр собирал свои кисти. А к Новому году была утверждена и намечена новая дорожная магистраль вдоль всего жилого участка мистера Сноупса, включая тот угол, которым владел Медоуфилл; и тут перед Медоуфиллом открылись такие возможности для треволнений и развлечений, перед которыми какое-то вторжение свиней было совершенным пустяком, вроде пролета птички или следа лягушки. Оказалось, что теперь одна из крупных нефтяных компаний желает купить тот угол, где сходились участки Медоуфилла и владения Компсонов (теперь Сноупса), то есть кусок медоуфилловского садика и примыкающий к нему загон для свиней Реса Сноупса, чтобы выстроить там заправочную станцию с бензоколонкой.

Но старику Медоуфиллу не принадлежала даже та тринадцатифутовая полоска земли, на которую целилась нефтяная компания. Да и вообще, как знал весь город, купчая на землю была составлена вовсе не на имя Медоуфилла. Давно, когда Рузвельта только что переизбрали президентом во вто-

рой раз, Медоуфилл, естественно, оказался среди первых, кто обратился за пособием, и тут же с возмущением и недоверием обнаружил, что эти крючокотворы и бюрократы из федерального правительства решительно отказываются признать его и нищим и землевладельцем одновременно. Тогда он обратился к Гэвину, выбрав из всех джефферсонских адвокатов именно его по той простой причине, что он, Медоуфилл, отлично знал – через пять минут Стивенс так на него рассердится, что, по всей вероятности, откажется взять гонорар за составление бумаги, согласно которой Медоуфилл переводил все свое состояние на имя своей девятилетней (это было в 1934 году) дочери. Он ошибся только во времени, потому что уже через две минуты Стивенс так вскипел, что сам помчался к городскому архивариусу и обнаружил у него в архиве, что в купчей, которую отец Джейсона Компсона выдал Медоуфиллу, значилось: «К югу от дороги, известной под названием Фридом-Спрингс-роуд и далее к востоку от упомянутой дороги». Фридом-Спрингс-роуд к тому времени, как Медоуфилл купил свой участок, уже превратилась в размытую, заросшую кустами канаву глубиной в десять футов, вдоль которой шла пешеходная тропка, причем тогда эта канава представляла собой географическую примету, столь же значительную и существенную, как Великий Каньон, потому что происходило все это до той эры, когда бульдозеры и грейдеры не только меняли, но и стирали географические приметы с лица земли. И выходило, что граница пролегла

на тринадцать футов ближе, чем та первоначальная землемерная линия, по которой Могатаха, предводительница племени чикасо, в 1821 году отдала землю первому Квентину Компсону, и дядя Гэвин рассказывал Чарльзу, что по первому моральному побуждению он хотел сразу сообщить старику Медоуфиллу, что тот фактически владеет на поверхности земного шара тринадцатью футами больше, чем думает, если только он успеет заявить о них до того, как это сделает кто-нибудь другой. Но если он, Стивенс, скажет это, то будет морально обязан принять от Медоуфилла десять долларов за архивные розыски, поэтому он решил одно моральное побуждение подавить другим и представить простой справедливости совершаться своим путем.

Так обстояло дело, когда провели изыскания для нового шоссе, которое должно было пройти по старой границе племени чикасо, и тут Медоуфилл обнаружил, что его владения простираются только до канавы, то есть на тринадцать футов не доходят до шоссе. Ярость слишком слабое слово для того состояния, в которое пришел старик, когда нефтяная компания предложила откупить у него участок, а он узнал, что его смертельный враг Сноупс-свиновод владеет, хотя и без всяких документов, именно теми тринадцатью футами, без которых нефтяная компания не приобретет у него, Медоуфилла, ни клочка земли. Конечно, он испытывал и ярость, потому что вот уже с год он не выходил из состояния ярости. Но теперь к ней примешалось и торжество. Больше того:

в нем проснулась жажда мщения, желание отплатить. Отомстить Компсонам, которые ему подсунули фальшивую купчую, заставили поверить им на слово. Отомстить всему городу, где его годами изводили мальчишки и бродячие псы, и не дать компании возможности развернуть выгодное для города дело (а если удастся, то даже помешать постройке нового шоссе). Отомстить человеку, который целый год отнимал у него не только сон, но и аппетит постоянной угрозой нашествия свиней. И он просто-напросто заявил, что никому ни на каких условиях не продаст ни клочка своей земли, а так как его участок лежит перед участком Сноупса (не считая полосы в тринадцать футов), то он тем самым отрезал у нефтяной компании угол, намеченный под заправочную станцию, словно ставил таможенную загородку. В результате этого нефтяная компания отказалась покупать и участок Сноупса.

Разумеется – и об этом знал весь город, – Сноупс (Чарльз имел в виду Реса Сноупса) уже говорил с Эсси Медоуфилл, на чье имя была записана земля, и, насколько в городе знали, она ответила: «Вам надо поговорить с папой». Так что перед Сноупсом стояло поистине непреодолимое препятствие: из-за своих свиней он навсегда лишился возможности лично поговорить со стариком Медоуфиллом, хотя бы на минуту вступить с ним в какие бы то ни было человеческие отношения. В сущности, перед Сноупсом стояло два непреодолимых препятствия: вторым препятствием было его убеж-

дение, иллюзии, воображение, будто деньгами можно воздействовать на человека, который за многие годы настолько привык не иметь и не желать лишнего доллара, что теперь и тысячей его не соблазнить. Так что Сноупс ошибся в человеке. Но он не сдавался (да, конечно, посторонний человек мог бы подумать – а что же в это время делал Флем Сноупс, подлинный владелец всей земли? Но жители города были далеко не посторонние), – Рес отправился к агенту нефтяной компании, ведавшему закупкой участков, и сказал: «Вы ему передайте, что, если он подпишет купчую, я ему отдам десять процентов с того, что вы заплатите мне за эти тринадцать футов». Потом сказал: «Ну, ладно. Пятьдесят процентов. Половину». Потом сказал: «Ну, ладно. Сколько он хочет?» И наконец сказал, и, по словам агента нефтяной компании, голос у него был мало сказать вежливый – предупредительный, вкрадчивый: «Ну, ладно. Хороший гражданин не может мешать прогрессу, хотя бы и себе в убыток. Скажите ему, если он подпишет купчую, я ему отдам эти тринадцать футов».

На этот раз Медоуфилл даже не дал себе труда сказать «нет», неподвижно сидя в кресле, откуда он мог видеть землю, которую не хотел продать, и прилегающий участок, который его сосед не мог продать из-за него. Так что в городе нашлись сочувствующие, когда Сноупс предпринял следующий шаг, незадолго до того, как у Эсси Медоуфилл произошло одно событие, которое показало, что она, несмотря на

свою внешность, далеко не такая смиренница, и хотя про нее по-прежнему можно было сказать «скромная», но добавить к этому надо было не «тихая», а «решительная».

Как-то утром, когда Медоуфилл катил свое кресло от стола к окошку, он, выглянув в сад, увидел то, чего ждал больше года: пролезшая через загородку свинья рылась в бросовых персиках под бросовыми, неухоженными деревьями; и пока он орал на весь дом, зовя миссис Медоуфилл, Сноупс сам, лично, пересек дворик с початком кукурузы и веревочным арканом в руках и, подманив свинью, привязал ее за ногу и наполовину ходом, наполовину волоком вытащил ее из садика, а старик Медоуфилл, привстав в кресле, высунувшись в открытое окно, орал им вслед страшные ругательства, пока они не скрылись из виду.

На следующее утро он уже сидел у окна и своими глазами увидел, как свинья спокойно протрусила по дорожке в его садик; он орал и ругался, высунувшись из окна, а его перепуганная жена, на ходу заматывая голову платком, уже бежала по саду и стучала в запертую дверь Сноупса, пока неумолчная ругань Медоуфилла не заставила ее вернуться домой. Почти все соседи уже выбежали посмотреть, что происходит: старик не переставая выкрикивал ругательства из окошка, а его жена пыталась сама вытащить свинью из садика, когда появился Сноупс (все поняли, что он нарочно прятался и подсматривал), и с невинным, извиняющимся и даже удивленным лицом, держа в руках початок кукурузы и

веревку, подманил свою свинью и уволок ее.

На следующий день Медоуфилл достал ружье – старую мелкокалиберную одностволку. Не иначе он ее у кого-то одолжил, хотя никто не мог себе представить, когда же он расстался с креслом, с окошком (не говоря уже о свинье), успел где-то найти мальчишку, владельца мелкокалиберной винтовки, и уговорить или запугать его, чтобы тот ему отдал свою игрушку, ни один человек просто не мог бы себе представить, что старик сам когда-то был мальчиком, гордым и взволнованным владельцем первой своей мелкокалиберной винтовки, и берег ее все эти годы, как память о чистом и невинном детстве. Но винтовка оказалась у него в руках, и с патронами – не с настоящими пулями, а с мелкой дробью, какой пользуются натуралисты: таким зарядом да еще на расстоянии не только убить, но и подранить свинью было невозможно. Да и в сущности, как дядя сказал Чарльзу, Медоуфилл вовсе и не хотел прогнать свинью: ему просто хотелось стрелять в нее каждый день, как другие старики играют в крокет или в лото.

Сразу после завтрака он бросался к окну, в свою засаду на колесиках, и, скорчившись, ждал, когда появится свинья. И тут (ему для этого приходилось вставать с кресла) он выпрямлялся и медленно, осторожно подымал фрамугу и проволочную сетку (он смазал пазы, чтобы рамы подымались быстро и бесшумно, и приделал к ним ручки так, чтобы обе поднять сразу, одним движением) и стрелял из винтовки;

свинья судорожно дергалась, подскакивала и тут же, забыв о боли, снова начинала рыться в земле, и он снова стрелял в нее; но, наконец, какой-то смутный рефлекс связывал для свиньи боль со звуком выстрела, и после следующего выстрела она убегала домой и возвращалась только наутро. А потом она в конце концов связала и валявшиеся персики с чем-то враждебным и целую неделю не приходила вовсе; и тут по соседям пошла легенда, что Медоуфилл нанял мальчишку, доставлявшего мемфисские и джексонские газеты (сам он газет не покупал, не интересуясь новостями, за которые надо платить ежемесячно целый доллар), чтобы этот мальчишка обчищал мусорные ящики по соседству и ночью разбрасывал приманку у него в садике.

Но теперь город все больше недоумевал: что же именно задумал Сноупс? То есть, конечно, все ждали, что после первого выстрела по свинье Сноупс перестанет ее выпускать. А может быть, даже продаст, потому что он и этим занимался, хотя никто, должно быть, не дал бы полную рыночную цену за фунт живого мяса, если в свинье сидела накопившаяся за четырнадцать – пятнадцать месяцев дробь десятого номера.

Но наконец, как рассказывал Чарльзу его дядя, все догадались о намерениях Сноупса: он надеялся, что когда-нибудь, по ошибке, по оплошности, а может быть, просто в ярости, которая сметет все нравственные запреты, весь страх перед последствиями, как сметает их азарт игроков и пьяниц, Медоуфилл зарядит ружье настоящей пулей; и тогда Сноупс не

только сможет подать на него в суд за убийство свиньи, но и отыскать постановление городских властей, запрещающее стрельбу в пределах города, и уже тогда, с помощью этих двух средств, он как-нибудь заставит Медоуфилла не мешать ему, Сноупсу, продать свой участок нефтяной компании. Но тут произошла история с Эсси Медоуфилл.

Он был капрал морской пехоты. В городе так и не узнали, где и когда Эсси умудрилась с ним встретиться. Она никуда не выезжала, только изредка, на полдня, ездила в Мемфис, как ездили, по крайней мере, раз в году все жители Северного Миссисипи. Она ни разу не пропустила службу в банке, а летний отпуск, как все знали, она проводила дома, терпя от засевшего намертво обитателя кресла то, что ей полагалось терпеть. Однако они встретились: может быть, они завязали переписку через посредство какого-нибудь Агентства помощи одиноким сердцам. Словом, однажды, сделав, как обычно, ежедневные покупки по хозяйству, она с сумкой в руках ждала на станции, и когда подошел автобус из Мемфиса, с него сошел неизвестный Джефферсону человек, взял ее сумку с провизией, и Эсси с опозданием на час прошла по улице (обычно жители этой улицы проверяли по ней часы). И весь город понял, что скромница, как про нее говорили годами, вовсе не подходящее слово, так как никакая скромница явно не могла так сразу расцвести, стать такой мягкой, такой нежной и женственной за короткое время после прихода автобуса. И тихоней ее тоже никак нельзя было назвать;

ей понадобилась огромная решимость – знал ли ее морячок об этом или нет, – чтобы вместе с ним войти в дом, подойти прямо к креслу под огнем такой ярости, по сравнению с которой проклятия в адрес мальчишек, швыряние камней в собак и даже стрельба дробью по сноупсовской свинье были сущей ерундой, истерикой; ведь теперь нарушители, стоявшие перед Медоуфиллом, подрывали самую систему рабства, за счет которого он существовал, – и не только подойти к креслу, но и сказать: «Папа, это мистер Маккинли Смит. Мы с ним решили пожениться». А потом выйти через пять минут на улицу и там, на глазах у всех, кому хотелось смотреть, поцеловаться с этим моряком, – может быть, она его целовала не впервые, но, вероятно, впервые целовалась с ним, не беспокоясь (более того, даже не задумываясь), грех ли это. И, очевидно, у Маккинли тоже было достаточно решимости: сын техасского фермера, он, вероятно, и не слышал о Миссисипи, пока не встретился с Эсси, где бы и как бы это ни произошло, – и, в сущности, поняв, что из-за инвалидного кресла и забитой, незаметной матери Эсси, несмотря ни на что, не оставит семью и не выйдет за него замуж, он должен был бы все бросить и следующим автобусом вернуться домой, в Техас.

Но, очевидно, эта решимость была у них общей, так как теперь у них все было общее. Они и вправду стали друг для друга судьбой, роком, словно родились под одной звездой. Они и действовали во всем заодно. Ясно было, что он на-

всегда связал свою судьбу с Джефферсоном. Так как уже довольно давно (стоял январь 1946 года, Чарльз вернулся домой и сам присутствовал при развязке) множество демобилизованных по всей стране училось на разных курсах, хотя у некоторых ни способностей, ни даже охоты к этому не было, то и для Маккинли проще всего было бы тоже поступить на специальные курсы, недавно открытые при Джефферсонской Академии, где за счет государства он мог бы хоть раз в день держать Эсси за руку, дожидаясь, пока старого Медоуфилла задушит его собственная подлость. Но морячок Эсси отказался от высшего образования так же решительно и твердо, как и сама Эсси, и на том же основании. Объяснял он это так: «Два года я был солдатом. Единственное, чему я выучился, это то, что единственное безопасное место – твое личное убежище, предпочтительно с железной крышкой, которую можно захлопнуть у себя над головой. Но так как я теперь уже не солдат, значит, я могу выбрать себе убежище, где захочу, и даже обставить его с удобствами. Вот я и хочу выстроить себе дом».

И он купил небольшой участок. Разумеется, в «Поселке Юлы». И, разумеется, выбирала участок Эсси. Он был совсем недалеко от того дома, где она прожила всю жизнь; значит, как только дом стал расти, Медоуфилл неизбежно (кроме тех часов, когда он оставлял в покое свинью и шел спать) должен был видеть из своего окошка, как бревно за бревном сколачивался дом, вечным напоминанием и предупреждением.

ем, что теперь ему никак нельзя оплошать и преждевременно помереть. По крайней мере, постройка дома тоже стала для него предлогом по-прежнему не вставать с кресла, хотя свинью он уже не видал. Она как будто сдалась, быть может, на время. Либо Сноупс сдался, тоже, должно быть, на время. Последний визит свиньи состоялся в тот день, когда Эсси впервые привела своего морячка домой для разговоров, и с тех пор не повторялся. Сноупс все еще был владельцем и этой свиньи, и многих других (судя по запаху, доходившему оттуда), и, во всяком случае, так как это была его профессия, он в любое время мог найти ей замену, если бы решил, что пора это сделать. Но пока что он воздержался, починил загородку или (как думали соседи) просто перестал оставлять калитку открытой на время, так сказать, стратегического перемирия. Так что старику Медоуфиллу оставалось только следить за постройкой дома.

Маккинли строил этот дом сам, сам делал всю грубую, тяжелую работу, и ему помогал плотник, размечавший доски, которые тот пилил, а старик, засев в кресло, исходил злобой, которую за отсутствием свиньи даже выместить было не на ком. Но по привычке, а может, и нарочно, ему приходилось держать под рукой заряженное ружье. Не мог же он знать заранее, появится свинья опять или нет, и теперь жители города уже гадали, много ли времени пройдет, долго ли он сможет выдержать, чтобы не выстрелить в кого-нибудь из них – в Маккинли или в его плотника. Потом решили, что стре-

лгать можно только в плотника, если старик не заведет себе прожектор, потому что в один из дней (уже пришла весна) Маккинли купил мула, и все узнали, что он арендовал небольшой участок земли в двух милях от города и теперь сеял там хлопок. Дом уже был почти закончен, оставалось только отделать его и навесить рамы, что мог сделать только специалист – плотник, так что сам Маккинли затемно уезжал на своем муле и возвращался к ночи. Но к этому времени старик Медоуфилл уже дошел в своей бессильной ярости до предела; можно бы еще, пожалуй, припугнуть или принудить Маккинли, чтобы он продал недостроенный дом, может быть, даже с прибылью, но какой дурак купит у него урожай хлопка с участка, где этот хлопок даже еще не взошел. Теперь ничто уже не могло помочь старику, кроме чьей-нибудь смерти – вдруг умрет он сам или Маккинли.

И тут свинья вернулась. Просто появилась опять – и все. Было это, по всей вероятности, утром, когда Медоуфилл подкатил кресло от стола к окошку, думая, что проведет день, как всегда, в состоянии неизменного озлобления, как вдруг перед ним очутилась свинья, которая рыла землю, ища призраки прошлогодних персиков, как будто она и не выходила из сада. Возможно, что Медоуфиллу так и хотелось думать: свинья вообще никуда не исчезала, и, значит, все, что до сих пор происходило, все, что его довело до бешенства, – лишь сон, воображение, и прогнать этот сон можно, только если сразу выстрелить. Так он и сделал: очевидно, он все

время держал заряженное ружье под рукой, многие соседи говорили, что, еще лежа в кровати, услышали злобный мальчишеский треск мелкокалиберной винтовки.

К полудню отзвук этого выстрела уже пошел по городу, хотя толчок от него больше всех ощутил дядя Чарльза. Он уже собрался идти домой обедать, когда услышал шаги на лестнице. В приемную вошел Рес Сноупс, держа наготове пятидолларовую бумажку. Он положил деньги на стол и сказал:

– Добрый день, Юрист, я вас не задержу. Мне нужен небольшой совет – долларов этак на пять. – Не дотрагиваясь до денег, Стивенс перевел глаза на их владельца: он знал, что тот никогда в жизни не выложил бы пять долларов за то, что нельзя было бы потом продать, по крайней мере, центов на двадцать пять дороже. – Я насчет своей свиньи – ну, той, в которую так любит стрелять дробью этот старый джентльмен – мистер Медоуфилл.

– Слыхал, – сказал дядя Чарльза. – Так что же вы хотите узнать за свои пять долларов? – Дядя потом рассказывал Чарльзу: Сноупс стоял у стола не то чтобы скрытный, а просто сдержанный. – Зачем же вам объяснять то, что вы сами давно знаете: если вы подадите на него жалобу за то, что он ранил вашу свинью, он выставит против вас закон, запрещающий пускать скотину бегать по городу. Может, хотите, чтобы я вам сказал то, что вы уже год назад знали, когда он первый раз выстрелил? Либо почините загородку, либо избавьтесь от свиньи.

– Свиныю откормить дорого стоит, – сказал Сноупс. – А насчет того, чтобы ее продать, так этот старый джентльмен столько дрови в нее всадил, что теперь ее, пожалуй, никто не купит.

– Ну, съешьте ее сами, – сказал Стивенс.

– Целую свинью – одному человеку? Уж я не говорю, сколько в ней дрови набралось за два года.

– Ну, подарите ее кому-нибудь! – сказал Стивенс и тут же пожалел, хотя и с опозданием, об этих словах.

– Значит, вот какой вы мне даете юридический совет, – сказал Сноупс. – Подарить свинью. Премного вам благодарен. – И он пошел к двери.

– Пойдите! – сказал Стивенс. – Погодите! – И подал ему деньги.

– Я к вам пришел за юридическим советом, – сказал Сноупс. – Вы мне посоветовали подарить свинью. За это я вам должен заплатить. Ежели гонорар слишком маленький, так и скажите. – И он ушел.

Мозг у Стивенса работал быстро, но он не подумал: «Почему он выбрал именно меня?» – потому что это было понятно: Стивенс когда-то составлял на имя Эсси Медоуфилл дарственную на тот участок, из-за которого шли споры: кроме того, он был единственным человеком во всем Джефферсоне, кроме родных Медоуфилла, с которым старик в последние двадцать лет поддерживал сколько-нибудь человеческие отношения. Он даже не подумал: «Почему Сноупс не сооб-

шил никому другому, юристу или не юристу, что он собирается подарить свинью?» – Он даже не подумал: «Почему он спровоцировал меня на эти слова, так что вышло, будто я ему дал за деньги юридический совет?» А подумал Стивенс вот что: «Каким образом, подарив эту свинью, Сноупс заставит старика Медоффилла продать свой участок?»

Дядя Гэвин всегда говорил Чарльзу, что он заинтересован не в истине и даже не в справедливости, – главное для него узнать, понять: надо ли ему дальше вмешиваться в это дело или не надо, и что все средства для достижения этой цели вполне оправданны, если только не оставлять враждебных свидетелей или вещественных доказательств. Чарльз ему не верил: иногда он добивался ответа на свой вопрос слишком трудным путем, иногда слишком кропотливым. И есть вещи, которых не станешь делать только ради того, чтобы найти ответ. Но дядя Гэвин говорил, что Чарльз ошибается: любопытство – это такая возлюбленная, ради которой ее рабы пойдут на любую жертву.

Но в данном случае беда была в том, что дядя Гэвин сам не знал, чего он ищет. У него было два метода – наблюдение и расспросы – и три ориентира – Сноупс, свинья и старик Медоффилл, для того чтобы раскрыть дело, в котором он, может быть, и сам не сразу разберется. Расспрашивать он никого не мог, так как единственный человек, вероятно, знавший ответ, – Сноупс, – уже сказал ему все, что считал нужным. Постоянно наблюдать за свиньей он тоже не мог,

потому что она, как и Сноупс, была способна к передвижению. Так что единственным неподвижным ориентиром был старик Медоуфилл. Словом, на следующее утро дядя Гэвин поднял Чарльза затемно, и еще до рассвета они устроили засаду в машине дяди Гэвина, откуда можно было видеть дом Медоуфилла, его сад и тропку, ведущую в дом Сноупса, а в дальнем углу треугольника – новый домик, который почти достроил Маккинли. Так они просидели два часа. Они видели, как Маккинли верхом на муле уехал к себе на хлопковое поле. Потом и Сноупс вышел в переулок из своего дома и направился в город, к центру. Наконец подошло время идти на службу и Эсси Медоуфилл. Остался один старик Медоуфилл, засевший у окошка. А свиньи нигде видно не было.

– Так вот чего мы ждем, – сказал Чарльз.

– Верно, – сказал его дядя.

– Я хочу сказать – ждем, чтобы он отвлекся и перестал на нас пялить глаза, – он уже часа два, наверно, следит за нами, – тогда мы хоть успеем уехать.

– Думаешь, мне хочется тут сидеть, – сказал дядя Гэвин. – Но приходится, иначе надо будет отдать те пять долларов.

На следующее утро все повторилось. Но теперь было поздно бросать это дело: не говоря о том, что Сноупс дал те пять долларов, они оба уже потратили слишком много времени – два дня подряд вставали до зари, даже не выпив чашки кофе, и битых два часа сидели в запрятанной машине и ждали чего-то, чего они, может быть, сразу и не поймут, даже если

увидят. Настало третье утро: Маккинли на своем муле выехал, как по расписанию, так точно и аккуратно, что Чарльз и его дядя даже не сразу заметили, что Сноупс еще не появлялся, а Эсси Медоуфилл уже вышла из дому и отправилась на службу. Для Чарльза это было неожиданно, он даже вздрогнул, как вздрагиваешь, просыпаясь, когда не заметил, что уснул: вдруг оба увидели свинью, и дядя Гэвин сразу выскочил из машины и побежал. Да. Это была свинья, и делала она именно то, чего от нее ждали: упрямой, мелкой поросычье рысцей трусила прямо к садику Медоуфилла. Только показалась она вовсе не оттуда, откуда должна была бы показаться. Правда, бежала-то она именно туда, куда они и ожидали, но не оттуда, откуда она должна была бежать. Бежала она не от дома Сноупса, а от дома Маккинли Смита. А дядя Гэвин уже летел, возможно, как говорил Рэтлиф, по врожденному инстинкту или чутью именно туда, где что-то должно было случиться, даже если он не всегда прибегал вовремя, он летел – и Чарльз, конечно, за ним – через улицу, через дворик, прямо в дом, чтобы поспеть, пока старый Медоуфилл не увидел в окне свинью и не выстрелил в нее.

Не постучав, дядя Гэвин влетел именно в те двери, за которыми, как он правильно сообразил, должен был сидеть и смотреть именно в то окошко старик Медоуфилл, там он и оказался: он весь подался из кресла к окну, стеклянная фрамуга была уже поднята, а сетка еще нет, одной рукой он уже навел винтовку, другой держался за ручку сетки, чтобы и ее

дернуть кверху. Но он – Медоуфилл – так и застыл, не двигаясь, и смотрел на свинью. Все давно привыкли видеть на его лице жадное, мстительное и жестокое выражение, это было для него обычно. Но сейчас на его лице ничего, кроме явно-го злорадства, не было. Он даже не обернулся, когда вбежали Чарльз и его дядя, он только сказал:

– Заходите, у вас места в первом ряду!

И они услышали, как он ругается: но честной, грубой уличной руганью, а тихими комнатными похабными словами такой силы, что Чарльз подумал: если старик когда-нибудь так умел ругаться, то на старости лет пора бы и позабыть.

Тут он приподнялся в кресле, и Чарльз увидел, куда он смотрит, – небольшой предмет, не длиннее кирпича, завернутый в кусок мешковины, был привязан к развилке ближнего персикового дерева, футах в двадцати от дома, так что конец смотрел прямо в окно, и Гэвин крикнул: «Стоп! Стоп! Не подымайте!» – и даже схватился за сетку, но поздно: старый Медоуфилл уже привстал, прислонил ружье к стенке и, схватив ручку обеими руками, рывком поднял сетку. Персиковое дерево словно выплонуло дробовой патрон острым тонким плевком прямо в окошко; дядя Гэвин потом говорил, что буквально на его глазах проволоки на поднимающейся кверху сетке расщепились и раздались там, где в них ударил крохотный взрыв. Чарльз и сам словно услышал, как мелкая дробь хлестнула по животу и груди старика Медоуфилла, и

он как-то подскочил и опрокинулся в кресло, но оно выкатилось из-под него, так что он очутился на полу, где и остался лежать с выражением недоуменного возмущения – ни боли, ни испуга, ни волнения, только возмущение. Он тут же привстал и схватился за ружье.

– Кто-то в меня стрелял! – сказал он.

– Ясно, кто, – сказал дядя Гэвин, отнимая у него ружье. – Свинья и стреляла. Да разве она виновата? Не двигайтесь, сейчас посмотрим.

– Какая к черту свинья! – сказал старик. – Это он, распротакый, распротакый Маккинли Смит!

Его не ранило, только обожгло, опалило до пузырей, потому что мелкая дробь должна была пробить не только брюки и рубаху, но и толстое зимнее белье и поэтому застряла под самой кожей. Но он совсем взбеленился, он бушевал, орал и ругался, пытаясь отнять ружье у дяди Гэвина (миссис Медоуфилл уже прибежала в комнату, закутав голову платком, словно в ту минуту, как свинья переходила незагороженную границу их участка, ей это передавалось на расстоянии каким-то неизбежным, роковым образом, словно сигнал электрического глаза, который открывает двери), но потом старик выдохся и пришел в сравнительно спокойное состояние. И тут он все рассказал: два дня назад Сноупс сообщил Эсси, что он подарил свинью Маккинли на новоселье, а может быть, так Сноупс надеялся, и на близкую свадьбу, но тут дядя Гэвин перебил старика:

– Погодите! Эсси сказала, что мистер Сноупс подарил свинью Маккинли, или она говорила, что он сказал, будто бы он ее подарил?

– Что такое? – сказал Медоуфилл. – Что такое? – И тут он опять стал ругаться.

– Лежите смирно, – сказал дядя Гэвин. – Вы целый год стреляли в эту свинью, и ничего ей не сделалось, так что теперь один заряд дробы и вам не повредит. Но ради вашей жены мы вызовем доктора. – Дядя Гэвин снял обрез с дерева, это была очень ловко сделанная западня – дешевое, мелкокалиберное ружье с отпиленным стволом и прикладом было укреплено на доске, и вся эта штука, завернутая в мешковину, привязана к развилке дерева, а черный шнур, крепкий и тонкий, протянут от курка через отверстия нескольких гаек прямо к сетке оконной рамы, причем обрез был нацелен примерно на фут выше подоконника.

– Если бы он не привстал, перед тем как поднять сетку, весь заряд попал бы ему прямо в лицо, – сказал Чарльз.

– Ну и что? – сказал его дядя. – Думаешь, тому, кто это наладил, было не все равно? Ему было безразлично: либо эта штука напугает старика, доведет его до бешенства, и тогда он налетит уже на Смита с ружьем в руках, а ружье-то на этот раз было заряжено настоящей пулей, – видно, старик, собирався стрелять всерьез, – и тут Смицу пришлось бы убить его из самозащиты, либо выстрел из обреза ослепит старика, а может, и убьет его на месте, в кресле, и тем самым все раз-

решится. Так или иначе, отец Эсси будет убит, а ее любимый может попасть в тюрьму, если он его убьет, вот и придется иметь дело только с Эсси.

– Хитро придумано, – сказал Чарльз.

– Нет, хуже. Не хитро, а подло. Всякий непременно подумал бы, что такой обрез мог сделать только ветеран войны, моряк тихоокеанского флота, хотя бы он начисто отрицал это.

– И все-таки хитро задумано, – сказал Чарльз. – Даже Смит согласится, что хитро.

– Верно, – сказал дядя Гэвин. – Вот за этим-то я и привел тебя сюда. Ты тоже бывший военный. Может быть, мне понадобится толмач, когда придется с ним договариваться.

– Да я же всего только майор, – сказал Чарльз, – не такой это чин, чтоб меня слушался сержант, а уж сержант морской пехоты и подавно.

– Он всего лишь капрал, – сказал его дядя.

– Да, но это же морская пехота, – сказал Чарльз.

К Смиты они пошли не сразу, в это время он был у себя на хлопковом поле. «Да, – подумал Чарльз, – если бы я был на месте Сноупса, то меня тоже сейчас не было бы дома». Но Сноупс был дома. Он сам отворил двери, на нем был кухонный передник и в руках сковородка, на сковородку было даже выпущено яйцо. Но на лице у него никакого выражения не было.

– Джентльмены, – сказал он с расстановкой. – Заходите.

– Нет, спасибо, – сказал дядя Гэвин. – Мы ненадолго. Кажется, это – ваше? – Тут же стоял стол. Дядя Чарльза положил на него сверток и откинул край мешковины, так что обрез покатился по столу. И все же ни на лице, ни в голосе Сноупса ничего не отразилось.

– Но ведь это, как вы, юристы, говорите, улика косвенная, верно?

– Да, конечно, – сказал дядя Гэвин. – Но теперь все разбираются в отпечатках пальцев, да и в обрезках тоже.

– Понятно, – сказал Сноупс. – Вы как будто не собираетесь мне его дарить?

– Конечно, нет, – сказал дядя Чарльза. – Я его вам продам. За дарственную на имя Эсси Медоуфилл на тот кусок вашего участка, который хочет купить нефтяная компания, плюс те тринадцать футов земли, что мистер Медоуфилл считал своими. – И тут Сноупс совершенно застыл на месте, как стило яйцо на сковородке. – Да, вы правильно поняли, – сказал дядя Гэвин. – Иначе я поинтересуюсь, не хочет ли Маккинли Смит купить у меня эту штуку.

Сноупс пристально посмотрел на дядю Гэвина. «Пройдох, сразу видно», – подумал Чарльз.

– Да, с вас это станется, – сказал Сноупс, – наверно, я сам бы так сделал.

– Я тоже так думаю, – сказал дядя Чарльза.

– Полагаю, что мне надо пойти поговорить с кузенном Флемом, – сказал Сноупс.

– Полагаю, что нет, – сказал дядя Чарльза. – Я только что из банка.

– Полагаю, что я и тут поступил бы так же, – сказал Сноупс. – В котором часу вы будете у себя в приемной?

Они могли бы повидаться со Смитом у него дома к вечеру. Но еще не было двенадцати, а они уже стояли у загородки и смотрели, как Маккинли Смит на своем муле едет вдоль длинной черной полосы земли, вывороченной лемехом плуга. Потом он остановился у загородки напротив них, голый до пояса, в рабочих брюках и военных сапогах. Дядя Чарльза подал ему дарственную.

– Возьмите, – сказал он.

Смит прочитал бумагу.

– Это же Эссино.

– А вы женитесь на ней, – сказал дядя Гэвин. – Тогда сможете продать участок и купить ферму. Вы же оба этого хотите. Есть у вас при себе какая-нибудь рубашка и свитер? Одевайтесь, я вас подвезу в город, а майор – вот он – отведет вашего мула.

– Нет, – сказал Смит. Он уже засовывал, вернее, заталкивал бумагу в карман. – Мула я сам отведу. Сначала мне домой надо. Не поеду я жениться небритый и без галстука.

Потом пришлось дожидаться, пока баптистский проповедник мыл руки и надевал сюртук и галстук; на миссис Медоуфилл красовалась шляпа, которую на ней видели в первый раз, да и с виду эта шляпа была похожа на самую первую

в мире шляпу.

– А как же папа? – сказала Эсси.

– Ах, вы про кресло, – сказал дядя Гэвин. – Оно теперь мое. Это гонорар за юридическую помощь. Я его подарю вам с Маккинли на крестины, вы только заработайте.

Потом, дня через два, они все сидели в приемной.

– Вот видите, – сказал дядя Чарльза. – Дело безнадежное. Стоит избавиться от одного Сноупса, как тут же за вашей спиной вырастает другой, и оглянуться не успеешь.

– Это верно, – сказал Рэтлиф безмятежным голосом. – Посмотришь, и сразу видать – ничего особенного, просто новый Сноупс завелся, и все.

Линда Коль уже вернулась, когда Чарльз приехал. Она тоже по-своему участвовала в войне на паскагульских кораблестроительных верфях, где она добилась своего – работала клепальщицей, и притом отлично, как сказал дядя Гэвин Чарльзу. Это было видно по ее рукам и по ногтям: они были не обгрызаны, не обкусаны, но совершенно стерты. И еще у нее появилась красивая, просто великолепная и трагическая седая прядь через всю голову, как перо на шлеме – поникшее перо; может быть, так оно и есть, думал Чарльз, поникшее рыцарское перо лежит наискось у нее в волосах вместо того, чтобы задорно взвиваться кверху и падать назад: уже шла осень 1945 года, и для рыцаря не осталось ни турниров, ни драконов: сама война убила их, уничтожила, и они отошли в область предания.

Чарльз вообще часто думал, что теперь все местные американские странствующие рыцари – либералы и реформаторы – станут безработными, потому что даже в таких заброшенных, ранее забытых уголках, как Йокнапатофский округ штата Миссисипи, у всех накопилась масса денег – не только у бывших солдат, заработавших их кровью, но и у рабочих военной промышленности – сварщиков, строителей и механиков, вроде Линды Коль-Сноупс, вернее, Линды Сноупс-Коль, которым платили два, три, а то и четыре доллара

в час; их заработок рос такими темпами, что они не успевали тратить деньги. Даже оба финна-коммуниста, даже тот из них, который еще не выучился английскому языку, и то разбогатели во время войны, и им волей-неволей пришлось стать капиталистами и пайщиками-акционерами по той простой причине, что они до сих пор не обзавелись частной собственностью, в которую можно было бы вложить такое количество презренного металла. Что же касается негров, то их новое школьное здание в Джефферсоне было гораздо лучше школы для белых. Да еще чуть ли не у каждого обитателя лачуги, где не было ни электричества, ни канализации, появились купленные в рассрочку автомобили, радиоприемники и холодильники, битком набитые бутылками пива, и взносы оплачивались честно заработанными денежками, которые, как известно, расовой дискриминации не подлежат; а кроме этого, всякие социальные нововведения не только уничтожили голод и неравенство, но и лишили многих работы, заменив ее новым кустарным ремеслом или, вернее, новой профессией, не требовавшей никакой подготовки: простым производством детей. Так что Линде теперь в Джефферсоне бороться было не с чем. Если подумать, так и вообще больше не с чем было бороться, потому что русские сами победили немцев и в ее помощи больше не нуждались. В сущности, если хорошенько подумать, ей вообще нечего было делать в Джефферсоне, так как дядя Гэвин уже был женат – если только она сама собиралась выйти за него. А может

быть, прав был Рэтлиф, и ей от Гэвина вовсе не то было нужно, вовсе она не хотела, чтоб он стал ее мужем. Так что вообще могло показаться странным, что она до сих пор сидит в Джефферсоне, где у нее только и дела было, что весь день как-нибудь убивать время, ждать, пока надо будет ложиться спать, жить в этом родовом сноупсовском мавзолее, с этим старым сукиным сыном, которому и дочка, и вообще все люди были так же нужны, как второй галстук бабочка или новая шляпа; и, должно быть, правы были те, кто говорил, что в конце концов она в Джефферсоне не останется.

Но пока что она жила здесь, и, как сказал дядя Гэвин, ногти у нее были стерты не в кузнечном цехе, а срезаны до мякоти, чтобы вернуть им прежнюю чистоту и, хотя дядя этого не сказал, – женственность; больше не надо было заклепывать швы кораблей, и белое рыцарское перо трагично поникло у нее в волосах, потому что все драконы издохли. И все-таки даже работа в кузнечном цехе ничуть не изменила ее. Чарльз все думал: а ведь она нисколько не повзрослела. Нет, он не так думал: не то что повзрослела. Вот с ним самим что-то произошло за три с лишним года между декабрем сорок первого и апрелем сорок пятого, по крайней мере, он надеялся, что он как-то изменился: во всяком случае, все, что он вытерпел и выстрадал, настолько совпало с общепринятыми понятиями о страдании и испытаниях, что должно было обогатить его духовно и нравственно, независимо от того, принесло ли это пользу человечеству или нет,

а если эти переживания очистили его душу, так они непременно должны были сказаться и на его внешности. Так он, по крайней мере, надеялся. Но она-то совершенно не изменилась, и даже седая прядь в волосах как будто была сделана нарочно – многие женщины так делали. И когда он наконец... Да, именно наконец. Что с того, если он все первые три дня после возвращения домой только и старался, чтобы никто не заметил, как он кружит по площади на случай, если она вдруг пройдет мимо. Видел он города и побольше Джефферсона, но не было в них девушки, женщины, про которую ты еще восемь лет назад, в ту секунду, как она выходила из самолета, подумал: интересно, как она выглядит без платья, – только она для тебя была слишком взрослая и не твоего романа, вернее, наоборот, ты был для нее недостаточно взрослый и не ее романа, так что ей оставался только твой дядя, и ты даже в те десять месяцев в немецком концлагере часто думал, видел ли он ее без платья до того, как женился на тете Мелисandre, а может, и потом, а если нет, то почему, что им помешало? Конечно, его дядя ни за что не рассказал бы ему, было это или нет, но, может быть, через три года с лишним он сам увидел бы это по ней, вероятно, женщина не могла бы скрыть такую вещь от человека, который был бы к ней... ну, скажем, simpatico [расположен (итал.)]. Но когда он ее наконец увидел на улице, на третий день, ничего заметно не было, она совершенно не изменилась (седая прядь не в счет), осталась такой же, как восемь лет назад, когда он

с дядей поехал встречать ее в мемфисский аэропорт, – на первый взгляд слишком высокая, слишком тоненькая на его вкус, и тогда он сразу сказал себе: «Вот уж кому ради меня не придется снимать платье», – и тут же, не успев подумать, как что-то в нем возразило: «Слушай, болван, а кто говорит, что она захочет», – и это было правильно: не то что она была не для него, скорее, он был не для нее; многое еще могло случиться в его жизни (так он надеялся), но ему никогда не придется раздевать ее, хотя, когда раздеваешь этих слишком высоких и слишком тоненьких, так часто испытываешь удивление. Но надо быть честным до конца: должно быть, его душа, или что там есть в человеке, за эти три с лишним года стала более чуткой, потому что сейчас он знал, что если судьба пошлет ему такой случай, то для чувства, которое он испытает, можно будет найти много названий, и, вероятно, он их найдет, но только слово «удивление» тут ни при чем.

Теперь ей не приходилось строить корабли, больше того, уже вообще не надо было строить корабли. Так что не только он, Чарльз, но и весь город раньше или позже должны были увидеть – или услышать об этом от других, – как она ходит в том же полувоенном защитном костюме, в котором, наверно, работала на верфи, меряет шагами боковые улицы и переулочки города или проселочные дороги и тропинки, даже бродит по полям и лесам за две-три мили от города, одна, не то что очень быстро, но долго, как будто после бессонницы, а может быть, даже с похмелья.

– Должно быть, так оно и есть, – сказал Чарльз. И опять его дядя как-то досадливо вскинул голову от папки с делами.

– Что? – сказал он.

– Ты говоришь, может быть, у нее бессонница. А может, она столько ходит, чтоб прошло похмелье.

– А-а, – сказал его дядя. – Возможно. – И снова уткнулся в свои бумаги. Чарльз пристально смотрел на него.

– Почему ты с ней не ходишь гулять? – сказал он.

На этот раз дядя даже не поднял головы:

– А ты? Оба вы бывшие солдаты, могли бы поговорить про войну.

– Она меня не услышит. А писать на ходу в блокноте как-то некогда.

– Вот и я так думаю, знаю по опыту, что два бывших солдата, моложе пятидесяти лет, меньше всего хотят говорить о войне. А вы двое даже и разговаривать не можете.

– Вот оно что, – сказал Чарльз. Его дядя читал бумаги. – Может быть, ты прав. – Его дядя читал бумаги. – А ты не возражаешь, если я попробую ее уломать? – Его дядя не ответил. Потом он закрыл папку и откинулся на спинку стула.

– Пожалуйста, – сказал он.

– Значит, ты думаешь, что ничего не выйдет, – сказал Чарльз.

– Я знаю, что не выйдет, – сказал дядя. И тут же торопливо добавил: – Не огорчайся, дело не в тебе. Это безнадежно, понимаешь? Тут никто не властен.

– Значит, ты понимаешь почему, – сказал Чарльз.

– Да, – сказал его дядя.

– Но мне не скажешь?

– Я хочу, чтобы ты сам понял. Наверно, тебе никогда больше не придется с этим встретиться. Про это ты читаешь во всех книгах, видишь в картинах, слышишь в музыке, учишь в Гарвардах и Гейдельбергах. Но ты боишься в это поверить, пока не столкнешься лицом к лицу, потому что ты можешь ошибиться, а перенести такую ошибку очень горько. И самое горькое – усомниться.

– А я в Гейдельберг так и не попал, – сказал Чарльз. – Я – только и был в Гарварде и в концлагере номер такой-то.

– Ну, хорошо, – сказал его дядя, – скажем, в средней школе или в джефферсонской Академии.

Но Чарльз решил, что он уже все понял. Так он и сказал:

– Ах, вот что. Ну, про все эти штуки в наше время знают даже маленькие дети. Она просто фригидна.

– Что ж, этот фрейдистский термин ничем не хуже других, когда надо прикрыть целомудрие или сдержанность, – сказал его дядя. – А теперь ступай. Я занят. Твоя мама пригласила меня к обеду, так что мы с тобой скоро увидимся.

Значит, тут крылось что-то большее, о чем дядя не хотел ему говорить. И слово «сдержанность» он сказал, очевидно, тоже прикрывая то, о чем говорить не хотел. Впрочем, Чарльз понимал, о чем он думал, он достаточно знал своего дядю, чтобы понять, что слово «сдержанность» отно-

силось не к Линде, а к нему самому. Если бы он, Чарльз, сам никогда не был солдатом, он никогда бы и не подумал, не стал бы спрашивать разрешения у своего дяди, он, наверно, давно подкараулил бы ее в каком-нибудь укромном уголке в лесу во время ее прогулки, с наивной уверенностью человека, на войне не побывавшего, что она, пережив войну, теперь непрестанно удивляется, что за чертовщина творится в Джефферсоне и почему и он, и все другие подходящие молодые люди теряют столько времени зря. Но теперь-то он узнал, почему молодежь так рвалась на войну: все они думали, что война – это неограниченная, заранее оправданная возможность безнаказанного насилия и грабежа, а на самом деле трагедия войны заключалась в том, что оттуда ничего не приносишь, а оставляешь там что-то очень дорогое, и на войне человек обнаруживает в себе что-то такое, с чем он мог бы спокойно прожить всю свою жизнь и даже не знать, что в нем это кроется, если бы не война.

Значит, это будет не он. Он тоже был солдатом, хотя не мог в доказательство предъявить раны и увечья. Значит, если бы он даже физически одолел ее, чтобы узнать то, что, по словам его дяди, в ней скрыто, хотя неизвестно, что это такое, так он все равно ничего не узнал бы. Он только стал бы одним из тех, кто считал, что она просто старается разогнать похмелье, чтобы начать снова пить, – а это можно было предположить по некоторым уликам или хотя бы симптомам. Заключались они в том, что раз в неделю, по средам или чет-

вергам (город мог по ней проверять и часы и календарь), она ждала за рулем отцовской машины у входа в банк перед закрытием, и, когда ее отец выходил, они ехали в Уайотт-Кроссинг – то место, которое Джейклег Уотман иносказательно называл туристским лагерем для рыбаков, и там на неделю запасали контрабандного виски. Машина была не ее, а ее отца. Она могла завести себе хоть полный гараж машин на тот капитал, что находился на хранении у дяди Гэвина, – ей он достался от деда, старого Билла Уорнера, богача из Французовой Балки, а может быть, и от Уорнера и от отца, после того как двадцать лет назад разразился такой скандал и шум – ее мать покончила с собой, а предполагаемый любовник матери отдал банк и дом своих предков ее отцу: уж не говоря о том, что скульптор, за которого она вышла замуж в Нью-Йорке, был еврей, а значит (по убеждению всего города), – богач. И водила машину она – ездила с ним всюду, – хотя сама вполне могла нанять кого-нибудь, кто сидел бы рядом с ней и слушал сигналы. Но она не хотела. И вообще она всему предпочитала долгие прогулки, выгоняя усталостью бессонницу или похмелье, – словом, то, чем она в отчаянии платила за свое безбрачие, – если только юрист Гэвин Стивенс не работал все эти восемь лет ловчее и хитрее, чем можно было предполагать, несмотря на то что был женат.

И запасала она виски для себя, а не для отца. Потому что в городе, да и во всей округе знали: Сноупс никогда не пил, не притрагивался к виски. И все-таки он ни за что не позволил

бы своей дочери ездить туда одной. Некоторые довольствовались простым объяснением – что Уотман, как и все в наше время, зарабатывает кучу денег, и часть из них ему придется куда-нибудь помещать, а Сноупс все-таки банкир и, наверно, думал, что неплохо бы этим деньгам осесть у него в банке, так что он заезжает навещать Джейклега ровно раз в неделю, как и любого другого торговца, фермера или хлопководы из выгодных клиентов или вкладчиков своего банка. Но другие люди – и среди них дядя Гэвин и лучший дядин приятель – агент по продаже швейных машин и сельский буколический философ-самоучка, местный Цинциннат, В.К.Рэтлиф, – глубже вникали в суть дела: Сноупс, как видно, ездил с ней ради респектабельности, ради внешних условностей, в эти дни Сноупс был не только банкиром, он был столпом общества и отцом, и, хотя его единственной дочери, вдове, уже далеко перевалило за тридцать и она все четыре года, пока шла война, работала, как мужчина, на военной верфи, где атмосфера была далеко не стародевичья и всякие истории случались не только со вдовами, Сноупс все-таки не мог разрешить ей одной ездить за пятнадцать миль в притон известного всем бутлегера и покупать там бутылку виски. А может, и целый ящик; если считать, что она столько ходила, чтобы разогнать похмелье, значит, ей надо было выпивать или хотя бы иметь под рукой полную бутылку каждый день. Потому-то вскоре все в городе и поняли, что дело не только в похмелье: люди, которые могут позволить себе напивать-

ся каждый день, вовсе не хотят, чтобы хмель прошел, во- все и не думают от него избавиться, выветрить его, даже ес- ли у них времени много. Значит, оставалось предположить, что ее обуревают ревность и досада, потому она и вышагива- ла ежедневно свои пять-шесть миль, чтобы победить или, во всяком случае, сдержать эту бессонную, беспомощную доса- ду на дядю Гэвина за то, что он бросил ее, пока она строила корабли во спасение Демократии, и женился на Мелисандре Гарисс, в девичестве Бэкус, как написал бы Теккерей, и он (Чарльз) думал: «Слава богу, что не ему довелось снять с нее платье, если под ним оказалось то, что заставило его дядю, – разумеется, если он это платье с нее снял, – опрочью же- ниться на вдове с двумя взрослыми детьми, причем дочка уже была замужем, так что дядя Гэвин мог стать дедом еще до того, как стал молодоженом».

Но оказалось, что никакой ревности, никакой беспомощ- ности, непрощающей досады и в помине не было. Пришло рождество, потом кончилась зима, наступила весна. Его дядя не только стал владельцем поместья, но и держался, как по- добает хозяину поместья. Конечно, никаких охотничьих са- пог и бриджей, и хотя человек с золотым ключиком Фи-Бе- та-Каппа даже в Миссисипи мог бы сойти за помещика, но он со своей рано поседевшей гривой волос больше походил на пианиста-виртуоза или на агента фирмы «Кадиллак» в Гол- ливуде. Но все-таки он играл роль владельца поместья, раз в месяц, а то и чаще, когда сидел за обедом в Роуз-Хилле про-

тив новой тетушки Чарльза, Мелисандры, а Чарльз и Линда – друг против друга, и дядя при помощи блокнотика переводил Линде то, что говорилось. Вернее, пересказывал вслух Чарльзу и его новой тетушке то, что он ей писал. Потому что Линда и теперь говорила мало, – сидит молча, ест, как мужчина, седая прядь в волосах, словно поникшее перо; Чарльз вовсе не хотел сказать, что она ела грубо, нет, просто с удовольствием, со вкусом, и вид у нее был... да, честное слово, иначе не скажешь – счастливый. Счастливый, довольный, как бывает, когда чего-нибудь добьешься, что-нибудь сделаешь, сотворишь, создашь: пройдешь через какие-то, может быть, даже серьезные, трудности и жертвы, вмешаешься, даже, может быть, наперекор себе, в чьи-то дела, и вдруг, черт побери, все выходит, все сбывается точно так, как было задумано, а ты, может быть, и не смел, не решался надеяться, что все так хорошо выйдет. Хотелось чего-то для себя, да не вышло, и тут начинаешь думать: может быть, этого вообще и на свете нет, может, это невозможно? – и вдруг сам создашь это своими руками, только не для себя – для себя тебе уже больше ничего не нужно, но, по крайней мере, теперь доказано, что так бывает, так может быть.

Потом в гостиной дамам подавали кофе и коньяк, а Чарльзу – портвейн и сигару, – его дядя по-прежнему курил свои простые трубки, никель за штуку. А у нее вид был по-прежнему счастливый, довольный, и еще – Чарльз это сразу почувствовал, понял – вид собственнический. Как будто Лин-

да сама всех их придумала: и дядю Гэвина, и тетюшку Мелисандру, и Роуз-Хилл, старинный, когда-то небольшой и непритязательный дом, – старый мистер Бэкус, с его вечным Горацием или Катуллом и разбавленным виски, теперь узнал бы этот свой дом только по местоположению, настолько его преобразили деньги новоорлеанского гангстера, – то же самое пытался делать и Сноупс с домом де Спейна на свои йокнапатофские гангстерские деньги, но у него ничего не вышло, а тут деньги тратились не только широко и щедро, но и с таким тонким вкусом, что ты его и не замечал, только чувствовал, вдыхал, как вдыхаешь воздух или теплоту; и все, что окружало, отгораживало этот дом, – бесконечно длинные изгороди, опоясывающие акры возделанной, ухоженной земли, залитые электричеством теплые конюшни, амбары и жилые помещения для конюхов и флигель управляющего, – весь ансамбль в едином гармоничном аккорде на фоне сгустившейся темноты, а потом Линда выдумала и его, Чарльза, чтобы он хотя бы присутствовал тут, хотя бы смотрел на дело ее рук, одобрял он или не одобрял то, что она сделала.

Наконец пора было уходить, говорить «спасибо» и «спокойной ночи» и возвращаться в город на машине в апрельской или майской темноте, и провожать Линду домой, во дворец, созданный деревенской фантазией ее отца, и остановить машину у подъезда, где она каждый раз говорила своим крякающим голосом (а он, Чарльз, каждый раз при этом думал: «Может, в темноте, в шепоте, когда наконец спадет

платье, ее голос звучал бы не так резко», – думал: «Конечно, если бы с ней был ты»).

– Зайдем, выпьем? – А в машине так темно, что ей не прочесть слов на блокноте, если бы даже она подала его тебе. Поэтому Чарльз каждый раз делал одно и то же: смеялся, нарочно громко, и тряс головой – иногда ему в помощь светила луна, – а Линда уже открывала дверцу со своей стороны, так что Чарльзу приходилось быстро выскакивать из машины, чтобы вовремя подбежать и помочь ей. Но, как он ни спешил, она успевала выйти сама и уже шла по аллее к портику: как видно, она слишком молодой уехала с Юга и в ней не успела выработаться привычка южанки к неизменной и верной галантности кавалера, а может быть, из-за работы на верфи ее тело отвыкло от всех прежних привычек, от привычного ожидания услуг. Словом, Чарльзу приходилось догонять, нет, даже перегонять ее на полдороге к дому, и тут она задерживалась, почти что останавливалась и смотрела на него с удивлением – нет, не растерянно, а просто, как говорят в Голливуде, – крупным планом: все-таки она еще не настолько была оторвана от наследственных традиций Юга, чтоб не вспомнить – он, Чарльз, не осмеливался вести себя так, чтобы потом какой-нибудь случайный прохожий доложил его дяде, что племянник позволил даме, которую он привез домой, идти до входной двери без провожатого целых сорок футов.

Так что они вместе подходили к портику, огромному, со

смутно вздымавшимися неуклюжими колоннами, возникшему из фантазии ее отца, из его кошмаров, чудовищных надежд, неукротенных страхов – как знать из чего, откуда, – к холодному мавзолею, где старый Сноупс замуровал хоть часть своих денег, без тепла, без красоты, и Линда опять останавливалась и говорила: «Зайдем, выпьем», – словно она не произносила только что эти слова в машине, и Чарльз опять смеялся и тряс головой, как будто он только сейчас сообразил, что можно ей этим ответить. И ее рука – по-мужски сильная и твердая, потому что, в конце концов, это была рука рабочего или, во всяком случае, бывшего рабочего. Потом он открывал перед ней двери, и она останавливалась на миг в пролете в смутном свете длинного холла, и дверь закрывалась вновь.

Да, все это можно было бы назвать по-разному, но «удивление», конечно, не то слово, и он подумал про своего дядю – святая простота, – если только тот действительно хоть раз снял с нее платье. И тут он подумал: могло же случиться, что его дядя действительно был с ней однажды и не мог выдержать, вынести и убежал, удрал на двенадцать или двадцать лет назад, к своей старой любви, к Мелисandre Бэкус (вернее, урожденной Бэкус), где ему не грозили никакие опасности. Так что, если «удивление» не то слово, значит, «горе» тоже не то: может быть, просто облегчение. Возможно, что он испытал и страх, поняв, как близка была опасность, но основным чувством, наверно, было облегчение, что он

ушел, избежал опасности на любых условиях. А тогда, давно, Чарльз был еще слишком мал. Он сам не знал, действительно ли он помнит по-настоящему мать Линды, как до сих пор помнят его дядя и Рэтлиф, или же нет. Но он так много и часто слышал о ней от них обоих, что был уверен – он-то знает все, что помнят они сами, особенно Рэтлиф; у него в ушах еще звучал голос Рэтлифа: «Да, мы счастливы. У нас прямо тут, в Джефферсоне, не только жила сама Елена Прекрасная, чего в других городах не бывает, но мы даже понимали, кто она есть, а потом у нас и свой Парис был, он и спас нашего брата, аргивянина, хоть для этого и пришлось разрушить Трою. А человеку вовсе не надо обладать Еленой, ему бы заслужить право и честь смотреть на нее. Но самое страшное, что с тобой может стрястись, это если она вдруг тебя заметит, остановится и обернется к тебе».

И если, предположим, то, что делает Елену Еленой, передается или хотя бы передается по наследству, значит, его дядя, конечно же, испытал не горе, а облегчение, обыкновенное, может быть, неожиданное для него облегчение; и может быть, в этом и было счастье дяди Гэвина, что судьба не наказала его таким жаром, таким же пылом, как Париса и Манфреда де Спейна; так что он просто испытал самый обыкновенный страх в тот первый и единственный раз (если только его дядя действительно был с ней в тот первый и единственный раз) и сбежал, куда цел. Вы же знаете: влюбленный паук, умудренный годами или достаточно насторожен-

ный опытом, а может быть, и просто настолько умный, что сразу разгадывает робкую подсказку инстинкта, сразу чувствует, предвидит то первое, нежное и ласковое прикосновение жала, или присоска, или чем там его красотка из него высасывает кровь, в тот миг, как он думает, что отдает ей только свое семя; и тут он отскакивает, вырывается от нее, и в том, что он сначала принял за мирный оргазм, теряет не только семя, но и куски внутренностей, зато, по крайней мере, сохраняет свою оболочку, свою шкуру, свою жизнь. Как, скажем, виноградина, зрелая виноградина, может быть, уже слишком опаленная солнцем, но целехонькая, хотя после пронзительного поцелуя жадного жала брызнул сок и осталась только опавшая оболочка, видимость виноградины. Впрочем, теперь уже ему вспомнилось, что говорил тогда Рэтлиф: «Нет, замуж за него она не выйдет. Будет куда хуже», – а Чарльз думал: а зачем Елене и ее наследнице пустая оболочка, эта высосанная виноградина, и что это засело в голову Рэтлифу? Или что ему казалось? Или, вернее, чего он боялся, а вдруг ему это показалось или покажется?

Но потом Чарльз подумал, что разумнее всего, логичнее всего сделать то, что сделал бы каждый на его месте: спросить самого Рэтлифа – что он понял, или что ему показалось, или чего он боялся, – а вдруг ему так покажется? Так он и сделал. Уже было лето, июнь: у Маккинли не только созрел хлопок – Эсси ждала ребенка. Весь город это знал – она заявила об этом во всеуслышание однажды утром, как толь-

ко отворились двери банка я первые вкладчики стали в очередь. Так что через два месяца они с Маккинли получили приз – кресло на колесиках, где сиживал старик Медоуфилл.

– Потому что Линде этого мало, – сказал Рэтлиф.

– Чего мало? – спросил Чарльз.

– Мало, чтобы занять ее время, чтоб она была довольна.

Корабли больше строить не надо, а теперь и цветной люд без нее обходится. У нас тут сейчас мир и хорошая жизнь, а ради этого мира, этой хорошей жизни мы, старики, вроде меня и твоего дядюшки, целых четыре года отказывались от сахара, от бифштексов, от сигарет, лишь бы вам, молодым, все было, пока вы там за нас воевали. Жизнь сейчас хорошая, так что даже угнетенные коммунисты – наш сапожник и слесарь, – даже негритянские ребята без нее обходятся, без Линды. А, по-моему, спроси она их раньше, так выяснилось бы, что она им, в сущности, не очень-то и раньше была нужна, только у них долларов и центов не хватало, чтобы об этом сказать. А теперь хватает. – Он подмигнул Чарльзу. – Ей теперь и бороться не с чем – кончилась несправедливость.

– А я не знал, что так бывает, – сказал Чарльз.

– Бывает, – сказал Рэтлиф. – Так что теперь ей придется чего-нибудь поискать, а может, и самой придумать.

– Хорошо, – сказал Чарльз. – Предположим. Но если у нее хватило сил выдержать то, что мы тут напридумывали, так неужто ей не выдержать то, что она сама придумает?

– Да я о ней не беспокоюсь, – сказал Рэтлиф. – Она моло-

дец. Только опасная она. Я о твоём дяде думаю.

– А он тут при чем? – сказал Чарльз.

– Ежели она что-нибудь выдумает и его попросит, он ее, наверно, послушается, – сказал Рэтлиф.

В то утро они встретились в почтовой конторе, как часто встречались и раньше, не сговариваясь, в час прихода утренней почты; на ней была обычная ее одежда, то, что она носила в бесконечных своих прогулках по окрестностям, – дорогие английские башмаки на толстой подошве, поношенные и поцарапанные, но с утра всегда тщательно вычищенные, шерстяные чулки или носки, старые фланелевые брюки или юбка, а иногда что-то вроде защитного комбинезона под старым мужским макинтошем, – так она одевалась осенью, зимой и весной, а летом – полотняное платье, юбка или брюки, и волосы с единственной белой, как перо, прядью, непокрыты в любую погоду. Потом они обычно вместе заходили в кафе при гостинице «Холстон-Хаус» выпить кофе, но на этот раз Стивенс взял у нее блокнотик, который он ей подарил восемь лет назад – слоновая кость с золотыми уголками, – и написал:

«На консультацию ко мне, зачем?»

– А разве клиенты не ходят к юристам на консультацию? – сказала она.

На это ему, конечно, следовало бы ответить: «Значит, я тебе понадобился в качестве юриста?» – и если бы они оба могли разговаривать нормально, он так и сказал бы, потому что в пятьдесят с лишним лет разговаривать не затрудни-

тельно. Но писать всегда затруднительно, в любом возрасте, так что даже юрист не тратит лишних слов, если их надо писать пером или карандашом. И он написал: «Вечером после ужина у тебя дома».

– Нет, – сказала она.

Он написал: «Почему?»

– Ваша жена приревнует. Не хочу огорчать Милли.

На это он, конечно, ответил бы: «Приревнует, Мелисандра? Меня к тебе? После всего, после стольких лет?» Но писать все это на крошечной табличке слоновой кости два на три дюйма было слишком долго. И он уже начал писать: «Чепуха», – но сразу стер это слово большим пальцем. Потому что он встретился с ней глазами и все понял. Он написал: «Тебе хочется, чтоб она ревновала?»

– Она ваша жена, – сказала Линда. – Она вас любит. Она должна вас ревновать. – Он еще не успел стереть фразу, и ему надо было только поднять блокнот и повернуть к ней, чтобы она еще раз прочла ее. – Да, – сказала она. – Ревность, тоже часть любви. Я хочу, чтобы у вас было и это. Хочу, чтобы у вас было все. Хочу видеть вас счастливым.

– А я счастлив, – сказал он. Он взял нераспечатанный конверт, только что вынутый из абонементного ящика, и написал на обороте: «Я счастлив, мне была дана возможность безнаказанно вмешиваться в дела других людей, не принося им зла, я по призванию принадлежу к тем, кому заранее отпущены грехи, оттого что им справедливость дороже истины,

и мне не дано было своим прикосновением погубить то, что я любил. Теперь скажи, в чем дело, или мне прийти к тебе домой после ужина?»

– Хорошо, – сказала она, – приходите после ужина.

Сначала богатство его жены было сложной проблемой. Если бы не нервное напряжение, вызванное войной, то напряжение, вызванное внезапно нахлынувшими деньгами, хоть и менее значительное, могло бы стать серьезной помехой. Даже сейчас, четыре года спустя, Мелисandre все еще было трудно привыкнуть к отношению Гэвина: в теплые летние вечера, когда негр-дворецкий и одна из горничных накрывали на стол на маленькой боковой веранде, увитой глицинией, каждый раз как приходили туда гости, даже если эти гости или гость уже раньше тут ужинали, Мелисандра обязательно говорила: «В столовой, конечно, прохладнее (столовая после перестройки дома была чуть поменьше баскетбольной площадки), и жуки не летают. Но Гэвину наша столовая действует на нервы». И Гэвин каждый раз, как и раньше, даже при тех же гостях или госте, повторял: «Глупости, Милли, ничто мне на нервы не действует. Это у меня врожденное». И теперь они ужинали на маленькой террасе – сэндвичи и чай со льдом. Она сказала:

– Почему же ты не позвал ее сюда? – Он продолжал есть, и она сказала: – Понимаю, конечно, ты ее звал. – Но он все продолжал есть, и тогда она сказала: – Значит, что-нибудь серьезное. – А потом сказала: – Но это не может быть что-то

очень серьезное, иначе она не стала бы ждать, она сразу рассказала бы тебе там же, на почте. – И потом опять сказала: – А как ты думаешь, в чем дело? – И тут он вытер рот, бросил, вставая, салфетку, обошел стол, наклонился и поцеловал ее.

– Я тебя люблю, – сказал он. – Да. Нет. Не знаю. Ложись спать, не дожидайся меня.

Мелисандра подарила ему к свадьбе спортивный «кадиллак»; было это в первый год войны, и одному богу известно, где она достала новый открытый «кадиллак» и сколько за него заплатила. «А может быть, он тебе вовсе и не нужен», – сказала она. «Нужен, – сказал он, – всю жизнь мечтал о спортивном „кадиллаке“, лишь бы можно с ним делать все, что захочется». – «Конечно, можно, – сказала она, – он твой».

Тогда он поехал на этой машине в город и договорился с владельцем гаража, чтобы ее там держали за десять долларов в месяц, потом снял аккумулятор, радиоприемник, шины и запасное колесо, продал их, отнес ключи и квитанцию от продажи в банк Сноупса и заложил там машину, взяв самую большую ссуду, какую мог с них получить. К этому времени прогресс, промышленное возрождение и обновление дошли даже до провинциальных банков штата Миссисипи, так что в банке у Сноупса теперь работал профессиональный кассир или оперативный вице-президент банка, импортированный из Мемфиса полгода назад, чтобы придать банку современный лоск, то есть чтобы этот провинциальный банк довести до того образа мысли, когда автомобиль воспринимается не

только как определенная неотъемлемая часть культуры, но и как экономический фактор, а раньше Сноупс – и Стивенс это знал – не дал бы под заклад автомашины ни одного цента ссуды даже самому господу богу. Правда, Стивенс мог получить ссуду от импортного вице-президента просто под расписку, не только по вышеупомянутым причинам, но и потому, что вице-президент был приезжий, а Стивенс принадлежал к одному из трех старейших семейств штата, так что вице-президент не посмел бы сказать ему «нет». Но Стивенс поступил иначе, ему хотелось, чтобы, как говорит пословица, этого младенца нянчил сам Сноупс. Он подстерег, подкараулил, загнал в угол самого Сноупса, причем на глазах у всех, в зале банка, где в это время собрался не только весь штат, но и постоянные клиенты, и подробно объяснил ему, почему он, Стивенс, не желает продавать свадебный подарок жены, но, пока страна воюет, он просто хочет обратить его в военные займы. И ссуда была выдана, ключи от машины переданы банку и закладная оформлена, хотя Стивенс, естественно, и не собирался ее выкупать, причем банк платил и те десять долларов за хранение машины в гараже, и они должны были накапливаться до тех пор, пока Сноупс вдруг не сообразит, что его банк является владельцем новехонького «кадиллака», правда, сильно устарелой марки, и притом без шин и аккумулятора. Но все же дверцы его старенькой машины, купленной шесть лет назад (именно в ней он ездил венчаться), перед ним распахивал забежавший вперед дво-

рецкий, который ждал, пока он выедет на длинную аллею, всю окаймленную розами, вьющимися по белым дощатым загородкам бывшего выгона, где когда-то, в неге и ходе, паслись дорогие кровные рысаки. Теперь их не держали, потому что в поместье не было ни одного человека, который стал бы ездить верхом бесплатно; сам Стивенс не любил лошадей, даже больше, чем собак, считая, что лошадь безоговорочно заслуживает большего презрения, чем собака, потому что хотя и те и другие паразиты, но у собаки, по крайней мере, хватает такта быть подхалимом; она хоть ласкается к тебе, возбуждая здоровый стыд за род человеческий. Но истинная причина коренилась в том, что хотя и лошадь и собака ничего не забывают, но собака тебе все прощает, а лошадь – нет: он, Стивенс, всегда считал, что миру не хватает умения прощать; если в тебе есть настоящая чуткость и порывистая непосредственная способность искренне прощать, то уже не имеет значения, есть ли у тебя знания, помнишь ли ты что-нибудь или нет.

Но все же он не знал, что нужно Линде; он думал: «Все-таки женщины – удивительные существа: неважно, чего они хотят и знают ли они толком, что им, в сущности, нужно». И потом, с ней нельзя было разговаривать. Ей самой приходилось связно и точно излагать, формулировать, все, что надо было ему сообщить, а не ждать, пока он вытянет из нее, что ей нужно, путем тончайшей юридической разведки, которую обычно применяют к свидетелям; ему только надо было на-

писать на блокнотике: «Не заставляй меня, по крайней мере, писать тебе все те вопросы, которые ты хочешь, чтобы я тебе задавал, а просто когда ты поймешь, что у меня появляется вопрос, задавай его себе сама и отвечай на него». Еще прежде, чем затормозить машину, он увидел ее, в белом платье, между двумя колоннами портика, слишком высокого для дома, для улицы, для самого Джефферсона; под колоннами стояла полутьма, прохлада, было бы гораздо приятнее посидеть тут. Но объяснить это ей было трудно; он подумал, что надо бы обязать всех возить с собой электрический фонарик; или, может, написать на табличке, попросить ее принести фонарик из дома, чтобы она могла прочесть первую фразу; впрочем, она не могла бы, не заходя в дом, прочесть эту просьбу.

Она поцеловала его, как всегда, когда они встречались не на людях, высокая, ростом, почти вровень с ним; он думал: «Конечно, придется идти наверх, в ее гостиную, и двери надо будет закрыть; наверно, дело срочное, раз ей понадобилось меня видеть наедине», – идя за ней через холл, в глубине которого была дверь комнатки, где ее отец (Гэвин верил, что во всем Джефферсоне только они с Рэтлифом знают правду) сидел один и, согласно местной легенде, не читал, не жевал табак, а просто сидел, уперев ноги в некрашеную деревянную планку, прибитую по его распоряжению на нужной высоте его родственником, плотником из Французовой Балки, к старинному камину работы Адама; они поднялись по лест-

нице прямо в ее гостиную, там каминная доска была сделана по ее рисунку как раз на такой высоте, чтобы было удобно, когда приходилось, писать карандашом на больших листах отрывного блокнота, постоянно лежавшего там, потому что сюда она приводила Стивенса, только когда надо было сказать больше, чем помещалось на двухдюймовой костяной табличке. Но на этот раз он даже не успел взять карандаш, как она уже выговорила те восемь или десять слов, от которых он похолодел почти на столько же секунд. Он повторил одно из этих слов.

– Минк? – сказал он. – Минк? – лихорадочно думая: «О, черт, только не это», – он торопливо соображал: «Девятьсот... да, восьмой. Тогда двадцать лет, потом еще двадцать. Все равно он через два года выйдет. Мы про это забыли. А может, и нет». Ему не надо было писать: «Скажи мне», – она сама уже все ему рассказала, и если бы она слышала, он мог бы спросить ее, он непременно спросил бы, каким образом, по какой случайности (он еще не начал думать о совпадении, о роке, о судьбе) она вдруг подумала о человеке, которого никогда не видела, о котором могла слышать только в связи с трусливым и жестоким убийством. Впрочем, это уже не имело значения: в эту минуту он уже подумал о судьбе, о роке.

Посадив с собой рядом дворецкого, чтобы он слушал сигналы, она вчера съездила на отцовской машине во Французову Балку и поговорила с Джоди – старшим братом матери и, стоя у камина, где лежал чистый блокнот, она рассказыва-

ла Стивенсу:

– Сначала его осудили на двадцать лет, до двадцать восьмого года, значит, тогда его выпустили бы. Но в двадцать третьем году он пытался бежать. В женском платье, как сказал дядя Джоди, в чем-то вроде капота и в соломенной шляпе. И как он мог достать женский капот и шляпу там, в каторжной тюрьме?

Если бы не глухота, он мог бы поговорить с ней мягко, нежно. Но у него был только желтый блокнот. И он уже знал ответ, когда писал ей: «Что тебе сказал Джоди?»

– Что тут замешан мой... ну, другой наш родич – Монтгомери Уорд, тот, у которого нашли неприличные картинки для волшебного фонаря, его тоже отправили в Парчмен, в том самом девятьсот двадцать третьем году, помните? – О да, он отлично помнил, как он и тогдашний шериф, покойный Хэб Хэмптон, поняли, что сам Флем Сноупс подкинул в фотостудию своего родственника бутылки с самогонным виски и засадил его в Парчмен на два года, и, однако, Флем не только дважды виделся наедине с Монтгомери Уордом, когда тот сидел в тюрьме, дожидаясь суда, но и внес за него деньги, чтобы того выпустили под залог, благодаря чему Монтгомери Уорд на два дня смог отлучиться из тюрьмы и даже выехать из Джефферсона, прежде чем его осудили и отправили в Парчмен отбывать срок, и с тех пор в Джефферсоне о нем не было ни слуху ни духу, а лет восемь или десять назад в городе узнали, что Монтгомери Уорд живет в Лос-

Анжелесе, где причастен к какому-то весьма прибыльному филиалу или отделению кинофабрики или, вернее, колонии кинозвезд. «Так вот почему Монтгомери Уорд должен был попасть именно в Парчмен, и только в Парчмен, – подумал он, – не просто в Атланту или Ливенуорт, куда его отправили бы за непристойные фотографии». О да, он помнил и этот суд, и тот, более давнишний, в том же зале, суд над этим маленьким, как подросток, щуплым жалким маньяком-убийцей, помнил, как председатель суда обратился к нему, чтобы согласно конституции дать ему право признать или не признать себя виновным, а тот ему ответил: «Не мешайте мне, видите, я занят», – и тут же, обернувшись в битком набитый зал, стал кричать, звать: «Флем! Флем Сноупс! Кто-нибудь позовите сюда Флема Сноупса». О да, теперь он понимал, почему Монтгомери Уорда надо было отправить именно в Парчмен: Флем Сноупс купил себе еще двадцать лет жизни при помощи пяти галлонов виски, подброшенных для улики.

Он написал: «Ты хочешь, чтобы я его освободил сейчас».

– Да, – сказала она. – Как это делается?

Он написал: «Ведь ему через два года все равно выходить, почему бы не подождать», – и дальше написал: «Он 38 лет просидел в этой клетке. Он и месяца не проживет на свободе, как старый лев или тигр. Пускай проживет еще хоть 2 года».

– Два года жизни не так важно, – сказала она, – вот два года тюрьмы – дело другое.

Он даже начал писать, но остановился и вместо этого за-

говорил с ней вслух. Потом он рассказывал Рэтлифу, почему он так сделал. «А я знаю почему, – сказал Рэтлиф. – Вы рук марасть не хотели. А она умела читать по губам, а если и нет, то, во всяком случае, вы с себя сняли ответственность». – «Нет, – сказал Стивенс. – Просто я верю в судьбу, в рок, я их поборник, я восхищаюсь ими и хочу стать в их руках орудием, пусть даже самым скромным».

Поэтому он ничего не стал ей писать, он сказал:

– Разве ты не знаешь, что он сделает в ту минуту, как вернется в Джефферсон, словом, туда, где твой отец?

– Повторите еще раз, медленно, я попробую понять, – сказала она.

Но он написал: «Я тебя люблю», – а сам торопливо думал: «Если я скажу „нет“, она найдет кого-нибудь, может быть, какого-нибудь афериста, и он будет ее шантажировать: сначала пообещает освободить Минка, потом будет грозить неприятностями за то, что наделает этот гаденыш, как только выйдет», – и он написал: «Да, его можно освободить, пройдет неделя-другая, подать прошение, напишу за тебя, ты родственница, тот судья и тот шериф – судья Лонг и старый Хэб Хэмптон – умерли, но Хэб-младший все сделает, хотя он не у дел до следующих выборов. Я сам отвезу губернатору прошение».

«Скажу Рэтлифу», – подумал он. Назавтра прошение уже лежало на его столе, и Рэтлиф стоял над бумагой с пером в руке.

– Ну, чего ж вы, – сказал Стивенс, – подписывайте. Я сам все сделаю. Кто я, по-вашему, убийца, что ли?

– Пока что нет, – сказал Рэтлиф. – А что именно вы делаете?

– Миссис Коль все сделает, – сказал Стивенс.

– Да вы же мне сами говорили, будто никогда при ней не упоминали о том, что натворит Минк, как только попадет в один город с Флемом, – сказал Рэтлиф.

– А это и не понадобилось, – сказал Стивенс. – Мы с Линдой договорились, что ему сюда вообще возвращаться незначит. Сорок лет прошло, жена умерла, дочери уехали бог весть куда; словом, ему будет гораздо лучше, если он сюда не вернется. Вот она и дает на это деньги. Хотела дать тысячу, но я ей объяснил, что выдать ему сразу столько денег – значит, погубить его наверняка. Так что я оставлю у начальника тюрьмы двести пятьдесят долларов, чтобы вручить ему ровно за минуту перед тем, как его выпустят за ворота, предварительно договорившись, что, как только он возьмет эти деньги, он тем самым дает клятву в тот же день, до вечера, пересечь границу штата Миссисипи, и тогда ему каждые три месяца будут высылать по двести пятьдесят долларов по указанному адресу, с условием, что он никогда в жизни не переступит границу штата Миссисипи.

– Понятно, – сказал Рэтлиф. – Значит, деньги он может получить только при условии, что никогда в жизни и близко не подойдет к Флему.

– Правильно, – сказал Стивенс.

– А вдруг ему не деньги нужны? – сказал Рэтлиф. – А вдруг он не отдаст Флема Сноупса за какие-то двести пятьдесят долларов?

– А вы не забываете вот что, – сказал Стивенс. – Позади у него тридцать восемь лет тюрьмы, а впереди – еще два года надо провести в этой клетке, так что он знает, чем это пахнет. Вот он и продаст Флема Сноупса за то, чтоб не сидеть еще два года да еще получить даровую пенсию, тысячу долларов в год, на всю жизнь. Подписывайте.

– Не торопите меня, – сказал Рэтлиф. – Судьба и рок. Это вы про них говорили, что, мол, горжусь им служить.

– Ну и что? – сказал Стивенс. – Подписывайте.

– А вы не считаете, что не мешает вспомнить и про удачу? – сказал Рэтлиф.

– Подписывайте, – сказал Стивенс.

– Флему вы еще ничего не говорили?

– Он меня не спрашивал, – сказал Стивенс.

– А вдруг спросит? – сказал Рэтлиф.

– Подписывайте, – сказал Стивенс.

– Уже, – сказал Рэтлиф. Он положил перо на место. – Вы правы. Выбора нет, отступиться нам никак нельзя. Ежели вы скажете «нет», она найдет другого юриста, а тот уж и «нет» не скажет и, уж конечно, не придумает этот ход с деньгами, я про те двести пятьдесят долларов. А тогда Флему Сноупсу никакой надежды не останется.

Все остальные документы тоже были оформлены без всяких затруднений. Правда, судья председательствовавший тогда на суде, давно умер, как и тогдашний шериф Хэб Хэмптон. Но его сын, по прозвищу Хэб-младший, унаследовал от отца не только то, что его выбирали шерифом через срок, с перерывом в четыре года, но и то, что он всегда оставался в политике самым близким приятелем своего сменщика, Ифраима Бишопа. Так что Стивенс взял подписи у обоих; староста тогдашнего состава присяжных был еще вполне здоровый и даже весьма подвижной старичок восьмидесяти пяти лет, который хозяйничал на небольшой электрической крупорушке, когда не ездил на рыбалку или на охоту с дядюшкой Маккаслином, таким же восьмидесятилетним здоровяком. Так же просто и бесцеремонно, как и Рэтлифа, Стивенс вынудил еще нескольких влиятельных лиц подписаться под прошением, но козырным тузом он считал старого своего однокашника по Гарварду, который занимался политикой из любви к искусству и много лет был чем-то вроде друга и советника при дворе всех губернаторов, просто потому, что любая политическая клика знала, что он не только патриот штата Миссисипи, но и так богат, что ничего для себя уже не требует.

Так что Стивенс мог – да и собирался – доложить своей клиентке об успехе дела лишь после того, как документы были отосланы в столицу штата; лето уже подходило к концу, впереди была осень, сентябрь, когда весь штат Миссисипи

(включая губернатора, сенат штата и комиссию по амнистии) снова наденет галстуки и сюртуки и примется за работу. Он понимал, что может сделать все – чуть ли не назначить день и час, когда он хотел бы видеть узника на свободе; и он выбрал конец сентября, написав своей клиентке на большом желтом отрывном блокноте, почему он так сделал, объяснил ей все многословно, красноречиво и убедительно, поскольку сам был в этом вполне убежден: в сентябре сбор хлопка в самом разгаре, так что для этого человека найдется не просто работа, привычная работа, но и такая работа, к которой он потянется всей душой, потому что тридцать восемь лет он ее делал по принуждению, под дулом заряженной винтовки, а теперь ему за нее будут платить сдельно, с каждой кипы. Это было лучше, чем освободить его сейчас же, в июне, когда ему все лето нечего будет делать и его невольно потянет в родные места; конечно, Стивенс не объяснил Линде, почему этому жалкому, хилому человечку, который, наверно, уже и до тюрьмы был сумасшедшим, а за тридцать восемь лет вряд ли вылезился, ни в коем случае нельзя появляться в Джефферсоне; он скрывал это от Линды в многословных и убедительных карандашных строчках, торопливо ложившихся на линованные страницы блокнота, пока внезапный шорох не заставлял его поднять голову (Линда, конечно, ничего не слыхала) – в дверях уже стоял Рэтлиф, вежливый, учтивый, непроницаемый, только теперь он стал немного серьезнее, немного сосредоточеннее, чем обычно. Но именно немного,

по крайней мере, Линда ничего не замечала, но тут Стивенс, вставая, касался ее руки или локтя (хотя это было лишнее, она сама вдруг чувствовала, что в комнату кто-то вошел) и говорил:

– Привет, В.К., заходите. Разве уже пора?

– Выходит, так, – говорил Рэтлиф. – Доброе утро, Линда.

– Привет, В.К., – отвечала она своим глухим голосом, но в точности повторяя интонацию Стивенса: а ведь она не могла слышать, как он здоровался с Рэтлифом, и даже сам Рэтлиф не мог вспомнить, когда же она могла это слышать. Тут Стивенс вынимал золотую зажигалку с монограммой Г.Л.С., хотя Л. был не его инициал, и давал прикурить Линде, потом они с Рэтлифом доставали из шкафчика над умывальником три граненых стакана, сахарницу, единственную ложку и нарезанный лимон, а Рэтлиф извлекал из глубины карманов фляжку с самогонным виски: старый Кэлвин Букрайт все еще понемножку гнал и хранил выдержанное виски, изредка делясь своими запасами только с теми тактичными людьми, которые сумели сохранить с ним дружеские отношения, снося все капризы старика. А потом все трое – Линда с сигаретой, а Стивенс с неизменной трубкой – сидели, попивая пунш, и Стивенс все говорил или быстро что-то писал на блокноте, чтобы она ответила, а потом она отставляла пустой стакан, вставала и, попрощавшись с ними, уходила. И однажды Рэтлиф спросил:

– Значит, вы Флему еще ничего не говорили? – Стивенс

продолжал курить. – Впрочем, это и не надобно, теперь уже вся округа знает, что кузина Минка или племянница, кем она там ему приходится, вызволяет его из тюрьмы. – Стивенс продолжал курить. Рэтлиф взял пустой стакан. – Хотите еще?

– Нет, благодарю вас, – сказал Стивенс.

– Ага, значит, вы умеете говорить, – сказал Рэтлиф. – Конечно, может, там, в подвалах, в банке, где он, наверно, сидит, деньги считает, может, туда до него ничего не дошло. А может, все-таки ему придется выйти, по делу. – Стивенс продолжал курить. – По делу к шерифу, напротив. – Стивенс продолжал курить. – Вы никак не хотите еще выпить?

– Ну, ладно, – сказал Стивенс. – Что такое?

– Да я же вас об этом и спрашиваю. Можно было бы подумать, что Флем первым делом пойдет к шерифу и напомним ему тогдашние слова Минка, то, что он сказал судье Лонгу, когда его отправляли в Парчмен. Но Флем, как видно, не пошел. Может, Линда сама сказала ему про те двести пятьдесят долларов, а ведь даже Флем Сноупс готов ухватиться за соломинку, если ничего другого нет. Ведь Флем, естественно, не может прямо подойти к ней и написать в блокноте: «В ту минуту, как выпустят этого несчастного крысенка, он сразу явится сюда и расплатится чистоганом и за могилу твоей матери, и за все, в чем я будто бы виноват, – тебе, наверно, об этом все уши прожужжали наши джефферсонские умники», – но, разумеется, он не посмеет даже подать ей такую

мысль, не то она тут же схватит вас, помчится в Парчмен, сегодня же вызовет того и завтра к утру доставит в Джефферсон; иначе у Флема еще осталось три недели, а за три недели всякое может случиться: вдруг Линда помрет, или Минк, или губернатор, или все члены комиссии по амнистии, а может, и Парчмен вдруг взлетит на воздух. Так когда же, говорите, это будет?

– Что именно? – сказал Стивенс.

– Когда его выпустят?

– А-а. Наверно, после двадцатого. Числа двадцать шестого.

– Да, на будущей неделе, – сказал Стивенс. – Передам деньги, договорюсь с начальником. Пусть ему не выдают деньги, пока он не пообещает в тот же день уехать из Миссисипи и никогда не возвращаться.

– В таком случае, – сказал Рэтлиф, – все в порядке. Особенно если я... – Он остановился.

– Если вы что? – сказал Стивенс.

– Ничего, – сказал Рэтлиф. – Рок, и судьба, и удача, и надежда – и всем этим мы связаны, мы с вами, и Линда, и Флем, и этот несчастный заморыш, эта бешеная кошка, там, в Парчмене, все мы связаны той же судьбой, тем же роком, той же удачей и надеждой, даже неизвестно, где все это начинается и где кончаемся мы. Особенно надежда. Помню, я думал, что у людей ничего, кроме надежды, и нет, а вот теперь я начинаю думать, что им ничего больше и не надо – лишь бы была

надежда. А тот несчастный сукин сын сидит в банке, считает деньги, потому что это единственное место, где Минку Сноупсу его не достать; раз ему все равно там прятаться, так заодно он и деньги сосчитает, надо же что-то делать, чем-то заняться. И кто знает, может быть, он сам выдал бы Линде эти двести пятьдесят долларов, притом без процентов, лишь бы она не хлопотала, чтобы Минку скостили два года. И кто знает, сколько денег он выложил бы из своего сейфа сейчас, лишь бы к этим двум годам добавить еще двадцать. А может, хоть десять. А может, хоть год.

Через десять дней Стивенс сидел в кабинете начальника Парчменской тюрьмы. Деньги у него были с собой – двадцать пять совершенно новеньких ассигнаций по десять долларов.

– А вы не хотите его повидать? – спросил начальник.

– Нет, – сказал Стивенс. – Вы сами ему скажите. Или поручите кому-нибудь. Просто предложите ему на выбор: либо он получит свободу и двести пятьдесят долларов и уедет из Миссисипи как можно скорее, а кроме того, пожизненно будет получать каждые три месяца те же двести пятьдесят, если даст слово никогда не переходить границу штата, либо пусть сидит в Парчмене еще два года, а потом хоть сдохнет, черт с ним.

– Что ж, наверно, он согласится, – сказал начальник. – Я бы на его месте наверняка согласился. А почему тот, кто посылает ему двести пятьдесят долларов, так не хочет, чтоб он возвратился домой?

Стивенс торопливо объяснил:

– Возвращаться ему некуда. Семья распалась, никого нет, жена умерла лет двадцать пять – тридцать назад, никто не знает, где дочери. Даже лачуга, которую он арендовал, наверно, завалилась, а может быть, ее и разобрали на топливо, увезли.

– Странно, – сказал начальник. – В Миссисипи у каждого человека обязательно есть родичи. Даже трудно найти человека без родных.

– Нет, у него тоже, наверно, есть какая-нибудь дальняя родня, свойственники, – сказал Стивенс. – Как будто семья у них действительно большая, разбросанная, знаете, целый деревенский клан.

– И что же, значит, кто-то из этой большой разбросанной семьи, из его родственников, так не хочет, чтоб он возвращался, что даже не пожалел двести пятьдесят долларов?

– Ведь он сумасшедший, – сказал Стивенс. – Неужели за эти тридцать восемь лет тут, у вас, никому это не пришло в голову, неужели вам не сказали, даже если вы сами не заметили?

– Да мы тут все сумасшедшие, – сказал начальник, – даже заключенные. Может, тут климат такой. Я бы на вашем месте не беспокоился. Все они кому-нибудь вначале угрожают страшными угрозами, то судье, то прокурору, то какому-нибудь свидетелю, который выступил на суде и рассказал такое, о чем всякий порядочный человек промолчал бы, страшно

угрожают. Я подметил, что никто на свете не грозитя так громко и так страшно, как человек, прикованный наручниками к полисмену. Но тут иногда даже год просидеть – и то помогает. А он просидел тридцать восемь. Значит, его не выпускать, пока он не согласится взять деньги? А почему вы знаете, вдруг он деньги возьмет, а сам вас обманет?

– Все-таки я людей немного знаю, – сказал Стивенс. – Например, я знаю, что какой-нибудь преступник будет работать в десять раз лучше и пойдет на жертвы, в десять раз большие, лишь бы ему приписали хоть какую-нибудь, хоть самую скромную хорошую черту, тогда как честный человек никогда не станет так стараться, чтобы избавиться от какого-нибудь своего порока, если только ему это доставляет удовольствие. А этот тип чуть не убил своего адвоката прямо там же, в тюрьме, когда тот добивался, чтобы его признали сумасшедшим. Он поймет, что единственная разумная вещь, какую он может сделать, это принять деньги и амнистию, так как отказаться от амнистии из-за денег значило бы, что за эти два года он не только не получит две тысячи долларов, но и вообще может умереть. Или, что еще хуже, он может остаться в живых и выйти на свободу нищим, а Фле... – Он осекся.

– Как? – сказал начальник. – А кто это «Фле», которого через два года может уже не быть в живых? Значит, двести пятьдесят долларов от него? Ну, ладно, – сказал он, – я с вами согласен. Если он примет деньги, все будет шито-крыто,

как они говорят. Вам это и нужно?

– Вот именно, – сказал Стивенс. – А если выйдет какая-нибудь загвоздка, позвоните мне в Джефферсон, за мой счет.

– Я вам и так позвоню, – сказал начальник. – Уж очень вы стараетесь притвориться, что все это не слишком серьезно.

– Нет, – сказал Стивенс, – вот только если он вдруг откажется от денег...

– Вы хотите сказать, от амнистии?

– А какая разница? – сказал Стивенс.

И когда уже к вечеру двадцать шестого числа он подошел к телефону и центральная сказала: «Парчмен, Миссисипи, вызывает мистера Гэвина Стивенса. Говорите, Парчмен», – и неясный голос сказал:

– Алло, Юрист, это вы? – он сразу подумал: «Значит, я все-таки трус. Если это случится через два года, на мне, по крайней мере, пятна не будет. Теперь я ей могу сказать, потому что есть доказательства», а в трубку он проговорил:

– Значит, он от денег отказался?

– А, вы уже знаете, – сказал голос Рэтлифа.

– Что за... – сказал Стивенс почти в ту же секунду: – Алло!

– Да, это я, В.К., – сказал Рэтлиф. – Я – в Парчмене. Значит, вам уже звонили.

– О чем звонили? – сказал Стивенс. – Значит, он еще там? Отказался выйти?

– Нет, вышел. Он вышел утром, часов в восемь. Уехал с попутным грузовиком на север.

– Да вы же сказали, что он не взял денег.

– Я вам об этом все время и говорю. Минут пятнадцать назад мы выяснили, где деньги. Они тут. Он...

– Стойте, вы говорите, в восемь утра, – сказал Стивенс. – В каком направлении?

– Один негр его видел, он стоял на шоссе, а потом его подхватил грузовик, который вез скот в Тэтвейлер. Из Тэтвейлера он мог поехать до Кларксдейла, а оттуда – в Мемфис. Или прямо от Тэтвейлера до Бейтсвиля, а потом – в Мемфис. Но, конечно, если кому нужно из Парчмена попасть в Джефферсон, так можно ехать через Бейтсвилль, а то и проехаться через Чикаго или Новый Орлеан, если кому вздумается. А так он, пожалуй, скоро доберется до Джефферсона. Сейчас я тоже еду, но вам бы лучше...

– Понятно, – сказал Стивенс.

– И Флему тоже, – сказал Рэтлиф.

– О, черт, я же сказал – все понятно! – сказал Стивенс.

– Только ей пока не говорите, – сказал Рэтлиф. – Нечего ей говорить, что она только что вроде как убила мужа своей матери...

Но Стивенс этого не слышал, он уже бросил трубку, на нем даже шляпы не было, когда он добежал до площади, до улицы, где в одном конце был банк и Сноупс, а в другом – здание суда и шериф: совершенно неважно, кого он увидит

первым, думая: «Значит, я и вправду трус, и это после всех разговоров про судьбу и рок, хотя даже Рэтлиф в них не поверил».

– Вы что же думаете, – сказал шериф, – что человек просидел тридцать восемь лет в Парчмене, а в ту минуту, как его освободили, он попытается сделать то, за что его опять туда упекут, конечно, если на этот раз не повесят? Не глупите! Даже если он такой, как про него говорят, все равно за тридцать восемь лет ему вправили мозги.

– Ха, – сказал Стивенс невесело, – вы довольно точно все определили. Но вы, наверно, еще без штанов бегали тогда, в тысяча девятьсот восьмом году. В суде вы в тот день не были, его лица не видели и не слышали, что он крикнул. А я был.

– Ну, хорошо, – сказал шериф. – Что же я, по-вашему, должен сделать?

– Арестовать его. Как вы это называете? Перехватить по пути. Только не давайте ему доехать до нашего округа.

– На каком основании?

– Ваше дело поймать его. А основания я вам дам, как только понадобится. Если надо, задержим его за получение денег под ложным предлогом.

– Но ведь он как будто денег не взял.

– Не знаю, что там с деньгами. Но я что-нибудь придумаю, лишь бы задержать его хоть на время.

– Да, – сказал шериф, – наверно, вы и это можете. Зайдем-ка в банк, поговорим с мистером Сноупсом, может быть,

мы втроем что-нибудь сообразим. А то пойдем к миссис Коль. Я считаю, что ей тоже нужно сказать.

На это Стивенс почти слово в слово повторил то, что сказал Рэтлиф по телефону, когда он уже положил трубку:

– Сказать женщине, что сегодня в восемь утра она, можно сказать, убила своего отца, так, что ли?

– Ну, не надо, не надо, – сказал шериф. – Хотите, чтобы я с вами пошел в банк?

– Нет, – сказал Стивенс. – Пока не стоит.

– По-моему, вы все-таки видите пугало там, где его нет, – сказал шериф. – Да если он и вернется, то скорее туда, во Французову Балку. Значит, как только мы его заметим тут, в городе, мы его задержим, поговорим с ним по душам – и все!

– Да, черта с два вы его заметите! – сказал Стивенс. – Я же вам все время втолковываю, что заметить его невозможно. Джек Хьюстон тридцать восемь лет назад тоже на этом просчитался: он его не замечал и не замечал – пока тот в одно прекрасное утро не вышел из кустов с ружьем. Впрочем, сомневаюсь, вышел ли он из кустов, прежде чем выстрелить.

Быстрым шагом он перешел через площадь, думая: «Да, в конце концов я все-таки трус», – но та его сущность, то единственное, с чем он привык разговаривать, вернее, к чему привык прислушиваться, – может быть, это был его скелет, и он переживет все остальное его существо на несколько лет или месяцев и, несомненно, все это время будет читать ему мораль, а он будет вынужден беспомощно молчать, –

сразу ответило ему: «А кто говорит, что ты трус?» А он на это: «Но я вовсе не трус. Я гуманист». И то, внутреннее: "Ты даже не оригинален, это слово обычно употребляют как эвфемизм для слова «трус».

Наверно, банк уже закрылся. Но когда он шел через площадь к конторе шерифа, машины с Линдой за рулем перед банком не было, – значит, сегодня не тот день, когда возобновлялся недельный запас виски. Ставни были закрыты, но, подергав боковую дверь, он привлек внимание одного из служащих, и тот, выглянув, узнал его и впустил; он прошел сквозь щелканье арифмометров, подытоживавших дневной баланс, они звучали безучастно, как будто пренебрегая теми астрономическими суммами, которые они превращали в дробную трескотню, постучал в дверь, где полковник Сарторис сорок лет назад велел написать от руки слово «КАБИНЕТ», и вошел туда.

Сноупс сидел не за письменным столом, а спиной к нему, перед пустым нетопленным камином, задрав ноги и уперев каблуки в те отметины, которые когда-то выцарапали каблуки полковника Сарториса. Он не читал и вообще ничего не делал, просто сидел, низко нахлобучив свою черную плантаторскую шляпу, неприметно и мерно двигал нижней челюстью, словно жуя что-то, чего, как знали все, у него во рту не было; он даже не спустил ноги, когда Стивенс подошел к столу (стол был широкий, гладкий, и на нем аккуратно, даже как-то методически были разложены бумаги) и сразу, почти

на одном дыхании, сказал:

– Минк ушел из Парчмена сегодня в восемь утра. Не знаю, известно ли вам это, но мы... я приготовил деньги, и он их должен был получить у выхода, при условии, что принимая эти деньги, он тем самым дает клятву уехать из штата Миссисипи и никогда не возвращаться в Джефферсон и даже не переходить границу штата. Денег он не взял; не знаю, как оно вышло, его не должны были отпускать без этого. Его подобрал попутный грузовик, и он исчез. Грузовик шел на север.

– А сколько там было? – сказал Сноупс.

– Чего? – спросил Стивенс.

– Денег, – сказал Сноупс.

– Двести пятьдесят долларов, – сказал Стивенс.

– Очень благодарен, – сказал Сноупс.

– Слушайте, черт побери! – сказал Стивенс. – Я вам рассказываю, что человек сегодня в восемь утра вышел из Парчмена и поехал сюда убивать вас, а вы только и нашли, что сказать – «очень благодарен».

Но тот сидел неподвижно, только челюсти медленно жевали; Стивенс подумал с какой-то сдержанной кипучей яростью: «Хоть бы он изредка сплевывал, что ли».

– Значит, у него только и есть, что те десять долларов, которые им выдают при освобождении, – сказал Сноупс.

– Да, – сказал Стивенс, – по крайней мере, насколько нам... мне известно. Как будто так. – «Или хотя бы сделал вид, что сплевывает», – подумал он.

– Ну, а ежели кто-то имел бы на вас зуб, – сказал Сноупс, – и было б ему сейчас шестьдесят три года, а тридцать восемь из них он просидел в тюрьме, да и до того он был слабоват и ростом не больше, чем мальчишка лет двенадцати...

«И тогда уже стрелял из-за куста, – подумал Стивенс. – Да, я отлично понимаю, что ты думаешь: он, мол, и тогда был слишком слабый и хилый, он не рискнул бы драться ножом или дубинкой даже до тридцати восьми лет тюрьмы. И не может он поехать во Французову Балку (единственное место на всем свете, где его, быть может, хоть кто-нибудь настолько помнит, чтобы одолжить ему револьвер), потому что, хотя ни одна душа во Французовой Балке не отвела бы от тебя дуло револьвера, но одолжить – никто не одолжит, даже чтобы пристрелить тебя. Значит, ему либо надо купить револьвер за десять долларов, либо украсть. Значит, можно не беспокоиться: десятидолларовый револьвер стрелять не будет, а украсть ему не даст какой-нибудь полисмен. Он быстро соображал: Ясно. На Север. Поехал в Мемфис. Больше некуда. Больше нигде за десять долларов револьвера не купишь».

Значит, если у Минка всего только десять долларов, ему придется всю дорогу ехать на попутных машинах, сначала в Мемфис, если успеет до закрытия ссудных лавчонок, а оттуда – назад, в Джефферсон. А это может случиться не раньше завтрашнего утра, иначе судьба и рок нагородили бы тут такое сверхмощное скопление невероятных совпадений и удач, что даже Рэтлиф, при всем своем оптимизме, в них

не поверил бы.

– Да, – сказал он вслух, – я тоже так думаю. До завтрашнего вечера у вас еще есть время. – Он торопливо соображал: «Как бы его убедить не говорить ей ничего, но так, чтоб он не догадался, что он мне обещает, дает слово и что это я ему подсказал». И вдруг сам сказал вслух: – А Линде вы расскажете?

– Зачем? – сказал Сноупс.

– Да, конечно, – сказал Стивенс. И неожиданно услышал собственный голос: – Очень благодарен. – И потом, уж совсем неожиданно для самого себя: – Я за это отвечаю, хотя я, в сущности, ничем помешать не мог бы. Только что я говорил с Ифом Бишопом. Что я еще могу для вас сделать? – «Хоть бы он сплюнул», – подумал он.

– Ничего, – сказал Сноупс.

– Как? – сказал Стивенс.

– Так, – сказал Сноупс. – Очень благодарен.

Но теперь он, по крайней мере, знал, с чего начинать. Только не знал как. Предположим, он позвонит в мемфисскую полицию; что же он им скажет, что можно им сказать: они в сотне миль отсюда, они никогда не слышали ни о Минке, ни о Флеме Сноупсе, а Джека Хьюстона уже сорок лет, как нет на свете. Ему, Стивенсу, с трудом удалось расшевелить даже здешнего шерифа, а он-то должен был знать эту историю хоть понаслышке, от старших. Как же объяснить мемфисской полиции, зачем Минк у них в городе, хотя он

сам твердо знал – зачем, как убедить их, что Минк был или будет в Мемфисе? А если это даже удастся, то как им описать того, кого надо изловить: ведь сорок лет назад Хьюстон пал жертвой этого человека именно потому, что убийца был настолько незаметным существом, что никто вовремя не обратил на него внимания, не сообразил, что он такое и что он способен наделать.

Кроме Рэтлифа. Один Рэтлиф во всем Йокнапатофском округе узнал бы Минка с первого взгляда. Для человека неученого, не путешествовавшего, даже, в сущности, не очень начитанного, у Рэтлифа был потрясающий дар запоминать факты, собирать сведения и заводить знакомства, которые всегда помогали в критические минуты жизни города. Стивенс признался себе, почему он сейчас ждет, тянет время, просто ничего не делает: он ждет, чтобы Рэтлиф в своем «пикапе» приехал из Парчмена и чтобы можно было сразу, без остановки, не дав ему выключить мотор, отправить его в Мемфис, и пусть он поможет мемфисской полиции опознать Минка и тем самым спасти его кузена, родича – словом, кем там ему Флем приходится, – от заслуженной кары, но в душе Стивенс знал: прежде всего ему хочется узнать от Рэтлифа, каким образом Минк не только ухитрился прошмыгнуть за ворота Парчмена, не выполнив необходимейшего условия – взять деньги, но и сделал это так ловко, что, если бы не совершенно случайное, непредвиденное присутствие Рэтлифа в такое время и в таком месте, где ему быть совершенно не

полагалось, никто и не узнал бы, что деньги не взяты.

Еще не было трех, когда Рэтлиф позвонил; значит, раньше девяти он в Джефферсон не попадет. И дело не в том, что его «пикап» никак не мог бы проехать это расстояние быстрее: дело было в том, что ни одна машина, принадлежащая Рэтлифу, если только он сам в ней сидел в здравом уме и твердой памяти и, конечно, сам правил, никогда не поехала бы так быстро. Кроме того, в какой-то час, вскоре после шести, он непременно остановится поесть либо в ближайшем, похожем на все другие, скучном хлопководческом поселке, либо (по теперешним временам) в придорожном ресторанчике, аккуратно затормозит и аккуратно, не торопясь, съест мясо, такое волокнистое, что не прожевать, и такое переваренное, что и вкус потеряло, неизменную жареную картошку, хлеб, который не жуешь, а мнешь во рту, как бумажную салфетку, нарезанный машинкой свежемороженый салат и помидоры, похожие (если бы не их назойливо стойкий цвет) на ископаемые, открытые палеонтологами в вечной мерзлоте тундры, потом пирог из полуфабриката и то, что они называют кофе, – словом, съест всю эту снедь, абсолютно чистую и абсолютно безвкусную, если ее не полить как следует консервированным томатным соусом.

Он, Стивенс, мог бы, должен был бы – и времени хватало – съездить к себе, в Роуз-Хилл, и там вкусно и хорошо поужинать. Вместо этого он позвонил жене.

– Тогда я приеду в город, поужинаем вместе в «Хол-

стон-Хаусе», – сказала она.

– Нет, душенька. Мне надо повидаться с Рэтлифом, как только он приедет из Парчмена.

– Хорошо. Тогда я, пожалуй, приеду и поужинаю у Мэгги, – Мэгги была сестра Стивенса, – и, может быть, пойду с ней в кино, а завтра мы с тобой увидимся. Можно приехать в город, если я обещаю не попадаться тебе на улице?

– Видишь, ты мне не хочешь помочь. Как мне удержаться и не встретиться с тобой, если ты так легко сдаешься?

– Значит, увидимся завтра, – сказала она. – До свиданья!

Конечно, они поужинали вместе в «Холстон-Хаусе»: ему как-то не очень хотелось в этот вечер видеть сестру, и зятя, и племянника Чарльза. «Холстон-Хаус» все еще держался старых традиций и не то что цеплялся за них или мужественно не сдавался, а просто эти традиции с упрямой и несгибаемой настойчивостью хранили владелицы отеля – две незамужние сестры (хотя одна из них, младшая, когда-то была замужем, но это было так давно и так недолго, что уже не считалось), последние потомки Александра Холстона, одного из трех первых поселенцев Йокнапатофы, – он выстроил первый бревенчатый дом, давно уже проглоченный последующими перестройками; он же больше ста лет назад сыграл свою роль – в сущности, первый подал мысль, чтобы город назвали Джефферсоном; до сих пор ресторан при этом отеле назывался просто столовой, до сих пор (никто не знал, каким образом) там сохранилась мужская прислуга – негры,

причем некоторые должности передавались от отца к сыну; до сих пор посетители обедали за двумя длинными общими столами, и во главе каждого сидела одна из сестер; ни один мужчина не решился бы войти туда без пиджака и галстука, ни одна женщина – в шляпе (для того чтобы снять шляпу, существовала дамская комната с горничной), даже если у нее на руках был железнодорожный билет.

Сестра Стивенса вовремя зашла за его женой, чтобы вместе идти в кино. Он вернулся к себе в служебный кабинет и около половины девятого, услышав шаги Рэтлифа на лестнице, сказал:

– Так что же там случилось? – И тут же перебил себя: – Нет, погодите. Что вы делали в Парчмене?

– А я, знаете, этот, как его... да, оптимист, – сказал Рэтлиф. – И, как всякий настоящий оптимист, я не жду, что случится самое худшее. Однако, как всякий уважающий себя оптимист, я люблю сам проверить – а вдруг оно все-таки случилось? Особенно если то, как оно вышло – хорошо или плохо, – скажется тут, у нас в Джефферсоне. Но пришлось покрутиться. Было это часов в десять утра, его уже часа два, как выпустили, и они на меня даже заворчали. Понимаете, они свое дело сделали, продержали его тридцать восемь лет, по закону, без обмана, как было велено, и теперь имели право избавиться от него вчистую. Сами понимаете: новенькая, чистая амнистия, новенькие, чистые двести пятьдесят долларов запрятаны честь честью в новенькую чистую одежду, в

комбинезон с джемпером, ворота за ним захлопнулись, как вам и докладывали, из папки официально вынули дело Минка Сноупса и официально надписали: «Расчет закончен», – и дело сдали в архив уже целых два часа назад, и вдруг – нате вам – является непрощеный тип откуда-то издалека, даже не адвокат, и говорит: «Да, да, все правильно, только давайте-ка удостоверимся – взял он эти денежки или нет, когда уходил».

Деньги были у самого начальника: Минк стоял перед ним, а на столе лежали отдельно – приказ об амнистии, а рядом – те двести пятьдесят долларов. Минк, наверно, таких денег в жизни не видал; и начальник сам ему объяснил, что вот, мол, выбора у него нет: хочешь получить амнистию – бери деньги, а раз он возьмет деньги, значит, даст честное слово, обещание, поклянется на Библии, что сейчас же уберется подальше от Миссисипи и никогда в жизни не переступит границу штата. «Значит, вот что надо сделать, чтобы выпустили, – говорит Минк. – Взять деньги?» – «Вот именно», – говорит начальник, и Минк протягивает руку, берет деньги, и начальник сам, своей рукой, помогает ему положить и амнистию и деньги во внутренний карман и хорошенько застегнуть пуговицы, и начальник жмет ему руку, и тут входит тюремный староста, чтоб его отвести туда, где привратник уже дожидается с ключом и отворяет ему ворота, а там – вольная воля...

– Погодите, – сказал Стивенс. – Староста?

– Поняли? – одобрительно сказал Рэтлиф, очень довольный, даже гордый. – Чего уж проще! Оттого это и не пришло

никому в голову, ведь даже в Парчмене, будь там хоть самая образцовая тюрьма, все-таки вряд ли нашелся бы такой чудак, такой антиобщественный тип, которому могло бы прийти в голову, что можно еще выбирать, раздумывать, когда тебе тычут двести пятьдесят долларов так, за здорово живешь, – даже спасибо сказать некому. Я им так и сказал: «Это староста. До ворот Минк дошел с деньгами. Проверим, были ли они у него, когда он вышел». Так я им и сказал: «Старостой у вас кто?»

«Тоже каторжник, пожизненный, – говорит начальник, – убил жену гаечным ключом, потом раскаялся, в тюрьме, еще до суда, приобщился, так сказать, благодати, теперь ведет себя отлично, даже проповедником стал».

– Да, – говорю, – если бы Минку дали выбирать из списка всех ваших нахлебников, так сколько ни выбирай, он лучшего бы для своих целей не нашел, понимаете? Так что мне уже вроде как жалко этого, так сказать, избранничка, хотя у него и не хватило терпения разгадать тайну брака как-нибудь без помощи гаечного ключа. Я хочу сказать, что у вас, наверно, есть кое-какие частные методы расспросов для тех, что не больно словоохотливы, верно ведь?.. В общем, оттого-то я и запоздал вам позвонить: пришлось подождать, хотя, должен сказать, он ничем себя не выдал. Смешно мне на людей смотреть. Впрочем, нет, не смешно. Скорее грустно. Возьмите этого малого – осужден пожизненно, и, даже если бы обнаружилось, что это ошибка, даже если б нечаянно за-

были запереть ворота, он не посмел бы выйти, потому что отец его жены поклялся убить его в ту секунду, как он переступит порог Парчмена. Что же ему делать с этими деньгами, даже если бы он вообразил, что можно их безнаказанно присвоить?

– Но как, черт возьми? Как он это сделал? – сказал Стивенс.

– Да Минк только так и мог эти деньги отдать, вот почему никто и не сообразил. По дороге из кабинета начальника к воротам он сказал этому старосте, что ему понадобилось в уборную, а там он ему отдал двести пятьдесят долларов и попросил вернуть их начальнику, как только выдастся подходящая минутка, только лучше подождать, когда Минк очутится подальше от ворот, а уж потом доложить начальнику, что, мол, он, Минк, премного благодарен, но он передумал и деньги ему без надобности. Старосте только одно и оставалось: часа через два-три Минк уйдет далеко и, наверно, навсегда, и никто не будет знать, да никогда и не спросит, куда он девался. И вообще тут уж все равно, где он будет: в ту минуту, как человек решил, что ему не нужны двести пятьдесят долларов, он как бы помер и сам только что узнал про свою смерть. Вот и все. Не знаю я...

– А я знаю, – сказал Стивенс. – Флем мне подсказал. Он в Мемфисе. Слишком он старый, слишком хилый и слабый, чтоб действовать ножом или дубинкой, значит, придется ему искать такое место поблизости, где есть надежда купить ре-

вольвер за десять долларов.

– Значит, вы Флему все сказали. А он что?

– Он сказал: «Очень благодарен», – сказал Стивенс. И, подождав, добавил: – Слышите? Когда я сказал Флему, что Минк вышел из Парчмена сегодня в восемь утра и едет сюда убивать его, он ответил: «Очень благодарен».

– Слышу, – сказал Рэтлиф. – А вы бы что сказали? Наверно, и вы бы ответили вежливо, не хуже Флема, правда? Должно быть, оно так и нужно. А с Мемфисом вы, наверно, уже переговорили?

– А что мне с ними говорить? – сказал Стивенс. – Как описать мемфисским полисменам человека, которого я бы и сам не узнал, тем более как их убедить, что человек этот действительно в Мемфисе и, по моим предположениям, делает то-то и то-то, раз я сам не знаю, что будет дальше?

– А что ж это Мемфис так оплошал? – сказал Рэтлиф.

– Сдаюсь! – сказал Стивенс. – Объясните!

– Я-то считал, что только в самых захолустных городишках нет никого из ваших дружков по Гарварду, но уж никак не в Мемфисе.

– Какой же я дурак! – сказал Стивенс. Он тут же позвонил и через минуту уже разговаривал с ним, со своим однокашником, любителем сельского уединения, жившим на плантации неподалеку от Джексона, – он уже помог Стивенсу получить амнистию для Минка, так что оставалось только объяснить, что произошло, не вдаваясь в подробности.

– Но ты, конечно, не знаешь, попал он в Мемфис или нет, – сказал его друг.

– Конечно, нет, – сказал Стивенс. – Но раз мы вынуждены найти его как можно скорее, то позволительно хотя бы это предположение считать правильным.

– Отлично, – сказал его друг. – Я знаком и с мэром города, и с комиссаром полиции. Ведь тебе прежде всего нужно – и это единственное, что они могут сделать, – чтобы прочесали все те места, где сегодня после полудня кто-то пытался купить револьвер за десять долларов. Правильно?

– Правильно, – сказал Стивенс. – И пожалуйста, попроси их позвонить мне за мой счет, когда они... вдруг что-нибудь найдут.

– Я сам тебе позвоню, – сказал его друг. – Можешь считать, что и я принимаю участие в судьбе твоего приятеля.

– Будешь говорить Флему Сноупсу, что я его приятель, так хотя бы улыбнись, – сказал Стивенс.

Это было в четверг: в пятницу телефонная станция разыскала бы его в каком угодно учреждении. Однако у него скопилось много дел, и он решил засесть у себя в служебном кабинете. Он только успел заняться делами, как вошел Рэтлиф с аккуратным бумажным пакетиком и сказал: «Доброе утро», – но Стивенс даже не поднял глаз и продолжал сосредоточенно и быстро писать на желтоватом блокноте: ему не помешало даже, когда Рэтлиф постоял перед ним, смотря ему в макушку. Потом Рэтлиф отошел, сел на один из сту-

льев у стола, на тот, что был ближе к стенке, потом привстал, аккуратно положил свой пакетик на картотеку и снова сел, а Стивенс все писал не отрываясь, только изредка останавливался и справлялся по книге, лежавшей у его левой руки; наконец Рэтлиф потянулся за утренней мемфисской газетой и, взяв ее со стола, развернул, осторожно шелестя листами, а через некоторое время снова тихонько зашелестел, переверачивая страницу, пока Стивенс не сказал:

– Фу, черт, либо уходите отсюда, либо придумайте себе другое занятие. Вы меня нервируете.

– А у меня никаких занятий нынче утром нет, – сказал Рэтлиф. – Может, вам куда надо пойти, я могу посидеть послушать телефон.

– Я и тут могу работать, только не шелестите вы... – Он вдруг бросил, отшвырнул карандаш. – Как видно, он еще не доехал до Мемфиса или, во всяком случае, еще не пытался купить револьвер, иначе нам сообщили бы. А нам одно и нужно: заранее дать знать по всему Мемфису. Неужели вы думаете, что в любой ссудной лавке, в любом охотничьем магазине не побоятся потерять лицензию, если продадут ему револьвер, после того как полиция им...

– Если бы меня звали Минк Сноупс, то я нашел бы место, где не боятся потерять лицензию за продажу ружья или револьвера.

– Например? – сказал Стивенс.

– Во Французовой Балке всегда поговаривали, что Минк

в молодости мог задать жару, конечно, насколько ему средства позволяли, а средств было маловато. Но он ездил, как все деревенские парни, в Мемфис раза два-три в год со своими сверстниками, тогдашними головорезами – с Квиками, с Тэрпинами, с Таллами, словом, с кем придется: значит, была у него возможность узнать, в каких местах торгуют без всяких лицензий, так чтоб полиция не трепала их каждый раз, как найдет ружье или револьвер в неположенном месте или не найдет в положенном.

– Неужто вы думаете, что мемфисская полиция знает про Мемфис меньше, чем какой-то сумасшедший ублюдок, убийца, да еще просидевший в каторжной тюрьме чуть ли не сорок лет? Мемфисская полиция, да это же лучшая полиция, не то что в десяти, в ста городах, черт возьми, да я вам их и назвать могу.

– Ну ладно, ладно, – сказал Рэтлиф.

– Честное слово, даже сам господь бог не настолько занят, чтобы позволить маньяку-убийце с десятью долларами в кармане проехать на попутных машинах сто миль, купить револьвер за эти десять долларов, потом, опять же на попутных, проехать еще сто миль и пристрелить человека!

– А может, тут все зависит от того, хочет бог кого-то убить или нет, – сказал Рэтлиф. – А к шерифу вы сегодня утром заходили?

– Нет, – сказал Стивенс.

– А я заходил. Флем еще к нему не обращался. И из города

не уезжал. Я и это проверил. Так что, может, это самый лучший признак: Флем не беспокоится. Как вы полагаете, сказал он Линде или нет?

– Нет, – сказал Стивенс.

– Почему вы знаете?

– Он мне говорил.

– Флем говорил? Прямо так, сам, или вы у него спросили?

– Спросил, – сказал Стивенс. – Я спросил: «А вы Линде расскажете?»

– И что же он ответил?

– Сказал: «Зачем?»

– А-а, – сказал Рэтлиф.

Пробило двенадцать. У Рэтлифа в аккуратном пакетике оказался такой же аккуратный сандвич.

– Вы ступайте домой обедать, – сказал он, – а я тут посижу, послушаю телефон.

– Да вы же сами только что сказали, что раз Флем не беспокоится, так какого черта нам волноваться?

– А я волноваться и не буду, – сказал Рэтлиф. – Просто посижу, послушаю.

Но Стивенс уже успел вернуться в свой кабинет к концу дня, когда раздался телефонный звонок.

– Пока ничего, – сказал голос его товарища по университету. – Он не был ни в одной из ссудных лавок, нигде, куда можно зайти купить револьвер, особенно за десять долларов. Может быть, он еще и не доехал до Мемфиса, хотя прошло

уже больше суток.

– Тоже возможно, – сказал Стивенс.

– А может, он и не собирался ехать в Мемфис.

– Ничего не поделаешь, – сказал Стивенс. – Надо будет написать комиссару полиции благодарственное письмо или...

– Непременно. Только пусть он сначала его заработает. Он согласился, что совсем не трудно и даже полезно каждое утро в течение двух-трех ближайших дней на всякий случай проверять все лавки по списку. Я его уже поблагодарил за тебя. Я даже взял на себя смелость и сказал, что если вы оба когда-нибудь окажетесь в одном избирательном округе и он решит выставить свою кандидатуру, а не ждать продвижения, как ты... – Но тут Стивенс положил трубку, обернулся к Рэтлифу и, не глядя на него, сказал:

– Может, он и не появится.

– А что? – сказал Рэтлиф. – Что он вам говорил? – Стивенс рассказал, повторил самую суть. – Полагаю, что больше мы ничего сделать не можем, – сказал Рэтлиф.

– Да, – сказал Стивенс. Он подумал: «Завтра все выяснится. Но я еще день подожду. Может быть, до понедельника».

Но так долго ждать ему не пришлось. В субботу в его служебный кабинет, как всегда, набился народ, не столько по делу (за что он получал жалованье от штата), а просто все время заходили в гости земляки, выбравшие его на этот пост. Рэтлиф, тоже знавший их всех очень хорошо, может быть, даже лучше Стивенса, сидел в сторонке, у стены, на

своем месте, откуда можно было, не вставая, взять телефонную трубку; и хотя он опять принес с собой аккуратный домашний сандвич, Стивенс в полдень сказал:

– Вы бы пошли домой, позавтракали как следует, а лучше поедем ко мне. Сегодня звонка не будет.

– Вам лучше знать, – сказал Рэтлиф.

– Да. Я вам объясню в понедельник. Нет, завтра: воскресенье день подходящий. Завтра я вам все объясню.

– Значит, по-вашему, все в порядке. Все улажено, все кончено. Известно это Флему или нет, но теперь он может спать спокойно.

– Вы меня пока не спрашивайте, – сказал Стивенс. – Это как нить: держится, пока я... пока кто-нибудь ее не порвет.

– Значит, вы оказались правы. Не нужно ей говорить.

– И не нужно, – сказал Стивенс, – и никогда не понадобится.

– Я так и говорю, – сказал Рэтлиф. – Теперь ей говорить не надо.

– А я говорю – никогда не надо было и никогда не понадобится, что бы ни случилось.

– Даже если это вопрос морали? – сказал Рэтлиф.

– К чертям мораль, к чертям вопрос, – сказал Стивенс. – Никаких вопросов морали тут нет: есть факт, тот факт, что ни вы и никто, на ком человечья шкура, не скажет ей, что своим поступком, вызванным жалостью, состраданием, простым великодушием, она убила человека, который считается

ее отцом, неважно, сволочь он или нет.

– Ну, ладно, ладно, – сказал Рэтлиф. – Вот вы сейчас говорили про какую-то нить. Может, есть еще хороший способ, чтоб не дать ей порваться раньше времени, – надо только посадить тут кого-то, чтоб слушал телефон в три часа дня, когда он не зазвонит.

Поэтому они и сидели оба в кабинете, когда пробило три. А потом четыре.

– Пожалуй, можно уходить, – сказал Рэтлиф.

– Да, – сказал Стивенс.

– Но пока что вы мне ничего не объяснили, – сказал Рэтлиф.

– Завтра, – сказал Стивенс. – К тому времени уже непременно позвонят.

– Ага, значит, по этой нити все-таки проходит телефонный провод, – сказал Рэтлиф.

– До свидания, – сказал Стивенс. – Завтра увидимся.

Да, телефонная станция его разыщет в любое время, даже в воскресенье, и, в сущности, почти до половины третьего он думал, что проведет этот день у себя, в Роуз-Хилле. У него в жизни бывали такие же периоды тревог, и смятений, и неопределенности, хотя почти всю жизнь он прожил одиноким холостяком; ему припомнились два или три случая, когда тоска и беспокойство оттого и возникали, что он был холост, то есть события, обстоятельства вынуждали его оставаться холостяком, несмотря на все попытки выйти из этого

состояния. Но тогда, давно, ему было куда скрыться: в забвение, в забытие, в работу, которую он сам для себя придумал еще в Гарварде: снова перевести Ветхий завет на классический греческий язык первоначального перевода, а потом выучиться древнееврейскому и уж тогда действительно восстановить подлинный текст; он и вчера вечером подумал: «Ну конечно, завтра могу заняться переводом, совсем его забросил». Но утром он понял, что теперь ему этого мало, всегда будет мало. Конечно, он думал о рвении, которое вкладываешь в работу: не просто о способности сосредоточиться, но и об умении поверить в нее; теперь он постарел, а истинная трагедия старости в том, что нет тоски, настолько мучительной, чтобы из-за нее идти на жертвы, оправдывать их.

Так что и половины третьего еще не было, когда он, сам тому не удивляясь, сел в свою машину и, выехав на пустую по-воскресному площадь, тоже ничуть не удивился, когда увидел, что у входа в служебный кабинет его ждет Рэтлиф; и потом оба, уже не притворяясь друг перед другом, сидели в кабинете и смотрели, как стрелки медленно ползут к трем часам.

– А почему, собственно говоря, мы считаем, что три часа – какая-то заколдованная черта? – спросил Рэтлиф.

– Не все ли равно? – сказал Стивенс.

– Вы правы, – сказал Рэтлиф. – Главное дело – не порвать бы, не повредить бы эту самую нить. – И тут в сонной воскресной тишине часы на здании суда мягко и гулко пробили

три раза, и впервые Стивенс понял, как твердо он не то что ожидал, но знал – до этого часа телефон не зазвонит. И в ту же минуту, в ту же секунду он понял, почему звонка не было; самый факт, что его не было, больше говорил о том, какое сообщение могло быть передано, чем если бы его действительно передали.

– Значит, так, – сказал он. – Минк умер.

– Что? – сказал Рэтлиф.

– Не знаю, где он, да это и неважно. Надо бы нам знать с самого начала, что и три часа на свободе его убьют, не то что три дня. – Говорил он быстро, но отчетливо: – Разве вы не понимаете? Жалкое существо, без родных, без связей, всем чужой, ненужный, лишенный, в сущности, даже человеческих черт, а не то что права называться человеком, – и его вдруг заперли в клетку на тридцать восемь лет, а теперь, в шестьдесят три года, выпустили, выкинули, вышвырнули из спокойной, защищенной клетки на свободу, все равно как кобру или медянку, которые живучи и смертельно опасны, пока их держат в созданной человеком искусственной тропической атмосфере, в изоляции стеклянных ящиков; но разве они прожили бы хоть один час, если б их выпустили на свободу и, поддев на вилы или захватив щипцами, швырнули бы на городскую улицу?

– Да погодите, – сказал Рэтлиф, – погодите.

Но Стивенс даже не остановился.

– Конечно, нам еще не сообщили, где его нашли, как и

кем он был опознан, потому что до него никому нет дела; может быть, его еще и не подобрали. Ведь он теперь свободен. Он даже умереть может, где ему угодно. Тридцать восемь лет подряд до прошлого четверга у него не мог бы вскочить чирей, сломаться ноготь, чтоб об этом через пять минут не узнали. Но теперь он на свободе. Никому нет дела, когда, где или как он умрет, лишь бы его труп не валялся под ногами. Так что нам можно идти домой, а потом вам позвонят, и тогда вы с Флемом можете поехать опознать его.

– Да, – сказал Рэтлиф. – И все же...

– Бросьте, – сказал Стивенс. – Едем ко мне, выпьем.

– Может, проедем мимо и расскажем Флему, как обстоит дело, – сказал Рэтлиф. – Может, и он тогда выпьет стаканчик.

– В сущности, я человек не злой, – сказал Стивенс. – Я бы дал Минку револьвер, чтобы он застрелил Флема; может быть, я и не смотрел бы спокойно, как Минк в него нацелился. Но тут я и пальцем не пошевелю, пусть Флем еще день-другой ждет, что Минк вот-вот убьет его.

Он даже не сообщил шерифу, что убежден в смерти Минка. Наоборот, шериф сам сказал ему об этом. Стивенс зашел к шерифу в здание суда и рассказал ему, что именно, по его и Рэтлифа предположениям, Минк собирается сделать и зачем и что мемфисская полиция будет по-прежнему ежедневно проверять те места, где Минк мог бы приобрести оружие.

– Значит, его, как видно, в Мемфисе нет, – сказал шериф. – Сколько дней уже прошло?

– Считайте с четверга.

– И на Французовой Балке его тоже нет.

– Откуда вы знаете?

– Я вчера туда ездил, смотрел, что и как.

– Значит, вы мне все-таки поверили, – сказал Стивенс.

– А я за поездки получаю суточные, – сказал шериф. –

Погода вчера была хорошая, как раз для загородной прогулки. Значит, у него в распоряжении было четыре дня, а проехать ему всего сто миль. В Мемфисе его как будто нет. Я точно знаю, что во Французовой Балке его не было. И, как вы говорите, мистер Сноупс знает, что и в Джефферсоне его нет. Может, он помер. – И вдруг, когда другой человек высказал эту мысль, выговорил ее вслух, Стивенс понял, что сам никогда в это не верил, и уже не слушал, что говорит шериф: – Такая мелкая гадина, змея, у него и друзей-то никаких никогда в жизни не было: там, в поселке, никто и не знает, что стало с его женой, с обеими дочками, куда они исчезли. Сидеть под замком тридцать восемь лет, а потом тебя выкинули, как кошку на ночь, деваться некуда, никому ты не нужен. Может, он не выдержал свободы. Может, свобода его и убила. Так бывает, я сам видел.

– Да, – сказал Стивенс, – наверно, вы правы, – а сам спокойно думал: «Мы его не остановим. Мы его не можем остановить – даже всем скопом, вместе с мемфисской полицией, с кем угодно. Может быть, даже гремучей змее, если только судьба за нее, может быть, ей никакой удачи не нужно, а уж

друзей и подавно». Вслух он сказал: – Но пока что мы ничего не знаем. Нельзя на это рассчитывать.

– Понимаю, – сказал шериф. – Я вчера же выдал полномочия двум людям в уорнеровской лавке, они говорят, что помнят его и сразу узнают. Могу дать охрану мистеру Сноупсу, пусть сопровождает его в банк и домой. Но, будь я проклят, мы же не знаем, за кем следить, когда, где? Не могу же я поставить охрану в дом к человеку, пока он сам не попросит, верно? А как его дочка, миссис Коль? Может быть, она что-нибудь сделает? Или вы все еще не хотите, чтобы она знала?

– Нет. Дайте мне слово! – сказал Стивенс.

– Хорошо, – сказал шериф. – Полагаю, что ваш приятель из Джексона сообщит вам, как только мемфисская полиция хоть что-нибудь разведает.

– Да, – сказал Стивенс. Но до среды никакого звонка оттуда не было. А Рэтлиф позвонил ему во вторник вечером, после десяти, и сообщил о том, что случилось, а утром, по дороге на службу, он проехал мимо банка, где не подняли опущенные шторы, и, стоя у своего стола с телефонной трубкой в руках, он видел в окно мрачные черно-бело-фиолетовые извивы тюля, лент и восковых цветов, прикрепленных над запертой входной дверью.

– Он таки нашел револьвер за десять долларов, – сказал голос его приятеля. – В понедельник утром. Ссудная лавчонка торговала, в сущности, без лицензии, оттого полиция чуть не пропустила ее. Но при некотором... м-мм... давле-

нии владелец вспомнил эту сделку. И он сказал, что беспокоиться нечего, что этот револьвер только по видимости может считаться револьвером и что не хватит всех трех патронов, которые ему дали в придачу, чтобы этот пистолет сработал.

– Ха, – сказал Стивенс невесело. – Передайте от меня владельцу лавки, что он недооценивает свой товар. Револьвер вчера был здесь. И сработал.

В понедельник часам к одиннадцати утра в кабине грузовика, перевозившего скот, он добрался до развилки. Грузовик шел на восток, к Алабаме, но даже если бы он повернул на юг и проехал через Джефферсон, Минк все равно слез бы у переезда. А если бы машина была из Йокнапатофы и вел ее кто-нибудь из жителей округа или Джефферсона, он вообще и не сел бы в нее никогда.

Пока он не вышел из лавки с револьвером в кармане, все казалось простым, надо было разрешить только одну задачу – достать револьвер; после этого только расстояние отделяло его от той минуты, когда он подойдет к человеку, который знал, что его отправляют на каторгу, и не только пальцем не пошевелит, но даже не нашел в себе мужества честно сказать «НЕТ» в ответ на истошный крик о помощи, на кровный призыв кровного родича, – подойдет, скажет ему: «Погляди на меня, Флем», – и убьет его.

Но теперь надо было, как он говорил, «пошевелить мозгами». Ему казалось, что он столкнулся с какими-то непреодолимыми препятствиями. Он находился в тридцати милях от Джефферсона, у себя дома, и тут жили такие же люди, как везде на нагорьях северного Миссисипи, хотя бы здесь и проходила граница другого округа, и ему казалось, что с этой минуты каждый встречный, каждый, кто его увидит,

даже не узнав его, не вспомнив его лицо, его имя, все равно поймет, кто он такой, куда идет и что намерен делать. И тут же сразу, следом, немедленно вспыхнула мысль – что это физически невозможно, но все же рисковать он не решался; за тридцать восемь лет, что он был заперт в Парчмене, в нем отмерла, разрушилась какая-то способность, несомненно обостренная в людях, живших на свободе, и они его узнают, они догадаются, поймут, кто он такой, а он даже не заметит, как это случится. «Наверно, все оттого, что меня тут долго не было, – думал он. – Наверно, теперь надо даже и говорить учиться заново».

Он подразумевал не «говорить», а «думать». Он шел по шоссе, теперь оно было покрыто асфальтом, расчерчено прямыми линиями, вдоль которых неслись машины, а он помнил, как тут тянулся извилистый грязный проселок, где мулы и телеги или в редких случаях верховые лошади медленно тряслись по колеям и колдобинам, и знал, что ему невозможно изменить свою внешность – переменить черты лица, выражение, перекроить знакомую местную одежду или походку; на миг ему пришла в голову – и тут же была отброшена – отчаянная и дикая мысль: а что, если при виде легковой машины или грузовика поворачивать назад, чтобы создать впечатление, будто идешь в другую сторону. Теперь ему надо было изменить весь ход своих мыслей, как меняешь цветную лампочку в фонаре, хотя сам фонарь не меняется; пока он шел, он должен был твердо и неизменно *думать*, что он

– кто-то другой, что он никогда и не слышал про фамилию Сноупс и про город Джефферсон и даже не подозревает, что по этой дороге он непременно попадет туда; он должен был думать, будто идет совсем в другое место, с другой целью, куда-то за сто с лишним миль, и мысленно он уже там, только его тело, его шагающие ноги случайно проходят именно этот участок шоссе.

И еще надо было найти кого-то, с кем можно было бы поговорить, не вызывая подозрений, и не для того, чтобы собрать сведения, а чтобы подтвердить их. До той минуты, когда он наконец вышел из Парчмена на свободу и ощутил, что цель, к которой он терпеливо стремился тридцать восемь лет, теперь фактически достигнута, он считал, что собрал все нужные сведения из тех скопившихся за десяток лет слухов, которые, разумеется, не каждый день и даже не каждый год, проникали в Парчмен: как и где живет его родич, как проводит время, какие у него привычки, когда и куда он уходит и откуда приходит, кто живет с ним в доме, кто его окружает. Но теперь, когда долгожданный миг почти наступил, сведения могли оказаться недостаточными. Они могли оказаться и совершенно неправильными, неверными; и снова он подумал: «А все оттого, что меня тут так долго не было, все оттого, что мне пришлось сидеть в таком месте», – как будто ему пришлось пробыть тридцать восемь лет не только вне мира, но и вне жизни, так что даже события, прежде чем он узнавал о них, уже переставали быть правдой и только тогда про-

никали к нему за тюремные стены; и за этими стенами они становились *per se* [сами собой (лат.)] враждебными, и предательскими, и опасными для него, если только он попробует их использовать, понадеяться на них, довериться им.

И, наконец, этот револьвер. Дорога опустела, с обеих сторон ее обступил густой лес, ни звука, ни дома, ни души во круг, и он достал револьвер и посмотрел на него почти что с отчаянием. И утром, в лавке, он не очень походил на револьвер, а тут, в солнечной сельской послеобеденной тишине, он вообще ни на что не был похож, скорее всего он снова напомнил ему, как и в первый миг, ископаемую ящерицу. Но ему надо было проверить этот револьвер, истратить один из трех патронов, просто чтобы посмотреть, будет ли он стрелять, и на минуту, на секунду что-то подтолкнуло его память. «Должен выстрелить, – подумал он. – Что ж ему еще делать. Старый Хозяин только наказывает, а шуток Он не шутит».

К тому же он проголодался. Он ничего не ел после той пачки печенья рано утром. Оставалось еще немного денег, и он уже прошел две бензозаправочные станции с лавками. Но он был на родине, он не решился остановиться в лавке и купить сыру с галетами, хотя у него хватило бы денег. Тут он вспомнил, что предстоит где-то провести ночь. По солнцу сейчас было не позже трех; до завтра он никак не мог попасть в Джефферсон, так что дело придется отложить до завтрашнего вечера, поэтому он почти что инстинктивно свернул с шоссе на проселок – он и сам не мог бы сказать, когда стал за-

мечать на придорожном бурьяне и на колючках клочки хлопка, повыдерганные из проезжавших фургонов, да и дорога была ему знакома по тем давнишним свободным годам, прожитым на арендованной ферме: негритянская дорога, изъезженная колесами, отмеченная клочками хлопка, но немощеная, даже неукатанная, потому что у людей, живших вдоль этой дороги, не было ни права голоса, чтобы заставить, ни денег, чтобы побудить дорожного инспектора участка сделать что-то с их дорогой, а не просто разравнивать и размечать ее дважды в год.

Он нашел не только то, что искал, но и то, чего заранее ждал: убогую покосившуюся некрашеную хибарку, со всех сторон окруженную полуразвалившимися, тоже некрашеными и убогими загонами и службами – сарайчиками, амбарами, навесами, а дальше, на взгорье у ручья, – хлопковый участок; ему было видно, как вся негритянская семья, с двумя-тремя соседями, волокла по междурядьям длинные перепачканные мешки, – не отставая друг от друга, – отец, мать, пятеро ребятишек от пяти-шести до двенадцати и четверо парней с девушками, наверно, соседи, по очереди помогавшие друг другу на сборе хлопка, и он, Минк, остановился в конце ряда, выжидая, пока отец, по всей видимости хозяин участка, подойдет к нему.

– Здорово, – сказал он, – вам, наверно, лишние руки не помешают.

– Хотите собирать? – спросил негр.

– А сколько платите?

– Шесть монет.

– Что ж, я вам подсоблю, – сказал Минк.

Негр обратился к девочке лет двенадцати, шедшей рядом:

– Отдай ему мешок. А сама ступай в дом, собирай ужин.

Он взял мешок. Работа была ему хорошо знакома. Всю свою жизнь в это время года он собирал хлопок. Разница была только в том, что последние тридцать восемь лет в конце междурядья тех, кто отстанет, ждали винтовка или бич, а тут, как бывало прежде, тех, кто соберет побольше, ждали весы и деньги. Как он и думал, его наниматель шел по соседнему междурядью.

– Вы, как видно, не здешний, – сказал негр.

– Верно, – ответил он. – Я тут проездом. К дочке еду в Дельту, она там живет.

– А где именно? – спросил негр. – Я сам как-то в Дельте работал.

Дело было не в том, что он должен был ждать вопроса и постараться этот вопрос обойти. Неважно, что спросят, лишь бы не забыть, что сейчас он – не он, а кто-то другой. Он ответил не мешкая, даже с охотой:

– Она в Додсвиле. Неподалеку от Парчмена. – И, зная, какой должен быть следующий вопрос, хотя негр его не задал и не задаст, он и на него ответил: – Я целый год пролежал в больнице, в Мемфисе. Доктор сказал, мне полезно пешком ходить. Вот я и пошел и на поезд не сел.

– Для инвалидов больница, что ли? – сказал негр.

– Как? – сказал он.

– Больница казенная, для инвалидов?

– Вот именно, – сказал он. – Меня на казенный счет держали. Больше года.

Солнце уже заходило. Жена ушла в дом.

– Хотите, сейчас взвесим? – спросил негр.

– Да мне не к спеху, – сказал он. – Я и завтра могу у вас полдня поработать, лишь бы мне в обед кончить. Если ваша жена даст мне поесть и подстилку на ночь, можете вычесть из платы.

– Я в своем доме с людей за еду не беру, – сказал негр.

Ему подали еду на стол, покрытый клеенкой, при керосиновой лампе, стол стоял в пристройке, где медленно догорали дрова в плите. Он ел в одиночестве, вся семья негра куда-то скрылась, дом казался пустым; когда хозяин позвал его ужинать, тарелка со свиной, тушенной вместе с кукурузой и помидорами, и бледные, мягкие, непропеченные лепешки с чашкой кофе уже стояли на столе. Потом он прошел в жилую комнату, где в очаге тлели угли, – ночь была осенняя, прохладная; тотчас же старшая девочка с матерью встали и пошли в кухню собирать ужин всей семье. Он пододвинулся к огню, вытянул ноги, – в его возрасте ночная прохлада дает себя чувствовать. Он заговорил небрежно, как бы заводя беседу из вежливости, вскользь, сначала можно было подумать, что он и не слушает ответов.

– Наверно, вы хлопок сдаете на очистку в Джефферсоне. Я там кое-кого знал. Одного банкира. Де Спейн по фамилии, если не ошибаюсь. Давно это было, много лет назад.

– Такого не помню, – сказал негр. – Теперь главный банкир в Джефферсоне мистер Сноупс.

– Ага. Я и про него слышал. Большой человек. Большой богач. Живет в большом доме, в городе другого такого нет, и там у него повариха служит и еще человек, подает за столом им двоим, ему и этой его дочке, той, что притворяется глухой.

– Она и есть глухая, была на войне. Пушка выстрелила, у нее перепонки лопнули.

– Да, она так и говорит. – Негр ничего не ответил.

Он спокойно сидел в единственной качалке, – наверно, другой у них и не было, – и не раскачивался. Но в нем уже чувствовалось не просто спокойствие, а какая-то напряженная неподвижность, словно он затаил дыхание. Минк сидел спиной к огню, к свету, так что лица его видно не было, но голос у него не изменился.

– Баба – и на войне. Здорово она всех их одурачила. Знал я таких. Выдумает что-нибудь, а кругом народ вежливый, никто ее лгуньей не обзовет. А слышит она, наверно, ничуть не хуже нас с вами.

Тут негр заговорил, и голос у него был строгий:

– Кто вам сказал, что она притворяется, тот лгун и есть. И не то что в одном Джефферсоне, про нее и в других местах

всю правду знают, хоть, может, до вашей казенной больницы, или где там вы были, туда и не дошло. Я бы на вашем месте спорить не стал. И вообще я бы поосторожнее спорил, неизвестно, на кого еще нападешь.

– Верно, верно, – сказал Минк. – Вам, джефферсоновским, оно видней. Значит, по-вашему, она ничего не слышит? Можно подойти к ней сзади, прямо в комнате, и она ничего не услышит?

– Да, – сказал негр, – да. – Его двенадцатилетняя дочка уже стояла в дверях. – Она глухая. И вы не спорьте. Господь ее наказал, как наказывал многих, кто вам не чета и мне не чета. Уж вы тут не спорьте.

– Так, так, – сказал Минк. – Вот оно что. Вас ужинать зовут.

Негр встал.

– А куда вы ночью денетесь? – спросил он. – У нас тут места нет.

– Мне ничего не надо, – сказал Минк. – Тот доктор велел, чтоб я побольше воздухом дышал. Может, у вас лишнее одеяло найдется, я бы прилег в грузовике, а утром спозаранку начал бы работать.

Хлопок, до половины наполнявший грузовик, был прикрыт на ночь брезентом, так что ему даже одеяло не понадобилось. Он отлично устроился. А главное – подальше от земли. Вот главная опасность, от которой человеку надо бегаться: как только ляжешь прямо на землю, она тебя начи-

нает тянуть к себе. В ту минуту, как человек родился, вышел из материнского тела, сила земли, ее тяга начинает на него действовать; и не будь тут кругом женщин, родственниц или соседок, а может, и наемных нянек, не держи они его, не поднимай кверху, он бы и часу не прожил. И он это чувствовал. Только стал двигаться – и уже голова потянулась вверх, хоть он еще и подняться не мог, и с той поры он изо всех сил противился этой тяге, старался подняться, хватался за стулья, за что попало, и хоть стоять еще не мог, а уже отрывался от земли, обороняясь от нее. А потом научился стоять самостоятельно, сделал шаг, другой, но все равно первые два-три года жизни половину времени проводил на земле, и старая, терпеливая, выносливая земля ему говорила: «Ничего, ты просто споткнулся, тебе не больно, не бойся». А потом он стал мужчиной, сильным, зрелым, изредка отваживался лечь на землю, в лесу, охотясь ночью; дом был далеко, возвращаться поздно, значит, можно ночь проспять на земле. Конечно, он старался что-нибудь найти – доску, бревно, а то и кучу хвороста, – что угодно, лишь бы оно отделяло его, беспомощного, беспамятного, сонного, от нее – от старой терпеливой земли, она-то может ждать, потому что она все равно каждого заберет раньше или позже, и если кто сейчас осмелел, так это вовсе не значит, что она всегда ему будет спускать. И каждый это знает: пока ты молодой, сильный, ты еще рискуешь провести ночь прямо на земле, а уж две ночи подряд – никак. Бывало, работаешь в поле, захочешь передохнуть, ся-

дешь под дерево или под куст, съешь свой полдник, а потом приляжешь, заснешь ненадолго, проснешься – и в первую минуту не сразу сообразишь, где ты, по той простой причине, что ты не весь тут: за то короткое время, что ты забылся, старая, терпеливая земля, выжидая и не торопясь, уже стала потихоньку забирать над тобой власть, только, на твое счастье, ты проснулся вовремя. Так что если бы пришлось, можно было бы рискнуть проспать на земле эту единственную последнюю ночь. Но ему не пришлось ложиться на землю. Казалось, Старый Хозяин сам сказал: «Помогать я тебе не стану, но и мешать тоже не буду».

Потом посветлело, рассвело. Он снова поел в одиночестве, а когда взошло солнце, все снова стали собирать хлопок; в эти благодатные дни жатвы, между летними росами и первыми осенними заморозками, хлопок сухой, можно собирать его чуть только развиднеется; работали до полудня.

– Ну вот, – сказал он негру, – хоть какая, а все-таки вам помощь. Значит, сейчас уже кипа набралась, можно везти в Джефферсон, на очистку, а я, пожалуй, подъеду с вами по пути, раз уж оказия вышла.

Наконец-то он оказался совсем близко, совсем рядом. Тридцать восемь лет прошло, большой крюк пришлось сделать на юг, к Дельте, и опять сюда, обратно, но теперь он был близко. Однако теперь дорога шла в Джефферсон иначе, не та старая дорога мимо лавки Уорнера, которую он хорошо помнил. И новые железные столбы с цифрами не походили

на старые, надписанные от руки доски, что остались в памяти, я хотя цифры он читать умел, он понял, что не все они означают мили, потому что они не уменьшались. Но даже если это мили, все равно надо было проверить:

– Как будто эта дорога прямо идет, через Джефферсон?

– Да, – сказал негр. – А там можно свернуть на Дельту.

– Оно и верно. А далеко еще до города?

– Восемь миль, – сказал негр. Уж милю-то он умел отмерить и без всяких столбов, вот семь, потом шесть, потом пять, а по солнцу прошел только час после полудня; вот уже четыре мили, длинный спуск, внизу – пересохший ручей, и тут он сказал:

– Вот напасть, выпустите-ка меня у мостика. Не успел сбежать утром. – Негр притормозил грузовик у мостика. – Спасибо, – сказал Минк, – дальше уж я пешком пойду. По правде говоря, не хотел бы я попасться на глаза этому своему доктору, увидел бы он, что я на грузовиках езжу, наверно, содрал бы с меня лишний доллар.

– Я вас подожду, – сказал негр.

– Нет, нет, – сказал Минк. – Вам надо поспеть на очистку и домой вернуться засветло. Где ж у вас время? – Он вышел из кабины и сказал, по незапамятному сельскому обычаю, вместо благодарности: – Сколько я вам должен? – И негр ответил по тому же обычаю:

– Ничего. Мне все равно по пути.

– Премного обязан, – сказал Минк. – Только доктору ни

слова, ежели он вам попадетсЯ. Может, встретимся в Дельте.

И грузовик уехал. Дорога сразу опустела. Достаточно немного отойти в сторону, и его не будет видно. Ежели только возможно, лучше, чтоб никто не слышал этот пробный выстрел. Он сам не знал, зачем ему это: он не мог бы выразить словами, что после тридцати восьми лет жизни на виду, на людях, ему теперь хочется, ему необходимо ощутить каждую крупницу уединения, которую давала свобода; и потом до темноты оставалось еще часов пять-шесть и примерно столько же миль, и он шел сквозь чащу – шиповник, кипарисы, ивы – по дну высохшего ручья с четверть мили, как вдруг остановился в радостном удивлении, почти в восторге. Он увидел над ложиной железнодорожный мостик. Теперь он не только понял, как добраться до Джефферсона, не рискуя повстречать людей, которые своим привычным йокнапатофским чутьем сразу угадали бы, кто он такой и что намерен делать, – теперь он знал, чем занять время до темноты, когда можно будет идти дальше.

Ему казалось, будто за эти тридцать восемь лет он ни разу не видал железной дороги. Правда, по одну сторону колючей проволоки, окружавшей Парчмен, шел железнодорожный путь, и, насколько он помнил, поезда проходили там ежедневно. А иногда команды заключенных под конвоем отправляли на какие-нибудь простые строительные или ремонтные работы недалеко от железной дороги, и там он тоже видал поезда, проходившие по Дельте. Но хотя колючей

проволаки и не было, смотрел он на них из тюрьмы; он видел эти поезда, он смотрел на них, но они были свободными и потому чуждыми, они мчались, они существовали на воле и оттого казались нереальностью, миражем, химерой, без прошлого и будущего, они даже никуда не шли, потому что пункты их назначения для него не существовали: только секунда, миг движения – и все, будто их не было. Но теперь стало иначе. Сам свободный, он мог теперь смотреть, как они свободно мчатся, теперь он был такой же, как они, даже чем-то связан с ними: им – лететь, мчаться в дыме, в гуде, в пространстве, ему – смотреть на них, вспоминать, как тридцать восемь или сорок лет назад, как раз перед тем, как ему попасть в Парчмен, с ним случились какие-то зловещие в делах, он не помнит какие, но, в общем, так бывало всю жизнь: вечно его настигала, преследовала какая-нибудь незадача, постоянная обида, несправедливость, вечно ему приходилось все бросать, чтобы справиться с этой бедой, осилить ее, а бороться было нечем, никаких средств, никаких орудий, даже времени он выкроить не мог из-за непрерывной, неустанной работы, которой он кормил себя и свою семью; вот такая тяжелая минута, а может быть, и просто желание увидеть поезд и привели его тогда за двадцать две мили от Французовой Балки. Из-за чего-то ему пришлось провести ночь в городе, он уже не помнил почему, и он пошел на вокзал посмотреть, как проходит пассажирский поезд на Новый Орлеан, – на шипящий паровоз, на освещенные вагоны,

и в каждом – нахальный, заносчивый негр-проводник, в одном вагоне люди ужинают, им прислуживают другие негры, а потом пассажиры разойдутся по спальным вагонам, где их ждут настоящие постели; поезд стоит недолго, – и уже его нет: длинный, наглухо запертый кусок другого мира пронесся по темной земле, а бедняки в комбинезонах, вроде него, вырвав свободную минуту, стоят и глазают, но ни сам поезд, ни люди в нем не знают, смотрит ли кто на них или нет.

Но тогда он стоял и смотрел свободно, как все люди, хоть и был на нем старый комбинезон, а не бриллиантовые перстни; и сейчас он тоже был на свободе, пока вдруг не вспомнил, что он узнал в Парчмене еще одну вещь за те долгие томительные годы, когда он, готовясь выйти из тюрьмы, должен был собирать всякие сведения, мелочи, потому что иначе, когда подойдет тот день, день свободы, вдруг может оказаться поздно, вдруг окажется, что он чего-то не знает; и там он узнал, что с 1935 года пассажирские поезда через Джефферсон не ходят и что железная дорога (которую старый полковник Сарторис, не тот банкир, прозванный полковником, а его отец, настоящий полковник, командовавший местным отрядом в давнишней войне Севера и Юга, выстроил, и, по рассказам стариков, которых он, Минк, еще знал и помнил, это было самым большим событием в Йокнапатофском округе) должна была связать Джефферсон и всю округу с Мексиканским заливом с одной стороны и с Великими Озерами с другой, а теперь она превратилась в заброшенную,

заросшую сорняками местную ветку, по которой ходят всего лишь два местных товарных поезда, да и то не каждый день.

Но в таком случае именно эта заброшенная колея могла привести его в город без всяких помех, тут уж никто не нарушит его уединение, его свободу, заработанную с таким трудом в течение тридцати восьми лет; и он повернулся и пошел назад, прошел шагов сто, потом остановился; вокруг никого не было, только густая чаща, пронизанная тишиной сентябрьского дня. Он вынул револьвер. «Уж больно похож на ящерицу», – подумал он, и сначала ему показалось, что это смешно и забавно, но вдруг он понял, что в нем говорит отчаяние; теперь он знал, что эта штука не может, не будет стрелять, и когда он, повернув барабан, чтобы первый из трех патронов лег под боек, взвел курок, и прицелился в ствол кипариса футах в четырех-пяти, и нажал спуск, и услышал негромкий пустой щелк, единственным его чувством было чувство спокойной правоты, почти что превосходства оттого, что он оказался прав, оттого, что он имел неоспоримое право сказать: «Так я и знал», – и вдруг, хотя он даже не заметил, что снова взвел курок, не понял, куда целится, эта штука дернулась и загремела неожиданно со вспышкой пламени из слишком короткого дула; и только тут, чуть не упустив момент, он отчаянным судорожным движением удержал руку, чтобы помимо воли не взвести курок и не истратить третий, последний патрон. Но он спохватился вовремя, высвободил большой и указательный пальцы и, перехватив

левой рукой револьвер, отнял его у правой, чуть не оставшись с пустым и бесполезным оружием в руках – после таких стараний, таких поисков, такой траты времени. «Может, последний тоже не выстрелит», – подумал он, но только на миг, на секунду, и сразу, тут же: «Нет, брат. Должен выстрелить. Должен – и все. Другого выхода нет. Зря я беспокоюсь. Старый Хозяин наказывать наказывает, а шуток Он не шутит».

И теперь (по солнцу было часа два, не больше, до заката осталось еще, по крайней мере, часа четыре) он мог еще раз рискнуть лечь на землю в этот поздний, в этот последний час, да к тому же прошлую ночь он провел в грузовике, так что одно очко было в его пользу. И он повернул к мостику, прошел под ним, на случай, если кто-нибудь, услышав выстрел, решит взглянуть, что случилось; потом нашел ровное местечко за стволом дерева и прилег. И сразу почувствовал медленное, потаенное, ищущее прикосновение, когда старая, долготерпеливая, неспешная земля сказала себе: «Вот так так, будь я неладна, кто-то уже улегся, как говорится, у меня на пороге». Но ему было все равно, ненадолго он мог рискнуть. Можно было подумать, что у него есть будильник; он проснулся точно в ту минуту, когда сквозь просветы в листьях стало видно, как последние лучи солнца уходят, гаснут в небе, и в уходящем свете он едва смог выбраться из чащи к железнодорожному пути и выйти на него. Здесь было светлее, последнюю милю до города его провожал закат, пока совсем не угас, уступив место темноте, пронизан-

ной скупым светом городских окраин, а потом показалась первая тихая городская улочка, неподвижная рука семафора на переезде и единственный одинокий фонарь у перекрестка, где, увидев его, негритянский мальчишка на велосипеде успел вовремя затормозить и остановиться.

– Здорово, приятель, – сказал Минк и спросил, как обычно спрашивали старики негры, не «где тут живет», а «где тут жительствоует мистер Флем Сноупс».

В эти дни, точнее говоря, с прошлого четверга, по вечерам, примерно с половины десятого, с десяти часов, к Флему Сноупсу был приставлен телохранитель, хотя, кроме жены телохранителя, ни один белый человек в Джефферсоне, включая самого Сноупса, об этом не знал. Звали этого стража Лютер Биглин, раньше, до последних выборов шерифа, он жил в деревне, натаскивал охотничьих собак и сам занимался промысловой охотой и фермерством. Но его жена приходилась племянницей мужу сестры жены шерифа Ифраима Бишопа, а мать была сестрой местного политического босса, чья железная длань управляла тем участком округа (как старый Билл Уорнер правил своим участком во Французовой Балке), где Бишоп был избран шерифом. Поэтому Биглин был назначен тюремщиком, пока Бишоп занимал пост шерифа. Впрочем, это назначение определенно отличалось от обычных назначений по протекции. Чаще всего бывает, что человек, назначенный на такой малый пост в служебной иерархии, не вкладывает в свою работу никакого ин-

тереса и только занимает должность, хоть он к ней, в сущности, не стремился и попал на нее исключительно под давлением своей родни, чтобы вытеснить представителя другой политической партии; но Биглин относился к своей работе с той страстной, восторженной преданностью и верой в непогрешимость, честность и могущество своего родственника, шерифа, как, скажем, простой капрал в армии Мюрата относился к символическому маршальскому жезлу в руках своего командира. Он был не только честный малый (даже в браконьерской охоте на оленей, уток и перепелов он мог нарушить закон, но никогда не нарушал слова), он был и храбрый человек. После Пирл-Харбора, несмотря на то что его дядя мог бы найти или придумать – и непременно придумал бы, – как освободить его от военной службы, Биглин добровольно пошел в морскую пехоту, где, к вящему своему удивлению, узнал, что по военным стандартам его правый глаз считается почти незрячим. Сам он этого не замечал. Читал он мало, больше слушал радио, а в стрельбе был одним из лучших во всей округе, хотя стрелял размашисто, неэкономно, неуклюже, – он был левша, целился с левого плеча; за время, что он занимался тремя предыдущими своими профессиями, он расстрелял больше патронов, чем любой другой житель; а к тридцати годам он уже сменил два комплекта стволов, причем его дефект пошел ему на пользу, потому что ему не нужно было учиться не моргать глазами, чтобы видеть мушку и цель одновременно или прищуривать правый глаз для точ-

ной наводки. И вот он узнал (не в порядке любопытства, а в порядке кровных бюрократических связей), даже раньше, чем об этом узнал шериф, потому что он, Биглин, сразу в это поверил, – что с того часа, как Минка Сноупса наконец выпустили из каторжной тюрьмы, его угрозы родичу не только нельзя забыть, но даже пренебрегать ими нельзя, как склонен был сделать его патрон и начальник.

Так что его цель, его намерение в основном заключалось в том, чтобы сохранить незапятнанной служебную честь своего родича, шерифа, в чьи обязанности входила охрана спокойствия граждан, их жизни и благополучия, а в этом и он, Биглин, принимал посильное участие. Притом у него была еще одна цель, о которой знала только его жена. Даже с шерифом он не поделился своими планами, он рассказал о них только жене: «Может быть, тут ничего и нет, как говорит кузен Иф: просто еще одна выдумка юриста Стивенса. Но представь себе, что кузен Иф не прав, а прав Стивенс; ты только представь себе...» Он ясно видел перед собой все: последняя доля секунды, мистер Сноупс беспомощно лежит в постели, в последний раз он испускает крик, тщетно моля о помощи, зная, что она не придет, и уж нож (топор, молоток, полено, чем там вооружен одержимый жаждой мести убийца) готов опуститься на его голову. Но тут Биглин вбегает, вламывается в комнату, в одной руке – потайной фонарь, в другой – револьвер; один выстрел – убийца падает на свою жертву, и выражение демонического злорадства и торжества на его

лице превращается в растерянность... «Понимаешь, мистер Сноупс нас озолотит! Как же иначе! Что же ему еще останется делать!»

Но так как мистер Сноупс не должен был знать об этом (шериф объяснил Биглину, что в Америке нельзя опекать свободного человека, если только он сам об этом не попросит или, по крайней мере, не согласится принять помощь), то Биглин не мог находиться в спальне, где ему полагалось быть, а вместо того ему пришлось искать наиболее удобное место под ближайшим окном, откуда можно было бы влезть в спальню или, по крайней мере, взять убийцу на мушку. А это значило, что, безусловно, придется сидеть всю ночь. Он был хорошим тюремщиком, добросовестным служакой, держал тюрьму в чистоте, хорошо кормил заключенных; кроме того, ему приходилось выполнять мелкие поручения шерифа. И вот теперь за все сутки у него для сна оставалось только время между ужином и той неизбежной минутой, когда надо было занять свой пост под окнами спальни Сноупса. Поэтому каждый вечер, сразу после ужина, он ложился спать, а его жена уходила в кино и, вернувшись около половины десятого, будила мужа. С потайным фонарем, револьвером, со складным стулом и сэндвичем в кармане, в толстом свитере, защищавшем от простуды, – в конце сентября к полуночи становилось совсем холодно, – он стоял, молча, не шевелясь, у забора, напротив окна той комнаты, где, как знали все в Джефферсоне, Сноупс проводил все то время, когда не был в

банке, и выжидал, пока потухнет свет: к этому времени слуги – двое негров – уже уходили из дому. Тогда Биглин осторожно переходил лужайку, раскладывал стул и усаживался под окном, причем сидел он так неподвижно, что бродячие собаки, бегавшие по Джефферсону по ночам, чуть не натыкались на него, но чутьем, нюхом, словом, каким-то образом они обнаруживали, что он не спит, и, с перепугу присев и перевернувшись волчком, удирали прочь. Так он сидел до рассвета, а потом складывал стул, проверял, сунул ли он в карман бумажку из-под сэндвича, и уходил; впрочем, если бы Сноупс не спал, а дочка его не была бы глухой, как стенка, они уже в воскресенье могли бы услышать, как он похрапывает, если только какой-нибудь из бродячих полуночников-псов, почувствовав, прониюхав, словом, каким-то образом обнаружив, что он спит и им не опасен, не тыкался в него холодным носом.

Ничего этого Минк не знал. Но даже если бы и знал, ничего не изменилось бы. Он просто посмотрел бы на все это дело, – на Биглина, на то, что Сноупса теперь охраняют, – как на еще одно проявление безграничной способности враждебных сил, преследовавших его всю жизнь, изобретать мелкие пакости. Так что даже если бы он и знал, что Биглин уже занял пост под окном той комнаты, где сидел Флем (а он не торопился, наоборот, после того, как тот мальчик-негр с велосипедом указал ему дорогу, он подумал: «Рановато я пришел. Пускай сначала поужинают и негры ихние пусть убе-

ругтся из дому»), он все равно вел бы себя точно так же: он не таился, не подкрадывался, просто он был невиден, неслышен, неотвратимо чужой, как мелкий койот или волчонок: он не пригибался, не прятался у забора, как прятался сам Биглин, когда приходил, нет, он просто сидел на корточках, – как человек деревенский, он мог сидеть в такой позе часами, – прислонясь к забору, и рассматривал дом; он и раньше представлял себе его вид и расположение по тем сведениям и слухам, которые незаметной тончайшей струйкой медленно просачивались в Парчмен, ему приходилось собирать, выпытывать эти сведения у посторонних людей, скрывая от них, как важно ему знать то, о чем он расспрашивает; и теперь он смотрел на внушительное белое здание с колоннами, чувствуя только какую-то гордость оттого, что один из Сноупсов владеет таким домом, без тени, без признака зависти; в другое время, завтра, хотя он сам и не мечтал бы, даже не хотел бы, чтоб его принимали в этом доме, он, наверно, сказал бы чужому человеку с гордостью: «Тут мой двоюродный брат живет. Дом его собственный».

С виду дом был точно такой, каким он его представлял себе. Вот освещенные окна угловой комнаты, где, как он знал, сидит его родич (наверно, они уже поужинали, времени он им дал достаточно), уперев ноги в ту специальную планку, которую, как он слышал в Парчмене, другой их родич, – Минк его никогда не видел, потому что тот, Уот Сноупс, слишком поздно родился, – прибил для этого к каминной

доске. Освещены и окна комнаты рядом, хотя этого он не ожидал, – он знал, что глухая дочка устроила для себя комнату наверху. Но наверху света не было, должно быть, глухая тоже сидела внизу. И хотя свет в кухне означал, что и негры-слуги еще не ушли, но его так неодолимо тянуло к дому, что он уже привстал и собрался было подойти к окошку, посмотреть и, если надо, сразу приступить к делу, – а ведь он тридцать восемь лет учился терпению и должен был дойти до совершенства. Но если слишком долго дожидаться, Флем мог лечь, может быть, даже уснуть. А это было бы невыносимо, этого нельзя было допустить: должен наступить такой миг, пусть хотя бы доля секунды, когда он скажет: «Погляди на меня, Флем», – и тот посмотрит. Но все же он удержался, недаром он тридцать восемь лет учился ждать, и снова присел, опустил на корточки, поправив тяжелый револьвер, засунутый за нагрудник комбинезона; наверно, ее комната на другой стороне, свет у нее в окнах отсюда не виден, а то, что внизу освещена и вторая комната, ровно ничего не значит: если бы он был такой важный и богатый, как его родич Флем, и жил бы в таком красивом доме, так он тоже зажигал бы свет по всему этажу.

Потом свет в кухне погас, вскоре он услышал голоса негров – поварихи и привратника, – они разговаривали, проходя мимо него (он даже не затаил дыхания), и, пройдя футов в десяти, вышли через калитку за ограду, и голоса их медленно уходили в глубь улицы, пока совсем не замерли вдали. И

тут он поднялся, спокойно, без спешки, не крадучись, не таясь: просто такой маленький, такой бесцветный, что его и не заметишь, прошел по газону перед домом к окну (ему пришлось встать за цыпочки), заглянул в окно и увидел своего родича: тот сидел во вращающемся кресле, точь-в-точь как в банке или конторе, уперев ноги в каминную доску, со шляпой на голове, как он, Минк, и ожидал его увидеть, все такой же, хотя Минк не видел его сорок лет; конечно, немного он все-таки изменился: черная плантаторская шляпа, про которую он слышал в Парчмене, была новая, но маленький галстук бабочкой мог быть тем самым, что он носил сорок лет назад в уорнеровской лавке, зато рубашка на нем была белая, городская, и брюки темные, городские, и башмаки – начищенные городские башмаки, а не тяжелые фермерские сапожищи. Но в общем он не изменился: сидит, ничего не читает, ноги задрал, шляпа на голове, а челюсти медленно двигаются, словно что-то жуют.

Надо было для верности обойти дом, увидеть, освещены ли окошки в верхнем этаже с другой стороны, и он стал было обходить дом, но вдруг подумал: не заглянуть ли сначала и во вторую комнату, где виднелся свет, раз он уже так близко, и он пошел вдоль стенки, неслышный, как тень, не тяжелее тени, и снова встал на цыпочки и заглянул в соседнее окно, в соседнюю комнату. Он увидел ее сразу и сразу узнал; комната чуть ли не до потолка уставлена книгами – он и не думал, что их так много бывает, – и женщина у стола

посреди комнаты под пампой читает одну из этих книжек, на ней очки в роговой оправе, в темных волосах единственная седая прядь – он и об этом слышал в Парчмене. На секунду им снова овладела прежняя беспомощная ярость и обида, она чуть не доконала, чуть не погубила его в эту минуту – та же ярость и злоба, которая одолела его, когда он узнал, что она вернулась домой, как видно, навсегда, и теперь живет в одном доме с Флемом, и потом он два или три года подряд неотступно думал: «А вдруг она вовсе не глухая? Вдруг она просто всех дурачит, черт ее знает, какие у нее пакости на уме», – потому что узнать правду – глухая она или нет – он мог, только понадеявшись на других людей, более того, сделав ставку на ненадежные, сомнительные сведения, на слухи, переданные через третьи-четвертые руки. В конце концов тогда он схитрил, соврал и добился приема у тюремного врача, но тут снова встало препятствие: он не смел спросить то, что ему хотелось, что нужно, необходимо было узнать, он только узнал, что даже совершенно глухие ощущают, могут почувствовать сотрясение воздуха, если звук достаточно громкий или достаточно близкий.

«Как... как...» – сказал Минк, не удержавшись. Но было уже поздно: врач договорил за него: «Вот именно. Как выстрел. Но даже если бы вы могли убедить нас, что вы глухой, как же это помогло бы вам выйти отсюда?» – «Верно, верно, – сказал Минк. – Зачем мне слышать, как бич щелкает, я его и так чувствую».

Но все это было неважно: он знал, что она устроила для себя комнаты наверху, а по тем слухам, которые просачивались к нему в Парчмен, – тут людям приходилось верить, нельзя было не верить, ничего не поделаешь, – он знал и то, что его родич все время сидит в этой своей комнатухе внизу, хотя дом у него, как говорили, чуть ли не побольше всей тюрьмы. И вдруг заглянуть в окно и увидеть ее не там, наверху, в другом конце дома, где ей полагалось быть, где, как он уверил себя, она непременно будет, но тут же, рядом, в соседней комнате. Значит, то, во что он до сих пор верил, на что надеялся, тоже может оказаться брехней, ерундой; не нужно даже, чтобы двери между двумя комнатами были открыты: она наверняка и так почувствует то, что тюремный врач назвал сотрясением воздуха, потому что она вовсе и не глухая. Значит, все его обманывало; и он спокойно думал: «А у меня всего-то одна пуля осталась, даже если б я успел два раза выстрелить, пока с улицы не ворвутся. Надо бы найти полено, что ли, или кусок железа», – чувствуя, что вот она, гибель, вот он, конец, и вдруг он сам себя одернул, остановил на краю пропасти, бормоча вслух, шепча самому себе: "Стой, стой, погоди. Я же тебе говорил – Старый Хозяин шуток не шутит. Он только наказывает. Конечно же, она глухая, разве тебе не повторяли сто раз, что весь Миссисипи об этом знает? Я не про этого проклятого доктора в Парчмене, я не про того вчерашнего негра, он до того обнаглел, что чуть не обозвал в глаза белого человека вруном, а я только всего и

сказал, что, может, она народ дурачит. А этим черномазым все известно, они про белых людей всю подноготную знают, а уж не зря про нее говорят, что она продалась черномазым, да к тому же она еще из этих, из *коммонистов*, уж про нее не то что в Йокнапатофском округе, а и в Мемфисе, и в самом Чикаго любой негр знает, глухая она или нет, они ее насквозь знают, не иначе. Ну конечно же, она глухая и сидит спиной к двери, и надо пройти мимо, а там, наверно, есть и вторая дверь, только и останется, что выйти через ту дверь, другим ходом". И он пошел, не торопясь, не крадучись, просто совсем маленький, совсем легкий на ходу, совсем незаметный, – обогнул дом и, взойдя по ступенькам, меж высоких колонн портика, тихо отворив решетчатую дверь в прихожую, как любой гость, посетитель, приглашенный, прошел через холл мимо открытых дверей, где сидела та женщина, и, даже не взглянув на нее, подошел ко второй двери, вытащил револьвер из-за нагрудника комбинезона и, думая торопливо, чуть сбивчиво, как будто ему не хватало дыхания: «У меня всего-то одна пуля, значит, надо в голову, в лицо: в тело не рискнешь, с одной-то пулей») – вошел в комнату, где сидел его родич, и пробежал несколько шагов к нему.

Ему не пришлось говорить: «Погляди на меня, Флем». Тот уже смотрел на него, повернув голову через плечо. Он не двинулся с места, только челюсти перестали жевать, остановились. Потом он задвигался, слегка наклонился в кресле и уже стал было опускать ноги с каминной доски, и крес-

ло тоже начало поворачиваться, когда Минк, остановившись в футах в пяти, поднял двумя руками кургузый, похожий на жабу, заржавленный револьвер, взвел курок, нацелился, думая: «Он должен попасть в лицо», – не «я должен», а «Он должен», – и нажал спуск, и скорее почувствовал, чем услышал, тупой, глупый, почти что небрежный щелк. Теперь его родич, спустив ноги на пол и вполоборота повернувшись в кресле, лицом к Минку, как-то неподвижно и даже безучастно следил, как грязные, дрожащие, худые руки Минка, похожие на лапы ручной обезьяны, поднимают курок, поворачивают барабан назад на одно гнездо, чтобы патрон снова попал под боек: и снова Минка тронуло, толкнуло что-то смутное, изнутри, из прошлого: не предупреждение, даже не повторение чего-то, просто что-то смутное, знакомое, но уже неважное, потому что и раньше оно никакого значения не имело, и раньше оно не могло ничего изменить, ничего не могло напомнить: в ту же секунду он и это отбросил: «Порядок, – подумал он, – сейчас все выйдет. Старый Хозяин шуток не шутит», – и он взвел курок и снова нацелил револьвер двумя руками, а его родич не пошевелился, хотя опять начал медленно жевать, будто следя за тусклой точкой света, блеснувшей из-под курка.

Грохнуло со страшной силой, но Минк уже ничего не слышал. Тело его родича в каком-то судорожном, странном, замедленном движении стало валиться вперед и уже тянуло за собой все кресло: ему, Минку, казалось, что гром выстрела

– пустяки, но сейчас, когда кресло грохнется об пол, весь Джефферсон проснется. Он отскочил: был миг, когда он хотел сказать, крикнуть себе: «Стой! Стой! Проверь – мертвый он или нет, иначе все пропало!» – но он уже не мог остановиться, он сам не помнил, как увидел другую дверь, в стене за креслом, как эта дверь вдруг оказалась перед ним; все равно, куда она вела, лишь бы вон, а не назад, в комнату. Он бросился к этой двери, крутя и дергая ручку, он тряс ее и дергал, даже когда понял, что дверь заперта, он тряс ее вслепую даже после того, как сзади раздался голос, и тут он отскочил и увидел женщину, стоявшую у входной двери; сначала он подумал: «Значит, она все слышала», – и вдруг понял: ей не надо было ничего слышать, привела ее сюда, на погибель ему, та же сила, которая в одно мгновение могла взорвать его, превратить в прах, изничтожить на месте. Уже некогда было взвести курок, нацелиться на нее, даже если бы у него был второй патрон, и, отскочив от двери, он бросил, швырнул в нее револьвер, и не успел опомниться, как в ту же секунду револьвер очутился у нее в руке, и она уже протягивала ему оружие, говоря кричающим утиным голосом, как говорят глухие:

– Вот. Возьмите. Там шкаф. А к выходу – сюда.

– Остановите машину, – сказал Стивенс. Рэтлиф затормозил. Он сидел за рулем, хотя машина принадлежала Стивенсу. Они свернули с шоссе у перекрестка, за лавкой Уорнера, за мельницей, кузней и церковью, составлявшими вместе с кучкой жилых домов и других построек поселок, где уже было совсем темно, хотя часы показывали половину десятого, а позади осталась широкая, ровная плодородная долина, на которую старый Уорнер, – ему было за восемьдесят, волосы поседел, он вдовел двенадцать лет и только года два назад вдруг женился на молоденькой женщине лет двадцати пяти, хотя с ней был обручен или, во всяком случае, влюблен в нее один из его внуков, – держал закладные и векселя, там, где участки еще не принадлежали ему; и теперь они были недалеко от предгорья, где стояли мелкие полуразрушенные фермерские домишки, покосившиеся и убогие, похожие на клочки бумаги меж выветренных складок холмов. Дорога была немощеная, даже без щебня, и впереди, должно быть, становилась совсем непроезжей; уже сейчас в неподвижном свете фар (Рэтлиф остановил машину) она походила на выветрившийся овражек, который поднимался по неровному холму меж тощих трепаных сосен и жидкого кустарника. Солнце прошло экватор и стояло в созвездии Весов; и от остановки движения, от лениво притихшего мото-

ра сильнее ощущалась осень, после мелкого воскресного дождя и ясной изменчивой прохлады, державшейся почти весь понедельник; неровные заросли сосен и мелких дубов были плохой защитой от зимы, от дождя и мороза, отощавшая земля, заросшая сумахом, хурмой и дикой сливой, уже побагровела на холоду, ветви отяжелели от плодов слив, и все ждало заморозков и лая оголодавших гончих, выпущенных на охоту.

– А почему вы думаете, что мы его там найдем, даже если доберемся? – спросил Стивенс.

– А где ж ему быть? – сказал Рэтлиф. – Куда деваться? Вернуться в Парчмен, когда столько хлопот и денег затрачено, чтобы его оттуда вызволить? Куда ему еще идти, как не к себе домой?

– Да нет у него никакого дома, – сказал Стивенс. – Когда это было, два, три года назад, помните, мы приезжали сюда искать того малого...

– Тэрпина, – сказал Рэтлиф.

– ...который не явился на призывной пункт, и мы поехали за ним. От дома и тогда уже ничего не оставалось, одна видимость. Кусок крыши, обломки стены, их еще не успели разобрать на топливо. Правда, дорога была лучше.

– Да, – сказал Рэтлиф. – Люди по ней волокли бревна, от этого она и была ровнее, глаже.

– А теперь там, наверно, и стен не осталось.

– Там внизу подпол есть, – сказал Рэтлиф.

– Яма в земле? – сказал Стивенс. – Вроде звериной норы?

– Наверно, он устал, – сказал Рэтлиф. – А ведь ему не то шестьдесят три, не то шестьдесят четыре. Тридцать восемь лет он жил в напряжении, уж не говорю про эти последние – у нас сегодня что? четверг? – последние семь дней. А теперь напряжение пропало, ему нечем держаться. Вы только представьте себе, что ждали тридцать восемь лет, чтобы сделать то, что хочется, и наконец сделали. У вас тоже ничего не осталось бы. Так что ему теперь только и нужно лечь, полежать где-нибудь в темноте, в тишине, хоть недолго.

– Надо бы ему подумать об этом в прошлый четверг, – сказал Стивенс. – А теперь уже поздно.

– Так мы же затем сюда и приехали, верно? – сказал Рэтлиф.

– Ну, ладно, – сказал Стивенс. – Поезжайте. – Но Рэтлиф вместо этого совсем выключил мотор. Теперь они еще яснее ощутили, осознали перемену погоды, конец лета. Какие-то птицы еще остались, но вечерний воздух уже не звенел трескучей летней разноголосицей ночных насекомых. Только кузнечики еще стрекотали в густом кустарнике и в стерне скошенных лугов, где днем отовсюду внезапно выскакивали пыльно-серые кобылки, рассыпаясь куда попало. И тут Стивенс почувствовал, что его ждет, о чем сейчас заговорит Рэтлиф.

– Значит, по-вашему, она действительно не имела понятия, что сделает этот маленький гаденыш, как только его вы-

пустят, – сказал Рэтлиф.

– Ну конечно, нет! – сказал Стивенс торопливо, слишком торопливо, слишком запоздало. – Поезжайте!

Но Рэтлиф не шевельнулся. Стивенс заметил, что он не снял руки с ключа, так что сам Стивенс не мог бы завести мотор.

– Наверно, она сегодня вечером остановится в Мемфисе, – сказал Рэтлиф. – Теперь у нее есть этот роскошный автомобиль, новехонький к тому же.

Стивенс все помнил. А ему хотелось забыть. Она сама все рассказала – или так ему показалось – сегодня утром, после того как объяснила, на кого сделать дарственную: она сказала, что не желает брать автомобиль своего так называемого отца и уже заказала себе в Мемфисе новую машину, которая будет доставлена сразу после похорон, чтобы ей тут же можно было уехать, а дарственную он может принести ей на подпись домой, когда они будут прощаться или говорить то, что им – ему и ей – останется сказать на прощание.

Похороны были пышные: выдающийся банкир и финансист, погибший во цвете если не лет, то богатства от револьверной пули, но не от такой револьверной пули, как полагалось банкиру, потому что банкир, умирающий от револьверной пули у себя в спальне, в девять часов вечера, должен был бы перед этим пожелать спокойной ночи ревизору банка, присланному из штата или из центра, а может быть, и двум ревизорам из этих двух мест. Он (покойник) не пред-

ставлял никаких организаций, ни общественных, ни военных, ни гражданских: только финансовые. И не имел никакого отношения к экономике – к скотоводству, хлопку, – словом, к тому, на чем выросли и чем жили штат Миссисипи и Йокнапатофский округ, – а исключительно к капиталу. Правда, он был прихожанином джефферсонской церкви, что явствовало из всяческих украшений и пристроек к церковному зданию, но его отношения с церковью были не служением, не истинным союзом, даже не надеждой на отпущение грехов, а просто временным перемирием меж двумя непримиримыми державами.

И, однако, на похороны явился не только весь округ, но и весь штат. Он (Стивенс) тоже стоял, как непосредственный участник представления, по настоянию дочери усопшего (sic [так (лат.)]) в первом ряду около нее. Он, Линда, ее дядя Джоди, у которого на длинном, как у отца, костякеросло сто фунтов живота и подбородков, и тут же – да, вот именно – Уоллстрит Сноупс, Уоллстрит-Паника Сноупс, который не только никогда не вел себя, как Сноупс, но даже с виду не похож был на Сноупсов: высокий темноволосый человек, с неправдоподобно нежными детскими голубыми, как барвинок, глазами, который начал карьеру мальчишкой-рассыльным в бакалейной лавчонке, чтобы обеспечить себя и своего младшего брата, Адмирала Дьюи, до окончания школы, а потом открыл в Джефферсоне оптовую бакалейную торговлю, снабжавшую всю округу, и, наконец, переехав с се-

мьей в Мемфис, стал владельцем целой сети оптовых бакалейных складов, снабжавших половину штата Миссисипи, да и Теннесси и Арканзас тоже; и все стояли перед стыдливо замаскированной ямой, рядом с другой могилой, над которой не муж (он только сделал заказ и оплатил его), но сам Стивенс воздвиг возмутительную мраморную ложь, ценой которой была куплена свобода Линды девятнадцать лет назад. И ему, именно ему, приходилось теперь воздвигать вторую ложь, уже предопределенную той, первой; они – Линда и он – уже обсудили это сегодня утром.

– Нет. Ничего не надо, – сказала она.

– «Надо», – написал он.

– Нет, – сказала она. Он только приподнял табличку и показал ей написанное слово; не мог же он написать: «Надо ради тебя». Впрочем, это и не понадобилось.

– Вы правы, – сказала она. – Вам придется и второй поставить.

Он написал: «Нам».

– Нет, – сказала она. – Вам одному. Вы всегда все делали за меня. И всегда будете делать. Теперь я знаю – кроме вас, у меня никого не было. По правде говоря, мне, кроме вас, никто и не был нужен.

Стоя у гроба, слушая, как баптистский проповедник бегло и гладко справлял службу, он, Стивенс, смотрел на лица, городские лица, деревенские лица, лица граждан, представлявших городскую общественность (потому что город дол-

жен был быть представлен на этих похоронах) или самих себя, просто потому, что и они когда-нибудь окажутся там, где сейчас лежал Флем Сноупс, мертвые, одинокие, без друзей; смотрел на робкие, безымянные, полные надежды лица тех, кто был должен деньги Флему или его банку и, как это часто бывает с людьми, надеялся, а может быть, даже твердо верил, что теперь, когда Флем умер, о долге каким-то образом забудут или попросту затеряют документы, не требуют, не спросят. И вдруг он увидел другое. Их было немного: он отыскал только троих, лица у них были тоже простые, деревенские, ничем не отличающиеся от других деревенских лиц, и эти лица робко прятались где-то сзади, в толпе, и вдруг они выделились, выскочили, и он сразу понял, чьи это лица: это были Сноупсы; он их никогда прежде не видел, но это неоспоримо были они, не то чтобы странные, а просто одинаковые, похожие друг на друга не столько выражением, сколько напряженной целеустремленностью; мысль у него пробежала молниеносно, как бывает в минутном испуге, когда тебя внезапно разбудят: «Они похожи на волков, которые пришли взглянуть на капкан, где погиб волк покрупнее, волк-вождь, волк-главарь, как сказал бы Рэтлиф, волк-хозяин; и теперь смотрят – не достанется ли им хоть кусочек приманки».

Потом это ощущение прошло. Он не мог все время обращаться, да и священник кончил службу, и человек из похоронного бюро сделал знак избранным, официально осиротевшим, следовать за ним, и когда он, Стивенс, оглянулся,

смог оглянуться, те лица уже исчезли. Линду он оставил на кладбище. Вернее, дядя должен был отвезти ее домой, где ждала новая машина – она вызвала эту машину по телефону из Мемфиса, решив еще вчера днем сразу после похорон уехать в Нью-Йорк; должно быть, к тому времени, как он приедет к ней подписывать дарственную, она уже соберется, уложит вещи в новую машину.

Поэтому он заехал к себе на службу и взял эту бумагу – дарственную (с обычным гербовым сбором в размере одного доллара), по которой дом и усадьба возвращались семье де Спейнов. Она составила бумагу сама, даже не сказав ему ничего заранее и, уж конечно, не посоветовавшись с ним. Ей не удалось разыскать Манфреда, у которого Сноупс отнял и дом, и банк, и все, что оставалось от его, Манфреда, доброго имени в Джефферсоне, но она разыскала наконец его оставшихся родственников – единственную сестру майора де Спейна, отца Манфреда, и ее единственную дочку: древняя старуха, не встававшая с постели, жила в Лос-Анжелесе с незамужней дочерью шестидесяти лет, бывшей директрисой средней школы на окраине Лос-Анжелеса, и она, Линда, их разыскала, откопала, даже не посоветовавшись со своим юристом; возмутительно, когда добрый самаритянин, филантроп, благодетель не только сам находит, но и сам изобретает собственные благодеяния, не привлекая к этому и даже обходя юристов, и секретарей, и советников благотворительных обществ; просто возмутительно, даже, откровенно

говоря, антиобщественно вырывать кусок хлеба из стольких ртов.

На бумаге не хватало только ее подписи; и уже через четверть часа он затормозил машину у поворота к ее дому, не особенно обращая внимание на небольшую кучку людей у входа – мужчины, мальчишки, два-три негра, – и только сказал вслух: «Местные любители оценивают ее новую машину», – потом поставил свою машину и, взяв портфель, уже повернул к парадному, скользнув взглядом по группе людей, просто потому, что они попались на пути, но вдруг с мимолетным, пока еще смутным удивлением сказал: «Да это же английский „ягуар“. Притом совершенно новый», – и пошел, не останавливаясь, как вдруг ему показалось, будто он идет по лестнице и она вдруг внезапно завертелась у него под ногами, а он все идет, поднимается, тратит силы, но не движется, не сходит с места; и это так внезапно, так мгновенно, что кажется, будто только твой дух тут, а твоя оболочка уже силой инерции перенесена на ступеньку выше; он думал: «Нет места на всем свете, откуда совершенно новый „ягуар“ успели бы, доставить в Джефферсон, Миссисипи, со вчерашнего дня, а тем более по телефонному звонку, со вчерашнего вечера», – думая, уже с отчаянием: «Нет! нет! Это вполне возможно! В продаже могла быть такая машина, они могли найти ее в Мемфисе вчера вечером или сегодня утром – вся наша зыбкая, шаткая вселенная только и держится на совпадениях, на случайностях», – и он решительно подошел к

машине, остановился около нее, думая: «Значит, она еще с прошлого четверга знала, что уедет, она просто не знала до вторника, до вечера, в какой именно день это будет». Машина была ослепительно, безукоризненно новая, и моложавый, вполне благопристойного вида агент или техник стоял тут же; а негр-привратник выходил из парадного, неся какие-то ее вещи.

– Добрый день, – сказал Стивенс. – Великолепная машина. Совсем новая, правда?

– Конечно, – сказал тот. – Она и земли не касалась, пока миссис Коль не позвонила нам вчера по телефону.

– Удачно, что у вас сразу нашлась для нее машина, – сказал Стивенс.

– Да нет, мы ее получили еще десятого числа. Когда она нам заказывала машину, еще в июле, она велела держать ее у нас, пока не понадобится. Очевидно, когда ее отец... скончался, планы у нее изменились.

– Да, от таких событий многое меняется, – сказал Стивенс. – Значит, заказ был сделан еще в июле?

– Так точно. Говорят, того типа еще не поймали?

– Пока нет, – сказал Стивенс. – Чудесная машина. Я бы тоже от такой не отказался, – и пошел дальше, в открытые двери, вверх по ступенькам, привыкшим к его шагам, в комнату, тоже привыкшую к нему. Линда стояла и смотрела, как он идет, уже одетая по-дорожному, в выгоревшем, но свежеевыглаженном защитном комбинезоне, с покрашенными гу-

бами и с лицом, сильно намазанным для защиты от дорожного ветра; на стуле лежал потрепанный макинтош, сумка, толстые перчатки и шарф: она сказала:

– По крайней мере, я не солгала. Я могла бы спрятать машину в гараж, пока вы не уйдете, но не спрятала. – Но сказала она это не словами; вслух она проговорила: – Поцелуй меня, Гэвин. – И сама подошла к нему, обхватила его руками, крепко, не торопясь, и прижала рот к его губам, сильно и смело, раскрыв губы, а он обнял ее, как бывало и раньше, и его рука скользнула вниз, по спине, где раздвоенная выпуклость кругло и крепко подымалась под жесткой серой тканью, но его рука не чувствовала ответа – ответа никогда не было, никогда не будет, – для верности нет угрозы, нет опасности, даже если бы ничего не было меж рукой и раздвоенной округлой женской плотью, и всегда он только касался ее, понимая и принимая все не с безнадежностью, не с горечью, а только с грустью, он просто поддерживал ее сзади, как сажают на ладонь невинное, неоформившееся тельце ребенка. Но не сейчас, не в этот раз. Сейчас он испытал страх, и в страхе он подумал: «Как это было сказано? „Мужчина, чье непреодолимое обаяние для женщин в том, что одним своим присутствием он вселяет в них уверенность, будто готов ради них на любую жертву“. Только сейчас все наоборот; совсем наоборот: дурак, простак, не только не знает, куда забивать мяч в бейсболе, но даже не знает, что участвует в игре. Их и соблазнять ничем не надо, потому что они

давным-давно тебя наметили, они тебя выбрали просто потому, что верили: оттого что ты выбран, ты сразу не только готов, не только согласен, ты страстно жаждешь принести ради них любую жертву, только надо обоим вместе выдумать какую-нибудь настоящую жертву, стоящую». Он думал: «Сейчас она поймет, что она не может мне доверять, и только надеется, что, может, оттого и прижалась всем телом, оттого так крепко обняла за плечи, словно хочет потянуть за собой, хотя здесь нет постели», – но тут он страшно ошибался. Он думал: «Зачем ей впустую тратить время, проверять меня, если она всю жизнь знала, что ей только и надо положиться на меня». И она стояла, обняв его, и целовала, пока он сам не попытался высвободиться, и тут она выпустила его и посмотрела ему в лицо своими темно-синими глазами, без тайны, без ласки, даже, может быть, без нежности.

– У тебя весь рот в помаде, – сказала она, – тебе надо умыться. Да, ты прав, – сказала она, – ты всегда прав в том, что касается меня и тебя. – В глазах не было тайны; упорство – да, но не тайна; когда-нибудь он, может быть, вспомнит, что в них и настоящей нежности не было. – Я тебя люблю, – сказала она. – А тебе мало досталось. Нет, это неверно. Ничего тебе не досталось. Ничего у тебя не было.

Он только знал, что она хочет сказать: сначала ее мать, потом – она; дважды он хотел отдать всего себя и ничего не получил взамен, кроме права быть одержимым, околдованным, если хотите – одураченным. Рэтлиф – тот непременно

но сказал бы «одураченным». И она знала, что он это знает; в этом (вероятно) и было их проклятие: они оба сразу, сейчас же узнавали друг про друга все. И не из честности, не потому, что, как она считала, она всю жизнь была влюблена в него, она позволила ему увидеть ее новый «ягуар», позволила понять, какое значение можно было бы этому придать при обстоятельствах, сопровождавших смерть ее так называемого отца. Она сделала это потому, что все равно не могла скрыть от него, что заказала машину в Нью-Йорке или в Лондоне, словом, там, откуда ее прислали, как только узнала, что удастся выхлопотать помилование для Минка.

В каждом ее костюме был карман, сделанный точно по размеру маленького блокнотика слоновой кости с коротким грифелем. Он знал, где этот кармашек в комбинезоне, и, протянув руку, вынул блокнот. Он мог написать: «У меня есть все. Ты мне верила. Ты предпочла, чтобы я подумал, будто ты стала убийцей своего так называемого отца, лишь бы не солгать». Он мог бы и, может быть, должен был бы написать: «У меня есть все. Разве я только что не был пособником в подготовке убийства?» Но вместо этого он написал: «У нас все было».

– Нет, – сказала она.

Он написал: «Да».

– Нет, – сказала она.

Он написал «ДА» такими крупными буквами, что занял всю-всю табличку, потом вытер ее ладонью и написал: «Возь-

ми с собой кого-нибудь в машину. Ты можешь разбиться».

Она взглянула на эти слова настолько мельком, что каждый подумал бы – вряд ли она успела их прочесть, и снова посмотрела на него этими темно-синими глазами, и, была ли в них ласка, была ли в них нежность, была ли в них настоящая искренность, не все ли равно. И ее рот в смутной улыбке был измазан помадой, и она, эта улыбка, казалась мягким мазком, расплывчатым пятном.

– Я люблю тебя, – сказала она. – Я никогда никого, кроме тебя, не любила.

Он написал: «Нет».

– Да, – сказала она.

Он написал «нет», и когда она повторила «да», он снова написал: «нет, нет, нет», пока не исписал всю табличку, потом стер и написал: «дарственная». И, стоя рядом с ней у камина, где они решали все деловые вопросы, которые требовали какой-то договоренности между ними, он развернул документ, снял колпачок с вечного пера, чтобы она подписала, потом сложил бумагу и уже стал прятать ее в портфель, когда она сказала:

– И это. – Он уже заметил на каминной доске длинный простой конверт. Взяв его в руки, он нащупал сквозь бумагу толстую пачку банкнот, слишком толстую, – тысяча долларов убьет его в несколько недель, а может быть, и дней вернее, чем тысяча пуль. Он еще вчера вечером хотел сказать ей: «Тысяча долларов и его убьет. Тогда ты будешь доволь-

на?» – хотя вчера вечером он еще не знал, насколько это верно. Но он промолчал. Он сам займется этим, когда подойдет время. – А ты знаешь, где его отыскать? – спросила она.

«Рэтлиф знает», – написал он и снова написал: «Выйди на 2 минуты в ванную. Твои губы тоже», – и подождал, пока она прочла, а она тоже постояла, наклонив голову, как будто он написал какую-то криптограмму.

– А-а, – сказала она. Потом сказала: – Да, уже пора, – и, повернувшись, пошла к двери, потом остановилась и снова обернулась вполоборота и только тогда посмотрела на него: ни тени улыбки, ничего, одни глаза, которые даже на этом расстоянии не казались черными. И вышла.

Он держал портфель в руках. Шляпа его лежала на столе. Он сунул конверт в карман и вытер рот платком, захватил мимоходом шляпу и стал спускаться по лестнице, смочив платок слюной, чтобы как следует вытереть губы. В холле стояло зеркало, но он решил, что обойдется, пока не попадет к себе в кабинет; наверно, тут есть, должен быть какой-то черный ход, но где-то в доме был привратник, а может быть, повариха. Впрочем, никто не запрещал ему пересечь наискось газон перед домом и выйти через боковую калитку на улицу, так что и не понадобится отворачиваться от новой машины. И Рэтлиф, случайно или по счастливому совпадению оказавшийся на лестнице у двери в его служебный кабинет, сказал:

– А машину вы где оставили? Ладно, я ее приведу. А вы

бы воспользовались водичкой там, наверху.

Он умылся, запер измазанный помадой платок в ящик и сел к своему столу. Время шло, и он услышал, как Рэтлиф спускается по лестнице, хотя Рэтлиф чуть потряс запертую дверь; вот теперь он свободен и может осуществить свои юношеские мечты – вернуть Ветхому завету его первоначальную девственную чистоту. Нет, он уже слишком стар. Должно быть, одной только тоски мало, чтобы так затосковать. И снова время шло, потом зазвонил телефон.

– Она уехала, – сказал голос Рэтлифа. – Ваша машина у меня. Хотите зайти ко мне поужинать?

– Нет, – сказал он.

– Хотите, я позвоню вашей жене, что вы будете у меня?

– О, черт, я же говорю – нет, – сказал он. Но тут же сказал: – Большое спасибо.

– Заеду за вами часов в восемь, – сказал Рэтлиф.

Гэвин ждал у перекрестка, машина – его машина – сразу тронулась, как только он сел.

– Опасное дело, – сказал он.

– Это-то верно. Но все уже кончилось, надо только попри-
выкнуть.

– Нет, я хочу сказать, что для вас это опасно. Со мной всем опасно. Я – человек опасный. Неужели вы не понимаете, что я только что совершил убийство?

– А-а, вы вот о чем, – сказал Рэтлиф. – Раньше я думал, что вас только одним можно обезопасить – кому-то выйти

за вас замуж. Ничего из этого не получилось, но вы-то, по крайней мере, в порядке. Вы же сами сказали, что только что совершили убийство. Что же еще можно для вас придумать? – Они уже выехали на шоссе, оставив город позади, и можно было прибавить скорость, чтобы побыстрее проехать двадцать миль до лавки Уорнера. – Вы знаете, кого мне больше всех жалко в этой истории? – сказал Рэтлиф. – Лютера Биглина. Может, вы об этом не слыхали, да и никто не узнал бы, если б сегодня все не вылезло наружу в частной, в покаянной, так сказать, беседе между Лютером и Ифом Бишопом. Оказалось, что каждый вечер, начиная с прошлого четверга до этого вторника, Лютер стоял или, вернее, сидел на посту как можно ближе к тому самому окошку; он там оставался с той минуты, как миссис Биглин возвращалась из кино и будила его, до самого рассвета. Понимаете, весь день он возился у себя в тюрьме, убирал, кормил арестантов, да еще все время был начеку – не понадобится ли он шерифу для каких-нибудь поручений, как же тут ему было не поспать хоть немножко, а время на сон он мог выкроить только после ужина, до той минуты, когда миссис Биглин – она ему была вместо будильника – возвращалась из кино и его будила, значит, спал он примерно с семи часиков до половины десятого, до десяти, смотря какой фильм попадался, а всю ночь напролет стоял или сидел на складном стуле прямо под окошком у Флема, и не за награду, не за славу, потому что одна миссис Биглин об этом знала, а исключительно из вер-

ности Ифу Бишопу, из уважения к его присяге – защищать и оберегать жизнь всех джефферсонских граждан, даже жизнь таких, как Флем Сноупс. И надо же было Минку из всех двадцати четырех часов в сутки выбрать именно это время, примерно где-то между семью и половиной десятого, и в этот самый час явиться к Флему с той штукой, которую ему продали за револьвер, как будто Минк сделал это нарочно, на зло, а такого, как говорится, и собаке не пожелаешь.

– Поезжайте, – сказал Стивенс. – И поскорее.

– Вот так-то, – сказал Рэтлиф. – Вот чем все это кончилось. Сколько он сквалыжничал, сколько взыскивал, грабил, отнимал, когда мог – больше исподтишка, втихую, но когда приходилось – и в открытую, топтал нас ногами, а кое-кто успевал отскочить, чтоб не попасться окончательно. А что теперь от всего этого осталось – старуха, которая и с постели не встает, да ее дочка, старая дева, учительница, жили бы они себе тихо и мирно в своей солнечной Калифорнии. Так нет – им теперь ехать сюда, в Миссисипи, жить в этом белом слоновнике, в доме в этом, да еще, пожалуй, мисс Элисон придется снова поступать на службу, а может, придется и жаться и жмотничать, чтобы содержать такую махину, а то разве можно, чтоб все друзья и знакомые, уж не говорю – чужие, про нее судачили, – вот, мол, настоящая леди, родилась в Миссисипи и вдруг отказывается принять целый дом не только в подарок, бесплатно, но и дом-то с самого начала был ихний, так что теперь и спасибо говорить некому за

то, что ей этот дом отдали. Словом, может, в этом и есть какая-то мораль, если сумеешь ее найти.

– Нет никакой морали, – сказал Стивенс. – Люди просто стараются сделать как лучше.

– Несчастные сукины дети, – сказал Рэтлиф.

– Да, несчастные сукины дети, – сказал Стивенс. – Поезжайте. Скорее.

И вот часов около десяти они с Рэтлифом остановились на бугристой дороге, которая уже перестала быть дорогой, – а скоро тут и вообще нельзя будет проехать, и Рэтлиф сказал:

– Значит, по-вашему, она действительно не знала, что он натворит, как только его выпустят?

– Я вам уже говорил – не знала, – сказал Стивенс. – Поезжайте.

– А у нас времени хватит, – сказал Рэтлиф. – Никуда он не уйдет. Кстати, про ту штуку, что ему служила револьвером, он ее не то уронил, не то выбросил, когда убегал через задний двор. Иф Бишоп мне ее показывал. Правильно говорил тот продавец из Мемфиса. Она и не похожа на револьвер. С виду совершенный ящер – старый-престарый, весь в грязи, в ржавчине. И остались в нем два патрона – гильза и нестреляный. На гильзе капсюль был пробит, как полагается, но только и на ней и на патроне как раз рядом с капсюлем была крохотная зазубринка, вмятинка, и обе вмятинки точь-в-точь одинаковые, и даже на одинаковых местах, так что, когда Иф вынул патрон, а пустую гильзу чуть повернул и под-

ставил под ударник, а потом взвел и спустил курок, на гильзе появилась такая же вмятина, рядом с капсюлем, значит, выходит, что этот ржавый ударник то попадал на капсюль, то нет. Вот и похоже, что Минк раньше опробовал оба патрона и они оба сначала дали осечку, а он все-таки пошел убивать Флема, понадеявшись, что один-то патрон непременно на этот раз выстрелит, хотя это мало вероятно. А вернее, он подошел к Флему, щелкнул два раза впустую, а потом повернул барабан обратно, чтоб снова испробовать, – больше ведь ему ничего не оставалось, и тут-то оно и выстрелило. Но ежели это так, тогда зачем, скажите на милость, Флему было сидеть в кресле, дожидаться, чтобы Минк два раза щелкнул курком впустую, револьвер ведь только потом выстрелил и убил его наповал?

– Почему я знаю, – резко сказал Стивенс. – Поезжайте.

– А может, ему тоже все наскучило, – сказал Рэтлиф. – Как Юле. Может, им обоим наскучило. Несчастный он сукин сын.

– Он был импотент, – сказал Стивенс.

– Что? – сказал Рэтлиф.

– Импотент. Он только и мог уснуть рядом с женщиной, а больше ничего не мог. Да! – сказал Стивенс. – Несчастные сукины дети, сколько они причиняют людям горя и тоски, сколько от них видят и тоски и горя! Ну, поезжайте!

– А вдруг тут еще что-то было, – сказал Рэтлиф. – Вы-то мальчишкой росли в городе, наверно, никогда и не слышали

про «мое право». Это игра такая, мы всегда в нее играли. Выбираешь мальчишку, себе под стать, подходишь к нему с прутиком или с палочкой, а то и с твердым зеленым яблоком, может, даже с камнем, зависит от того, насколько ты не боишься рискнуть, и говоришь ему: «Мое право!» И если он согласится, он будет стоять смирно, а ты его огреешь этим прутом или палкой изо всех сил либо отойдешь на шаг и запустишь в него яблоком или камнем. А потом уж тебе стоять на месте, а ему взять прут или палку, яблоко или камень и дать тебе сдачи. Такое было правило. И вот, предположим, что...

– Поезжайте! – сказал Стивенс.

– ...что Флем свое право использовал по всем правилам игры, как полагалось, а теперь ему только и оставалось сидеть и ждать, потому что он, наверно, давно понял, как только она опять тут появилась, вернулась, да притом еще с коммунистической войны, что он уже проиграл...

– Замолчите! – сказал Стивенс. – Не надо!

– ...и теперь ее право, ее черед, да еще если она...

– Нет! – сказал Стивенс. – Нет! – Но Рэтлиф не только сидел за рулем, он и руку держал на ключе зажигания, прикрывал его.

– ...всегда знала, что случится, когда того выпустят, и не только она знала, но и Флем тоже знал...

– Не верю! – сказал Стивенс. – Никогда не поверю! Не могу я поверить, – сказал он. – Неужели вы не понимаете –

не могу!

– И тут выясняется еще одно, – сказал Рэтлиф. – Выходит, что ей надо было решиться, и притом раз навсегда, а то будет поздно. Конечно, она могла бы и подождать два года, когда и сам господь бог никак не удержал бы Минка в Парчмене, разве только прикончил бы его, и ей тогда не нужно было бы беспокоиться, хлопотать, а кроме того, она сняла бы с себя всякую моральную ответственность, хоть вы и говорите, что никакой морали нет. Да вот не стала она ждать. Тут-то и призадумался – а почему? Может, тут вот что, может, если бы в раю людей не было, так и самого рая не было бы, а если бы ты не ждал, что там встретишь людей, которых ты на земле знал, так никто бы туда и не стремился попасть. А вдруг когда-нибудь ее мать скажет ей: «Что же ты не отомстила за меня, за мою любовь, хоть поздно, да найденную, почему ты стояла в стороне, ждала, зажмурилась: будь что будет? Разве ты сама никогда не любила, не знала, какая она, любовь?..» Держите! – сказал он. Он вынул белоснежный, безукоризненно выстиранный и выглаженный носовой платок – весь город знал, что он их не только сам стирал и гладил, но и подрубал мережкой тоже сам, – и вложил его в слепую руку Стивенса, потом включил зажигание и фары. – Ну вот, теперь все в порядке, – сказал он.

С дороги уже исчезли обе колеи. Только овражек, заросший шиповником, круто шел в гору.

– Я пойду вперед, – сказал Рэтлиф. – Вы в городе росли. А

я даже электрической лампы не видел, пока не стал бриться опасной бритвой. – Потом он сказал: – Вон оно. – Покатая крыша, совершенно завалившаяся с одного угла (Стивенс никогда бы не подумал, что тут раньше стоял дом, он просто поверил Рэтлифу на слово), а над крышей – одинокий старый кряжистый кедр. Стивенс чуть не упал, споткнувшись об остатки огораживавшего двор забора, тоже поваленного, густо заросшего вьющимися розами, уже давно одичавшими. – Идите за мной, – сказал Рэтлиф. – Тут старый колодец, я как будто знаю, где он. Надо было захватить фонарик.

И вот в осыпающейся щели, внизу, в глубине, в том, что когда-то было фундаментом дома, показалось отверстие, черная полузасыпанная дыра, зияющая у их ног, словно сам разрушенный дом ощерился им в лицо. Рэтлиф остановился. Он негромко сказал:

– Вы ведь этого револьвера не видали. А я видел. Похоже, что это был вовсе не десятидолларовый револьвер. Похоже, что такие револьверы продают по девять с половиной долларов пара. Может, у него второй еще остался, – но тут Стивенс, не останавливаясь, протиснулся мимо него и осторожно нащупал ногой что-то вроде ступеньки; вынув из кармана золотую зажигалку с монограммой, он зажег ее и при слабом колеблющемся свете стал спускаться вниз, и Рэтлиф, идя за ним, говорил: – Ну конечно, теперь он на свободе. Зачем же ему теперь убивать людей? – И они прошли в бывший погреб, в пещеру, в нору, где на куче наспех собранных досок

сидел человек, которого они искали, – он не то прикорнул в углу, не то встал на колени и, моргая, смотрел на них, как ребенок, которому помешали молиться на ночь: именно не застали за молитвой, а помешали, прервали, и, стоя на коленях, в новом комбинезоне, уже измазанном и провонявшем, опустив полусжатые кулаки перед собой, он, мигая, смотрел на крохотное пламя в руках Стивенса.

– Здравсьте, – сказал он.

– Вам тут нельзя оставаться, – сказал Стивенс. – Раз уж мы вас нашли, так неужели вы думаете, что шериф завтра же не догадается, где вы?

– А я тут не останусь, – сказал он. – Я только зашел отдохнуть. Вот соберусь и пойду дальше. А вы кто такие?

– Неважно, – сказал Стивенс. Он вынул конверт с деньгами. – Вот, – сказал он. В конверте лежали двести пятьдесят долларов. Он их оставил из той тысячи, что была там. Стивенс сам не знал, почему он отсчитал именно столько. Человек посмотрел на деньги, не вставая с колен.

– Я же эти деньги оставил в Парчмене, у меня их не было, когда я вышел за ворота. Значит, какой-то сукин сын их украл?

– Это не те деньги, – сказал Стивенс. – Те деньги вернули. А это новые деньги, она утром их для вас оставила. Другие деньги.

– Значит, если я эти возьму, мне никому ничего обещать не надо?

– Да, – сказал Стивенс. – Берите.

Он взял деньги.

– Премного благодарен, – сказал он. – В тот раз мне говорили – через три месяца вышлют еще двести пятьдесят, ежели я только обещаю сразу выехать из Миссисипи и уж никогда не возвращаться. Должно быть, сейчас это уже отпало.

– Нет, – сказал Стивенс. – Все осталось по-прежнему. Сообщите через три месяца, где вы будете, я вам вышлю деньги.

– Премного благодарен, – сказал Минк. – Высылайте на имя М.-С.Сноупса.

– Как? – сказал Стивенс.

– М.-С.Сноупса. Это меня так зовут: М.-С.

– Пойдем! – почти грубо сказал Рэтлиф. – Пошли отсюда! – И когда Стивенс обернулся, взял его под руку, отобрал у него горящую зажигалку и держал ее над головой, пока Стивенс ощупью искал стертые земляные ступени, и они снова вышли на воздух, в ночь, в безлунную тьму, где истощенные, выветрившиеся поля разметались под первым слабым дыханием осени в ожидании зимы. Наверху, чинами небесной иерархии, плыли созвездия сквозь пажити зодиака: Скорпион, и Медведица, и Весы, а в вышине, за холодным Орионом и Плеядами, горько сетовали сонмы бесприютных падших ангелов. Осторожно, нежно, как женщина, Рэтлиф открыл дверцу машины, помогая Стивенсу сесть. – Вам теперь лучше? – сказал он.

– О, черт, да, да! – сказал Стивенс.

Рэтлиф закрыл дверцу, обошел машину, открыл другую дверцу, сел, захлопнул и эту дверцу, включил мотор, зажег фары и тронул машину, – оба они тоже старики, обоим под шестьдесят.

– Не знаю, может, она уже припрятала где-нибудь дочку, а может, еще только собирается завести. Но уж если заведет, так дай бог, чтобы она никогда не привозила ее в Джефферсон. Вам уже попались на пути две Юлы Уорнер, не думаю, что вы смогли бы выдержать и третью.

Когда оба незнакомца ушли и унесли свет, он больше не ложился. Он уже отдохнул, все ближе подходила минута, когда надо будет снова идти. Он так и остался стоять на коленях, на куче старых досок, которые он сгреб, чтобы защититься от земли, если он вдруг уснет. К счастью, человек, укравший у него в прошлый четверг десять долларов, не взял английскую булавку, так что он туго свернул деньги по размеру нагрудного кармашка и приколот их булавкой. На этот раз все будет в порядке: пачка такая толстая, что он даже во сне почувствует, если кто к ней начнет подбираться.

И вот подошло время идти. Отчасти он даже был рад: человек и от отдыха может устать, истомиться, как от всего другого. На дворе было темно, прохладно, идти легко, и кругом пусто, одна только старая земля. Но после шестидесяти трех человеку уже не надо все время думать о земле. Правда, земля сама напоминала о себе, о том, что она тут, ждет;

тихонько, не спеша, она с каждым шагом тянула его к себе, говоря: «Не бойся, ляг, я тебя не обижу. Ты только ляг». Он подумал: «Теперь я свободный. Могу идти, куда хочу». Вот он и пойдет на запад, люди всегда идут туда, на запад. Как снимутся с места, как тронутся в новые края, так непременно пойдут на запад, словно сам Старый Хозяин заложил это в кровь и плоть, что достались тебе от отца в ту минуту, как он тебя вбрызнул в чрево матери.

Теперь он был свободен. И немного попозже, к рассвету, как придет ему охота, он и прилечь сможет. И когда охота пришла, он лег поудобнее, примостив спину, и ноги, и руки, уже чувствуя, как его начинает потихоньку-полегоньку тянуть вниз, словно эта чертова старуха-земля хочет его убедить, будто она и сама не замечает, что делает. Но в эту минуту он увидел знакомые звезды, видно, он лег не совсем так, как надо, потому что ложиться нужно лицом к востоку; идти на запад, а если лег – ложись лицом к востоку. И он передвинулся, немножко повернулся и улегся именно так, как надо, и теперь он был свободен, теперь он мог себе позволить рискнуть; и чтобы показать, как он осмелел, он даже решил закрыть глаза, дать ей волю, пусть делает, что хочет; и тут, словно поверив, что он и на самом деле уснул, она постепенно принялась за свое, потянула крепче, правда, осторожно, чтоб не беспокоить его: просто покрепче, посильнее. А ведь не только одному человеку надо всю жизнь от нее обороняться, всем людям во все века приходилось быть

настороже; даже когда человек жил в пещерах, как рассказывают, он подгробал под себя песок, чтоб подальше быть от земли во время сна, а потом придумал для защиты деревянные полы, а еще позже – кровати и стал поднимать полы вверх, этаж за этажом, пока не поднял их на сто, на тысячу футов, в высоту, в воздух, защищаясь от земли.

Теперь он уже мог рискнуть, ему даже захотелось дать ей полную волю, – пусть покажет, пусть докажет, на что она способна, если постарается как следует. И в самом деле, только он об этом подумал, как сразу почувствовал, что Минк Сноупс, которому всю жизнь приходилось мучиться и мотаться зря, теперь расплзается, расплывается, растекается легко, как во сне; он словно видел, как он уходит туда, к тонким травинкам, к мелким корешкам, в ходы, проточенные червями, вниз, вниз, в землю, где уже было полно людей, что всю жизнь мотались и мыкались, а теперь свободны, и пускай теперь земля, прах, мучается, и страдает, и тоскует от страстей, и надежд, и страха, от справедливости и несправедливости, от горя, а люди лежат себе спокойно, все вместе, скопом, тихо и мирно, и не разберешь, где кто, да и разбирать не стоит, и он тоже среди них, всем им ровня – самым добрым, самым храбрым, неотделимый от них, безымянный, как они: как те, прекрасные, блистательные, гордые и смелые, те, что там, на самой вершине, среди сияющих видений и снов, стали вехами в долгой летописи человечества, – Елена и епископы, короли и ангелы-изгнанники, надменные и непокор-

ные серафимы.